

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

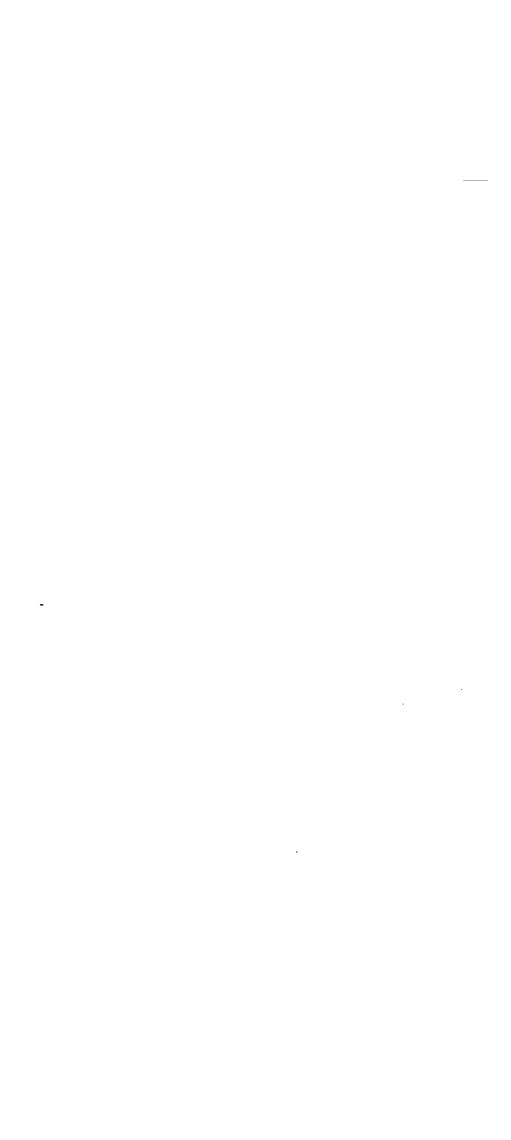
- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

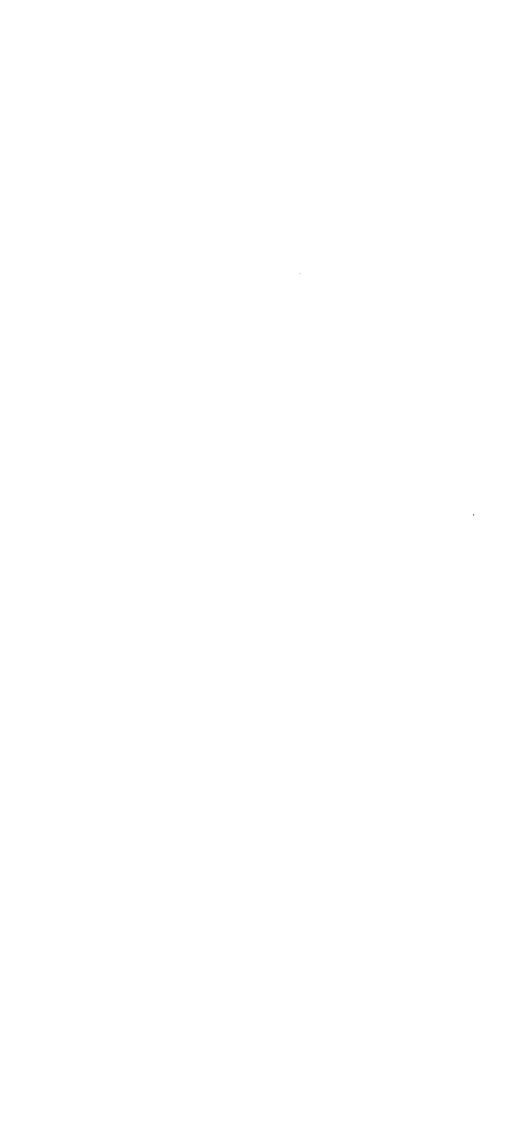
## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



# University of Michigan Libraries,













# ВОСПОМИНАНІЯ

И

## КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

## СОБРАНІЕ СТАТЕЙ И ЗАМѢТОКЪ

П. В. Анненкова,

Arnerkov, Parel Caselevich

ОТДВЛЪ ТРЕТІЙ

2501103394

С.-ПЕТЕРБУРІ"Б Въ Кинжномъ Силадъ Типографіи М. Стасюливича, Вас. Остр. 2 л., 7.

1831



891.79 A625 vi 1969 V. 3



•

· •

.

610086-130

# Anniewker, Parel Vasilinich.

# ВОСПОМИНАНІЯ

И

## критическіе очерки

COFPAHIE CTATEN N SANTTOKT

П. В. Анненкова.

ОТДЪЛЪ ТРЕТІЙ

С.-ИЕТЕРБУРГЪ Типографія М. М. Стасплявича, Вас. Остр., 2 л. 7.

PG 377.52



ŀ

# содержание

## третьяго отдъла

				OTP.
•	I.		Заначательное десятильне (1838—1848 г.)	1
	П.		Овщественные ндеалы А. С. Пушкина (изъ послъднихъ	
		•	жизан поэта.)	225
	TTT		U D (	060

• . . • • • • . . 

## ЗАМЪЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛЬТІЕ

1838-1848.

I.

...Я познакомился съ Виссаріономъ Григорьевичемъ Вілинскимъ за годъ до моего отъївда за границу, именно осенью 1839 года. Онъ прітхалъ тогда въ Петербургъ для сотрудничества въ «Отечественныхъ Запискахъ», привезенный изъ Москвы И. И. Панаевымъ, и уже находился во второмъ или третьемъ періодъ своего развитія.

Извъстно, что Вълнискій выступиль на литературное поприще статьей въ «Молвъ» 1834 года, носившей заглавіе «Литературныя мечтанія — элегія въ прозъ». Это было обограніе русской словеспости, обратившее на себя внимание бойкостью слова и характеристикой эпохъ и лицъ, которая пе имъла никакого сходства съ обычными и, такъ-сказать, узаконенными опредфленіями ихъ въ нашихъ курсахъ словесности. Лирическій топъ статьи съ философскимъ оттънкомъ, запиствованнымъ отъ системи Шеллинга, сообщаль ей особенную оригинальность. Все было туть молодо, сміло, горячо, а также и исполнено промаховъ, сознаниихъ и саминъ авторомъ впоследствін; но все обличало возникновеніе какихъ-то новихъ требованій мысли отъ русской литературы и русской жизни вообще. Старикъ Каченовскій, — въроятно, обольщенный свободными отношеніями критика къ авторитетамъ и частыми отступленіями его въ область исторіи и философіи, старый профессоръ, призваль тогда къ себь Вълинскаго, — этого студента, еще не такъ давно исключеннаго изъ университета за налыя способности, какъ говорилось

въ опредъленін совъта, жаль ему горячо руку и говорняв: такъ не дукали, им такъ не писали въ паше время > 1). Мене волненія, конечно, произвела статья въ Петербургъ, гдт уже созръеали изпастныя сатурналіи только-что основанной «Вибліотеки для Чтенія», съ ея глупленіями надъ наукой и надъ всяческими убъжденіями; но и здісь статья не прошла незаміченной мимо глазь. Съ этихъ поръ именно Н. И. Гречъ, какъ человъкъ, еще болъе другихъ приличный въ сонив литературныхъ публицистовъ той эпохи, усвоилъ систему воззрфиія на Вфлинскаго, сравнительно еще благосклонную. Онъ высказываль ее потомъ не разъ во всеуслышаніе: **человъкъ**, но горькій пьяница, и пишеть свои статьи, не вихоня наъ-запоя». Вълинскій-пьяница быль такъ жо мыслимъ, бакъ Лессингъ па капатъ, или что-нибудь подобное. Съ тъхъ же поръ О. В. Булгаринъ, съ своей сторони прозвавшій Бълпискаго «бульдогонъ», пачалъ свою, столь долго непрерываеную жалобу на пзвращение умовъ, свои чуть не 20-летий нападви на новый духъ въ литературф, грозищій лишить Россію, къ стиду потомковъ и посрамленію передъ Европою, всёхъ ся умственныхъ сокровищъ 2)...

Вирочемъ, какъ ни задорна была статья Велипскаго по своей ф рав. особенно для петербургскихъ самозванныхъ знаменитостей, въ обличения и опозорени которыхъ критикъ, по собственному признанію, находиль блаженство неизъяснимое, сладострастіе безграничное, по собственно она нисколько не потрясала ни одного езъ папихъ старыхъ авторитетовъ, и постоянно во всемъ имъ относвлась съ величайшимъ энтузіазмомъ. Сивлость заключалась не столько ть изследованій, сколько въ началахь и принципахъ, высказанныхъ еритикомъ и предпосланныхъ изследованию. Статья более грозила оличениемъ людямъ и предметамъ, и только падъ очень немногими иль нихъ исполняла угрозу. Вълинскій еще не впосиль ни малейшаго раскола въ тотъ молодой кружокъ, сформировавшійся въ началф тридцатыхъ годовъ, подъ сфию московскаго университета, изъ котораго потомъ вышли самыя замвчательныя личности последующихъ годовъ. Зародиши различныхъ и противоборствующихъ мифній уже ваходились въ номъ, какъ легко убъдиться изъ именъ, составлявмихъ его персопалъ (К. Аксаковъ, Станковичъ и др.); но заро-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Разсказъ В. Г. Бѣлинскаго.

<sup>2)</sup> Жалоби эти не остались безъ послідствій для литературы. При взданін Пумкина (1854 г.) возникли цензурныя затрудненія, при передачь сужденій нашего волга о Державнив, такъ какъ прежде того состоялось распоряженіе цензурнаго соввтета оберегать отъ пепрошенныхъ критикъ имена Державниа, Ломоносова, Карачэнна, а также и личность самого Булгарина. Никто не чувствоваль тогда обиди, ваносимой первымъ тремъ великимъ виснамъ нашего отечества — этимъ уравненіемъ яхъ съ персоной издателя "Сіверной Цлели".

дыши эти еще не приходили въ брожение и танлись до поры до времени за дружескить обивномъ мыслей, за общностью научных стремленій. Достаточно всномнить, что К. С. Аксаковъ быль тогда германизирующимъ философомъ, пе менфе Станкевича; П. Кирфевскій — завзятымъ европейцемъ и западинкомъ, не уступавшимъ Т. И. Грановскому; а последній, скоро присоединившійся къ этому кругу, посл'в сотрудничества своего въ «Библіотек'в для Чтенія» Сенковдълилъ вивств со всими ими поэтическое созерцание на прошлое и настоящее Россіи. Вфлинскій, который такъ много способствоваль впоследствін къ разложенію круга на его составния части, къ разграничению и опредблению партий, изъ него выдблившихся, является на первыхъ порахъ еще простывъ эховъ всехъ мивий, сужденій, приговоровъ, существовавшихъ въ ивдрахъ кружка, и существовавшихъ безъ всякаго подозрвнія о своей разпородности и несовивстимости. Воть почему восторженная статья Вълпискаго, отличавшаяся капризнымъ ходомъ, искоторою разорванностью и недостаткомъ сосредоточенности, представляеть еще безсознательное смешение наименье родственныхъ или схожихъ другъ съ другомъ настроеній. Чисто-славянофильское представленіе идеть здась рядомъ съ чисто-западнимъ; афоризмы тогдашней скептической исторической школы нашей наталкиваются на гиперболы, достойныя Сергвя Глинки въ самия сильния минуты его натріотическаго одушевленія; либерализмъ и консервативное учение (если можно употреблить эти тер-мины, занимаясь эпохой, не знавшей самыхъ явленій, которыя ими обозначаются) поисременно возвышають голось, намало не смущаясь своимъ соседствомъ. Для примера, какъ пачипающий критикъ нашъ стоялъ еще тогда одновременно и за реформу Петра I, и за московскую оппозицію реформамъ, достаточно напомнить и вкоторыя изъ положоній статьи.

Значеніе народных обычаевь и нерушимое их сбереженіе въ средв племени составляло еще для Бълинскаго 1834 года двло нервой и точно такой же важности, какимъ оно казалось внослъдствіи для наиболье ярыхъ противниковъ молодого критика изъ славянской партіи. Въ простыхъ и грубыхъ правахъ онъ находилъ еще, вивсть съ нослъдними, отблески ноэзіи, называя только жизнь, ими создавленую, хотя самобытной и характерной, но односторонней и изолированной. Наоборотъ, будущіе славянофилы, въроятно, внолив раздъляли тогда мивніе Вълинскаго, а именно, что въ реформахъ своихъ Петръ Великій былъ совершенно правъ и народенъ инсколько не менъе любого московскаго царя старой эпохи. Особенно характерно то мъсто въ статьф, гдф, переходя на сторону великаго реформатора, онъ предносылаетъ, однакоже, скорбнос, прощальное

воззваніе въ погибающей старинів и притонь въ словахъ и образахь, которые теперь, при опреділившейся личности Білипскаго, составляють для насъ какъ-будто невіроятную, фальшивую черту, искажающую его физіономію. «Прочь достопочтенния, окладистия біроды, — говорить онъ. — Прости и ты, простая и благородная стрижка волось въ кружовъ, ты, которая такъ хорошо шла къ этинъ почтеннымъ бородамъ! Тебя замінили парики, осыпанные пукою!.. Прости и ты, прекрасный поэтическій сарафанъ нашихъ бізрынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка съ пышными рукавами, и ты, высокій, унизанный жемчугомъ повойникъ — простой чародійный нарядъ, который такъ хорошо шелъ къ высокимъ грудянь и яркому румянцу нашихъ бізлоликихъ и голубоюкихъ красавиць... Простите и вы, заунывныя русскія пізсни, и ты, благородвая и граціозная пляска: не ворковать уже пашимъ красавицамъ голубками» и т. д.

Вотъ откуда выходилъ Вълипскій. Либерализмъ безличнаго дружескаго кружка тоже быль представлень въ статью, довольно полно, самынъ основнымъ ея положениемъ, по которому литература ваша есть дело случайшаго вознивновенія и соединенія несколькихъ баве или менве талантливыхъ лицъ, въ которыхъ общество не пуждалось, и которыя сами, въ правственномъ и матеріальномъ отноменін, моган обходиться безъ общества. Отсюда—ничтожество литературы и слабость писателей, песмотря на ихъ качества, талапты и усердів. Можно догадываться, что въ кругв ходило съ усифхомъ в европейское представление о важности буржувани и tiers-état для государства, потому что Бълинскій ищеть въ разныхъ сословіяхъ зашего отечества тахъ дантелей, которые помирять европейское пропаначал для этой роли духовенство, купечество, городскихъ людей, ремесленияжовъ, даже мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ 1), и тутъ же стовариваясь, въ виду возможныхъ возгрений съ другой стороны, а вменно, что «высшая жизнь народа преимущественно выражается ы его высших слояхь, или, вырные всего, вз цилой идеи народа. Словомъ, знаменитая первая статья maid-speech Вылипскаго отлично виражала тогдашиее интеллектуальное состояние образованной молодежи, у которой всв виды паправленій жили еще какъ въ первочтномъ раю, о-бокъ другъ съ другомъ, не находя причинъ къ обообленію и не стращась взапиной близости и короткости. Связуюпачъ поясомъ била тутъ одинаковая любовь въ наукъ, свъту, сво-

<sup>1)</sup> Кольцовь уже введень быль тогда Станкевичемь выкругь московскихы друзей то и, но всей выролиности, быль косвенной причиной тыхы надежды, которыя выра-

бодной мысли и родина. Можно уподобить это состояние значительпому водному бассейну, въ которомъ будущие раки и потоки мирно текуть виаста до той поры, когда геологический переворотъ не раздалить ихъ и не откроетъ имъ пути въ противоположныя стороны. Вълинский именно быль тамъ подземнымъ огнемъ, который ускорилъ этотъ переворотъ.

Не мудрено, если придеть кому-инбудь въ голову спросить: стоитъ ли такъ долго останавливаться на журпальной статейкъ, не совстви свободной отъ противортий и, вдобавокъ еще, съ опре-- дъленіями, отъ которыхъ потомъ отказался самъ авторъ ся. Вопросъ легко устраниется, если вспоминть, что статья произвела необычайное впечатявніе, какъ первый опыть ввести исторію самой культуры нашего общества въ оценку литературныхъ періодевъ. Нужно ли говорить, какъ она-была принята молодыми умами въ Петербургъ, сберегавшими себя отъ заговора противъ литературы, устроивавшагося передъ ихъ глазами? Для нихъ она упраздияла множество убъжденій и представленій, вынесенныхъ изъ школы. Протестующій характеръ статьи въ этомъ отношенія быль очень ясенъ не только для техъ корифесвъ нартін «Вибліотски для Чтенія», о которыхъ мы говорили, но и людямъ соглашавлимся со многими изъ ея положеній, по пе любившинъ видёть безперемонное колебаніе проданій, да еще на основаніи чужихъ философскихъ системъ. Таковы были Пушкивъ и Гоголь. И тотъ, и другой были оценсны весьна благосклонно критикомъ, но сохраняли о немъ ночти всю жизнь упорное молчаніе. Первый, но свидітельству самого Білин-скаго, только посылаль къ нему тайно книжки своего «Современника», да говориль про пего: «Этоть чудакъ почему-то очень мепя любить» 1). Сужденіе второго мы сами слышали: «Голова не дюжинная, по у нея всегда чень выркое первая мысль, тыть нельные вторая». Замвчаніе касалось выводовь, добываемыхъ Ввлинскимъ изъ своихъ эстетическихъ и философскихъ основаній и о приложеніи этихъ выводовъ прямо и непосредственно къ лицамъ и фактамъ русскаго происхожденія, хотя тоть же Гоголь указываль поздиве па статьи Вълинскаго о его собственной, Гоголевской двятельности, какъ на образцовыя, по своей неогразимой истинъ и мастерскому изложенію.

Итакъ, въ Петербургъ первая статья Бълинскаго и всъ, слъдовавшія за ней, нашли отголосокъ всего болъе въ тъхъ молодыхъ учителяхъ русскаго языка и словесности, которые созывались для казенныхъ замкнутыхъ училищъ и корпусовъ, разроставшихся, по

<sup>1)</sup> Пушкина прибавлять, по тому же свидательству, секретно и еще замачание, что у Балинскиго есть чему поучиться и тамъ, кто его ругаеть.

принятой системъ, все болъе и болъе, въ исключительныя заведенія для воспитанія всего благороднаго русскаго юношества цёликомъ. Не то, чтобы статья «Молвы» сразу упразднила оффиціальную науку о литературъ: послъдняя держалась долго, красовалась еще на экза-менахъ вилоть до преобразованія закрытыхъ школъ и корпусовъ, во, благодаря молодымъ учетелямъ этнхъ заведеній, а за ними и быьшей части нашихъ гимназій, образовалась, съ появленія статей Білинскаго, б-бокъ съ утвержденной программой преподаванія русской словесности, другая, невидная струя преподаванія, вся витеканшая изъ опредъленій и созерцанія новаго критика и постоянно скивавшая въ молодихъ умахъ все, что заносилось въ нихъ схозастикой, педантизмомъ, рутиной, стародавними преданіями и благовамфренной прикрасой. Растительное действіе этой невидимой струн узеличивалось вибств съ дальнейшинъ развитиемъ критика, съ котораго, можно сказать, нерсональ учителей и молодыхъ людей вообще . той эпохи не спускалъ глазъ, и, такинъ образомъ, имя Вълинскаго било уже очень гронко въ средъ нарождающагося покольнія, въ мколахъ и аудиторіяхъ, когда оно еще не признавалось въ литературныхъ партіяхъ, не въдалось добросовъстно или ухищренно дания, возбуждало презрительные отзывы другихъ и не обращало манакого вниманія даже самихъ чуткихъ стражей русскаго просвів-менія. Работа Візлинскаго и его воодушевленной мысли, искавшей постоянно идеаловъ нравственности и высокаго, философскаго разръпенія задачь жизни, — эта работа не уколкала, покуда самъ опъ числимся скромно въ рядахъ русскихъ второстепенныхъ подцензурших писателей и журнальныхъ сотрудниковъ. Для тогдашияго ценпримо въдоиства первостепенными писателями долгое время были только одни редакторы журналовъ — Сенковскій, Гречъ, Вулгаринъ, - исключенісить Пушкина и Гоголя, слишкомъ уже ярко выступавпихъ впередъ. Чрезвычайнымъ счастіемъ должно считаться то, что гогданияя цензура не угадала въ Вълинскомъ на первыхъ порахъ ъралиста, который, подъ предлогонъ разбора русскихъ сочиненій, нять единственно исканість основь для трезваго мышленія, спобнаго устроить разумнымъ образомъ личное и общественное сущепьованіе. Впоследствін она распознала въ немъ вліятельнаго писаиля и всембрно старалась не допускать примънсије его вдей въ эторическимъ лицамъ и современности, но и при этомъ способъ в чиманія діятельности Бірлинскаго она отчасти все-таки продолтла считать его, съ голоса «Свверной Ичелы», за человвка, прозводящиго преимущественно малононятную, туманную ченуху, ко-грая можетъ быть тернима по самой дикой своей оригинальности, **памовясь безвредной тамъ болае, чанъ сильнае и подробнае вы-** бодной мысли и родинь. Можно уподобить это состояніе значител пому водному бассейну, въ которомъ будущіе ріжи и потоки мирі текуть вийсті до той поры, когда геологическій перевороть не ра ділить ихъ и не откроеть имъ пути въ противоположных сторон Вілинскій именно быль тімъ подземнымъ огнемъ, который ускори. этотъ переворотъ.

Не мудрено, если придетъ кому-инбудь въ голову спросил стоить ни такъ долго останавливаться на журнальной статейкъ, совствить свободной отъ противоржній и, вдобавокт еще, ст опр дъленіями, отъ которыхъ потомъ отказался самъ авторъ ея. В просъ легко устраняется, если вспомнить, что статья произвела в обычайное впечатявніе, какъ первый опыть ввести исторію сам культуры нашего общества въ оцфику литературныхъ періодов Нужно ли говорить, какъ она-была принята молодыми умами 1 Петербурга, сберегавшими себя оть заговора противъ литератур устроивавшагося передъ ихъ глазами? Для нихъ она упраздия. множество убъжденій и представленій, вынесенных в изъ школы. Пр тестующій характоръ статьи въ этомъ отношеніи быль очень ясег не только для тахъ корифеевъ партін «Вибліотски для Чтенія о которыхъ мы говорили, но и людямъ соглашавлимся со многиз изъ ея положеній, по пе любившинь видіть безцеремонное кол баніе проданій, да еще на основаніи чужихъ философскихъ систем Таковы были Пушкинъ и Гоголь. И тотъ. и другой были оценен весьма благосилонно критикомъ, но сохраняли о немъ ночти вс жизнь упорное молчаніе. Первый, но свидътельству самого Вълні скаго; только посылалъ къ нему тайно книжки своего «Совремеі ника», да говорилъ про него: «Этотъ чудакъ почему-то очень мен любить > 1). Сужденіе второго мы сами слишали: «Голова не дк жинная, но у нея всегда чемъ вфрите первая мысль, темъ пелент вторая». Замъчаніе касалось выводовь, добываемыхъ Вълинския изъ своихъ эстетическихъ и философскихъ основаній и о приложені этихъ выводовъ прямо и непосредственно къ лицамъ и фактамъ рус скаго происхожденія, хотя тотъ же Гоголь указываль поздиве п статьи Вълинскаго о его собственной, Гоголевской двятельності какъ на образцовыя, по своей неотразниой истинъ и инстерскоя изложенію.

Итакъ, въ Петербургъ первая статья Вълискаго и всъ, слъ довантия за ней, нашли отголосокъ всего болъе въ тъхъ молодих учителяхъ русскаго языка и словесности, которые созывались дл казениыхъ замкнутыхъ училищъ и корпусовъ, разроставшихся, п

<sup>1)</sup> Пушканъ прибавлять, по тому же свидътельству, секретно и еще замъчава:

что у Бълинскаго есть чему поучиться и тъмъ, кто его ругаеть.

она производила въ чины и званія талантовъ людей, какъ гг. Масальскаго, Степанова, Тимоосева и др., и даже изсколько разъ жаловала просто въ генін, какъ, напримъръ, Кукольника и «барона Брамбеуса». Нынашнему времени трудно и понять ту степень негодованія, какую возбуждали брганы этой самозванной опеки надъ литературою въ людяхъ, желавшихъ сохранить, по крайней ифрф, за этимъ отделомъ общественной деятельности искоторый призравъ свободы и человъческаго достоинства. При отсутстви общественныхъ и молитическихъ интересовъ, бороться съ тріумвиратомъ становилось почти деломъ чести; по хорошему или дурному отношенію къ тріумвирату, стали узнавать въ нікоторыхъ кругахъ молодеживпрочемъ, очень немногочисленныхъ — правственныя качества людей. Вражда къ тріунвирату еще усилилась, когда оказались практическія следствія распоряженія, состоявшагося около того же времени,вовсе не допускать соперинчества журналовъ и теривть одни уже существующія изданія, что приравияло органы тріумвиратовъ къ винфиния концессиять жельзных дорогь, съ гарантіей правительства. Прівздъ Велинскаго быль, какъ сказано, особенно важень тип, что возвищаль новую попытку бороться съ литературними концессіонерами, посл'я трехъ неудачныхъ попытокъ: двухъ въ Москвъ, предпринятыхъ сперва «Телескопомъ», а затъмъ «Московскимъ Наблюдателемъ, - журпаломъ, даже и основаннымъ именно сь этою целью, въ 1835 году 1). Третья, въ Петербурге, взята была на себя «Современникомъ» Пушкина — и тоже безуспъшно. Съ новымъ правиломъ о журналахъ, казалось, все походы противъ откупщиковъ общественнаго мибнія должны были прекратиться. Правило это очень походило на поздивищее распоряжение относительно раскольниковъ, которимъ дозволялось сохранять свои стария часовни и молельни съ строгимъ запрещеніемъ воздвигать новыя около нихъ, но разнилось отъ него тъмъ, что тогданиее цензурное въдомство признало возможнымъ допустить оффиціальное подновленіе старыхъ литературныхъ часовень, чего раскольники не могли дъ-зать съ своими иначе, какъ тайно или съ подкупомъ. Въ это вреия А. А. Краевскій, тогда еще сравнительно молодой человъкъ, зсильно добивался возножности очистить себъ ивсто въ ряду журазлыных концессіонеровъ эпохи, и это — надо сказать правдуне по одному ясному матеріальному разсчету, но и по правственчивь побужденіямь: противопоставить злой вооруженной силь дру-

<sup>1)</sup> Для поддержанія этого изданія, Гоголь приняль на себя роль пронагандиста в собираль подписки со всіхъ своихъ знакомихъ въ Петербургів — и, прибавинътрезвичайно настойчиво в энергично. Каждий изъ насъ долженъ быль нифть в нифль

гую, тоже вооруженную силу, но съ иными основаніями и цізлями. Онъ принялся искать редакторскаго вресла для себя по всемъ сторонамъ и притомъ съ выдержкой, упорствомъ и твердостью, действительно замвчательными, плодомъ которыхъ было появление сперва «Литературныхъ Прибавленій въ Русскому Инвалиду», подъ его редакціей (дипломъ на издательство пріобретень биль тогда известнымъ Илюпаромъ у довольно мелочного, янтраго и скупого старика Воейкова), въ которыхъ, какъ извъстно, участвовалъ и Бълинскій. Затемъ, въ 1838 году, А. А. Краевскій открыль и перскупиль право на возобновление «Отечественныхъ Записовъ», у извъстнаго II. Свиньина, прямо уже отъ своего имени, и, по сдълкъ съ пимъ, не покидая еще «Прибавленій», объявиль о выходъ своего старо-новаго журнала, сделавшагося вскоре настоящей его собственностью. Кличь, который опь тогда кликнуль, сь одобренія самыхъ ночетныхъ лицъ петербургскаго литературнаго міра, ко всімъ, еще не подпавшинъ подъ позорное иго журнальныхъ феодаловъ, отличался и очень вършинъ разсчетонъ, и признаками полпой ис-. кренности и благонамфренности. «Если и ота новая попытка, говорияъ повый издатель своимъ сторонивкамъ-противоноставить оплотъ Смирдинской кликф не удастся, то всемъ намъ останется только сложить руки и провозгласить ея торжество».

Въдный А. Ф. Сипрдинъ и не воображалъ, что дастъ свое имя для обозначенія очень неблаговиднаго литературнаго періода. Честный, добрый, простодушный, по безъ всякаго образованія, опъ соблазнился, получивъ неожиданно довольно большое состояніе отъ кингопродавца Плавильщикова, ролью двигатели современной литературы и просивщения. Кажется, самый этотъ капризъ былъ еще подсказанъ ему нетербургскими журналистами, которие и завладели честолюбивымъ торговцемъ для своихъ целей. Мецепатъ-книгопродавецъ, подавленный ихъ авторитетомъ, смотрелъ на весь міръ ихъ глазами, расточалъ деньги по ихъ совътамъ и говорилъ на своемъ купеческо-приказчичьсть изыкъ про всякое начипаніе, про всякій талантъ, неискавшій покровительства тріунвиратовъ: «это паши недоброжелатели-съ!> А что дълали съ нимъ его доброжелатели, усивышіе потомъ разорить и еще одного такого же импровизиро-ваннаго двигателя русскаго просывщенія, книгопродавца Плюшара, издателя «Эпциклопедическаго Словаря» — почти исимовърно. Я самъ слышаль изь усть Смирдина, уже вь эпоху его бъдности и нечальной старости, разсказъ, какъ, по совъту Булгарина, онъ предприняль паданіе, кажется, «Живописнаго Путешествія по Россіи», тексть котораго долженъ быдъ составить авторъ «Вижигина», взявшійся также и за заказъ граворъ въ Лондонъ. Въ этомъ смислъ заклюона производила въ чины и званія талантовъ людей, какъ гг. Масальскаго, Степанова, Тимооеева и др., и даже изсколько разъ жаловала просто въ генін, какъ, напримъръ, Кукольника и «барона Брамбеуса». Нынфшнему времени трудно и понять ту степень негодованія, какую возбуждали брганы этой самозванной опеки надъ литературою въ людяхъ, желавшихъ сохранить, по крайней ифрф, за этимъ отделомъ общественной деятельности некоторый призравъ свободы и человъческаго достоинства. При отсутстви общественныхъ и политическихъ интересовъ, бороться съ тріунвиратомъ становилось почти деломъ чести; по хорошему или дурному отношению къ тріумвирату, стали узнавать въ нікоторых в кругах в молодеживпрочемъ, очень немногочисленныхъ-правственныя качества людей. Вражда къ тріунвирату еще усилилась, когда оказались практичесвія слідствія распоряженія, состоявшагося около того же времени,вовсе не допускать сопериичества журналовъ и теривть один уже. существующія изданія, что прправияло органи тріумвиратовъ къ нипътиять копцессиять жельзнихъ дорогь, съ гарантией правительства. Прівздъ Велинскаго быль, какъ сказано, особенно важенъ тичь, что возвищаль новую нопытку бороться съ литературными концессіонерами, посл'в трехъ неудачныхъ попытокъ: двухъ въ Москвъ, предпринятыхъ сперва «Телескопомъ», а затъмъ «Московскимъ Наблюдателемъ», — журналомъ, даже и освованнымъ именно съ этою целью, въ 1835 году 1). Третья, въ Петербурга, взята была на себя «Современникомъ» Пушкина — и тоже безуспфино. Съ новымъ правиломъ о журналахъ, казалось, всъ походы противъ откупщиковъ общественнаго мивнія должны были прекратиться. Правило это очень походило на поздивишее распоряжение отпосительно раскольниковъ, которимъ дозволилось сохранять свои старыя часовни и молельни съ строгимъ запрещениемъ воздвигать новыя около нихъ, но разнилось отъ него темъ, что тогданиее цензурное въдомство признало возможнымъ допустить оффиціальное подновленіе старыхъ литературныхъ часовень, чего раскольники не могли дфлать съ своими иначе, какъ тайно или съ подкупомъ. Въ это вре-А. А. Краевскій, тогда еще сравнительно молодой человъкъ, усильно добивался возможности очистить себъ мъсто въ ряду журнальнихъ концессіонеровъ эпохи, и это — надо сказать правдупо одному ясному матеріальному разсчету, но и по правственнымъ побужденіямъ: противоноставить злой вооруженной силв дру-

э) Для поддержанія этого изданія, Гоголь приняль на себя роль пропагандисть и собираль подписки со всёхь своихь знакомихь въ Петербургё — и, прибавань презвычайно пастойчиво и энергично. Каждый изъ насъ должень быль пасть и иметь и кажатерого "Паблюдателя".

Въ Петербургв овазался съ «Отечественными Записками» великолешный складъ для ученыхъ и беллетристическихъ статей, но не овазалось ученія и доктрини, которихъ можно било би противопоставить развратной проповёди руководителей «Вибліотски для Чтевія» и «Съверпой Пчелы». Приходилось оглянуться на Москву, которая дъйствительно была тогда средоточіемъ нарождавшихся силь и талантовъ, сильно работала надъ философскими системами, донскиваясь именно принципова, и не боялась ни резкаго полемпческаго языка, ни даже отвлеченнаго, туманнаго склада рѣчи, лишь бы выразить вполив свою мысль и нажитое убъждение. Разсказывають, что при вмени Вълинскаго, предложеннаго И. И. Па-наевымъ, г. Краевскій не узпалъ въ немъ того человъка, который долженъ былъ положить основание его общественному значению 1). Обстоятельства принудили его все-таки обратиться къ 13-инискому, но когда критикъ нашъ, послъ предварительныхъ переговоровъ, весьма облегченныхъ твиъ, что, покинувъ «Московскій Наблюдатель» 1838 года, Виссаріонъ Григорьевичъ не пиблъ уже органа для своей деятельности и средствъ для существованія, когда, говоримъ, вритикъ явился въ Петербургъ въ 1839 году на постоянное жительство и сотрудинчество но журналу г. Праевскаго, общее предчувствіе въ кругь противниковъ петербургскаго направленія было, что вибств съ никъ явилась на сцену и живая инсль, и достаточно сильная рука, чтобъ подорвать или по крайней жарт ослабить, наконецъ, союзъ литературныхъ промишленниковъ, въ сущности презиравшихъ русское общество со встан его стремленіями, надеждани и съ его претензінии на устройство своей духовной XII3HII.

## III.

Подъ впечативніемъ страстнаго тона философскихъ статей Вълинскаго и особенно пыла его полемики, позволительно было представлять его себв человъкомъ исключительныхъ мивий, не териищимъ возраженій и любящимъ госнодствовать надъ бесвдой и собесвдинками. Признаюсь, я былъ удивленъ, когда на вечерв А. А. Комарова мив указали подъ именемъ Вълинскаго на господина небольшого роста, сутуловатаго, со вналой грудью и довольно большими, задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и какъто сразу, по-товарищески, отвъчалъ на привътствія новыхъ знакомящихся съ нимъ людей. Разумівется, я уже не встрътиль ни ма-

 <sup>&</sup>quot;Антературныя Восноминанія" П. Пандева. "Современникъ", 1861, февраль.

лъйшаго признава внушнтельности, позированія и диктаторскихъ замашекъ, какихъ опасался, а, напротивъ, можно было подифтить у Бълинскаго признаки робости и застъпчивости, не допускавшіе, однакожъ, и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрошенных услугахъ какого-либо торопливаго доброжелателя. Видпо было, что подъ этой оболочной живетъ гордая, пеукротимая натура, способная еженинутно прорваться паружу. Вообще, неловкость Вфлинскаго, спутанныя рачи и замешательство при встрече съ незнакомими людыми, надъ чамъ онъ самъ такъ много смаялся, нивли, какъ вообще и вся его персона, мпого выразительнаго и внушающаго: за ними постоянно систился его благородный, цельный, независимый характеръ. Мы наслышались объ увлеченіяхъ и порывахъ Вълинскаго, но пикакихъ порывовъ и увлеченій, въ этотъ первый вечеръ моего знакомства съ нимъ, однакожъ, не произошло. Онъ быль тихъ, сосредоточенъ и — что особенно поразило меня быль грустень. Поваряя теперь тогданнія впечатланія этой встрачи всьмъ, что было узнано и разследовано впоследствін, могу сказать, съ полимиъ убъжденіемъ, что на всёхъ мысляхъ и разговорахъ Вълинскиго лежилъ еще оттъновъ того философско-романтическиго пастроенія, которому онъ подчинился съ 1835 года, и которому безпрерывно следоваль въ течени четырехъ леть, несмотря на то, что сифииль Шеллинга на Гегеля въ 1836 – 37 году, распрощался съ иллюзіями отпосительно своеобычной красоты старорусскаго и вообще простого, испосредственнаго быта, и перешель въ обожанію «разума въ действительности». Онъ переживаль теперь последние дни этого философско-романтическаго настроенія. Въ тотъ же описываемый вечеръ зашелъ разговоръ о какой-то шутовской руконисной повъсти, на манеръ Гофмана, сочиненной для потъхи, сообща, нъсколькими лицами, на сходкахъ своихъ, ради время-убіснія: «Да», сказалъ серьёзно Бълинскій, «по Гофманъ — великое имя. Я ни-Я нпкакъ не понимаю, отчего досель Европа не ставитъ Гофиана рядомъ съ Шекспиромъ и Гёте: это — писатели одинаковой силы и пдного разряда».

Положеніе это и другія, ему подобныя, Бълинскій унаслъдоваль и сберегаль еще отъ эпохи Шеллинговскаго созерцанія, по которому, какъ извъстно, вифшній міръ быль причастникомъ великихъ эволюцій абсолютной идеи, выражая каждымъ своимъ явленіемъ иннуту и ступень ея развитія. Оттого фантастическій элементъ Гофмановскихъ разсказовъ казался Бълинскому частицей откровенія или разоблаченія этой всетворящей абсолютной идеи и имълъ для него такую же реальность, какъ, напримъръ, върное изображеніе характера, или передача любого жизпеннаго случая. Въ описываемум

эпоху онъ уже принадлежаль всецью Гегелю и вполив усвоиль идеалистическій способъ пояснять себъ явленія окружающей жизни, людей и событія, что сообщало посліднимъ почти всегда въ его устахъ какой-то грандіозный характеръ, часто вовсе ими не заслуживаемый. Мелкихъ практическихъ изъясненій какого-либо факты и вопроса, мало-мальски выходящихъ изъ обывновеннаго порядка дълъ, опъ вообще не любилъ и только по особенному настроенію, припятому на себя преднамъренно въ Петербургъ — еще принуждалъ себя выслушивать ихъ. Конечио, уже не было у него прежней сще подавней, восторженной проповеди о «великих» тайнахъ жизни», безь предпувствія и разгадки которыхь, существованіе человька сдълшлось бы, какъ онъ говорилъ, не только безцавтныме, но положительно величайшимъ бъдствіемъ, какое только можно было бы придумать для земнорожденныхъ, но все-таки нашъ русскій міръ, наша современность, даже некоторыя подробности жизни отражались не иначе въ его умв, какъ въ иногозначительныхъ образахъ, въ широкихъ обобщеніяхъ, поражавшихъ и увлекавшихъ новыхъ его слушателей. Вообще кории всехъ старыхъ, уже пройденныхъ имъ ученій и созерцаній еще жили въ немъ, по прівздів въ Петербургъ, тайной жизнію и при всякомъ случав готовы были пустить ростки и отпрыски и дъйствительно но временамъ оживали и цвъли полнымъ цвътомъ, что составляло, посреди запятаго нетербургскаго круга пріятелей Вълинскаго, величайшую его оригинальность и вивств неодолимую притягивающую силу.

Замвчательнымъ и волнующимъ явленісмъ того времени были посмертныя сочиненія Пушкина, которыя постепенно обнародываль «Современникъ» 1838 — 39 гг., перспедшій въ руки П. А. Илетнева. Они — эти чудиня сочиненія — находили въ Белинскомъ такого, можно сказать, энтузіаста и цінителя, какой еще и не выпадаль на долю нашего великаго поэта. Это уже быль но тоть Вълипскій, который года за два передъ тъмъ и еще при жизни Пушкина считаль двятельность его завершенной окончательно и въ последнихъ произведеніяхъ его хотя и распознаваль еще печать геніальности, но заявляль, что опи все-таки ниже того, что можно было бы ожидать оть его пера. Теперь это было поклонение безусловное, почти паденіе въ прахъ предъ святиней открывающейся поэзія и передъ вызвавшимъ ее художникомъ. Особенно «Каменный Гость> Пушкина произвель на Вълипскаго впечатление подавляющее. Онъ объявиль его произведениемь всемірнымь и колоссальности пензифримой. Когда, одпажды, ны просили его разъяснить, въ чемъ заключается міровое значеніе этого созданія и что онъ еще нахотчтъ въ немъ, кромъ изящества образовъ, поэтичности характеровъ

и удивительной простоты въ веденіи очень глубокой драмы, Вёлинскій принялся за развитіе той мысли, что все это составляеть только вившнее отличіе произведенія, а подземные ключи, которые подънниь бізгуть, еще важиве всімь видикой и осязаемой его красоты. Онь принялся за разслідованіе этихъ живыхъ источниковъ, но на первыхъ же положеніяхъ остановился и сконфуженно проговориль: «Воть этакъ со иной всегда случается: примусь за дізло, занесусь Богъ знаетъ куда, да и опізнусь; не знаю, какъ выразить мою мысль, которая, одпакожъ, для меня совершенно ясна». Опъ махнуль рукой и отошель въ сторону съ какинъ-то болізненнымъ выраженість лица. Видимо, что въ драмів Пушкина заключено было для пего новое откровеніе одной изъ «тайніз жизии», передача одной изъ «субстанцій», какъ тогда говорили, человіческаго духа, но онъ не могъ или не хотіль разъяснять ихъ передъ кружкомъ, мало приготовленнымъ къ пониманію отвлеченностей и не отличавщимся наклопностію къ «философированію».

Со второй или третьей встрачи, однако же, обнаружилась у Бълинскаго та добродушная всселость, порождаемая иногда самыми незначительными, даже пошлыми, выходками собесёдниковь (что несколько удивляло меня спачала), которая соединялась у него всегда съ какой-то незлобивой, почти ласковой насифшкой, съ легкой ироніей надъ самийъ собой и надъ окружающими. Совеймъ тёмъ, сквозь тогдашиюю веселость Вълинскаго пробивалась все та же неотстранимая черта грусти. Онъ былъ печаленъ и не случайно, а какъ-то глубоко, задушевно. Пе нужно было быть ни особенно зоржинъ наблюдателемъ, ни особенно искуснымъ психологомъ, чтобы открыть эту черту: она бросалась въ глаза сама собою. И немудрено было ей оказаться: Вълинскій переживалъ страданія своего разрыва съ московскими друзьями, только-что обпаружившагося передъ его отъйздомъ изъ Москви, и долженъ былъ чувствовать сильнъе горечь этого обстоятельства теперь, въ чужомъ, незнакомомъ и непривѣтливомъ городъ, куда былъ занесенъ.

Очень несправедливо думали и думають еще теперь, что Бѣлинскому было ни почемъ разставаться съ людьми и мѣнять свои отношенія къ пимъ на основаніи различія убѣжденій. Многіе тогда говорили и чуть не печатали, что онъ находиль даже въ томъ выгоду, ибо всякій такой повороть открываль истокъ его жолчи, злобнымъ инстипктамъ, наклонности къ ругательству и оскорбленію, которыя иначе задушили бы его! Могу сказать наоборотъ, что рѣдко встрѣчалъ я людей, которые бы болѣе страдали, будучи принуждены, вслѣдствіе неотстранимаго логическаго и діалектическаго развитія своихъ принциновъ, удаляться въ другую сторону отъ прежнихъ еди-

немышленивковъ. Онъ долго мучился, какъ потерей стараго созерцанія, такъ и потерей старыхъ собесёдниковъ, и только убъжденный въ законности поворота, инъ сдёланнаго, освобождался отъ всёхъ тревогъ и пріобрёталъ новое качество, именно гитевъ и негодованіе противъ тёхъ, которые его задерживали на пути и напрасно занимали собой.

Первая попытка — критически отпестись въ составнымъ частямъ московского интеллектуального кружки и подвергнуть его анализу, за которынъ должно было последовать отделение различныхъ элементовъ, его составлявшихъ, положена, какъ извъстно, Бълинскимъ въ статъв подъ заглавіемъ: «О критивъ и литературныхъ мивніяхъ «Московскаго Наблюдателя», помъщенной въ «Телескопъ», 1836 года... Статья эта въ полемическомъ смысле припадлежитъ къ мастерскимъ вещамъ автора и по пркости красобъ и резкой очевидности доводовъ не утеряла, кажется памъ, отпосительной запимательности и донычв. Вся она обращена была противъ главнаго критика «Московскаго Наблюдателя» С. П. Шевирева, у котораго онъ спрашиваль, чему онъ въруеть, какіе законы творчества и основныя философско-эстотическія или эонческія идеи исповъдуетъ,--разоблачая при этомъ его дилеттантскія отношенія ко всемъ художественнымъ теоріямъ, его обычай сочинять законы и правила вкуса для оправданія личныхъ своихъ вкусовъ, для потворства немпогимъ избранникамъ изъ своихъ близкихъ знакомихъ и для указанія обществу цълей въ ифру случайныхъ и инполетныхъ своихъ ощущений. Особенно возставаль Вълинскій противь мивній критика о важности свытскаго и свытско-дамскаго элемента въ литературф, которые. могли, будто бы, возвысить ся топъ и благородиве устроить жизнь самихъ авторовъ: «Художественный и соътскій», — отвачаль Вълипскій, «не суть слова однозначащія, такъ же какъ дворянинъ п доступна для людей благородний человъкъ... Художественность всталь сословій, всталь состояній, если у нихъ есть умъ и чувство; свътскость есть принадлежность касти... Свътскость еще сходится съ образованностью, которая состоять въ знаніи всего по-немпогу, по никогда не сойдется съ наукою и творчествомъ» и т. д. Статья эта вообще была одна изъ тъхъ, которыми обыкновенио порываются старые связи и союзы, и отыскиваются повые. Для насъ въ ней особенно важин ся грустныя заключительныя строки: «Всего досадиве, что у насъ не умеють еще отделять человека отъ его ичели, не могутъ повърить, чтобъ можно било терять свое время, убивать здоровье и наживать себы врагот изъ привязанности къ какомупибудь задушевному мивнію, изъ любви къ какой-нибудь отвлеченной, а не житейской мысли. По какая нужда до этого!> Онъ доканчивамъ инсль восилицаніемъ: «Но если имсли и убъжденія доступны вамъ, идете впередъ и да не совратятъ васъ съ пути ни разсчеты эгонзма, ни отношенія личныя и житейскія, ни боязнь непріязни людской, ни обольщенія пхъ коварной дружбы, стремящейся възавъть своихъ ничтожныхъ даровъ лишить васъ лучшаго вашего совровища — независимости мифпія и чистой любви къ истинт!»

Или ин сильно ошибаемся, или въ этомъ торжественномъ тонъ исно слышится глубокій, искрепній вопль души, паканунть потери иткоторыхъ изъ ея симпатій и убъждепій. Слова Бълинскаго содержать еще и пророчество. Предчувствіе не обмануло Бълинскаго. Разрывъ съ журналистомъ и его партіей не напрасно казался ещу отважнымъ дъломъ: съ той минуты и до пынъшней включительно, Бълинскому составлена была въ извъстныхъ кругахъ репутація диваго ругателя всего почтеннаго в достойнаго на русской почвъ, и попытки удержать за нимъ эту репутацію въ потомствъ возобновляются еще отъ времени до времени и па нашихъ глазахъ.

Одновременно съ этой статьей, давшей сильный толчокъ къ разрушенію мирно процвътавшей общины друзей науки и просвъщенія, было еще ипожество и другихъ случаевъ, при которыхъ Вълинсвій открыто искаль боя и враговъ. Такъ, онъ не задумался назвать и «Современникъ» Пушкина, со второй его книжки, «Петербургскимъ Московскимъ Наблюдателемъ> по паправленію, замътивъ въ немъ (справедливо или пътъ, - это другой вопросъ) поползновение искать себъ читателей и судей въ одномъ, исключительно свътскомъ кругъ. **Иоминя, что эта полемика съ «Современникомъ» произвета въ то** время почти столько же тума и негодованія, какъ и замітка его, нъсколько прежде сдъланная и изъ другого круга представленій. Въ статъв «О повъстяхъ Гоголя», именно, онъ проводилъ имсль, даже и не имъ первымъ высказанную, что всв древнія и новыя эпическія поэмы, выкроепныя по образцу «Иліады», какъ-то «Эпеида», «Освобожденный Іерусалимъ», «Потерянный Рай», «Россіада» и проч., заивняя живыя, неподдельныя народныя преданія и представленія другими, хитро придуманными на ихъ манеръ, принадлежать къ фальшивому роду произведеній. Ужасъ всего стараго педагогическаго міра нашего, видівшаго въ этой замінти образець непростительнаго невыжества и сресь, превышающую воображение, былъ невиразимъ. Такъ, критикъ нашъ илодилъ вокругъ себя враговъ со встхъ сторонъ, число которыхъ увеличивалось почти съ каждой новой его замьткой о старыхъ нашихъ писателяхъ, нескодной съ традиціоннымъ ихъ попиманіемъ. Корыстный представитель этихъ недовольныхъ, Вулгаринъ, говорилъ въ «Съверной Ичелъ», что при способъ сужденія, обнаруженномъ Бълинскимъ, ему нипочемъ докавать накое угодно положеніе, хоть слідующее: «измина—дімо не худое и даже похвальное», и по пунктайь, нивішний тогда почти уголовный характерь, упрекаль критика, оппраясь на его сужденія о Державині, Карамзині, Жуковской и Батюшкові, ві тіхъ же чувствахь, какія питають къ Россіи «завистливне иностранцы, ренегаты, безбородые юноши и проч.». Воть какъ поставлень быль литературный споръ съ перваго же раза и велся отчасти ві этомъ смыслі, конечно, съ меньшей наглостью, даже и людьми, нисколько пе похожими на Булгарина съ братіей.

Теперь дёло стало еще серьёзнёе, потому что Бёлинскій совершиль разрыкь съ тёмъ кругомъ людей, которому принадлежаль всецёло, съ тёми немногими, мыслію которыхъ дорожиль, и удаленіе отъ которыхъ грозило ему дёйствительнымъ одиночествомъ на свётё.

Что же произошло между ними?

Оставляя въ сторонъ житейскія размольки съ друзьями, о которыхъ имбемъ и особенно тогда имбли очень смутное, неполное представленіе, обращаюсь къ разноголосицъ ихъ въ области мисли. Когда Вълинскій напечаталь въ томъ же 1839 году, въ журналь г. Прасвскаго, еще не будучи его признашнымъ постояннымъ сотрудникомъ, двъ свои статьи-рецензію на внигу О. Н. Глинки «Очерки бородинскаго сраженія» и библіографическій отчеть о «Бородинской годовщинъ > Жуковскаго, -- сму казалось, что онъ выводиль только логически-правильния заключенія изъ основаній Гегеля и непогрвшительно прилагаль ихъ къ живому факту, къ двиствительности. Надо сказать, что, съ первыхъ же попытокъ Бълинскаго къ опредъленію значенія дыйствительности въ жизни народовъ и лицъ, онъ встротиль уже противоречие у иногихъ изъ своихъ друзей, которые не желали уступать свое право — быть настоящими и несмішяемыми судьями всякой дійствительности. Но разгорівшійся споръ этотъ виросъ до разрива связей только въ 1839 г. Интомъ этого года, какъ извъстно, Москва, а съ ней и Россія праздновали великое натріотическое торжество — открытіе намятника на Вородинскомъ поль. Одумевление было общее и понятное. Летомъ 1839 г., я случайно находился въ Москве и смотрель изъ оппа одного родственнаго мев дома противъ Кремля на великольший крестный ходъ, огибавшій Кремлевскія стіни, въ замкі котораго шель интрополить Филареть, сопровождаемый самимь императоромъ Пиколаемъ Павловичемъ верхомъ. Это било кануномъ, такъ сказать, торжественнаго открытія Бородинскаго памятника въ августъ того же года. Горячихъ толковъ и натріотическаго одушевленія и теперь уже возинкало иного, но я, тогда еще незнакомый ин съ одной эт личностей описываемаго круга, не могъ и предчувствовать, какъ

сильно будуть меня занимать впоследствие отголоски этого собития. Бълинскій вздумаль воспользоваться откритіемъ Бородинскаго наматника, чтобы подтвердить инъ нудрость гегелевскиго афоризии о тождествъ дъйствительности съ истиной и разумностью, и разобрать всю плодотворную сущность этого положенія. Но съ первой же статьи оказалось, что излишнее обобщение правила можеть повести къ необычайнымъ выводамъ, къ ръзкимъ, чудовищнымъ заблужденіямъ. Папрасно друзья Вълинскаго представляли ему всв опасности прямого, непосредственнаго приложенія его иден къ русскому міру, --Ефинискій, пикогда не знавшій сділокь, уступокь, добровольныхь умолчаній, еще болье укрыплялся ихъ сомивніями. Надо было или бросить всю теорію, или оставаться ей вернымъ до конца. Ему показалось даже, что наступила именно та минута, о которой онъ говорилъ прежде, когда для спасенія своей мисли и совъсти слъдуетъ решиться на откровенный разрывъ съ саныни близкани людьни. Повойный Г. разсказываеть въ своихъ извъстныхъ запискахъ, что передъ отъездомъ Велинскиго изъ Москвы произошелъ между ними споръ, за воторимъ последовало охлаждение между друзьями, дливнееся, впрочемъ, недолго, всего годъ, и кончившееся полнымъ примиренісиъ ихъ, такъ какъ первая причина ссоры -- слопов прославленіе действительности — признано било саминь его исповедниконь, Бълинскимъ, философской и жизпенной ошибкой. Описаніе спора у Г. очень любопытно: опо показываеть первыя бури, возникшія у насъ отъ столкновенія системъ и отвлеченностей съ явленіями реальнаго характера. Г. добавлялъ еще свое описание изустно следующей подробностію. Когда черезъ годъ послів перваго столкновенія съ Бізлинскимъ Г. явился въ Петербургъ, онъ уже засталъ тамъ Бълинскаго и, разунается, возобновиль съ нимъ распрю по поводу новаго ученія. И тогда-то, разсказываль Г., въ жару спора со мной, Бълинскій прибъгъ къ аргументу, прозвучавшему необычайно дико въ его устахъ: «Пора нашъ, братецъ», сказалъ критикъ, «посмирить нашъ бъдный, запосчивый умишко и признаться, что онъ всегда окажется дрянью передъ событіями, гдв двиствують народы съ свонин руководителниц и воплощенная въ нихъ исторія». По сознанію Г., опъ примель въ ужась оть этихь словь, тотчась же замолчалъ и удалился. Ему показалось, что тутъ совершилось какое-то отречение отъ правъ собственнаго разума, какое-то непонятное и чудовищное самоубійство. Черезъ два года, но возвращенія изъ второго своего удаленія въ Новгородъ снова въ Петербургъ (1841 г.), Г. уже не имъль пикакихъ поводовъ препираться съ критикомъ: они были одинаковаго мивнія по всемъ вопросамъ.

Вълинскій явился такинъ образонь въ чуждый ену городъ съ

глубовой раной въ сердцъ; но онъ все еще надъялся перенначить взгляды друвей на свои теоріи, высказавъ всю свою имсль по поводу спорнаго пункта, ихъ разделявшаго. Въ начале 1840 года, онъ явился со статьей «Менцель, критикъ Гете», въ «Отечественныхъ Запискахъ». Здесь, подавляя всей силой своего презрънія мелкіе умы, кропотливо разбирающіе, что имъ правится и что не правится въ историческихъ явленіяхъ, Візлинскій создаетъ особыя права, преимущества, даже особую правственность для великихъ художниковъ, великихъ закоподателей, геніальныхъ людей вообще, которые уполномочиваются изобратать особыя дороги для себя и вести по нимъ современниковъ и человъчество, не обращая бинманія на ихъ протесты, волненія, симпатін и антинатін. Белфе полной нодчиненности въ пользу привилсгированныхъ избранниковъ судьбы нельзя было проповідывать. Надо признаться, статья была живо и мастерски написана, содержала много верпыхъ заметокъ, сделавшихся теперь уже общинь достояніснь, какъ, напр., заньтку о мівткости и исторической важности пеносредственнаго чувства въ народныхъ нассахъ, о родственной связи, существующей всегда нежду стремленіями великихъ умовъ и инстинктами общества и проч.; но все это не ослабляло ея основного софистическиго характера, отстранявшаго вполив критическія отношенія въ общественнымъ вопросамъ. Все это продолжалось недолго. Къ осени того же 1840 г. Вълинскій уже вышель изъ чада направленія, грозившаго остановить всю его дъятельность, съ самаго начала.

У нась уже много было писано объ этой эпох'й развитія В'ілинскаго и съ различными цфлями. Предметъ, однакоже, не вполиф умснень, потому, можеть быть, именно, что слишкомъ много занималь изследователей и раздуть ими до размеровь важнаго исихическаго явленія, чему способствоваль и самь Велинскій своими последующими объяспеніями. Въ сущности это быль просто безграничный оптимизма, которымь разрашалась Гегелева система часто и не на одной только русской почвъ; она уже и въ другихъ странахъ, какъ въ Пруссін, производила та же результати, по присущему ей двоесмыслію. Стоило только поиять ся опредаленіе государства, какъ конкретнаго явленія, въ которомъ отдівльная личность должна найти полное усновоение и разрашение встать своихъ стремленій, - стоило только, говоримъ, понять это опредаленіе въ одномъ известномъ, оффиціальномъ смысле, чтобы придти въ обоготворенію всякаго существующаго порядка дель. Первымъ руководителемъ Вълинскаго однакоже на этомъ поприщъ самообольщения быль въ то время не кто иной, какъ пыпфиній \*) отрицатель всехъ, досель

<sup>\*)</sup> Умершій во время составленія этихъ замівтокъ.

извъстныхъ, формъ правленія, врагъ сложившихся окончательно государствъ, обособившихся національностей, ихъ общественныхъ преданій и върованій — М. В. Первая ошибка въ діалектической выкладкъ, о которой говоринъ, и которая имъла такія послъдствія для Бълинскаго, принадлежить ему.

## IV.

Есть причины полагать, что годы 1836-37 были тяжелыни годани въ жизни Бълинскаго. Мив довольно часто случалось слишать отъ него потомъ намёки о горечи этихъ годовъ его молодости, въ которие онъ переживалъ свои сердечния страданія и привязанности, но подробностей о тогдашией своей жизни онъ никогда не выдаваль, какъ-бы стыдясь своихъ рань и ощущеній. Только однажды онъ заметиль, что ему случалось, какъ нервному ребенку, проплакивать по цалых почамь воображаемое горе. Можно было полагать только, что горе это било не совстви воображаемое, какъ онъ говорилъ. Замъчательно, что эти оба года, исполнениые для него жгучихъ волисній и потрясеній, были употреблены ниъ вифств съ тъпъ еще и на запятіе философіей Гегеля, которая нашла особенно краснорфинваго проповъдника въ лицъ одного молодого отставного артиллерійскаго офицера, выучившагося скоро и хорошо по-нъмецки ж вообще обладавшаго способностію къ быстрому усвоенію языковъ и отвлеченимът понятій. Это былъ М. Б. Въ 1835 году онъ не зналъ, что делать съ собой и наткиулся на Н. В. Станкевича, который, угадавь его способности, засадиль за ивиецкую философію. Работа пошла бистро. В. обнаружиль въ висшей степени діалектическую способность, которая такъ необходина для сообщенія жизненнаго вида отвлечениимъ логическимъ формуламъ и для полученія изъ нихъ виводовъ, приложнимхъ въ жизни. Къ нему обращались за разрашениемъ всякаго темнаго или труднаго маста въ системв учителя, и Бълинскій гораздо поздиве, т.-е. спустя уже 10 летъ (въ 1846 г.), еще говориль мив, что не встрвчаль человъка болье Б. умъвшаго отстранять, такъ пли иначе, всякое сомпъне въ непреложности и благоленіи всехъ положеній системы. Действительно, никто изъ приходящихъ въ В. не оставался безъ удовлетворенія, многда согласнаго съ основними томами ученія, а иногда просто фиктивнаго, выдуманнаго и импровизированнаго самимъ комментаторомъ, такъ какъ діалектическая его способность, какъ это часто бываеть съ діалектикани вообще, не стіснялась въвыборі средствъ для достиженія своихъ цілей.

Кавъ бы то ни было, по только упосніє Гегелевскою философіей съ 1836 года было безифриое у молодого кружка, собравшагося въ Москвъ во ния велякаго германскаго учителя, который путемъ логическаго шествія отъ однихъ антиномій къ другимъ разрвшаль всв тайны мірозданія, происхожденіе и исторію всехь явленій въ жизни, вибств со всвии феноменами человическаго духа п Человъкъ, незпакомый съ Гегелемъ, считался кружкомъ сознанія. ночти-что несуществующимъ человъкомъ: отсюда и отчаянныя усилія многихъ, бъдныхъ умственими средствами, попасть въ люди ценою убійственной головоломной работи, лишавшей ихъ последиихъ признаковъ естественнаго, простого, непосредственнаго чувства и пониманія предметовъ. Кружокъ постолние сопровождался такими людьми. Вилинскій очень скоро сдилался въ немъ корифесмъ, выслушавъ основныя положенія логики и остетики Гегеля, преимущественно въ наложенін и вомисьтаріяхъ Б. Надо заметить, что последній возвъщаль ихъ, какъ всемірное откровеніе, сделанное человъчествомъ на-дияхъ, какъ обязательный законъ для мысли людской, котоисчернывають внолив безь остатка и безь возможности рую они какой-либо поправки, дополненія или изминенія. Следовало, или покориться имъ безусловно, пли стать къ нимъ синной, отказываясь отъ свъта и разума. Бълинскій, на первыхъ порахъ, и покорился имъ безусловно, стараясь достичь идеала безстрастного существованія въ сдухъ», подавляя въ себъ всь волисиія и стремлеція своей правственности и органической природы, безпрестапно падая и приходя въ отчанию отъ невозможности устроить себъ вполиф просифтленную жизнь, по указаціямъ учителя.

Дівло, конечно, не обходилось туть безь сильных протестовъ со сторони неофита. Даръ проникать въ сущность философскихъ тезисовъ, даже по одному намеку на нихъ, и потомъ открывать въ нихъ такія стороны, какія по приходили на умъ и спеціалистамъ дела-ототъ даръ поражалъ въ Велинскомъ многихъ изъ его философствующихъ друзей. Онъ не утерялъ его и тогда, когда, повипредался душой и тфломъ одному извъстному толкованію Гегелевской системы. Способность его становиться по временамъ къ • ней совершенно оригинальнымъ и независимымъ способомъ и заставила сказать Г., что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двухъ лицъ, хорошо попимавшихъ Гегелево ученіе, и оба эти лица не знали ни слова по-ифмецки. Однимъ изънихъ былъфранцузъ Прудонъ, а другниъ русскій — Вълипскій. Возраженія последняго на некоторые изъдогнатовъ системы иногда удивительно освъщали ея слабыя, схоластическія стороны, но ужо не могли потрясти выры въ пее и высвободить его самого изъ-подъ ся гнета.

Извъстно восклидание Вълинскаго, весьма характеристическое, которынь онь заявляль свое метніе, что для человтька весьма поворно служить только орудісив «всемірной идеи», достигающей черевъ него необходинаго для нея самоопределенія. Восклицаніе это можно перевести такъ: «Я не хочу служить только ареной для прогулокъ сабсолютной идеи» по мив и по вселенной». (провержения такого рода, какъ бы инполетны они ни были, конечно, не могли не раздражать его друга, В., не лишеннаго, какт всв проповъдники, деспотической черты въ характеръ. Впослъдствін образовались сильныя размольки, именю всявдствіе протестовъ Валинскаго, на которые учитель отвъчаль, съ своей стороны, весьма эпергично. Уже въ сороковихъ годахъ, говоря мив объ искусствъ, съ какимъ В. чивлъ бросать твиь на лица, которыхъ заподозраваль въ бунта противъ себя, Вълинскій прибавиль: «Онъ и до меня добирался.— Взгляните на этого Кассія», — твердиль онь монив пріятелянь, — «никто не слыхаль отъ него никогда никакой писпи, опъ не запомнилъ ни одного мотива, не проронилъ съ роду и случайно нивакой ноты. Въ немъ нътъ внутренней музыки, гармоническихъ сочетаній мысли и души, потребности выразить мягкую, жепственную часть человъческой природы. Вотъ какими закоулками добирался опъ до ноей души, чтобы тихонолкомъ украсть ее и унести подъ своей полой». Оба пріятеля, какъ извъстио, вилоть до 1840 года безпрестанно ссорились и также безпрестание инрились другь съ другомъ, по въ лъто 1836 г. они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда въ геченія 1836 г. Вълинскій, введенный въ семейство В., нашелъ тамъ, какъ говорили его знакомые, необычайный привътъ, даже со стороны женскаго молодого его населенія, къ чему онъ никогда не относился равнодушно, убъжденный, что ни одно женское существо не можетъ питать участія въ его мало эффектной наружности и неловкимъ пріемамъ. Вълинскій іздилъ въ Тверь и жилъ нікоторое время въ поміть самихъ В. Весінцы, которыя онъ вель подъ кровомъ мхъ дома, подъ обаяніемъ дружбы съ однимъ изъ его членовъ, при вниманіи и участіи молодого и развитаго женскаго его персонала, конечно, должны были крівпе запасть въ его умъ, чітъ при какой-либо другой обстановків. Результаты оказались скоро. Когда Візлинскій опить возвратился къ журнальной дізятельности и принялъ на себя, въ 1838, изданіе «Московскаго Наблюдателя», совершенно загубленнаго прежней редакціей, — на страницахъ журнала уже излагались не Шеллинговы воззрівнія въ томъ лирическо-торжественномъ тонів, какой они всегда принимали

у Вълинскаго, а строгія Гегелевскія схемы въ надлежащей суровости языка и выраженія и часто съ нъкоторою священной темнотою, хотя и старыя воззрвнія и новыя схемы нитли миого родственнаго между собою. Къ тому же, однивъ изъ сотрудниковъжурнала, отъ котораго ждали переворота въ области литературы и мышленія, состояль теперь М. В. Опъ именно и открыль новый фазисъ философизма на русской почвъ, провозгласивъ ученіе о святости всего дойствительно существующаго.

Одно, хотя и очень короткое время, В., можно сказать, господствоваль надъ кружкомь философствующихь. Онь сообщиль ему свое настроеніе, которое иначе и определить нельзя, какъ назвавъ его результатомъ сластолюбивых упражненій въ философіи. Все двло ограничивалось еще для В., въ то время, умственныма наслаждениемъ, а такъ какъ самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно поваго питанія и возбужденія, то обширное, безбрежное море Гегелевской философіи пришлось туть какъ пельзя болфе кстати. На немъ и разнирались всв силы и способности В., страсть къ витійству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей безпрестанно случаи къ торжестванъ и побъданъ, а наконецъ, пишная, всогда какъ-то праздинчиля по своей форм'в, шумная, хотя и нъсколько холодиая, малоббразная и искусственная рачь. Однако же эта праздинчная рачь и составляла именю силу В., подчинявшую ему сверстниковъ: свътъ и блескъ ея увлекали и тъхъ, которые были равподушни къ самымъ идеямъ, ею возвъщаемымъ. В. слушали съ упоспісмъ не тольво тогда, когда онъ излагаль сущность философскихъ тезисовъ, но и тогда, когда сповойно и степенно поучаль о необходимости для человъка ошибокъ, паденій, глубокихъ несчастій и сильнихъ страданій, какъ неизбъжныхъ условій истинно-человъческаго существованія.

В. самъ разсказывалъ впоследствии, что однажды, после вечера, посвященнаго этой матеріи, собеседники его, большей частію молодые люди, разошлись спать. Одинъ изъ пихъ поместился вътой же комнате, где опочивалъ и самъ учитель. Почью последній былъ разбуженъ своимъ молодымъ товарищемъ, который, со свечою въ рукахъ и со всеми признаками отчаннія на лице, требовалъ у него помощи: «Научи, что мив делать»,—говорилъ онъ,—«я погибшее существо, потому что какъ ни думалъ, не чувствую въ собе никакой способности къ страданію». Действительно, полюбить страданіе, и особенно въ юношескіе годы—трудновато.

Естественно, однакожъ, что такое продолжительное умственное, діалектическое, философское пированіе могло быть устросно только три одномъ условіи: совершеннаго обезпеченія себя отъ протестовъ

со стороны людей огорченныхъ или негодующихъ на жизнь, при условін осмыслить, если не узаконить все то, на что они жалуются или въ чемъ сомивнаются. Необходино было прежде всего убъдить всьхъ, которые сильно чувствовали злобу дия, въ томъ, что нхъ личныя, отдельныя попытки осужденія современности или основь, на которыхъ она держится, суть преступленія противъ существующей «двиствительности», т.-е. преступление противъ «всемирной идеи», которая въ дапную минуту въ нее воплотилась, другими словами, противъ самого «высшаго разума». Спокойствіе и нужное расположеніе духа для философированія покупались только этой ціною. И вичемъ другимъ В. въ эту эпоху не запимался, кроме прямыхъ и косвенных внушеній этого рода. Ему принадлежить вводь въ печать новаго русскаго презрительнаго слова «прекраснодушіе», возбудившаго такое недоунаціе въ публика и журналахъ своинъ, дайствительно, не очень складнымъ составомъ, которое, будучи буквальнимъ переводомъ нъмецкаго «Schönseligkeit», призвано было обозначать у насъ благородния, но несостоятельния отриданія личнаго мишленія и личнаго суда падъ современностію. Ему принадлежить распространение у насъ того крайняго, чистъйшаго и выфстъ брезгливаго идеализма, который съ ужасомъ отворачивался отъ всякаго житейскаго тума, смфтивая подъ одиниъ общинъ пазваніемъ низших поленій субъсктивнаго духа все, что нішало сну, идеализму, запиматься спокойно вопросами о судьбахъ и призваніи человъчества: онъ просмотрълъ французскій переворотъ 1830 года, пичего не распозналь въ общественномъ движенія, паступавшемъ за пниъ во Францін (Ж.-Зандъ, Сепъ-Спионъ, Ламэне), ничего не видаль въ современной ему юпой Германіи, уже основавшей свой ортавъ въ 1838 г.: «Deutsche Jahrbücher». Овъ только завлеймилъ эти явленія названіемъ необузданныхъ шалостей разсудочнаго, но не философскаго ума. Самъ Шиллеръ объявлялся еще у этого идеалпама, за молодые свои протесты, за свою жажду справедливости, правды, гуманности — геніальнымъ ребенкомъ, который инкогда не логъ возвыситься отъ теплыхъ, хорошихъ ощущеній до спокойнаго созерцанія пдей и міровыхъ законовъ, управляющихъ людьии, до объективнаго пониманія предметовъ. Отецъ русскаго пдеализма, В., вибств сь твиъ быль весьма податливъ и па житейскія наслажденія, которыми пользовался совершенно безпочно, и за которыми гнался какъ-то напвно, простодушно. Жизнь и философія туть не явшали другъ другу. Впроченъ, следуетъ еще разъ повторить, что пигдф, можеть быть, философскій романтизмъ не воплощался въ такомъ сильномъ, по средствамъ и дарованіямъ, представитель, какинъ былъ В. Прикрытый математически-строгими формулами ГеУ него была повърка излишне заносчивыхъ тезисовъ въ чувствъ шъры, да къ тому же онъ спабженъ былъ и даромъ юмора, который открывалъ ему оборотную тъневую сторону предметовъ. Этого дара вовсе недоставало В. Должно считать счастливымъ обстоятельствомъ для В. то, что, въ эпоху его самой жаркой проповъди, Станкевичъ (съ осени 1837 г.) и Грановскій (за годъ до того) были за-границей, а Г. проходилъ первое свое удаленіе, сперва въ Вятку, а потомъ во Владиміръ; случись они тогда въ Москиъ, законодательная дъятельность В. и его декреты по предметамъ мышленія получили бы значительное ограниченіе и измъненіе.

Остается теперь посмотреть, какъ все эти свойства и качества философской системы В. отразились тогда на душе Велинскаго.

V.

На первыхъ порахъ вліяніе новой философской системы В. не было выгодно для таланта Велинскаго. Велинскій прежде всего приступилъ тогда въ изученію схень, формуль, деленій — всельпочти неосизаемыхъ теней колоссального міра абстракцій, называемаго логикой Гегеля, и приступиль съ пыломъ и фанатическимъ одушевленіемъ, лежавшими въ его природф. Сдфлавъ обътъ ученическаго послушанія систем'в, онь уже не изміниль своему обіту до конца. Онъ валожилъ опеку на свой подвижной умъ, на свое тревожное сердце, создалъ планъ, программу, почти табличку поведенія для своей жизни и для своей мысли, и употребляль неимов врния усилія, чтобы отогнать отъ себя всв навожденія врожденнаго ему таланта, критической и эстетической способности. Во все это время. Вълинскаго не покидало сомивніе даже въ правъ отдаваться висчатятинять вижиней жизни, своему чувству, своимъ сердечнымъ влеченіямъ. Онъ страдаль въ мысли, также какъ и въ способъ отпоситься во всему реальному въ его собственномъ существовании. Это было уже далеко не наслаждение философий, какъ въ периодъ Шеллингова вліянія, - это биль тяжелий трудь, каторжная работа, принятая на себя изъ надожды близкаго воскрешения въ будущемъ, и потомъ уже радостнаго существованія на землю, безъ сомивній, колебаній и томительных в вопросовъ. Мучительный искусъ, добровольно проходиный однинь изъ характеровъ, наименъе способнихъ къ подчиненности, не кончился и тогда, когда Бълинскій ознакомился съ ученісяь о дойствительности, хотя оно, повидимому, должно было бы освободить его отъ напрасныхъ исканій идеально-совершенныхъ равилъ и основъ жизни. По крайней ифрф въ литературф следи

того же послушническаго искуса сохраниются и въ статьяхъ его отъ 1838-го года. Слово его, такое бодрое и развязное дотолъ, становится въ «Московскомъ Наблюдатель» 1838 года неопредвленнымъ, туманениъ, словно чахнетъ, занятое преимущественно выясненіемъ философскихъ терминовъ (особенно терминъ «конкретность» стоиль ему долгихъ трудовъ и безпрестанныхъ повтореній одного и того же повятія ва разные лады), переложенісыт ихъ на русскій языкъ и толкованіемъ ихъ симсла для русской публики. По временамъ, это бъдное, уже обезличенное слово старается еще придать себъ видъ развязности, скрыть схоластическія путы, ившающія его движенію, казаться свободнымь, смілымь словомь, несмотря на ту ципь, которую дозволило наложить на себя. Это были вспышки, гоотвътствовавнія тънъ нимолетнымъ протестанъ противъ теоріи, о которыхъ говорено. Вообще же журналь «Московскій Наблюдатель», органъ Бълинскаго съ 1838 года, представлялъ въ теченін нъсколькихъ мъсяцевъ печальную арену, гдъ можно было замъчательнаго и своеобычнаго мыслителя въ униженномъ положении страдальца, извывающаго и слабъющаго подъ дъйствиемъ жестокой умственной дисциплины, лишавшей его силъ, но которую онъ продолжаетъ упорно налагать на себя, не признавая ее за наказаніе. Журпалъ истонилъ редактора и всёхъ тёхъ, которые за нижъ тогда слфдили. Многіе изъ друзей редактора били также очень недовольни ниъ и не скрывали своего мевнія. Позволю себв при этомъ сказать песколько словь о собственных монхь тогдашних впечатлепіяхъ по этому поводу.

### VI.

Извистно, что «Московскій Наблюдатель» 1838 года отвривался передовой статьей Рётшера: «О философской критики художественнаго произведенія». О ней много было говорено и тогда, и потомь, вы нашей литературы, и все-таки мий приходится остановиться на ней и теперь. Статья принадлежала кы числу тыхы чрезвычайно сухихы и отвлеченныхы трактатовы, гды понятія поды наторылой рукой писателя складываются сами собой вы затыйливые узоры, оставляя вы стороны, какы вздорную помыху, всё соображенія о насущныхы потребностяхы извыстнаго общества, обы условіяхы или нуждахы его существованія вы дапную минуту. Статья опредыляла будущее направленіе журнала. Она дылила критику на четыре разряда, строго отмежеванные, отдавая, разумыется, предпочтеніе первому—философскому отдылу, какы заключающему вы себы един-

ственные истинные и непреложные законы для суда надъ произведеніями. А непреложность этихъ законовъ доказывалась процессомъ изслъдованія, свойственныхъ философской критикъ, которая, распознавъ мысль художественнаго произведенія, выдъляеть эту мысль изъ созданія, развиваеть ее самостоятельно, по философски, допытывается всъхъ возможныхъ ея выводовъ, и потомъ возвращаетъ эту мысль снова созданію, наблюдая, все ли то сказано въ образахъ и подробностихъ созданія, что обпаружилось въ философскомъ анализъ его. Если да—да; если нъть,—тъмъ хуже для созданія!

Три визміе отдёла критики, т.-е. критика психологическая, скептическая и историческая, конечно, не пользовались симпатіями Вёлинскаго. Не говоримъ уже о скептической, давно имъ презираемой, но и психологическая, и историческая критики, какъ пеимъющія руководителя въ абсолютных законах мисли и искусства, цёнились имъ весьма мало. Чрезвичайно любопытно вислушать при этомъ, что онъ говорият по поводу послёдней изъ нихъ: «Подробности жизни поэта нисколько не поясняютъ его твореній. Законы творчества вёчны, какъ законы разума. На что намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхилъ или Софоклъ были къ своему правительству, къ своимъ гражданамъ, и что при нихъ делалось въ Греція? Чтобы понимать ихъ трагедіи, намъ нужно знать значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человъчества... До политическихъ событій и мелочей намъ нётъ дёла», и пр.

Вълинскій туть просто не походиль на самого себя. твиъ, въ статъв Ретшера, предъ твии рубриками критики ставились бъдныя явленія нашей печати и письменности, вымъривался ихъ ростъ, и, на основанія полученныхъ четвертей и вершковъ, имъ отводилось помъщение въ одномъ изъ отделовъ. Такъ поступилъ Велинскій съ сочиненіями фонъ-Визина, которыя отнесъ къ ведоиству критики исторической, вибстё съ изумительнымъ тонарищемъ-сочиненіями Вольтера, а «Юрія Милославскаго» подчинилъ веденію критики психологической, придавъ ему тоже необыкповенного спутника и сотоварища, пменио Шиллера, «этого страпнаго полухудожника и полуфилософа», замъчаль Бълинскій. недостало даже таланта и опытности Бълинскаго, чтобы къ званнымъ русскимъ авторамъ приложить всф требованія критическаго отдела, которому они делались подсудны, и найти въ нихъ все тв черты, которыя по теорін должны были въ нихъ существовать непремьнио. Онъ объщаль представить это свидьтельство совпаденія теоріи съ живымъ принфромъ, но не псполнилъ объщанія-- п по весьма понятной причинв. При осуществлении задачи, либо теорія должна была лопнуть по всемъ составамъ, либо примеры отбиться совсемъ отъ теоріи.

За то Бълинскій исполниль другов. Чемъ болев отрекался онъ отъ права личнаго сужденія, темъ более завладевали его умомъ мертвыя философскія схемы и тезисы, которыя не только заслоняли передъ его глазави предметы искусства, но назойливо и нагло становились на ихъ мъсто. Когдя актеръ Мочаловъ создалъ роль Гамлета въ Москвф, Бфлинскій написаль большую статью о трагедін и о московскомъ исполнителъ главной ся роли. Какъ же представился Гаилетъ воображению Вфлинскаго? Конечно, такъ же, какъ и Гете, - человъковъ страдающивъ бъдностью воли въ виду огромнаго замысла, на который онъ себя предназначаетъ. Но откуда эта немощь воли и сопряженныя съ нею страданія въ лиць, умоющемъ при случав поступать очень сивло и рвшительно?—спрашиваль себя Ввлиискій. Отвыть давался схемой. Ганлеть, по ея опредвленію, выражаеть собою всв признаки того психическаго состоянія, когда человъкъ, мирно жившій съ собою и про себя, переходить къ существованію въ «двиствительности» во вившнемъ мір'я, такомъ запутанномъ и безсимслениомъ на первый взглядъ. Ворьба и страданія, перазлучния съ этимъ погруженіемъ въ хаосъ и въ кажущуюся грубость реальнаго міра, отнимають у Гамлета всю силу воли, всю твердость характера. Качества эти возвращаются къ нему, когда Гамлетъ, послъ долгаго, мучительнаго искуса, приходить къ чувству поког пости передъ законами, управляющими этимъ неполятнымъ, грознымъ міромъ дъйствительности, къ тихому убъжденію, что надо быть *всенда нотовымь на все*. Такимъ образомъ, Гамлетъ преобразился въ представителя любинаго философскаго понятія, въ олицетвореніе изепстной формулы (что дійствительно, то-разумво), и Вълинскій на этомъ пьедесталь устранваеть апоосозу какъ великому творцу драмы, такъ и замъчательному его толкователю на московской сценв.

Постоянныя превращенія живых образовъ въ отвлеченія начинаютъ появляться все болье и болье у Бълинскаго. При обозрыній журналовъ 1839 года, Бълинскій дълаетъ замытку о статью Губера: «Фаустъ». Что такое Фаустъ Гете? Для Бълинскаго той впохи, Фаустъ есть точно такая же философская схема, какъ и Гамлетъ, даже почти ничыть и не отличающаяся отъ нея. Фаустъ, какъ человыкъ глубокій и всеобъемлющій, долженъ быль выдти изъестественной гармоніи духа, поссориться съ дыйствительностію, къкоторой обратился за утышеніемъ и познаніемъ, и послы ряда кровавыхъ испытаній, мучительной борьбы, паденій и обольщеній—возвратиться снова къ полной гармоніи духа, но уже гармопіи, про-

свътленной опитовъ и сознанісять. Онъ прозрълъ подъ конецъ разувъ и оправданіе всего сущаго. Фаустъ умираетъ въ блаженствъ и отъ блаженства такого сознапія.

Какъ ни тяжело было, повидиному, приложить этотъ способъ опредъленія предметовъ искусства къ чему-либо, выросшему на русской почвъ, Бълинскій, однако же, не остановился передъ трудностію. Я сказаль, что, при появленіи въ «Современникъ» 1838 года посмертныхъ сочиненій Пушкина, Візлискій испыталь болбе чыть восторгь: даже нычто въ роды испуна передъвеличиемътворчества, открывшагося глазань его. Въ литературной хроникъ «Московскаго Наблюдателя» 1838 года, отдавая отчеть о четырехъ «Современника», заключавшихъ неизданныя произведенія великаго поэта, Вълипскій спрашиваль себя: что такое Пушкинь? Оказалось, что та же схема, которая служила мериломъ внутренняго достоинства Ганлета и Фауста, пригодна и для опредвленія последнихъ произведеній Пушкина. Вотъ собственныя слова Вълинскаго: «Въ ,самомъ деле», — говорить онъ, — «чтоби постигнуть всю глубину этихъ геніальныхъ картинъ, разгадать ихъ вполив *ппаниственный* смыслъ и войти во всю полноту и свытлозарность ихъ могучей жизни, должно пройти чрезъ мучительный опыть внутрепней жизни и выдти изъ борьбы препраснодущія въ гармонію просвътлениаго и примиреннаго съ дъйствительностію духа. Повторяемъ, примирение путемъ объективнаго созерцания жизни-вотъ характеръ этихъ последнихъ произведеній Пушкина.

Выло бы очень странно, если бы этоть философскій тезисъ, такъ могущественно и деспотически овладъвний умомъ Вълинскаго, остался безъ приложенія въ предметамъ политическаго и общественнаго характера, или замъпился тамъ какимъ-либо инимъ, несхожимъ съ нимъ, созерцаніемъ. Непоследовательность такого различія въ опредъленіяхъ была бы очевиднымъ опроверженіемъ самихъ основаній теорін, а Візлинскій быль всегда послівдователень и въ истинів, и въ минутныхъ заблужденіяхъ своихъ. Такимъ образомъ являлась у Вълинскаго и политическая теорія, въ силу которой человъкъ для того, чтобы устроить правильныя отношенія къ обществу и государству, долженъ разръшить въ себъ ту же задачу, какую разръшали Гаилетъ и Фаустъ своими персонами, а Пушкинъ — своими произведеніями. Разница состояла здісь въ томъ только, что на политической и соціальной ночві уже не предстояло возможности выбирать явленій, предпочитать одни другинь, производить имъ оценку и сортпровку, а необходимо было уважать и признавать ихъ всъхъ одинаково и целикомъ. Белинскій поэтому требоваль, счтобы челотъкъ, нежелающій довольствоваться исю жизнь призрачнымъ существованість, вибсто д'яйствительняго челов'яческаго существованія, призналь ложью и обманомъ умственныя похоти своей личности, подчинился требованіямъ и указаніямъ государства, которое есть единственный критеріумъ истины на землю, проникнуль въ глубокій симсять его иден, превратиять все иогучее его содержание въ собственныя убъжденія свои, и твиъ санынь сделался уже представителомъ не случайныхъ и частимхъ мижній, а выраженіемъ общей, народной, наконецъ міровой жизни или, другими словами, сталъ духом во плоти». Бълнескій продолжаль далье: «Въ духовномь развитін человъка номентъ отрицанія необходимъ, потому-что кто никогда не ссорился съ жизнью, у того и миръ съ нею не очень прочень; но это отрицание должно быть именно только иоментомъ, в не цилою жизнію: ссора не можеть быть цилью самой себи, по ниветь целью примирение. Горе темъ, которые ссорится съ обществомъ, чтобы никогда не примириться съ пимъ: общество есть высшая дёйствительность, а дёйствительность требуеть или полнаго шпра съ собою, полпаго признанія себя со стороны человъка, или сокрушаеть его подъ свинцовою тяжестью своей исполниской длани».

Мъсто это находится въ разборъ книги: «Очерки Вородинскаго сраженія» О. И. Глинки, которая ознаменовала, какъ знаемъ, полный расцвътъ гегелевскаго оптимизма въ русской литературъ.

Такова ввратив у Вълинскаго исторія зарожденія и развитія гегелевскаго оптимизма, которая, такъ-сказать, прошла у насъ передъ глазами.

## VII.

Нельзя покончить, однако же, съ этимъ періодомъ двятельности критика, не повторивъ еще разъ того, что было сказано о его частыхъ возстаніяхъ противъ своихъ же догматовъ: въ противность всему строю и всемъ заключеніямъ признапнаго и усвоеннаго имъ ученія, изъ-подъ пера Вълинскаго безпрестанно вырывались положенія, похожія на ереси. Этими еретическими всиышками, смахивавшими на бунтъ противъ началъ, угнетавшихъ его умъ, высказывались тв, на время подавленныя и пританвшінся, критическія силы Бълинскаго, которыя ждали окончанія философскаго погрома, чтобъ явиться снова на свётъ въ полномъ блескъ. Не удивительно ли было, напримъръ, въ самомъ пилу гегелевскаго настроенія, когда такъ процвётало благоговініе къ «идеф» и неутомимое исканіе ея—вычитать у Бълинскаго слідующія строки, въ его разборів плохой драмы Полевого «Уголино»: «Въ творчествів сила не въ идеф, а въ формів, которая, само собою разумівется, необходимо предпола-

гаеть и условливаеть идею, и эта форма должна бить проникнута противнь, благоговъйнинь сіяніснь эстетической красоти. Всличіс содержанія (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозравлеть ее... Помию хорошо недоумъпіе, которое возбуждали въ насъ подобные внезапные повороты (а было не мало), напосившіе болье или менье чувствительные удары саминь основань и первынь началань найденной философской системы. Помню также, что многіе изъ насъ и обращались въ автору въ подобимкъ случаякъ за разъяснениями этикъ противоръчий; но разъясненія Вълинскаго большею частію обпаруживали досаду на людей, подвергавшихъ его экзамену, и давались, какъ даются отнъты дътявъ на ихъ разспросы. «Неужто ви дунаете», говорилъ Вълинскій, -- что я должень при каждомь мивиіи справляться съ тфить, что сказалъ когда-то прежде: - да вотъ теперь я васъ ненавижу, а черезъ день буду страстно любить». Много было истины въ этихъ словахъ. Вълинскій особенно боялся тогда противорвчій, потрясающихъ новую его систему, и отзывался гифино и первно о людяхъ, ихъ высказывавшихъ; но оказывалось, что опъ больше всего и думаль именно о такихъ людяхъ. Въ связи съ этой чертой находилась и другая, не менфе любонытная. Онъ негодоваль, становился угрюмъ и золь именно, когда встрфиаль пепререкаемое согласіо съ его положеніями, хотя это и по часто случалось, точно сму педоставало тогда возраженій и обличеній. Внутренняя жизнь Бълинскаго въ эту эпоху представляла раздвоение, по-истипъ, грагическое и исполнена была страданій и сомпьній, которыя по временамь опъ и открываль собестденкамь въртзкомь, неожиданиомь словь, можно сказать, въ воилъ истерзанной души. Онъ судорожно и отчанно держался за новыя свои върованія, но съ каждимъ днемъ все болью и болбе чувствоваль, что они ибняются, тускнуть и испаряются на его собственныхъ глазахъ.

Но въ этотъ же періодъ времени случалось и такъ, что Ввлинскій боролся съ гнетущими условіями метафизическаго деспотизма не одними всимшками и порывистыми движеніями врожденной ему критической мысли, а и цълыми продуманными сужденіями и приговорами, которые шли наперекоръ теоріи и всімъ ея толкователямъ.

И какъ гордился самъ Вълинскій этини доказательствами и заявленіями самодъятельности своего ума! Вълинсьмъ къ И. И. Напаеву 19-го августа 1839 года, напечатанномъ въ «Современникъ» 1860 года, въливаръ мъсяцъ, онъ шутливо, по съ чувствомъ нескрываемаго торжества вспоминаетъ, что еще осенью прошлаго года объявилъ вторую часть «Фауста» Гёте сухой, мертвой имволистикой, къ великому негодованію и изумленію всъхъ чосков-

скихъ друзей-философовъ. Они не находили почти словъ для выраженія своего гивва и презрінія къ сибльчаку, палагавшему руку на своего рода «философскій Апокалипсись», а теперь опустили головы, прочитавъ въ «Deutsche Jahrbücher» статью молодого эстетика Фишера (Vischer), говоритъ Бізлинскій, который буквально повторилъ все то, что возвіщаль онъ, непризнанный Бізлинскій, за годъ передъ тізмъ.

И было чвиъ гордиться!

Что касается до насъ, то им жаждали ересей Бълинскаго, противорфиій Бълинскаго, изивнъ его своимъ положеніямъ и нарушеній философскихъ догиатовъ, какъ подарковъ: они, казалось, возвращали намъ стараго Бълинскаго 1834-35 годовъ, когда онъ имълъ, песмотря на Шеллинга, свою независимую мысль и свое направленіе \*). Не то, чтобы вружовъ его петербургскихъ стороннивовъ ясно програвалъ несостоятельность системы и выводовъ, изъ нея получаемыхъ — для этого онъ не быль достаточно развить философски — но онъ чувствоваль безпокойство, следуя за развитісять учителя, сильпо недоумтваль, когда ему -- кружку этому-не позволяли ропота даже и на самыя обыденныя явленія жизни, и безпрестанно обращаль глаза назадъ, къ прежнему Бълинскому года, издателю 6-ти книжекъ «Телескопа», гдъ помъщены статьи и разборы, оставшісся и досель памятниками чуткой критики, приговоры которой пережили покольнія, впервые ихъ выслушавшія. Можетъ быть, это подозрительное состояніе вружка, всегда готоваго сорваться съ тезисовъ на практическую дорогу прямой, наглядной оцфики предметовъ, безъ всякихъ справокъ о томъ, что они представляють въ идей, и било причиной грустнаго, осторожнаго, сдержаннаго обращения Бълинскаго съ кружкомъ. Онъ не довърялъ ни его покорности отвлеченнив понятіямъ, ни особонно его способпости процикнуться ими въ должной степени, и однажды, когда заговорили передъ нимъ о здравомъ практическомъ смыслф Петербурга, поправляющемъ увлеченія, и подъ дыханівмъ котораго изсыхають всв источники фантазіи и мочтаній, Белипскій вспыхнулъ и съ гиввомъ проговорилъ: «Я вижу, куда вы кловите. Вамъ никогда не удастся сделать изъ меня то, что вы хотите!». Онъ

<sup>•)</sup> Въ "Телесковъ" 1835 года, повъщени были образцовия статъи: "О русской новъсти и повъстяхъ Гоголя", "О стихотвореніяхъ Баратынскаго", "Стихотворенія Владиніра Бенедиктова" и "Стихотворенія Кольцова". Падеждинъ, поручивній наданіе "Телескова" Вълинскому, при своемъ отъбадъ за-границу, быль удивленъ по возвращенія въ декабръ 1835 года и доброкачественностію статей, въ немъ помъщенныхъ, и запущенностію редакців, не додавшей множество книжекъ журнала. Тасьовъ быль и потомъ Вълинскій, какъ "редакторъ".

еще боялся за судьбу своего идеализма въ Петербургъ, да и долго потомъ, даже послъ отрезвленія своей мысли, происшедшаго въ 1840 г., еще доржался за него, какъ за отличіе, которое не слъдовало терять на новомъ мъстъ. Дъло, однако же, сложилось иначе.

## VIII.

Посяв всего этого дяннаго отступленія, возвращаюсь къ разсказу. Поселясь въ Петербургъ, Вълинскій началь ту иноготрудную, работящую жизнь, которая продолжалась для него восемь лёть сриду. почти безъ всякаго перерыва, потрясла самый организмъ и загвла его. На первыхъ порахъ, послъ довольно долгаго пребыванія квартиръ Панаева, онъ нанялъ себъ помъщение на Петербургской Сторонъ, по Вольшому проспекту, въ красивомъ деревянномъ домик:ъ, съ довольно просторной, но сырой и холодной компатой, и съ небольшимъ кабинетомъ, жарко натопленнымъ, гдв я и нашелъ его уже зимой 1840 года. Противоположность въ температурф этихъ комнать не производила, повидимому, особаго действія на здоровью хозянна, но за то постоянно награждала посътителей его обычными зимними дарами Потербурга — флюсами, гриппами и подчасъ жабами. Укрывшись въ своемъ троинчески-душномъ кабинетъ, Бълинскій весь отдался мысли, и велъ сурово-уединенную, почти аскетическую жизпънаъ которой, по временанъ, выходилъ въ кругъ повыхъ своихъ. знавомихъ, гдъ его строгій видъ, всего чаще перемежавнійся совсиминками гивва или негодующаго юмора, еще болбе сбиаруживаль основной фонъ, подкладку, такъ-сказать, его страдающей души. Ошибиться было нельзя: наименво проницательный собосфдинкъ, если не попималь, то чувствоваль существенную принадлежность этого человфка — живое олицетворскіе образовъ, изобрфтепшихъ поздісй для передачи мучительныхъ стремленій и порываній безпокойпаго сердца и возбужденной имсли. Только это быль титанъ добродушный. Въ отличіе отъ романтическихъ тиновъ этого рода, которыхъ намъ представляють обыкновенно лишенными слабыхъ или любезныхъ сторонъ характора, Вълинскій обладаль въ значительной степени тъми и другими. Нельзя было по замітпть его ребячески-чистой дов'трчивости къ хорошему слову и честному помышлению, передъ нимъ высказаннымъ, а потомъ его комическаго гивва на себя, когда опъ открывалъ — (что дълалось очень скоро) — несовстяв чистие источники этихъ заявленій. Его наивная неопытность въ дълахъ общежитія безпрестанно вовлекала въ ошибки такого рода, хотя за мичутами подобныхъ промаховъ у него следовало почти тотчасъ же

отрезвленіе, и тогда онъ уже открываль въ характерахъ и явленіяхъ сторони, которыя ускользали и отъ очень пытливыхъ и осторожныхъ людей.

Но, вообще говоря, потребности въ людяхъ, въ водоворотъ жизни, въ понървъ себя другими, и всъхъ — другъ другомъ, Вълинскій тогда не обнаруживаль. Опъ обходился безъ всего этого по цальнь недалянь. Посла погрома, испытапнаго его новой теорісй, онь уже дии и ночи стояль передь письменнымь своимь бюро. Довольно узкій, тропическій его кабипеть изъ двухъ окопъ, исжду которыми стояло это бюро, имълъ еще, у противоположной стыны и въ разстоянии пяти-шести шаговъ, кушетку, съ наленькимъ столикомъ у изголовья. Вълинскій почти всегда писаль, вакъ то требуется для журнальныхъ статей, на одной сторонв полулиста и бросаль страницу, какъ только достигаль ея конца. Затемъ онъ ложился на кущетку и прининался за книгу, после чего, переменивъ висохимую страницу, снова принимался за неро, не испытывая никакой помъхи ни въ чтенін, ни въ письмъ, отъ этихъ промежутковъ въ течении имслей. Такъ создавались срочныя и несрочныя статьи, утомявшія его физически гораздо болве, чвив уиственно. Рука и слабая грудь его больли, но голова оставалась постоянно свъжа. Впрочемъ, усиленная работа эта была нужна ему морально для того, чтобы обмануть и развлечь тоску одиночества, которую онъ испытываль съ техъ поръ, какъ покинуль московскій свой кружокъ я обыфияль его на другой, исзаифинившій стараго.... Онь долго не могь также привыкнуть къ Петербургу, къ его образу жизни разивренной и осторожной, но кончиль такимы полнымы признанісить его вначенія и разныхть гражданскихть и полицейскихть гарантій для личности, имъ представляемыхъ, что помирился съ нимъ окончательно.

По у Бълинскаго, взамънъ общества, были тогда три постоянные, неразлучные собесъдника, которыхъ наслушаться вдоволь онъ почти уже и не могъ, именпо Пушкинъ, Гоголь и Лермонтовъ. О Пушкинъ говорить не будемъ: откровенія его лирической поэзіи, такой нъжной, гуманной и вмъстъ бодрой и мужественной, приводили Бълинскаго въ изумленіе, какъ волшебство или феноменальное явленіе природы. Опъ не отдълался отъ обаянія Пушкина и тогда, когда, ослъпленный творчествомъ Лермонтова, весь обратился въ новому свътилу поэзіи и ждалъ отъ него переворота въ самихъ понятіяхъ о достоинствъ и цъли литературнаго призванія. При отъъздъ моемъ за границу въ октябрь 1840 года, Бълинскій спросилъ, какія книги и беру съ собою. «Странно вывозить книги изъ Россіи въ Германію», отвъчалъ я.— А Пушкина?— «Не беру и Пушкина»...

—Лично для себя, я не понимаю возможности жить, да еще и въчужихъ краяхъ, безъ Пушкина, — замътилъ Вълинскій.

О второмъ его собесъдникъ — Гоголъ — скажемъ сейчасъ пъсколько пояснительныхъ словъ. Но что касается отношеній, образовавшихся между Бълинскимъ и третьимъ, самымъ позднимъ или самымъ новымъ и молодымъ его собесъдникомъ — именно Лермонтовымъ, то они составляютъ такую крупную психическую подробность въ жизни нашего критика, что объ ней слъдуетъ говорить особо.

Важное значение Вълинскаго въ самой жизин И. В. Гоголя огромныя услуги, оказанныя имъ автору «Мертвыхъ Душъ», уже были указаны нами въ другомъ мъсть \*). Мы уже говорили, Вълинскій обладаль способностью отзываться, въ самонь нылу какого-либо философскаго или политическаго увлечения, на заивчательныя литературныя явленія съ авторитетовъ и властью человъка, чувствующаго настоящую свою силу и призваніе свое. Въ эпоху Шеллингіанизна, одною изъ такихъ далеко-озаряющихъ всимиекъ была статья Вълипскаго: «О русской повъсти и повъстихъ Гоголя», написанная вельдъ за выходомъ въ свъть двухъ книжекъ Гоголя: «Миргородъ» и «Арабески» (1835 г.). Ода и уполномочиваетъ пасъ сказать, что настоящимъ воспріемникомъ Гоголя въ русской литературф, давшимъ ему имя, былъ Вфлинскій. Статья эта, вдобавокъ, пришлась очень кстати. Она подосивла къ тому горькому времени для Гоголя, когда, всявдствіе претензія своей на профессорство и на ученость по вдохновению, онъ осужденъ быль выносить самыя злостныя и ядовитыя нападки, не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характеръ свой. Я близко зналъ Гоголя въ это время, и могъ хорошо видать, какъ озадаченный и сконфужений не столько ярыми выходками Сенковскаго и Булгарина, сколько общимъ осуждениемъ цетербургской публики, ученой брати и даже прінтелей, опъ стоняъ совершенно одинокій, не зная, какъ выдти изъ своего положенія п на что опереться. Московскіе знакомые и доброжелатели его покамъсть еще выражали въ своемъ органъ («Московскомъ Наблюдатель») сочувствіе его творческимъ талантамъ весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себъ право отдаваться вполив своимъ впочатавніямъ только на-единв, келейпо, въ письмахъ, домашнимъ образомъ. Руку помощи въ смыслъ возбужденія его упавшаго духа протяпуль ему, тогда никань пепрошенный, никъмъ неожиданный и совершение ему неизвъстный, Вълинскій, явившійся съ упомянутой статьей въ «Телескопъ» 1835-го года. И съ вакой статьей! Онъ не даваль въ ней совътовъ автору, не разбиралъ, что въ немъ похвально и что подлежить нарсканію,

<sup>\*)</sup> См. мон "Восномпианія и Критическіе очерки", т. 1, въ стать о Гоголь,

ве отвергалъ одной какой-либо черты, на основание ся соминтельной върности или необходиности для произведенія, не одобряль другой, вакъ полезной и пріятной, —а, основываясь на сущности авторскаго таланта и на достоинство его міросозерцанія, просто объявиль, что въ Гогола русское общество инветь будущаго великаю писа*теля.* Я имбать случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Онъ еще тогда не пришелъ къ убъжденію, что московская вритика, т.-е. вритика Вълинскаго, злостно перетолковала всв его намеренія и авторскія цели, — онъ благосклонно приняль заистку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокаго соболізнованія къ русской жизни и ся порядкамъ слыпится во всёхъ разсказахъ Гоголя», и быль доволень статьей, и болье чвиъ доволенъ: опъ былъ осчастливленъ статьей, если вполнъ върно передавать восноминація о томъ времени. Съ особеннымъ вниманіемъ остановился въ ней Гоголь на определении качествъ истипнаго творчества, и разъ, когда запла рачь о статьй, перечиталъ вслухъ одно ся ивсто: «Ещо созданіе художника есть тайна для всехъ, още онъ не бралъ пера въ руки. — а уже видитъ ихъ (образы) ясно, уже вожетъ счесть складки ихъ платья, морщины ихъ чела, изборожденнаго страстями и горемъ, а уже знаетъ ихъ лучше, чамъ вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, состру, возлюбленную сердца; также онъ знасть и то, что они будутъ говорить и делать, видитъ всю нить событій, которая обовьеть и свяжеть между собою...> ---Это совершенная истина, -- зам'втилъ Гоголь, и тутъ же прибавилъ сь полузастинчивой и полунасмишливой улыбкой, которая была ему свойственна: «только не нонимаю, чыть онъ (Вылинскій) послы этого восхинцается въ повъстяхъ Полевого». Мъткое замъчаніе, попавшее прямо въ больное место критика; но надо сказать, что, кроме участія романтизна въ благожелательной оцфикф разсказовъ Полевого, била у Вфлинскаго и еще причина для нея. Вфлинскій высоко цфнилъ тогда заслуги знаменитаго журналиста и глубоко собользновалъ о насильственновъ прекращении его деятельности по изданію Московскаго Телографа»; все это повлінло на его сужденіе и о беллетристической карьерф Полевого.

Но рашительное и восторженное слово было сказано и сказано ве на-обумъ. Для поддержанія, оправданія и укорененія его въ общественномъ сознапіи, Валинскій издержалъ много энергіи, таланта, ука, переломаль много копій, да и не съ одними только врагами писателя, открывавшаго у насъ реалистическій періодъ литературы, а и съ друзьями его. Такъ, Валинскій опровергалъ критика «Московскаго Наблюдателя» 1836 г., когда тотъ, въ странномъ энтузіазма, объявилъ, будто за одно «слышу», вырвавшееся изъ устъ

Тараса Бульбы въ ответь на восклицаніе казнимаго и мучимаго сина: «слышишь-ли ты это, отецъ мой?» будто за одно это восклицаніе—«слышу», Гоголь достоинъ быль бы безсмертія; а въ другой разъ опровергаль того же критика и не менее побъдоносно, когда тоть выразиль желаніе, чтобы въ разсказъ «Старосвътскіе помъщики» но встръчался намекъ на привычку, а всъ сношенія между идиллическими супругами объяснялись только однимъ нъжнымъ и чистымъ чувствомъ, безъ всякой примъси.

Вспомнимъ также, что «Ревизоръ» Гоголя, потеривытій фіаско при первоиъ представления въ Петербургъ и едва не согнанний со сцены стараніями «Вибліотеки для чтенія», которая, какъ говорили тогда, получила внушеніе извив преследовать комедію эту, политическую, несвойственную русскому міру, -- возвратняся, благодаря Вфлинскому, на сцену уже съ эпитетомъ «геніальнаго произведенія». Эпитеть даже удивиль тогда своей сиблостью самихь друзей Гоголя, очень высоко цфинишихъ его цервое сценическое произведеніе. А затімь, не останавливаясь передъ осторожными замітками благоразумныхъ людей, Вълинскій написалъ еще ръзкое возраженіе всімъ худителямъ «Гевизора» и покровителямъ нопіловатой комедін Загоскина «Педовольные», которую оли хотван противопоставить первому. Это возражение носило просто заглавие: «Отъ Валинскаго», и объявляло Гоголи безоглядно великимъ овропейскимъ художниковъ, упрочивая окончательно его положение въ русской литературф. Белинскій самъ вспоминаль впоследствій съ приоторой гордостью объ этомъ подвигь «прямой», какъ говориль, критики, опередившей критику «уклончивую» и указавшей ей путь, по которому она и пошла (см. библіографическое изв'ястіе о выход'я «Мертвыхъ Думъ», VI, 396, 400, 404 etc.). Таковы были услуги Вълинскаго по отношению къ Гоголю; но послъдний не остался у него въ долгу, какъ увидимъ.

Николай Васильевичъ Гоголь жилъ уже заграницей въ описиваемое нами время, и уже два года, какъ основался въ Римф, гдв и посвятилъ себя всецъло окончанію первой части «Мертвихъ Душъ». Правда, онъ побывалъ въ Петербургъ зимой 1839 года и читалъ намъ здѣсь первыя главы знаменитой своей поэмы, у Н. А. Проконовича, но Вълинскаго не было на вечеръ: онъ находился случайно въ Москвъ. Врядъли Гоголь и считалъ тогда Вълинскаго за какую-либо надежную силу. По крайней мѣрѣ въ мимолетныхъ отзывахъ, слышанныхъ мною отъ него нѣсколько поздиѣе (въ 1841 году, въ Римѣ) о русскихъ людяхъ той эпохи, Бълинскій пе запималъ пикакого мѣста. Услуги критика были забыты, порваны, и благочрныя воспоминанія отложены въ сторопу. И понятно, — отчего:

нежду ними уже прошли статьи нашего крятика о «Московскомъ Наблюдатель», горькіе отзивы Велинскаго о некоторых в людях в того вружна, который уже призываль Гоголя спасти русское общество отъ философскихъ, политическихъ и вообще западнихъ мечтаній. II. В. Гоголь видимо склонялся къ этому призыву и начиналъ считать настоящими своими цінителями людей надежнаго образа мыслей, очень дорожащихъ твиъ самынъ строенъ жизни, который подвергался обличению и осм'внию. Николай Васильевичъ вспомниль о Вълинскомъ только въ 1842 году, вогда для успъха «Мертвыхъ Душъ» въ публикъ, уже представленныхъ на пензуру, содъйствие критика погло быть не безполезно. Опъ устроиль тогда одно тайное свиданію съ Бълинскимъ, въ Москив, гдв последній случайно находился, и другое, хотя и не тайное, но совершенно безопасное, въ кругу своихъ истербургскихъ знакомыхъ, не имъвшихъ накакихъ соприкосновеній съ литературными партіями: секреть свиданій быль дъйствительно сохраненъ, но, какъ я узналъ послъ, они нисколько по усивли завязать личныхъ дружескихъ отношеній между пясателями. Все это было, однакоже, еще впереди и случилось уже въ ное отсутствіе изъ Петербурга и Россіи.

Теперь же, наканунъ моего отъъзда за-границу въ 1840 Вълпискій какъ-то особенно быль погружень въ изученіе и пересмотръ гоголевскихъ сочиненій. Онъ и прежде проинтался полодымъ инсателемъ настолько, что безирестанно цитировалъ разныя лаконачески-юмористическія фразы, столь обильныя въ его твореніяхъ, но теперь Велипскій особенно и страстно ванциался выводами, каків погутъ быть сделаны изъ нихъ и вообще изъ деятельности Гоголя. Можно было подумать, что Вфлинскій повфряеть Гоголемь самыя начала, свойства, элементы русской жизни, и ищетъ уяснить себъ, въ какихъ отношеніяхъ стоять произведенія поэта къ собственнымъ философскимъ его, Бълинскаго, возаръніямъ, и какъ они съ ними могутъ ужиться. Здась сладуетъ заматить, что время изманенія и перелова въ созерцаціи Бълипскаго опредълить весьма трудно съ пъкоторой точностію. Фактически несомивино, что въ следующемъ 1841 году свершился игновенный повороть критика къ новынъ убъжденіянь, но приготовлялся онь ранве и тогда, когда критикъ еще не покидалъ старой почвы и старой теоріи. Я сохраняю уб'яждепіс, что вибств съ другими агентами его отрезвленія — уроками жизни, развитісяъ собственной его имсли и внушеніями друзей — Лермонтовъ и Гоголь были не последними агентим, что доказывается и статьями о пихъ, написанными Вълинскимъ въ точеніи 1840 года. Подъ дъйствіень поэта реальной жизни, какинь быль тогда Гоголь, философскій оптинизмъ Вълинскаго должень былъ

разложиться, какъ только его серьёзно сопоставили съ картинами русской действительности. Никакими логическими изворотами нельзи было помочь бъдъ, -- слъдовало или соглашаться съ художникомъ, обыщающемъ еще иного новыхъ созданій, въ томъ же духф, покинуть его, какъ не понимающаго той жизни, которую изображаетъ. Притомъ же обличенія Гоголя довершали рядъ обличеній, начатыхъ уже самымъ строемъ жизни и критическимъ умомъ 13 блияскаго прежде. Конечно, болфе правильное понимание извъстной форнулы Гегеля о тождествъ дъйствительности и разунности, освободившее умъ Вфлинскаго отъ философскаго обмана, дано было совсвиъ не Гоголемъ, но Гоголь его подкрфиилъ. Такимъ-то образомъ расплачивался Николай Васильевичь съ критикомъ за все, что получилъ отъ него для уясненія своего призванія; но вотъ что замівчательно: обоинъ имъ суждено было поивпяться ролями и разойтись но темъ же дорогамъ, по которымъ пришли другъ къ другу. Иока Бълинскій, выведенный однажды на почву реализма, прокладываль себъ дорогу все далъе и далъе по одному направлению,романисть, способствовавшій ему обрасти этоть варно намаченный путь, возвращался самъ, после долгихъ блужданій, къ той исходной точкъ, на которой стоялъ, при самомъ началъ, его критикъ. Обивнявшись мъстами, они уже, каждый съ своей стороны, стремились достичь крайнихъ, послъднихъ выводовъ своего положенія, и оба одинаково умерли страдальцами и жертвами напряженной работы мысли -- мысли, обращенной въ различныя стороны.

# IX.

Что васается Лермонтова, то Вълинскій, тавъ-сказать, овладіваль имъ и входиль въ его созерцаніе медленю, постепеню, съ насиліемъ надъ собой. При первомъ появленіи знаменитой Лермонтовской думы: «Печально я гляжу на наше покольные», появщеной въ № 1-мъ «Отечественныхъ Записовъ» 1839 года, — этого монолога, надъ которымъ, впослѣдствій, критивъ долго и часто задумывался, которымъ не могъ насититься и о которомъ поздиве не могъ наговориться, — Вълинскій, еще жившій въ Москвъ, выразился коротко и ясно: «Это стихотвореніе эпергическое, могучее по формъ», — сказалъ онъ, — «по нысколько прекраснодушное по содержанію». Извъстно, что выражалъ эпитетъ «прекраснодушний» въ нашемъ философскомъ кружкъ. Однакоже Вълинскій не успълъ отдълаться отъ Лермонтова однимъ рѣщительнымъ приговоромъ. Песмотря на то, что характеръ лермонтовской поэзій противорѣчилъ

временному настроенію критика, молодой поэть, по силь таланта и сивлости выраженія, не переставаль волновать, вызывать и дразнить критика. Лермонтовь втягиваль Вълинскаго въ борьбу съ собою, которая и происходила на нашихъ глазахъ. Ничто не было такъ чуждо сначала всвиъ уиственнымъ привычкамъ и эстетическимъ убъжденіямъ Вълинскаго, какъ иронія Лермонтова, какъ его презрівніе въ теплому и благородному ощущенію въ то самое время, когда оно зарождается въ человівкі, какъ его горькое разоблаченіе собственной своей пустоты и ничтожности, безъ всякаго раскаянія въ нихъ и даже съ ніжотораго рода кичливостію. Новость и оригинальность этого направленія именно и привязывали Бълинскаго къ поэту такой полной откровенности и такой силы.

Нельзя сказать, чтобы Велинскій не распознаваль въ Лермонтовъ отголоска французскиго байронняма, какъ этотъ выразился въ литературъ парижского переворота 1830 года и въпроизведенияхъ «юной Франціи», — а также и примъси нашего русскаго великосвътскаго фрондёрства, построеннаго еще на болъе шаткихъ вапіяхъ, чемъ парижскій скептицизмъ и отчанніе. Но онъ ниъ отыскиваль другія причины и основанія, а не тв, которыя выходили изъ самой жизни поэта. Художническій талантъ Лермонтова закрываль лицо поэта и мъшаль распознать его. Кромъ замъчательной силы творчества, которую онъ постоянно обнаруживаль, --онъ еще отличался проблесками безпокойной, пытливой и независиной мысли. Это уже была новость въ поэзін, и, по теоріи, источника ея приходилось искать въ долгомъ труде головы, въ пламенномъ сердив, мучительномъ опытв и проч., хотя бы пришлось для этого многое наговорить на нихъ. И вотъ, Бълинскій принялся защищать Лермонтова—на первыхъ порахъ отъ Лермонтова-же. Мы помнимъ, какъ онъ носился съ каждимъ стихотвореніемъ поэта, появлявшинся въ «Отечественныхъ Зацискахъ» (они постоянно · тамъ псчатались съ 1839 года), и какъ онъ прозраваль въ каждонъ изъ нихъ глубину его души, больное, нъжное его сердце. Поздиве, онт также точно носплся и съ «Демономъ», находя въ поэмф, кромъ изображенія страсти, еще и пламенную защиту человъческаго права на свободу и на неограниченное пользование ею. Драма, развикающияся въ поэмъ между мнонческими существами, нибла для Вълинскаго совершенио реальное содержаніе, какъ біографія потивъ изъ жизни дъйствительного лица.

Памятинкомъ усилій Вѣлинскаго растолковать настроеніе Лермонтова въ наилучнемъ симслѣ остался превосходный разборъ романа «Герой нашего времени», отъ 1840 года. Здѣсь-то, спасая Печорина отъ обвиненія въ дикихъ порывахъ, въ циническихъ вы-

ходкахъ безпрестанно-рисующагося и себя оправдывающаго эгоняма. что сдълало бы его лицомъ противо-естетическимъ, а стало быть, по теоріи, и безиравственнимъ, Вълинскій находить гипотену, способиую дать влючь въ уразумению наиболее возмутительныхъ поступковъ героя. Вълинскій пишетъ по этому случаю чисто адвокатскую защиту Печорина, въ высшей степени искусственную и краснорвинвую. Найденная имъ гипотеза состоитъ въ томъ, что Исчоринъ еще неполный человъкъ, что онъ переживаетъ минуты собственнаго развитія, которыя принимаетъ за окончательный выводъ жизни, и самъ ложно судитъ о себъ, представляя свою особу мрачнимъ существомъ, рожденнимъ для того, чтоби бить палачомъ ближнихъ и отравителенъ всякаго человъческаго существованія. Это его недоразумъніе и его клевета на самого себя. Въ будущемъ, когда Цечоринъ завершитъ полный кругъ своей д'ятельности, онъ представляется Бълинскому совсьмъ въ другомъ видь. Его строгое, полнов и чуждое лицемфрія самоосужденів, его откровенная провфриа своихъ наклонностей, какъ бы извращены опъ ни были, а главное-сила его духовной природы, служать залогами, что подъ этимъ человъкомъ есть другой, лучній человъкъ, который только пореживаетъ эпоху своего искуса. Бълинскій пророчиль даже Печорину, что примирение его съ міромъ и людьми, когда опъ запершить исть естественные фазисы своего развитія, произойдеть именно черезъ женщину, такъ унижаемую, попираемую и презираемую имъ теперь. Какъ добрая нинька, Вълинскій слъдить далье за встви движеніями и помыслами Печорина, отыскивая при всикомъ случав всевозножныя облегчающія обстоятельства для сиисходительнаго приговора надъ нимъ, падъ его невыносимой претензіей играть человівческою жизнію по произволу и ділать кругомъ себя жертвы и трупы своего эгонзма. Одинъ только разъ Вълинскій останавливается передъ выходкой Печорина, совершенно растерянный, не находя уже словъ для уясненія грубой мысли героя и признаваясь, что не понимаетъ его. Случилось это тогда, когда Печоринъ, при мысли, что обольщенная имъ женщина проведеть ночь въ слезахъ, чувствуетъ трепетъ неизъяснимаго блаженства и проговариваетъ: «Есть минуты, когда я понимаю вампира!-а още слыву добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія!> — «Что такоо вся эта сцена?». восклицаетъ наконецъ Бълинскій.— «Мы попимаем» се только, какъ свидътельство, до какой степени ожесточения и безправственности можеть довести человъка въчное противоръчіе съ самимъ собою, въчно неудовлетворяемая жажда истинной жизин, истиннаго блаженства, но послыдней ея черты мы рышительно не понимасых...

Такъ боролся Белинскій съ Лермонтовимъ, который, подъ ко-

нецъ, однако же одолвиъ его. Видержка у Лерионтова была замъчательная: онъ не сказалъ никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стечению обстоятельствъ, очень своеобразно; онъ шелъ прямо и не обнаруживалъ никакого наивренія измінить свои горделивыя, презрительныя, а подчась и жестокія отношенія къ явленіямь жизни на какое-либо другое, болъе справодливое и гуманное представление ихъ. Продолжительное наблюдение этой личности, вифстф съ другими, родственными ей по духу на Западъ, забросили въ душу Бълинскаго первыя съмена того поздиживаго ученія, которое признавало, что время чистой лирической повзіи, світлыхъ паслажденій образами, психическими откровениями и фантазіями творчества — миновало, и что единственная поэзія, свойственная нашему в'вку, есть та, которая отражаеть его разорванность, его духовныя немощи, плачевное состояніе его совъсти и духа. Лермонтовъ быль первымь человъкомъ на Руси, который навель Вълинскаго на это соверцание, впрочемъ, уже подготовленное и самынь исихическимъ состояніемъ критика. Оно пустило обильные ростки впоследствія.

Такимъ образомъ, всв матеріалы для устраненія отвлеченнаго, философскаго принципа, вся пужная подготовка для выхода взъ фальшиваго псевдо-гегелевскаго оптимизма были уже теперь на-лицо; но Вълинскій освобождался отъ стараго возэрвнія, такъ тщательно воспитаннаго имъ въ себъ, медленно, какъ отъ любви, хотя уже съ половины 1840 года опъ не могъ вспоминать и говорить безъ ужаса и отвращенія о статью своей: «Менцель», которою онъ открыль этотъ замъчательный годъ своей жизни и которая была написана имъ еще въ Москвъ (1839 г.). Эстетическія статьи, о которыхъ мы сейчаст говорили, послъдовавшія ва ней, были плодомъ уже пстербургскихъ его дунъ. На нихъ еще лежитъ во иногихъ ифстахъ отблескъ стараго паправленія, но съ ними снова выходиль на литературную арену замъчательный критикъ въ полномъ обладаніи своей мыслыю и своимъ увлекательнымъ словомъ. Проснулись всв его способности, вся прирождениая ему сила литературной прозорливости. Статьи его были не просто журпальными рецензіями, — онф составляли почти события въ литературномъ мірт того времени. Всв онв установляли новыя точки зрвнія на предмети, читались съ жадностью, производили глубокое, неизгладиное впечатлиніе на современную публику, на всъхъ насъ, какіе бы оттынки прежнихъ, пе виолит покипутыхъ убъжденій, еще ни встрфчались въ нихъ, и какъ бы самъ авторъ ни осуждалъ впоследствии некоторыя изъ ихъ положеній и приговоровъ, за излишній пылъ и черезъ мфру высокій тонъ ихъ. Бълинскій, какъ критикъ-художникъ, являлся дъйстви-

рыя потоиъ, къ удивлению, были усвоени саминъ Гоголомъ и встръчаются въ его собственной защить своей комедін, какъ, напримъръ, имсль, что грубая ошибка городпичаго, принявшаго мальчишку Хлоставова за ревизора, есть действо встревоженной совести. «Пе грозная действительность, а призракъ, фантонъ или, лучте сказать, тынь отъ страха впповной совъсти должна была наказать человыка призраковъ (городинчаго)», говорилъ Бълинскій къ одномъ мъстъ. Даже знаменитое положение Гоголя, что честное существо въ «Ревизоръ сть сирхъ, даже и опо сказано било Вълинският прежде. Упомянувъ, что основа трагедін всегда зиждется на борьбъ, возбуждающей сострадание и заставляющей гордиться достоинствоиъ чоловической природы, Вилинскій продолжаеть: «такъ и оспова комедін— на комической борьбь, возбуждающей смъхъ; однако же, въ этомъ сивхв пе одна веселость, но й мщеніе за униженное человыческое достоинство, и, таким образом, другим путем, нежели въ трагедіи, но опять-таки открывистся торжество нравстоеннаго закона»; в много еще подобныхъ мфстъ заключалось въ статьв. Я не вывожу изъ этого сближенія никакихъ заключеній, хотя и позволительно думать, что Гоголь читаль статью 11-йлинскаго, по крайней мфрф, весьма внимательно. Что же касается до «Горя отъ ума», то Вълинскій считаль конедію изумительной картиной нравовъ и геніальной сатирой, по не находиль въ ней художинчески-построеннаго созданія и, восхищаясь ею, сожальлъ, что не можеть приложить къ ней трхъ способовъ философско-астетическаго анализа, которые употребляль для разбора «Ревизора». Онъ быль еще связань теоретическими запрещеніями и ограниченіями; и немного поздиже, въ эпоху обращения въ политическимъ и общественнымъ вопросамъ, о которой пророчилъ В. И. Воткипъ, Вълинскій санъ считалъ этотъ приговоръ далеко не исчернывающимъ всего значенія комедін Грибовдова.

Между прочинь, въ это же самое время, Бълинскій покончиль всё разсчеты и связи съ человікомъ, котораго онь ціннять еще недавно очень высоко и котораго глубоко уважаль и любиль, — съ И. А. Полевымъ. Подъ гнетомъ тяжелыхъ обстоятельствъ жизни, Н. А. Полевой, сділавшійся издателемъ «Сына Отечества», перешель на сторону враговъ философскаго движенія въ Россіи и самаго развитія независимой, критической журнальной діятельности, эру которой, между прочимъ, онъ самъ же и открыль у насъ. Отзываясь теперь презрительно и насмішливо о молодыхъ нопыткахъ отыскать какія-то особенныя вачала для жизни и мысли, безъ справки съ оцытомъ и условіями времени, Полевой думаль сділаться необздимымъ человікомъ въ томъ кругу людей и понятій, къ которымъ

пристроился послё паденія «Московскаго Телеграфа». Но разсчетъ его и туть не удался. Онъ быль имъ подозрителенъ и тогда, когда защищаль ихъ. Всего этого было, однакоже, довольно, чтобы потушить у Вълинскаго тъ искры привязанности, которыя онъ постоянно питаль въ душт къ прежнему бойкому публицисту и недавнему романтическому сказочнику. Онъ это и высказаль откровенно въ разборъ «Очерковъ русской литератури» Н. А. Полевого, разборъ, который можетъ стать рядомъ съ прежнимъ его разборомъ дъятельности С. П. Шевырева по яркости красокъ и убъдительности доводовъ: оба эти разбора заслоняли людей поваго поколтнія отъ вліянія авторитетовъ и репутацій, переставшихъ отвъчать потребностямъ времени, и оба порішили участь двухъ значительныхъ именъ въ литературъ.

Когда я верпулся послё трехивсячной летной отлучки моей снова въ Потербургъ, я нашелъ въ Бълипсковъ большую персивну. Бълинскій уже вышель изъ психическаго призиса, въ которомъ я его оставияъ. Упреки, которые онъ дълаяъ себъ въ глубинъ души я уединенно за свое исдавнее увлечение, высказываль онь теперь торжественно, явно, во всеуслишание. Тонъ и складъ его разговоровъ проникнуть быль самообличенисть самымъ яркимъ и безнощаднимъ. Онъ уже пережилъ и позабилъ боль скорбнихъ признаній и двлаль ихъ теперь публично. Получая укоры со всёхъ сторонъ, Бълинскій уже свободно разбираль ихъ, оправдываль и пополияль. Станкевичь писаль изъ Верлина съ изумлениемъ о новых теоріяхъ, народившихся въ Петербургъ; о негодования же въ кругъ Г., въ которонъ числился, кроив О. и другихъ, тогда еще и Грановскій, было уже нами сказано выше. Даже и обличенія постороннихъ лицъ, гораздо менфе друзей стъснявшихся прінскиванісмъ позорныхъ источниковъ для объясненія ультраконсервативной ділятельности Візлинскаго, находили въ немъ своего адвоката. Онъ становился на сторону своихъ диффаваторовъ, досказывалъ имъ самъ черты, которыя могли бы усилить ядовитость ихъ полемики, и только для себя не находиль никакого оправданія. Такъ разрышался его кризись. Можво было подушать, что Вълинскій паходить что-то облегчающее для себя въ этихъ безпрестанныхъ истязаніяхъ своей репутаціи. Черта такого самобичеванія проявлялась у Вълинскаго иногда и безъ особенно важныхъ поводовъ, порождая иногда упорительныя и юмористическія всимшки. Изв'юстно, что нашъ критикъ погр'яшиль еще въ 1839 г. пятнактной, скучно-психической и сентиментальной комедіей («Пятидесятильтній дядюшка»), о которой не любиль вспоинать, и которой стидился. Однажды и уже черезъ и всколько латъ после ся появленія, когда Белинскій имель въ литературе значительное имя и вліяніе, онъ быль представлень гдё-то извёстному славянскому филологу-профессору И. Срезневскому, который съ перваго же слова объявиль, что онъ не сочувствуеть его критической деятельности, но за то находить комедію его геніальной вещью. Бёлинскій затёмь уже никогда не могь вспомнить объ этомъ отзывё безъ выраженія безмёрнаго изумленія, какъ будто дёло шло о чемъ-то совершенно невозможномъ и несстественномъ.

Достойно замечанія еще и то обстоятельство, что смыслъ вообще философскихъ статей Вълинскаго не былъ разгадавъ и паттріотами-консерваторами эпохи, которымъ статьи должны были бы придтись по сердцу, и которые, плоборотъ, присоединились толив, преследовавшей критика свистками. Даже люди очень образованные и весьма радфвийе, какъ о внутреннемъ, такъ и о вифинемъ достоинствъ русской жизни, какъ, напримъръ, С. Шевыревъ, не угадаля помощи, какую припосять статьи Вфлинскаго ихъ собственному делу, по множеству очень умныхъ и дельныхъ заметокъ о психологія народной, которыя въ нихъ заключались и опередили науку о психической жизни народовъ, пынъ появлятуюся. Образованные люди и профессора остановились только на туманномъ языкъ Вълинскаго — и далъе не пошли, довольствуясь случаемъ лиший разъ поглумиться падъ противникомъ. Такимъ образомъ, большого политическаго симсла не обнаружилось ни съ той, ни съ другой стороны, по откуда же и было взять его тогда? Первые проблески нъкотораго политическаго смысла зародились у насъ только въ раз-гаръ великаго спора между славяпофилами и западниками, тамъ они и окраили, о чемъ будемъ говорить далае.

### XI.

По осени того же 1840 года, явился въ Петербургъ молодой человъкъ, М. К.—въ, язъ Москвы, переводчикъ «Ромео и Юліи», уже составившій себъ репутацію человъка съ основательными филологическими познаніями и съ замъчательными способностями къ отвлеченному мышленію и къ критикъ идей. По въ это время онъ преслъдовалъ еще и другія цъли, стараясь показаться человъкомъ не только эпциклопедическаго образованія, но и страстныхъ житейскихъ увлеченій, занимаясь точно также философскими соображеніями, поэзіей, искусствомъ и творчествомъ, какъ и сообщеніемъ своей физіономін демоническаго выраженія. Желаніе прослыть человъкомъ, способнымъ понимать и чувствовать въ себъ всъ стороны чеществованія, бросало его, по временамъ, въ необычайныя поныт-

ки, подсказывало дъйствія и порывы совершенно фантастическаго характера, частію искренніе, такъ какъ онъ действительно обладаль страстной, увлекиющейся натурой, а частію придуманные, въ видъ украшенія, отличія, полезной психической черты. Все это виъстъ довольно плохо вязалось съ планами ученой и труженической жизни, какіе онъ дівлаль для себя, и создавало изъ него загадку для окружающихъ, чего онъ и хотълъ. Уже съ 1839 года, IC-въ быль сотрудниковъ «Литературныхъ Прибавленій» и «Отечественныхъ Записокъ» г. Краевскаго, и вибств съ Белинскимъ, при обновлении редакции послъдняго журнала, очутился въ числъ главныхъ его руководителей. По прибытіи въ Петербургъ, опъ остановился также у И. И. Панасва, - орудія и агента этого обновленія. Онъ появился, однако же, не надолго, пробираясь въ Верлинъ, для окопчанія философскаго в научнаго образованія во-первыхъ, а во-вторыхъ для исполненія одного долга чести. Какая-то старая и довольно грубая, хотя и морализующая, по обыкновенію, выходка В. по поводу одной московской исторіи вызвала въ самомъ кабинетъ Бълинскаго порядочно безобразную сцену между К-вымъ и Б., когда оба они находились уже въ Петербургъ. Дъло должно было разрешиться дуэлью въ Берлине. Къ удовольствію друзей, прининавшихъ участіє въ противникахъ, дуэль не состоялась вовсе 1). Въ Петербургъ К-въ былъ предшествуемъ, какъ я сказалъ, репутацісй челов'яка первнаго характера и оригинальнаго ума, питаемаго особенно знакомствомъ съ источниками господствовавшихъ тогда теорій, и, наконецъ, писателя, уже отличившагося настерствомъ своимъ виражать истко и живописно оригинальныя стороны философскихъ идей, историческихъ эпохъ и предметовъ испусства вообще. Критическія статьи К-ва действительно возвещали очень свежій, разнообразный и сильный таланть; между ними остается инв памятной рецензія его на внигу Зиновьева: «Основаніе русской стилистики», гдъ первое возникновение риторики, какъ науки, оправдывалось строемъ всей древней греческой жизни и цивилизаціи, и осязательно показывалась неяфпость ся претсизіи на званіе науки въ быту новыхъ обществъ. Тъмъ же характеромъ блестящаго изложенія и пониманія исторической и бытовой сущности вопросовъ отличаются и иногіи другія его статьи въ «Литературных» При-1839 u 1840 rr. бавленіяхъ и «Отечественнихъ Запискахъ» Вълинскій очень дорожиль его сотрудинчествомь въ «Отечествен-

<sup>1)</sup> При отъбъдъ мосмъ за границу, Еблинскій, разсказывая подробности сцены, моручаль мит стараться о примиреніи враговъ. "Вызо бы большивь несчастіснь", говориль онь, "потерить такого человъка, какъ К—вь; действуйте особенно на Б.—онь же резонерь и на сделку пойдеть скорфе".

ныхъ Запискахъ» и ожидаль отъ того большихъ последствій для журнала, чего, однакоже, не сбилось.

К-въ переживаль тогда тоть періодъ развитія, который можно назвать «свирипостию молодости», и который часто разръшается явленіями, которыя кажутся совершенно невозможными и дикими въ приложения къ лицу, узнанному нами поздибе, когда оно уже вполив опредвлилось. Съ физіономіи его почти не сходило тогда выражение ивкотораго легкаго презрания къ интеллиснции, его окружавшей, а поступки его еще сильное выражали убъждение въ своемъ правъ не дорожить ею. Вълинскій не составляль исключенія. К-въ ни мало не сврываль высокаго понятія о самомъ себъ и большихъ надеждъ, возлагаемыхъ имъ на свою будущиость, и дуналь, что они могуть служить достаточнымь основаниемь для снисходительнаго взглида на его рфзкія выходин и несправодлиности къ друзьямъ, которые только и запинались темъ, чтобъ поддержать, поощрить и укръцить его двятельность и вліяніе. Въ короткое вреия своего пребыванія въ Петербургь, кроит нькоторыхъ библіографическихъ статей, онь перевель, вибств съ другими участниками, романъ Купера «Патфайндеръ» и составилъ этюдъ «Сарра Толстан», который появился въ «Отечественныхъ Запискахъ» почти передъ самымъ его отъездомъ за границу. Велинскій, еще до напочатанія этого этюда, быль очень доволень имъ и даже много говориль о немь, но не прошло и двухъ ифелцевъ, какъ опъ перемвниль свое мивніе объ этюді, о чемь я уже узналь внослівдствін. Ену сділались вдругь противни исихическія изысканія въ области духа, анализъ неуловимыхъ чувствъ и ощущеній внутренняго человъческаго существованія, словомъ, вся та истафизика ума и воли, какая обильно предлагалась статьей К-ва, но которал начинала уже терять всякое значение для Велипскаго. Выло и сще соображение. По всему складу мысли и двительности К-ва, съ первыхъ же его шаговъ за границей, все ясиве оказывалось, что овъ гораздо болве (занятъ мыслію водворить въ своемъ отечествъ новыя основы положительнаго созерцанія и вфрованія, какія онъ открыль въ поздивищей философіи «Откровенія» Шеллинга, чъмъ призваніемъ работать на просвътленіе загрубьлой русской общественной среды, прямо и непосредственно, какъ того требовало время. Самъ К-въ скоро подтвердилъ всв догадки Ввлинскаго. Еще въ Гамбургв, ступая, такъ сказать, впервые на почву Европы, онъ думаль, что усибхъ «Отечественныхъ Записокъ» доставить ечу и Вълинскому средства безбъднаго существованія на всю жизнь, а менье чыть черезь годь онь прекратиль всь сношенія сь журналомь. Выло бы крайно поверхностно и нелочно объяснять діло пеясностію денежнихъ разсчетовъ между редакцієй и сотрудниковъ ел, между такъ какъ дало разъясняется вполев отвращеніемъ К.—ва сладовать по пути безповоротнаго отрицанія, которое бонтся и не желаеть разъясненій. Въ 1842 году, онъ на этомъ основаніи подозрительно отпосился даже къ «Мертвимъ Душамъ» Гоголя, какъ я нивлъ случай лично убъдиться, и не столько къ поэмъ, сколько къ будущимъ ея панегиристамъ, которихъ предвидалъ и которихъ болье опасался, чъмъ выводовъ самаго произведенія. Въ глухую осень 1840-го года (октября 5-го), ми съ нимъ съли на посладній пароходъ, отправлявшійся изъ Петербурга въ Любекъ. Вълинскій, Кольцовъ и Панаевъ провожали насъ до Кронштадта.

Я упонянуль имя Кольцова. Это была иоя первая и последняя встрича съ этимъ замичательнымъ человикомъ. Какъ теперь смотрю на малорослаго, коренастаго поэта, со скулистой, чисто-русской физіономісй и съ весьма пытливымъ и наблюдательнымъ взглядомъ. Все время проводовъ опъ молчалъ, какъ-бы озадаченный и подавленный уминии, а еще болье-развивными рычами литературныхъ авторитетовъ, — ръчани, которыя выслушивалъ съ покорнынъ вниманісмъ неофита. Это была какъ будто обязательная маска, принятия ниъ въ литературновъ обществъ, которое такъ много дълило для распространенія его изв'ястности, потому что и ко мив, соверменно безвъстному и нимало не вліятельному лицу кружка, онъ подомель, послъ объда въ Кронштадтъ, со словами: «не забывайте, что вы обязаны насъ учить и просвъщать». Много было искренняго въ чувствъ, которое ому подсказывало подобныя слова, но иного въ нихъ было также и привычки, взятой въ постоянномъ обращении съ кругомъ писателей. Она не мъщала, однако же, его суждению. По слованъ Балинскаго, не было человъка болъе зоркаго, пропицательного и догадливаго, чемъ Кольцовъ съ его спокойнымъ и покорпымъ видомъ: опъ распознавалъ людей сквозь кору напоспой культуры и цивилизаціи и судиль о нихъ очень правильно и самостоятельно. Это не мъшало ему и въ жизни, и въ поэтической двятельности, отдавать по временамъ самого себя безповоротно во вліяніе и управленіе какой-либо излюбленной личности, чемъ онъ тоже выражаль свою русскую природу вполнъ. Бълинскій, напримъръ, распоряжался его мыслію и душой самовластно: кромъ того, что критикъ нашъ высвободиль ого народную и поразительнообразную пъснь отъ дурныхъ резонорскихъ привычевъ, опъ навъялъ также Кольцову сперва его религіозные гимны, а затымъ пробудилъ въ немъ зародиши поэтическаго созерцанія жизни и жажду по наслажденіямъ бытія, какую опо за собой выводить. При Кольцовъ оставались, однако же, все та же оригинальная форма, тотъ ж

оборотъ и неподражаеный складъ рачи, на что бы она ни обращалась: эта черта, кажется, должна была бы остановить недавнія подозрвнія, брошенныя на поэта въ присвосній чужой дитератур. ной собственности. Есть анекдотъ отъ эпохи, теперь нами передавасной, который Бълинскій повторяль не разь. Вы разгарів московскаго философскаго настроенія, собрался однажды у В. П. Воткина вружовъ друзей, занимавшихся наукой наукъ, и притомъ собрался въ самомъ счастливомъ и веселомъ расположении духа. Тогда еще существовали для людей радости по вычитанной идев, по открытію новаго фактора въ духовной жизии, по пріобратенію ваго горизонта для высли и т. д. Кружовъ ликовалъ одною этихъ нематеріальныхъ, отвлеченныхъ и теперь уже немногимъ понятныхъ радостей. Случайно попаль на него и Кольцовъ, конечно, не вполит уразумъвавшій оспованія восторженных ричей своихъ друзей, но общее настроение подъйствовало на него обалтельно. Онъ самъ просийтивит и, удалившись ит кабинетъ хозянна, свят за письменный его столъ и возвратился черезъ нъсколько минутъ къ пріятелянь съ бунажкой въ рукахъ. «А я написалг пысснку», сказалъ опъ робко, и прочелъ стихотвореніе: «Ифень лихача Кудрявича», пьесу, которой по-своему какъ-бы отвъчаль и вторилъ шунной рфчи молодыхъ московскихъ энтузіастовъ.

Не ившаетъ сказать инпоходомъ, что часть біографіи Кольцова, касающаяся его семейнихъ дълъ, кажется, должна быть принимаема тенерь съ нъкоторою осторожностью и оговоркой, необходиныхъ особенно для подтвержденія догадки, что собственно никакого преднамареннаго и обдуманнаго пресладованія со стороны родныхъ ве было въ жизни Кольцова. Они тогда и долго потомъ еще не считали себя виновными передъ покойнымъ, и дъйствительно могутъ быть – если не оправданы, то пощажены па судъ потояства. Они жили по правиламъ, обычаямъ и воззръніямъ грубой культуры, которую унаследовали отъ отцовъ, и понять не могли, что притвеняють и наконець губять близкаго человъка однимъ образомъ своихъ дивихъ понятій и своей жизнію по этимъ понятіямъ. Они оскорбляли и мучили свою жертву беззлобно и безсознательно, н только въ этомъ и заключается именно трагизмъ семейнаго положенія Кольцова, обреченнаго на жизнь въ безобразной средъ съ той степенью развитія, которую уже ималь...

Мы такъ и увхали, оставивъ Вълинскаго при разработкв эстетическихъ началъ, которыя онъ понималъ далеко не такъ узко, какъ положено думать объ эстетическихъ пріемахъ вообще. По въкоторымъ чертамъ, иною уже приведеннымъ, можно судить, какое чегозначительное содержаніе онъ сообщалъ имъ, а чъмъ далъе онъ

шедъ, темъ все большую широту получали и его встетическія начала, обникавшія не одни только условія и задачи искусства, но и связанные съ ними неразрывно вопросы жизни и морали. Истати, о последней. При отъезде я уносиль съ собой образъ Велинскаго прениущественно какъ нравоучителя и объ этомъ считаю нужнымъ скавать теперь несколько словъ.

Кто не знаетъ, что моральная подкладка всёхъ мыслей и сочиненій Въянискаго была именно той силой, которая собирала вокругъ него пламенныхъ друзей и поклонинковъ. Его фанатическое, такъ-сказать, исканіе правды и истипы въ жизни не покидало его и тогда, когда онъ на время уходилъ въ сторену отъ нихъ. Авторитетъ его какъ моралиста никогда не страдалъ между окружающими отъ его заблужденій. Необычайная честность всей его природы и способность убъждать другихъ и освобождать ихъ отъ дурныхъ приростовъ мысли, продолжали дъйствовать на друзей обаятельно и тогда, когда онъ шелъ въ разрёзъ съ ихъ убъжденіями. Очеркъ его моральной проповёди, длившейся всю жизнь его, былъ бы и пастоящей его біографіей.

Къ копцу 1840 года правственное уже не выводилось ниъ болье изъ полнаго устраненія своей личности, своего я, и изъ передачи всего себя въ лоно безпредъльной любеи, какъ въ первий (шеллинговскій) періодъ развитія; оно не заключалось также въ пониманіи саного себя, вакъ высшаго творчесваго номонти въ двятельности всеобщаго разума и высшей идеи, какъ выходило по Гегелю. Вевпредальния любовь и абсолютное понимание своей духовной сущности, какъ начала, изъ которыхъ вытекають всв правила жизни, заминялись другими и единственными диятелеми. Теперь нравственное для Белипского состояло въ остетическомъ воспитания саного себя, т.-е. въ приобретения чутвости въ правде, добру, красоть, и въ усвоени неодолимаго органическаго отвращения къ безобразію всякаго вида и рода. Я живо помию еще беседы, въ которых сопъ развиваль это положение. По его убъждению, хорошинь пособіемъ для возведенія себя на степень разумнаго человъка и просвътленной личности можотъ служить изучение основныхъ идей въ истинно-художническихъ созданіяхъ. Всв эти основныя иден суть вивств съ темъ и откровенія моральнаго міра. Изъразбора и усвоевія ихъ возникаеть въ обществів, мало-по-малу, кодексь правственности, не писанный, безъ мраморныхъ таблицъ и хартій, но лучше ихъ укореняющійся въ сознаніи отдільныхъ лицъ, лучше ихъ устроквающій впутренній быть человіна, а черезь человіна и быть цівлыхъ поволоній. Ісаждый новый геніальный художнивъ привносить, такъ-склять, въ этотъ свободний кодексъ нравственных началновую черту, новую подробность, которыя почерпнуты прямо изънаблюденія и опредёленія элементовъ духовной природы человъба. Образуется рядомъ съ живущими, дійствующими, писанными и неписанными, нужными и пенужными уставами общежитія и благочинія—другой уставъ, ненэміримо боліве світлый, разумный и серьёзный, которому сліддують люди, развитые эстетически. Человіять, воспитанный на міросозерцаніи великихъ художниковъ, поэтовъ, философовъ, мыслителей, подъ конецъ самъ становится способнымъ кътворчеству въ области правственныхъ идей, открываеть новыя начала правды и возвіщаеть ихъ, покоряясь нить самъ и покоряя имъ другихъ. Візлинскій нашель очень много глубокихъ соображеній на этой почив, съ которой онъ сошель въ конців своего поприща на другую, тоже давшую ему много немаловажныхъ выводовъ и о которой еще річь впереди.

И какъ онъ встрепенулся, когда около той же эпохи возвъщенъ быль новый журналь «Маякъ», долженствовавшій, какъ говорили, прениущественно способствовать возобновлению и развитию старой; до-Петровской и испытанной русской порали, позабытой нашимъ свътскимъ и литературнымъ обществомъ. Вълинскій прежде всъхъ бросился поднять эту перчатку. Онъ отозвался о скоромъ появленіи журнала враждебно и сердито, и передъ самынъ отъфздомъ моннъ показалъ инф даже ифсто изъ приготовляемой инъ статьи, гдъ упоминалось о журналъ: «Въ нашу уснувшую литературу началь вкрадываться китайскій духь; опь пачаль пробираться не подъ своимъ собственнымъ, то-есть китайскимъ именемъ Дзунь-Кинь-Дзынь, а съ чужинъ паспортонъ, съ подложною фаниліей и назвался моральными духоми. Говорять, что добрые напдаряны приняли благов намфреніе издавать на русскомъ языкъ журналъ, имъющій целію распространение въ русской литературъ этого благовонно китайскаго духа» (въ разборъ «Ольги», романа автора «Семейства Холискихъ»). Видуманное китайское слово забавляло самого автора, по оно не выражало еще вполив степени негодованія, объявшей его при извъстін о замыслів основать журналь для защиты отживнихь началь, хотя бы приогда и очень важной исторической эпохи. Все это было какъ-бы предчувствиемъ той ожесточенной борьбы, какую онъ поведеть скоро противь такъ же началь съ врагами, гораздо болью дъльними и многочисленими, чъмъ будущая редакція объщанна го журнала \*).

<sup>\*)</sup> По странной случайности, въ то самое время, когда обновленныя "Отечественныя Записки" принимали то направленіе, о которомъ говоримъ, въ Моский возникълъ журналъ "Москитипинъ", которий долженъ былъ служить какъ-бы противодъйствием в четербургскому изданію. "Москитипинъ" быль основанъ въ 1841 году.

Частыя нападки Вълинскаго на моральничаные повели однакоже къ недоразумению, которое чуть-ин не продолжается и до сихъ поръ. Надо припомнить, что Вълинскій вполить усвоиль себть деленіе Гегеля правственныхъ началь на двъ области: моральную (Moralitat), къ которой онъ отнесъ бодъе или менъе хорошо придуманныя правила общежитія, и собственно—правственную (Sittlichkeit), которая объемлеть у него самые законы, управляющіе психическимь міромъ человъка и порождающія этическія потребности и представленія. Сдівлавшись проводникомъ этихъ имслей въ русской жизни, Вълинскій началь свой долгій подвигь преследованія въ литературе н вообще явленіяхъ нашего общества того, что онъ называль моралью и поральничанымъ. Когда возвратилось къ нему, после некотораго перерыва, его яркое и отвровенное слово, онъ уже не прекращаль своего неусыпнаго гоненія на моральничанье, сильно господствовавшее тогда у насъ въ театръ, словеспости и жизни, такъ какъ посредствомъ его люди прикрывали свою духовную наготу и старались обмануть себя и другихъ относительно нравственной своей пустоты. Все, что отзывалось благовиднымъ, но коварнымъ резонерствомъ, желающимъ подмънить очевидные факты лживымъ ихъ толкованіемъ, все, что носило печать слабосильной, пустой септенція, разсчитанной на полученіе дешевымъ способомъ, безъ хлопотъ и усилій, репутаціи честности и порядочности, наконецъ, все, что отзывалось китайскимъ раболюннымъ отношенісмъ къ старинъ и изувърскимъ отвращениемъ къ трудамъ поваго времени, все это клеймилось у Вълинскаго одникъ прозвищемъ «морали и моральничанья» и преследовалось со смелостью, весьма замечательной по тому времени. Везпощадное облачение этого чудовища «морали» разстяно у него почти по всемъ его статьямъ отъ той эпохи. Чтобы ознакоинться, какимъ эпергическимъ языкомъ оно обыкновенно производилось, любопытные могутъ прочесть любую изъ его резензій (см., напримъръ, рецензію на романъ Р. Зотова «Цинъ-кіу-Тонгъ», V. 261), или любой театральный отчеть (см. отчеть о комедія С. Навроцкаго «Невый Недоросль», VI, 163;—Велинскій писаль и театральные фельетоны при «Отечественныхъ Запискахъ»). Онъ достигъ того, что опошлилъ у насъ самое слово «мораль», но работа эта не прошла ему, однакоже, даромъ. Она дала поводъ его врагамъ составить ему, пользуясь недоразумениемъ и игрой словъ, репутацію безиравственнаго существа, не признающаго законовъ, безъ которыхъ никакое общество держаться не можетъ. Они успъли объявить безиравственнымъ человъка, который всю жизнь искалъ основныхъ принциповъ идеально благороднаго существованія на земль, который быль, на эло своинь насмешкамъ падъ моралью, однимъ

изъ заивчательнъйшихъ моралистоет сеосй эпохи, и который проповъдывалъ и поддерживалъ кругоиъ себя спасительную ненависть ко всему пошлому, лицемърному, унижающему.

Я провель три года за границей, весьма мало получая извъстій изъ родины. Въ этоть промежутокъ времени свершился весьма важний перевороть въ психическомъ состояніи и въ направленіи всей дъятельности Бълинскаго,—а стало быть и въ его представленіяхъ о нравственномъ, какъ скоро увидимъ.

### XII.

Мы покинули Петербургъ за непривычных для него занятіемъ. Петербургъ принялся за чтеніе иностранныхъ газетъ: онъ былъ взволнованъ неожиданно Инпетскима вопросомъ. Десять явтъ передъ твиъ, въ началв 30-хъ годовъ, публика наша очень мало интересовалась даже и такинъ событіемъ, какъ французскій переворотъ 1830 года, и не справлялась о причинахъ, его породившихъ. Теперь было нъсколько иначе: по первому слуху о возможности столкновеній въ Европъ, любопытство овладъло даже и лънивыми умами. Иностранния газеты и брошюры, насколько ихъ можно было достать, очутились въ рукахъ даже и наименъе привичныхъ къ такой ношъ. Потребность справляться о ходъ дълъ въ Европъ осталась, однако-же, и по минованіи грозы. То, что прежде составляло, такъ-сказать, привилегію высшихъ аристократическихъ и правительственныхъ сферъ, становилось дъловъ общимъ.

Влінніе, какое начинаєть оказывать съ 1840 года Европа и ея д'вла на тогдашнюю нашу интеллигенцію, заставляєть меня нехотя обратиться къ туристскимъ монить воспоминаніямъ и сказатъ несколько словъ о томъ, что русскіе находили вообще въ современной Европе и прениущественно во Франціи, сменившей Германію въ ихъ благорасположеніи къ западнымъ культурамъ.

Итакъ, въ западной Европф, куда им прибыли черезъ четыре дня довольно бурнаго плаванія,— шли большія приготовленія. Германія собиралась на войну съ Франціей за принципт законностиге, нарушенный египетскимъ пашей, который вздумаль перемфиить вассальныя свои отношенія къ Портф на протекторать Франціи, поддерживавшей его въ этомъ наміреніи. Англія, весьма мало интересовавшаяся принципами законности, когда они призывались европейскими кабинетами, поднялась первая за святость ихъ, когда дівло пошло о Турціи. Правитлеьства континента страшно обрадовались этой поддержків Англіи: она давала имъ возможность обнаружить,

безъ всяваго риска, сдерживаемую дотолю ненависть въ революціонной, безпринципной Францін; народы ихъ, еще лишенные представительства, собирались биться съ врагомъ за свою честь, страдающую отъ самохвальства нарижскихъ журналистовъ, отъ бравадъ
республиканцевъ и лювой стороны французской палаты депутатовъ.
Катавасія эта начинала сильно разгораться, когда мы высадились
на берегъ въ Травемюнде. На одной станціи, по дорогю изъ Любека въ Гамбургъ, М. К.—въ показаль мий, покуда намъ готовили
завтракъ, листокъ немецкой газеты, где сообщалась новинка, знаменитая патріотическая песенка Беккера: «Sie sollen ihn (Рейна)
пісьт набеп», облетевшая потомъ всю Германію изъ конца въ конецъ.

Воинственное движеніе по поводу дикаго, свирвиаго и, несмотря на лукавство свое, пошловатаго егинетскаго эксплуататора, къ счастію, длилось не долго, что избавило Европу отъ удовольствія видёть за французскими «contingents» фригійскія шапки, а за нівмецкими «ландштурмами», — и нашихъ интендантскихъ чиновниковъ. Луи-Филиппъ утомился каждодневно слушать «Марсельезу» подъокнами Тюльери и получать ежеминутно извістія о военно-революціонномъ настроеніи умовъ; а благоразумная Англія, заручившись трактатомъ почти со всей Европой, который гарантироваль права Турцій, оставила его открытымъ на случай присоединенія къ нему Францій, когда пожелаетъ. Все было спасено такимъ образомъ, и Нептуны съ береговъ Сены и Темзы могли безъ стыда вернуть назадъ выпущенную ими бурю и отойти на покой.

Когда все пріутихло въ съверо-германскомъ міръ, оказалось, что Франція не только не потеряла у него кредита, но чуть-ли онъ еще и не выросъ. По крайней мъръ такъ можно было думать въ Берлинъ, по соединеннымъ усиліямъ полиціи, церкви, науки, театра и даже балета — отклонить возбужденное вниманіе публики отъ Парижа и дълъ его. Цълыя въдомства и корпораціи въ Берлинъ, казалось, только и думали о томъ, чтобъ бороться съ Парижемъ, мъшать его вліянію, предохранять людей отъ его соблазновъ, какъ въ міръ идей, такъ и въ житейскомъ міръ, изобрътая, на замъну ихъ, скои собственные соблазны, не столь ръшительнаго и яркаго характера.

Не говоря уже о попыткахъ придать бёдному тогда городу на ръкъ Шпрее фальшивое подобіе большой резиденціи и важнаго политическаго центра, — вплоть до 1848 года тамъ сочинялись проповёди, выходили ученые трактаты, создавались философія и искусство для борьбы съ французский нечестіему и для пристыженія его. Одинъ вопросъ проводился въ безчисленныхъ видахъ и

симпалси, можно сказать, повсюду: допустить-ли солидний ифмецкій унъ, немецкая верность историческимъ преданіямъ, привязанность намиевъ къ своему очагу и домашнимъ порядкамъ, наконецъ, намецкая потребность добираться до ядра каждой мысли -- допустять-ли они восторжествовать надъ собой легкомыслію и нечестію одного романскаго племени, растерявшаго коренныя основы человъческаго в гражданскаго существованія. Вопросъ этоть открыто ставился представителями власти, министрами, ораторами, съ церковныхъ каоедръ, иногими профессорами, журналистами, литераторами и художниками. Присмирълая, осторожная Франція Лун-Филиппа порождала такое сокровище тайной элобы и гифва въ ифкоторыхъ оффиціальныхъ и консервативныхъ кругахъ, какого они не нашли у себя, когда та же Франція, черезъ 15 леть, тяготела почти надъ всеми европейскими кабинетами \*). Дело объясняется просто: іюльская революція 1830 года впервые нанесла тяжелый ударъ трактатамъ 1815 года и правственнымъ и политическимъ основамъ, установленнымъ «Священнымъ Союзомъ». Рана, нанесенная Франціей 1830 года обычному порядку дель и теченію мыслей въ Европе, была далеко не смертельна, но эта рана все-таки больла и возбуждала тяжелия мысли насчеть исхода бользни. Отсюда и крики, призывъ безчисленныхъ врачей и исканіе возможныхъ средствъ скораго исцівленія.

Покуда, однакожъ, всв попытки заслонить какъ-нибудь отъ глазъ людей Парижъ и Францію не вполив достигали желасмаго успаха. Тому много машала и такъ-называемая сюная Германія. обратившая у насъ тотчасъ же внимание на себя. Побъжденная десять льть тому назадъ на улицахъ и площадяхъ, она усивла теперь захватить въ свои руки часть публицистики, философскую полемику и проимущественно обличение и вмецкой науки, жизни и н.в.мецкаго искусства: она открыто шла за знаменемъ и фортуной чужестраннаго народа, унфющаго такъ много стапить политических ъ и общественных вопросовъ передъ собой. Не то, чтобы партія эта нивла какую-либо плодотворную, государственную идею или обладала вакимъ-либо ученісмъ, способнымъ отвічать на всі требованія. Она предприняла только расшевелить ифисций міръ и инфла за собой даже и изкоторое довольно значительное меньшиниство осторожныхъ и хладнокровныхъ умовъ, которие возмущались долгимъ промедленіемь въ исполненіи накоторыхъ торжественныхъ объщаній. данныхъ народамъ въ 1813 году и недавними попытками изивнить,

<sup>&</sup>quot;) Разумфетен, при этомъ были, какъ и всегда, блестящія исключенія: такіе люды, какъ Гумбольдть, Варигагенъ, Рапке, Гервинусь, Гапсь и др., пикогда не испоимдывали ужаса къ французскимъ вдеямъ вообще и къ французскому обществу въ частьюсти.

по возножности, симсиъ и сущность протестантизма. Вольшинство, однако же, сопротивлялось разлагающему действію «юной Германіи», сколько могло. Общество намецкое, съ администраціей во глава, приняло тогда очень простую систему делить людей на два разряда: на людей, симпатизирующихъ Франціи, позабывъ всв многочисленныя ся вины передъ Германіей, и на людей, довъряющихъ наменкому генію, хотя бы онъ еще и не вполна обнаружиль вса свои силы и средства. Этотъ последній отдель, покровительствуемый и высшими оффиціальными сферами, испов'ядываль еще и ученіе, по которому всякой свободной политической деятельности народа должна всегда предшествовать строгая подготовка къ ней въ безнятежномъ царствъ мисли, науки и теоріи. Берлинскій университеть, благодаря соединеннымъ усиліямъ администраціи и людей науки, вирось сань собой въ готовое царство такого рода: нфисцкая учевость процватала тамъ, какъ нигда. Пользуясь правомъ ознакомлевія съ курсами прежде выбора ихъ, ин каждый вечеръ ходили по аудиторіямъ и слушали знаменитьйшихъ его профессоровъ. Я еще засталь въ университетъ почтеннаго Вердера, друга и учителя Станкевича, Грановскаго, Тургенева, Фролова и иногихъ другихъ руссвихъ. Онъ объясняль логику Гегеля и продолжаль цетировать стихи и афоризны изъ Гёте для сообщенія красокъжизни и поэзін отвлеченнымъ формуламъ учителя. Риттеръ, Шеллингъ тоже открыли свои курсы. Любопытна была для меня лекція Сталя — философапіэтиста и одного изъ будущихъ основателей газеты «Kreuz-Zeitung», который взлагалъ основанія, необходиныя для осуществленія истиннохристіанскаго государства, пигдъ еще не достигшаго вполиъ своего вастоящаго типа, и т. д.

Однако же, либеральное, политическое движеніе умовъ, данное 1830 годомъ, не заглушалось конференціями берлинскаго университета, а напротивъ, еще росло подъ его твнію. Для поддержанія его существовали тогда и сильно шумъли «Jahrbücher» Руге, чистореволюціонный органъ, тоже непокидавшій философизма, но сдълавшій его орудіемъ преслъдованія нъмецкихъ порядковъ и вообще скромности и узкости нъмецкаго созерцанія жизни. Какъ-бы въ опроверженіе этого упрека отечественной наукъ, Германія произвела въсколько ранте внигу, исполненную теологической эрудиціи и возбудившую, на первыхъ порахъ, повсемъстный ужасъ—не только въ совътахъ и капцеляріяхъ, но и между отъявленными либералами—извъстную книгу Штрауса. Свободное изслъдованіе начинало переростать требованія тъхъ, которые его возбудили и защищали. Уже недалеко было то время, когда нъмецкая эрудиція и теорія разовьеть, особенно въ области теологіи п политической экономін, такую

вторять эту картину, всябдъ за многими уже свидетелями, не предстоить вдесь, конечно, никакой надобности.

Одна черта только въ этомъ мірѣ, такъ хорошо устроенномъ, бевпрестанно кидалась въ глаза и поражала меня. Несмотря на всю великольшую обстановку публичной жизни и несмотря на строжайшее запрещене иностранныхъ книгъ (въ моденскомъ герцогствъ обладане книгой безъ цензурнаго штемпеля наказывалось ни болье, ни менъе, какъ каторгой), французская безпокойная струя сочилась подъ всей почвой политическаго зданія Италіи и разъ-вдала его. Подземное существованіе ея не оставляло никакого сомньнія даже въ умахъ наименъе любопытныхъ и внимательныхъ. Оно не было тайной и для австрійскаго правительства, которому оно безпрестанно напоминало о грустной необходимости считать себя, несмотря на трактаты, временнымъ, случайнымъ правительствомъ въ предоставленныхъ ему провинціяхъ, и умножать, для самосохраненія, войско, бюджетъ, наблюденія, мъропріятія и т. д.

Въ мартъ 1841 года я уже биль въ Римъ, поселился близъ Гоголя и видълъ напу Григорія XVI дъйствующимъ во встаъ иногочисленныхъ спектакляхъ римской Святой Недфли и притомъ дъйствующимъ какъ-то вяло и певпинательно, словно исправляя привычную, домашнюю работу. Въ промежуткахъ облаченія и потомъ обрядовъ, онъ, казалось, всего болве заботился о себв, сморкался, отванинвался и скучнымъ взоромъ обводилъ толну сослужащихъ и любопытныхъ. Старый монахъ этотъ точно такъ же управляль и доставшимся ему государствомъ, какъ церковной службой: сонно и безстрастно переполнилъ онъ тюрьмы Папской области не уголовными преступнивами, которые у него гуляли на свободъ, а преступниками, которые не могли ужиться съ монастырской дисциплиной, съ деспотической и вивств лиценврно-добродушной системой его управления. За то уже Римъ и превратился въ городъ археологовъ, нумизматовъ, историковъ отъ мала до велика. Всякій, кто успъвалъ продраться до него благополучно сквозь съть различнаго рода негодяевъ и мошенниковъ, его окружавшую, и отыскать въ немъ, наконецъ, спокойный уголъ, превращался тотчасъ же въ художника, библіофила, искателя редкостей. Я видель нашихъ отдыхающихъ откупщиковъ, старихъ, степеннихъ помещиковъ, офидеровъ отъ Дюссо, зараженныхъ археологіей, толкующихъ о наиятникахъ, камояхъ, Рафаэляхъ, перемъшивающихъ свои восторги возгласами объ удивительно-глубокомъ небъ Италіи и о скукъ, которая подъ намъ безгранично царствуеть, что иного заставляло сменться Гоголя и Иванова: по вечерамъ, они часто разсказывали курьёзные анекдоты изъ своей многольтней практики съ русскими туристами. Къ удикменію, я замітиль, что французскій вопрось далеко не безъннтересень даже и для Гоголя и Иванова, повидимому, успівшихь освободиться оть суетнихь волненій своей эпохи и цоставить себів опережающія ея задачи. Намекъ на то, что европейская цивилизація можеть еще ожидать оть Франціи важнихь услугь, не разъ иміть силу приводить невозмутимаго Гоголя въ нівоторое раздраженіе. Отрицаніе Франціи было у него такъ невозвратно и рішительно, что при спорахъ по этому предмету онъ теряль обычную свою осторожность и осмотрительность, и ясно обнаруживаль не совсівнь точное знаніе фактовь и идей, которыя затрогиваль.

У Иванова доля убъжденія въ той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть но менфе, но, какъ часто случается съ людьии глубоко-аскетической природы, — искушенія и сомивнія жили у него рядомъ со всеми верованіями его. Онъ никогда не выходиль изъ тревогь совъсти. Можно даже сказать про этого замъчательнаго человъка, что всъ самыя горячія попытки его выразить на дель въ творчествъ свои върованія и убъяденія рождались у него такъ же точно изъ мучительной потребности подавить, во что бы то пи стало, волновавшія его сомивнія. И не всегда удавалось ему это. Притомъ же, наоборотъ, съ Гоголемъ, овъ инталъ затаенную неувъренность къ себъ, къ своему сужденію, своей подготовки для ришенія занимавшихи его вопросови, и потому съ радостію и благодарностію опирался на Гоголя, при возникающихъ безпрестанно затрудненияхъ своей мысли, не будучи, однако же, въ состояни униротворить ее вполив и съ этой поддержкой. Вотъ почену при неожиданно возникшемъ диспутв нашемъ съ Гоголемъ, за объдонъ, у Фальконо, о Франціи (а диспуты о Франціи возникали тогда поминутно въ каждомъ городъ, семействъ и дружескомъ кругу), Ипановъ слушалъ аргуненты объихъ сторонъ съ напряженнымъ винианісиъ, но по сказаль ни слова. Но знаю, какъ отразилось на немъ паше словопрение и чью сторону онъ втайий держалъ тогда. Двя черезъ два онъ встратия в меня на Monte-Pincio и, улыбаясь, повториль не очень замысловатую фразу, свазанную мною въ жару разговора: «Итакъ, батюшка, Франція — очагъ, подставлепный подъ Европу, чтобы она не застывала и не плесневела. Опъ еще дуналъ о разговоръ, между тънъ какъ Гоголь, добродушно помирившись въ тотъ же вечеръ со своимъ горячимъ оппонентомъ (онъ преподнесъ ему въ залогъ примиренія апельсинъ, тщательно выбранный въ лавочкъ, встрътившейся по дорогъ изъ Фальконо), забыль и дунать о томь, что такое говорилось чась тому назадъ.

Надо сказать, что пренія по поводу Франціи и ся судебъ раз-

давались во всёхъ углахъ Европы — тогда, да и гораздо поздийе, вилоть до 1848 года. Вёроятно, они происходили въ то же время и тамъ, далеко, въ нашемъ отечестве, потомучто съ этихъ поръсимиати къ зомай Вольтера и Паскаля становятся очевидными у насъ, пробиваютъ кору исмецкаго культурнаго наслоенія и выходятъ на свётъ. Но и при этомъ следуетъ заметить, что русская интеллигенція полюбила не современную, действительную Францію, а какую-то другую — Францію прошлаго, съ примесью будущаго, т.-е. идеальную, воображаемую, фантастическую Францію, о чемъ говорю далее.

## XIV.

Чъть болье приходилось инъ узнавать Парижь, куда я попаль, наконець, въ ноябръ 1841 года, тъмъ сильнъе убъждался, что повода для зависти сосъдей онъ дъйствительно заключаетъ въ себъ очень много, благодаря сильно развитой общественной жизни своей, своей литературъ, и прочему, но — причинъ для суевърнаго страха передъ его именемъ онъ содержитъ весьма мало. Я засталъ Парижъ волею или неволею подчиненнымъ строго-конституціопному порядку; правда, что этого никто не хотълъ видъть, а видъли только опасности, представляемыя пароднымъ характеромъ французовъ, забивая при томъ коренное отличіе конституціопнаго режима, состоящее въ его способности мъщать развитію дурныхъ національныхъ сторопъ и наклонностей. Еще очень много было людей, считавшихъ даже это средство спасать народы отъ заблужденій и увлеченій опаснъе самаго зла, которое оно призвано цфлить.

Посль популярнаго, воинственнаго Тьера, управленіе Франціей приняль на себя англомань по убъжденіямь Гизо, который въ ненависти и презрівній къ самодіятельности и измышленіямь народнихь массь и ихъ вожаковь совершенно сходился съ королемь, котя оба они были обязаны именно втимь массамь и вожакамь своимь возвышеніемь. Оба они были также и замічательные мыслители въ разныхъ родахъ: — король, какъ скептикъ, много видівній на своемь віжу и потому не полагавшійся на одну силу принциповь безъ соотвітственнаго подкріпленія ихъ разными другими негласными способами; министръ его, какъ бывшій профессорь, привыкшій установлять основныя начала, имъ самимъ и открытыя, м візрить въ ихъ непогрішнимость. Изъ соединенія втихъ двухъ доктринеровъ противоположнаго рода, возникла особая система конституціоннаго правленія, старавшаяся водворить, въ страні переворотовъ, мудрствующую, резопирующую и себя провівряющую свободу.

Система располагала множествомъ примановъ для энергическихъ людей, которымъ нужно было составить себъ имя, положение, карьеру, — но безпощадно относилась къ темъ, которые не признавали ея призванія водворить порядокъ въ унахъ и ея ученіе о важности правительственныхъ сферъ и строгой јерархической подчиненпости. Доброй части французовъ, однакоже, система эта казалась олицетворенной, невообразимой попілостью: жить безъ всякой надежды на усивхъ какой-либо висзапной, политической импровизацій, какоголибо отчаяннаго и счастливаго покушенія (coup-de-tête), которыя, сказать миноходомъ, всв есдавлялись съ особенной энергіей и скоростью министерствомъ Гизо въ теченій восьми літь, — жить такъ - значило, по собственнымъ словамъ нартизановъ непосредственной народной двятельности, обречь себя на позоръ передъ потомствомъ. Партін истощались въ усиліяхъ подорвать инистерство, и въ 1548 году, совершенно случайнымъ образомъ, опровинули его, но уже вижств съ конституціонной монархіей.

Говоря правду, имъ дъйствительно не за что было любить это Его «ивщинския» честность и стыдливость ившали министерство. ему лакомить Францію фразами о ея призваніи побъждать народы, къ вящшему ихъ преуспънню, и воспрещали также раздълять восторги толим къ недавнему еще прошлому страны, которое величалось не иначе, какъ времененъ доблестей и славы. Оно вдобавокъ неустанию обличало пустоту и ничтожество народныхъ идеаловъ, проектовъ революціоннаго обновленія государства и различнихъ, укоренившихся догнатовъ пароднаго самолюбія и тщеславія. Вся эта добропорядочность поведенія не могла сділать, конечно, правленія Гизо популярнымъ въ его отечествъ. Да онъ и не гнался за популярностію, презирал ее столько же, сколько и героевъ, вознесенвыхъ клубами и партіями, и разсчитывая единственно на поддержку дъловой, степенной части населенія, которая въ пужную минуту ему. однако же, позорно изивнила, какъ извъстно. Взамънъ популярности, онъ искалъ почетнаго имени въ исторіи, и думалъ его найти, вийсти съ своимъ старымъ королемъ, сдилавъ изъ Франціи свободное и благочинное государство, водворяя въ немъ конституціонные нравы, работая неусыпно за обузданіемъ крайнихъ политическихъ страстей — и все это подъ перекрестнымъ огнемъ печати, которая, несмотря на пресловутые сентябрыские законы, пользовалась при немъ свободой, не имъвшей себъ подобія на континенть, за исключениемъ маленькой Бельгіи и пъкоторыхъ кантоновъ Швейпарін. Притонъ же, каждый день Гизо приносиль свою систему на публичное обсуждение въ тогдашния, почти постоянно бурныя засъданыя налаты депутатовъ, гдъ онъ часто достигалъ до героизна въ

откровенности и до цинизна въ отвътахъ враганъ. Впослъдствін вся эта кипучая жизнь, выработывавшая исподволь конституціонный фундаментъ для страны, нагло объявлена была, при второй имперін, презрівной игрой въ парламентаризнъ и замізнена игрой полицейскихъ агентовъ на улицахъ, скандальной журналистикой въ печати и законодательнымъ корпусомъ въ четырехъ глухихъ стінахъ, безъ правъ трибуны и безъ гласности!

Изъ боязии прослыть эгопстическимъ «буржуа», лишеннымъ бргана для пониманія народныхъ стремленій и скрытыхъ бъдствій работающихъ классовъ, немногіе рѣшались тогда высказывать вполиф
все, что они думали о Парижѣ 40-хъ годовъ. Достовѣрно, однако же, что путешественники имѣли тогда дѣло съ городомъ вполиф
изящнымъ по своимъ пріемамъ и обичаямъ, который отличался, какъ
естественнымъ слѣдствіемъ конституціонныхъ порядковъ, мягкостію
сношеній, отсутствіемъ мелкой подозрительности къ людямъ, возможностію для всякаго иностранца отыскать сочувствіе, симпатическій
отголосокъ на любое серьёзное мпѣніе или начинанье, а, наконецъ,
и относительною честностію всѣхъ сдѣлокъ частныхъ людей между
собою. Все это, какъ извѣстно, исчезло тотчасъ же при второй ихперів. Для подтвержденія этого краткаго очерка достаточно поставить его въ параллель съ тѣмъ, чѣмъ сдѣлался городъ Парижъ,
послѣ потери іюльской конституціи.

На совъсти и репутаціи Гизо, конечно, есть нъсколько пятенъ. Такъ, его упрекали въ употреблении неблагороднихъ средствъ для поддержанія своей системы, въ подкупахъ избирателей и особенно въ томъ, что для легчайшаго управленія ими, онъ держаль число избирателей на ограниченной цифрф, какую засталь сань. Все это правда и опровергнуто быть не можетъ, по правда также и то, что упрочить конституціонные порядки во Франціи онъ могъ только, вавъ довазалъ это последующій опыть, единственно съ темъ персоналомъ единомышленниковъ, который паходился у него въ рукахъ. Такимъ знатокамъ англійской исторіи, какъ король Луп-Филиппъ н Гизо, не ногло быть безъизвёстно, что только упроченная конституціонная система бываеть способна къ перестройкъ себя совершенно запово, не теряя ни своей силы, ни своихъ основаній. Примъръ англійской конституціи быль на лицо: опа имъла тоже свои эпохи «снисходительных» подвупныхъ парламентовъ, но не только побъдоносно вышла изъ всъхъ опасностей и затрудненій, а измънила все законодательство о выборахъ въ камеру общинъ, возстановила право обиженныхъ мъстностей и сословій на посылку депутатовъ въ парламентъ и переформировала весь составъ представительства, не утерявъ при этомъ ни на волосъ коренного своего зна-

ченія и вліянія на страну. Весь вопросъ, такимъ образомъ, сводился для Гизо и его администраціи на упроченіе конституціи, и нелья сказать, чтобы онъ слепо, эгонстически и безсознательно защищаль действующіе законы о выборахь. Въ жару преній о расширенін ихъ, онъ не разъ заявляль мивніе, — что діло измівненія ихъ не можетъ ограничиться въ такой странв, какъ Франція, однивъ присоединениемъ способностей кълику избирателей. За этинъ присоединениемъ «способностей» онъ уже прозравалъ новыя уступки и всеобщее народное голосование-тотъ грубый и ничего не выражающій отвітный воиль толии, которая постоянно возвращаеть вопрошателю только слова, брошенныя имъ въ ея среду, что и совершалось постоянно при Наполеонъ III. Кавъ бы то ни было, но позволительно предположить, что парламентаризмъ Гизо и Луи-Филиппа, столько преследуеный и позориный впоследствіи ихъ врагами, подняжь бы въ постепенномъ, прогрессивномъ своемъ развитін благосостояніе Франціи и рабочихъ ея классовъ, не менъе следующихъ *декретоо*з второй инперіи о національныхъ мастерскихъ, о перестройкъ цъликомъ заново Парижа, о создани чтородковъ» для настеровыхъ (cités ouvrières) и проч.

### XV.

Нужно ли говорить, что сочувствиемъ нетеривливыхъ или пылвихъ умовъ въ Европъ пользовалась совстив не Франція Гизо, а та, которая стояла за нею и протестовала противъ ся конституціонныхъ затъй, не отвъчающихъ, по ея миънію, духу страны. Въ самомъдълъ, что за надобность была германскимъ передовымъ людямъ, а за ними и другимъ кружкамъ политиковъ до какой-то новой Франдін, старающейся держаться въ границахъ своей хартін, Францін приличной, благопристойной и тамъ самымъ извращающей всв старыя попятія о странт, которыя сложились у народовъ съ конца прошлаго стольтія? Для нихъ это была совершенно невъдомая Франція, которую они и изучать не хотіли, а искали прежней, еще недависй, хорошо всемъ знакомой, типической Франціи, той, которая ниветь абсолютныя решенія по всемь вопросамь соціальнаго, полетическаго и правственнаго характера, а когда они слишкомъ долго медлять своимъ появленіемъ, принимаеть міры вызвать ихъ силой. Вотъ эта посавдняя, старая Франція и была еще тогда для иногихъ въ Европъ исконной, въковой Франціей, а другая, толькочто начинавшая показываться на политическомъ горизонтъ, считалась подлогомъ, навождениемъ злого духа, словомъ — призравомъ

самозванно подминившемъ родовую физіономію страны какою-то отвратительно-гладкой, глупой маской. Не зная, чемь объяснить это превращение, заграничныя парти объясням его не иначе, какъ насиліемъ безпримърнымъ въ латописяхъ исторіи: смирный корольгражданинъ, Луи-Филиппъ, постоянно честился, у себя дома и за порогомъ его, прозвищемъ «le tyran», Гизо пазывали заграницей, напримъръ, - въ Англін, поиституціоннымъ «герцогомъ Альбой» тому подобными именами и т. д. Воззраніе русских вружковъ на Францію недалеко отходило отъ общаго представленія ся д'яль, сложившагося у крайнихъ либераловъ Европы: у насъ тоже искали потаенной Франціи, вивсто той, которая была на виду, в ожидали, что первая рано или поздно сивнить вторую. Сивна и действительно произошла скорфе, чемъ ожидали ся — и дала совсемъ предвидънные результаты. Она именно очистила дорогу великолъпной французской имперін, которая такъ хорошо отистила за всв предшествовавшія ей правительства, разстявъ и поданивъ какъ своихъ, такъ и ихъ враговъ. Кажется, въ этой роли Испезиди и состоптъ все ся историческое призваніе. Въ Россіп одинъ только Т. Н. Грановскій, по особенному историческому чутью, которымъ быль падвлень, и по присущему ему чувству истины, старался какъ можно неиве вторить хору ругателей монархін Лун-Филиппа, а въ числъ его ругателей били у насъ очень высоко-поставленныя, правительственныя лица. Помню, что, летомъ 1845 года, несколько словъ, сказанныхъ мною въ защиту Гизо, на дачь въ Соколовъ (близъ Москвы), возбудили общій насмініливый протесть друзей. Грановскій, однако же, при самомъ разгарф спора, взялъ меня подъ руку и, уводя въ соседнюю аллею, промолеплъ имъ съюморомъ въ интонаціи, пепередаваемомъ на бумагь: «Оставьте нась съ нимъ на-единъ потолковать, господа, и объ насъ не безпокойтесь. Мы къ вамъ вернемся порядочными людьми». И тогда-то выразиль опъ мивніе, что политическіе идеалы Гизо преднамфренно узки и скромны, соотвътственно тому невеликому представлению о политическихъ способностяхъ французовъ, котораго министръ никогда не скрывалъ. «Но пренебрежение къ народному духу» — добавилъ Грановский – «не можеть обойтись даромъ во Франціи: она знасть, что этому духу обязана своинъ и стомъ и ролью въ исторіи Европы. или иначе, рано или поздно, система Гизо и Луи-Филиппа не выдержить: они и умны, и ошибаются не по-французски, и вотъ это-то ниъ не простится». Я не думалъ тогда, что слова Грановскиго были —пророчество.

Надо замътить и то, что борящаяся и такъ интересовавшая всъхъ позади стоящая, революціонная Франція производила свои на-

падки на строй конституціонной жизни и порядки, ею заведенные, съ большою ловкостію, энергією и замічательнымъ талантомъ: она почти вся состояла изъ даровитійшихъ людей эпохи. Группа писателей, пресліддовавшая свистками систему Лун-Филиппа, производила неотразимое впечатлівніе на лиць, образованныхъ литературно, да обладала и другимъ привлекательнымъ качествомъ. Она поднимала, кроміт вопросовъ текущаго дня, передъ которыми мы всегда чувствовали слабость своего практическаго опыта и сужденія, еще в всего боліве широкіє, отвлеченные вопросы будущности, тэмы новаго соціальнаго устройства Европы, смілыя постройки новыхъ формъдля пауки, жизни, нравственныхъ и религіозныхъ вітрованій, а наконець, критику всего хода европейской цивилизаціи. Здісь мы уже были, что называется, на просторів, пріученные изъ-мала къ великолітивнымъ ипотезамъ, къ широкимъ, изумительнымъ обобщеніямъ и умозаключеніямъ.

Такимъ образомъ, когда осенью 1843 года я прибылъ въ Петербургъ, то далеко не покончилъ всё разсчеты съ Париженъ, а, напротивъ, встретилъ дома отражение многихъ сторонъ тогдашней интеллектуальной его жизни.

Кпига Прудона «de la Propriété», тогда уже почти-что старая; «Икарія» Кабе, малочитаемая въ самой Франціи, за исключеніемъ вебольшого круга мечтательныхъ бёдняковъ-работниковъ; гораздо болъе ея распространенная и популярная система Фурье — все это мужило предметомъ изученія, горячихъ толковъ, вопросовъ и чаявій всякаго рода 1). Да оно и понятно. Въ огромномъ большинствъ случаевъ, трактаты эти были тъ же метафизическія эволюціи, только эволюціи, перенесенныя на политическую и соціальную почву. За ними туда и послъдовали цълмя фаланги русскихъ людей, обрадованныхъ возможностію выдти изъ абстрактнаго отвлеченнаго мышленія безъ реальнаго содержанія къ такому же абстрактному мышленію, но съ кажущимся реальнымъ содержаніемъ.

Та часть върныхъ и зръзыхъ практическихъ указаній, какая

Та часть върнихъ и зрълихъ практическихъ указаній, какая заключалась въ этихъ трактатахъ, и чъмъ европейскій міръ не зачедлияъ воспользоваться—всего менте обращала на себя наше вниманіе, да и пе въ томъ было вообще призваніе трактатовъ на Руси. Въ промежуткъ 1840—43 гг. такіе трактаты должны были совер-

<sup>1)</sup> Я уже не говорю о новой религіи «человічества», изложенной фантастическим теолофомъ Пьеромъ Леру, въ его книгі «de l'Humanité»: она но близости въ издобишему пілтилму и невыдержанности мысли, въ философскомъ отношеніи, къ чену мы были всегда очень чувствительны, не иміла особеннаго усибха, Я цитирую развил иншен на память, можеть быть, не совсімъ точно обозначая ихъ полное заглавіе.

шить окончательный перевороть въ философских исканіях русской интеллигенцій, и сділали это діло вполив. Книги названных авторовь были во всіхъ рукахъ въ эту эпоху, подвергались всесторонему изученію и обсужденію, породили, какъ прежде Післлингъ и Гегель, своихъ ораторовъ, комментаторовъ, толковниковъ, а ивсколько поздиве, чего не было съ преживии теоріями, и своихъ мучениковъ. Теорія Прудона, Фурье, въ которымъ поздиве присоединился Луи-Вланъ съ извістнымъ трактатомъ: «Organisation du travail», образовали у насъ особенную школу, гдв всв эти ученія жили въ сившанномъ видів и исповідовались какъ-то за-разъ адентами ен. Въ такой не слишкомъ плотной и солидной амальгамів, вышли они літь черезъ пятнадцать послів того на світь и въ русской печати.

Бълинскій пристроился въ общему направленію, какъ только первые лучи соціальной метафизики дошли до него, но и туть, какъ и въ философскій періодъ, опъ началь съ начала. Самъ Вълинскій ни съ къпъ не переписывался за границей, но до насъ доходили слухи черезъ прівзжающихъ, что онъ погруженъ въ чтеніе пространной «Исторіи Революціи 1789 г.» Тьера. Пресловутое твореніе Тьера, не очень глубоко понимавшаго эпоху, по очень эффектно излагавшаго наиболъе випуклия ен сторони, ввело его въ новий міръ, досель мало знакомый ему и понудило идти далье въ изученін его. Уже на монкъ глазакъ въ Петербургъ принялся онъ за исторію того же событія, отличавшуюся вполив отсутствісяв всякой повърки лицъ и дълъ, именно за сочипеніе Кабе— «le Peuple», который находиль признаки необъятного коллективного ума во всехъ случаяхъ, когда вступали въ дъло народныя массы, и который объяспяль, наконець, даже паденіе республики трогательнымь, святымъ добродушісять тыхть же нассть, одерживающих в побыды падт врагами не для себя, не для извлеченія немедленной пользы изъ событія, а для прославленія своихъ принциповъ—братолюбія, равенства я справедливости. Впрочемъ, эти и другія, совершенно противоположныя по духу сочиненія служили Вфлинскому просто средствомъ отыскать первыя семена соціализма, заброшенныя переворотомъ 89-го года на европейскую почву: ему нужно было видеть его зачатки съ конвентомъ, нарижской коммуной, героями стараго коммунизма, Бабофонъ и Буонаротти, чтобы распознать современную его физіоновію и понять основательно ивкоторые его ходы въ пашу эпоху. Никавого решенія по всемъ этимъ явлеціямъ онъ не имель, да и всеми предлагаемыми тогда рашеніями быль недоволень. Необычайное впечатавніе произвела на него только кинга Лун-Влана: «Histoire de dix ans», тамъ именно, что показала, какого рода интересъ и каную нассу поученія и даже художнических качествъ ножеть заключать въ себъ исторія нашихъ дней, переживаемаго, такъ-сказать, игновенія, подъ рукой сильнаго таланта, хотя бы исторія такого рода и употребляла въ дъло подъ-часъ не совстиъ испробованные натеріалы, а подчасъ и просто городскую сплетию.

По возвращения мосмъ, въ 1843 году, въ Петербургъ, почти первинъ словомъ, услышаннымъ иною отъ Балинскаго, было восторженное восклицание о книгв Лун-Влана: «Что за книга Лун-Влана!» говориять онъ. «Въдь этотъ человъкъ намъ ровесникъ, а между тъмъ, что такое я передъ нимъ, напримъръ? Престо стидно подумать о встхъ своихъ кропаніяхъ передъ такимъ произведеніемъ. Гдѣ они беруть силы, эти люди? Откуда у нихъ являются такая образность, такая проницательность и твердость сужденія, а потомъ такое ивткое слово! Видно, жизнь государственная и общественная дають содержаніе мысли и таланту ноболью, чыть литература и философія...> Очевидно, эстетическое и публицистическое направление уже потеряло для Вълинскаго свою привлекательность и отодвигалось на задній планъ въ его умъ; но все же волей и неволей онъ оставался при нечь, потому что только съ помощію его можно было поднимать сание простые вопросы общественной морали и касаться, хотя-бы и косвенио, предметовъ русскаго современнаго быта и развитія. Подобио тому, какъ крестьяне покупали тогда пужныя имъ земли на ния задареннаго ими помъщика, такъ покупалось въ литературъ право говорить о самомъ пустомъ, но исе-таки публичномъ двяв, и о смысай того или другого всемъ извъстнаго общественнаго явленія, призивая на помощь и выставляя впередъ граниатику, натенатику, хорошіе или дурные стихи, даже водевили Алексапдринскаго театра, московскіе романы и т. д.

Таково было дъйствіе французской культуры на добрую половину нашего русскаго міра. Но воть что замівчательно. Измівняя свой способъ воззрівнія на призваніе писателя и поміщая задачи литературы уже въ среді общественных вопросовъ, ни Вілинскій, ни весь кружокъ тогдашнихъ западниковъ и не думалъ выбрасывать прежнихъ своихъ представленій за бортъ, какъ негодный баластъ, не приносилъ никакой канпибальской жертвы изъ коренвыхъ основаній прежняго своего созерцанія. Какъ ни различно было у нихъ пониманіе сущности ніжоторыхъ политико-экономическихъ тэмъ, какъ на гормии были между ними споры по частностямъ и способамъ приложенія повыхъ полученныхъ идей, весь кружокъ сходился, однакоже, безусловно въ ніжоторыхъ началахъ: онъ одипаково принималь нравственный элементъ исходной точкой всякой дівятельности, жизненной плитературной, одинаково признавалъ важность эстетическихъ тре-

бованій отъ себя и отъ произведеній мысли и фантазін, и никто въ немъ не помышляль о томъ, чтобъ можно было обойтись, наприніръ, безъ искусства, поэзін и творчества вообще какъ въ жизни, такъ и при политическомъ воспитаніи людей. Истати замітить, что въ виду частыхъ споровъ нежду друзьяни было выражено поздиже въ литературф нашей подозрвніе, что самый кругъ двлился еще на баричей, потфшавшихся только идеями, и на демократическія натуры, которыя принимали горячо къ сердцу всв философскія положенім и дълали ихъ задачани своей жизни. Мивије это ножетъ бить отнесено къ числу догадовъ, которыми удобно отстраняются затрудиенія точнаго опредъленія явленій. Въ кругь, о которомъ идетъ діло, не всегда только «баричи» старались уйти отъ строгихъ заключеній и выводовъ, какіе необходимо истекають изъ теоретическихъ положеній, и не всегда только «демократы» понимали ясите своихъ товарищей сущность началь, и старательные ихъ доискивались послыдняго слова философскихъ проблемъ. Очепь часто роли мънялись, и врагами увлеченій и защитниками крайнихъ мифній дфлались не тф лица, отъ которыхъ всего върнъе было ожидать подобныхъ заявленій, что можно было бы подтвердить многочисленными приміграми. Дило въ томъ, что отличительную черту всего круга надо искать въ другомъ мъстъ и прежде всего въ пыль его философскаго одушевленія, который по только уничтожиль разницу общественнаго положенія лиць, но и развицу ихъ воспитаній, привичекъ мысли, безсознательныхъ влеченій и предрасположеній, превративъ весь кругъ въ общину имелителей, подчиняющихъ свои вкусы и страсти признаннымъ и обсужденнымъ началамъ. Темпераменты въ немъ, конечно, не сглаживались, исихическія и философскія отличія людей проявлялись свободно, большая или меньшая эпергія въ пониманіи и въ выражения мысли существовали на просторъ, но всъ эти силы шли во следъ и на служеніе ндет, господствовавшей въ данную мниуту, которая родинла и связывала членовъ вруга въ одно перазрывное цилов и, если можно такъ выразиться, сіяла одинаково на всихъ лицахъ. Вывали въ недрахъ круга и упорныя разногласія, - ожесточенная борьба не разъ потрясала его до основанія, какъ ин уже говорили и увидимъ еще далъе, но междуусобія этп происходили исключительно по поводу правъ того или другого начала на господство въ кругъ, по поводу водворенія той или другой философской или политической схемы въ умахъ и упроченія за ней правъ на сочувствіе и повиновеніе. Другихъ побужденій и другого дела кругъ этотъ не зналъ. Такъ шло до 1845 года, когда подъ тяжестію собственной своей слишкомъ абстрактной задачи и подъ напоромъ повыхъ общественныхъ и соціальныхъ вопросовъ-вругь сталь распадаться и распадся окончательно въ 1848-му году, оставивъ послъ себя воспоминанія, которыя еще не разъ, думаємъ, будутъ обращать на себя вниманіе мыслящихъ русскихъ людей.

## XVI.

Осенью 1843 года, провздомъ черевъ Москву, я познакомился съ Г., а также съ Т. Н. Грановскимъ и со встиъ кругомъ московскихъ друзей Бълинскаго, котораго зналъ досель только по наслышкъ. Я еще засталъ ученое и, такъ-сказать, неждусословное торжество, происходившее въ Москвъ по случаю первыхъ публичнихъ лекцій Грановскаго, собравшаго около себя не только людей науки, всь литературныя партіи и обычныхъ восторженныхъ своихъ слушателей - молодежь университета, но и весь образованный классъ города-отъ стариковъ, только что покинувшихъ ломберные столы, додъвицъ, еще не отдохнувшихъ послъ подвиговъ на паркетъ, и отъ губернаторскихъ чиновниковъ до неслужащихъ дворянъ. Единодушіе въ привътствіи симпатичнаго профессора со сторони всткъ этихъ лицъ, раздъленныхъ между собою небыть родомъ своей жизни, свонхъ занятій и целей, считалось тогда очень знаменательнымъ фактомъ, и дъйствительно фактъ имълъ пъкоторое зпачение, обнаруживъ, что для нассы публики существують еще и другіе предметы уваженія, кром'я т'яхъ, которые издавна указаны ей общинъ голосомъ или оффиціально. Съ такой точки зр'внія, публичныя лекціи Грановскаго, пожалуй, могли считаться и политическимъ событіемъ, хотя самъ знаменитый профессоръ, посвятившій свои чтенія сжатымъ, по виразительния очеркая нескольких исторических лиць, стоянно держался, съ тактомъ и достопиствомъ, никогда его не покндавшими, на той узкой полосъ, которая отведена была ему для преподаванія. Онъ сделаль изъ нея цветущій оазись науки, какой только могъ. Въ мастерскихъ его рукахъ, эта узкая полоса изслъдованія получила довольно большіе разивры и на ней открылась возможность дълать опыть приложенія науки къ жизни, морали и идеямъ времени. Лекцін профессора особенно отличались тамъ, что давали чунствовать умный распорядокъ въ сбережении мъстъ, еще ведоступныхъ свободному изслідованію. На этомъ-то замиренномъ, нейтральномъ клочкъ твердой земли подъ собой, имъ же и созданвоиъ и обработанномъ, Грановскій чувствоваль себя хозяиномъ; онъ говорилъ все, что нужно и можно было сказать отъ имени науки, и рисоваль все, чего еще нельзи было сказать въ простой формъ

мысли. Вольшинство слушателей понимало его хорошо. Такъ понядо оно и лекцію о Карлів Великовъ, на которую и я пональ 1). Образъ возстановителя цивилизацій въ Европів быль въ одно время и художественнымъ произведеніемъ мастерской кисти, подкрішленной громадною, переработанной начитанностью и указаніемъ на настоящую роль всякаго могущества и величества на землів. Когда, въ заключеніе своихъ лекцій, профессоръ обратился прямо отъ себя къ публиків, напоминая ей, какой необъятный долгъ благодарности лежитъ на насъ по отношенію къ Европів, отъ которой мы даромъ получили блага цивилизаціи и человівческаго существованія, доставшінся ей путемъ кровавыхъ трудовъ и горькихъ опытовъ, — голосъ его покрылся взрывомъ рукоплесканій, раздавшихся со всіхъ концовъ и точекъ аудиторіи.

Это единодушіе похвалы за сиблость профессора (сиблость могла тогда заключаться въ публичновъ заявленін сочувствія къ Европ'в) породила мысль у ивкоторыхъ изъ друзей его, что наступила настоящая минута примиренія между двумя большими литературными партіями — западной и славянофильской, споръ между которыми уже сильно разгорился въ промежутокъ 1840 — 43 годовъ. Съ цилью свести противниковъ и приготовить ихъ сближение, затъянъ былъ въ следующемъ 1844 году дружескій обедъ, на которомъ присутствовали почти всв корифеи двухъ противоположныхъ ученій, каків находились тогда въ Москвъ: они подали на немъ другъ другу руки и объявили, что одинаково свазаны служениемъ наукъ и одинаково уважають всв безкорыстныя убъжденія, порождаемыя ею. По дипломатическій миръ, когда борьба не исчерпана еще вполит, ръдко вносиль прочния основанія для мира между людьми. Поводы къ разладу между собравшимися на объдъ существовали еще вътакомъ обилін, благодаря стеченію иногихъ обстоятельствъ, а въ томъ числъ и дъятельности Бълпискаго, что, съ окончаніемъ, можно сказать, послъдняго заздравнаго тоста на объдъ, всъ стояли опять на старыхъ илстахъ и въ полномъ вооружении.

Что же произошло въ промежутовъ этихъ трехъ послъднихъ льтъ? Собственно ничего новаго не произошло, а только повторилось въ обновленной формъ и на другихъ, гораздо болье сложнихъ и продуманнихъ основаніяхъ — старое явленіе отнора Москвы цивилизаторской заносчивости Петербурга. Москва дълала консернативную оппозицію, на основаніи старыхъ началъ русской культури, — Петербургу, провозглашавшему несостоятельность почти всёхъ старыхъ русскихъ началъ передъ общечеловъческими началами, т. е. передъ европейскимъ развитіемъ. Не разъ уже приходилось объмъ нашимъ

<sup>1)</sup> Тэмой лекція Грановскаго была средцевтковая исторія Франців и Англін.

HOREL

n ii Kan

i pi

JiEn

arib

P D

EIN Doğu

Jig

V B

07**3** ]-

Ŀ

iI

72 3 столицамъ вступать въ борьбу на этой почвъ, но никогда, можетъ бить, споръ между ними не захватывалъ столько вопросовъ научнаго свойства и не обпаруживалъ столько талантовъ, многосторонней образованности, хотя и припужденъ былъ, по обыкновенію, держаться на інтературной, эстетической, философской и частію археологической аренахъ, и притворяться, никого, впрочемъ, не обманывая, неввинымъ споромъ двухъ различныхъ видовъ одного и того же русскаго патріотизма, а иногда даже и пустымъ разногласіемъ двухъ школьныхъ партій.

Въ сущности, дело тугъ шло объ определение догиатовъ для правственности и для вфрованій общества и о созданіи политической программы для будущаго развитія государства. Не очень точны были прозвища, взаимно даваемыя объими партіями другь другу, въ видъ эпитетовъ: москооской и петербуріской или славянофильской и западной, — но мы сохраняемъ эти прозвища, потому-что они сдёлались общеупотребительными, и потому, что лучшихъ отыскать не можень: неточности такого рода неизбыжны вездь, гдъ споръ стойть не на настоящей своей почвъ и ведется не тъмъ способомъ, не тъми словани и аргументами, какихъ требуетъ. Западники, что бы о нихъ ни говорили, инкогда не отвергали историческихъ условій, дающихъ особенный характеръ цивилизаціи каждаго народа, а славянофилы терпъли совершенную напраслину, когда ихъ упрекали въ наклонности къ установлению неподвижныхъ формъ для ума, науки и вскусства. Дъленіе партій на московскую и петербуріскую ножно до-**ПУСТИТЬ НЪСКОЛЬКО ЛОГЧО, И ОНО ПОНЯТНО, ВЪ ВИДУ ТОЙ МАССЫ СЛУ**пателей, которая тамъ и здёсь пристроилась къ одному изъ двухъ противоположных в ученій; по и оно не выдерживаеть строгой по-вържи: какъ разъ къ обществу Москвы принадлежали вліятельнъй-шіе западники, какъ Чаадаевь, Грановскій, Г. и др., а въ Петер-Сургь издавался журналь «Маякь», который въ наперь защищать Старые авторитеты напоминаетъ современнаго намъ, пресловутаго Venillot и пожетъ назваться «Père Duchène'емъ» консерватизна, преданій и ндеаловъ старины. Въ Петербургь же сочувствіе въ славынофильству въ виспихъ слояхъ общества сказывалось иного разъ очень явственно. Мы увидимъ даже, что враждующіе имвли еще пока чрезвычайно иного точекъ соприкосновенія нежду собою, впо-Савдствін ини утерянныхъ, что въ средв ихъ существовали инсли, предметы, убъжденія, передъ которыми умолкали разногласія. Когда познакомился съ Г., онъ намъ читалъ только-что паписанную имъ, извъстную, остроунную параллель нежду Москвой и Петербургомъ. Сопоставляя упорство Москвы въ сохранения всяческихъ, почтенныхъ непочтенных в своих особенностей, съ развизностью Петербурго не признающаго важности ни въ ченъ на свъть, кроив развъ приказанія, полученнаго изъ надлежащаго источника, Г. все-таки не могъ
скрыть, несмотря на всъ свои юмористическія и саркастическія выходки, жертвой которыхъ были въ равной степени объ столицы наши,
своего тайнаго благорасположенія къ одной, старъйшей изъ нихъ, —
благорасположенія, отъ котораго онъ не освободился и въ періодъ
заграничной эмиграціи. Да онъ и не старался отъ пего освободиться,
а, напротивъ, какъ будто сберегалъ въ себъ это чувство. А ужъ
это-ли не былъ западникъ! Много такихъ приявровъ благородной
невыдержанности убъжденій встрфчается и въ другихъ лицахъ объихъ партій.

Тъмъ не менъе, борьба между партіями шла оживленная, особенно пізсколько поздніво и послів того, какъ она успіла поставить себъ опредъленныя цълн; да и было за что бороться. Образованный русскій міръ какъ-бы впервые очнулся къ 30-иъ годамъ, какъ будто внезапно почувствоваль невозможность жить въ томъ растеряпномъ умственномъ и правственномъ положении, въ какомъ оставался дотоль. Общество уже не слушало приглашеній отдаться просто теченію событій и молча плыть за ними, не спрашивая, куда несетъ его вътеръ. Всъ люди, нало-нальски пробужденные къ мысли, принялись около этого времени искать, съ жаромъ и алчностію голодныхъ умовъ, основъ для сознательнаго разумнаго существованія на Руси. Само собою разумиется, что съ первыхъ же шаговъ опи приведены были къ исобходимости, прежде всего, добраться до виутренняго симсла русской исторіи, до ясныхъ воззріній на старыя учрожденія, управлявшія нікогда политическою и домашнею жизнію народа и до правильного пониманія новых учрежденій, замінивших в преждебывшія. Только съ помощью убъжденій, пріобратенныхъ такинь анализомъ, и можно было составить себъ представленіе о мъсть, которое ин занимаемъ въ средъ европейскихъ народовъ, и о способахъ самовоспитанія и самоопредъленія, которые должны быть выбраны памп для того, чтобы это мъсто сдълать во всъхъ отношенияхъ почетнымъ. Все зашевелилось: псканія пошли, какъ изв'ястно, съ двухъ противоположныхъ точекъ, и рано или поздно должны были привести взследователей въ столкновение. Шумъ первыхъ ихъ спибокъ и составиль содержаніе всей эпохи пашего развитія, которая обозначается общимъ именемъ — эпохи сороковыхъ годовъ.

Дюди этой эпохи по разъ уже обзывались, даже и при ихъ жизни, пустыми пдеалистами, по способными вывесть за собой ни малфишей реформы, измонить въ чемъ-либо окружавшаго ихъ строя жизни. Замочательно, что идеалисты сороковыхъ годовъ сами почти глашались съ своими судьями и постоянно твердили, даже и печатно, что покольню ихъ, какъ переходному, суждено только приготовить матеріалы для реформъ и изміненій. О доброкачественности и пригодности этихъ матеріаловъ только и шелъ у нихъ весь споръ. А что споръ былъ не совствиъ безплоденъ — это доказывается ственами развитія, которыя онъ заложилъ, просочивъ вст слои тогдашняго образованнаго общества, и которыя вышли на свътъ, даже и послі систематическаго искорененія ихъ въ 1848 году, еще полными сили и жизни въ двухъ великихъ реформахъ настоящаго царствованія. Никто, полагаемъ, не станетъ опровергать, что начала русской икродной культуры, замітныя въ крестьянской реформів, и начала европейскаго права, открывающіяся въ судебной — приготовлены были издалека тімъ самымъ споромъ, о которомъ говоримъ. Можно пожелать и ястью нынішнимъ предметамъ споровъ такой же завидной исторической участи.

# XVII.

Однинъ изъ важныхъ борцовъ въ плодотворномъ диснутв, завязавшенся тогда на Руси, быль Г. Признаться сказать, меня ошеломенъ и озадачилъ, на первыхъ порахъ знакомства, этотъ необычайно подвижный умъ, переходившій съ неистощимымъ остроумісиъ, блескомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, умевшій схватить и въ склад'я чужой річи, и въ простоиъ случай изъ текущей жизни, и въ любой отвлеченной идъ ту яркую черту, которая длеть инъ физіономію и живое выраженіе. Способность къ поминутнымъ, неожиданнымъ сближеніямъ разпородныхъ предметовъ, которая питалась, во-первыхъ, тонкой наблюдательностью, а во-вторыхъ и весьма значительнымъ капиталомъ энцпклопедическихъ свъдъній, была развита у Г. въ необычайной степени, — такъ развита, что подъ вонецъ даже утомянла слушателя. Неугасающій фейервервъ его ричи, пенстощимость фантазін и изобритенія, какая-то безоглядная расточительность ума — приводили постоянно въ изумленіе его собесъдниковъ. Послъ всегда горячей, но и всегда строгой, поствдовательной рвчи Ввлинского, скользящее, безпрестанно перерождающееся, часто парадоксальное, раздражающее, но постоянно умное слово Г. требовало уже отъ собеседниковъ, кроме напряженнаго вниманія, еще и необходимости быть всегда на-готовів и вооруженвимъ для отвъта. За то уже никакая пошлость или вялость мисли не могли выдержать и полчаса сношеній съ Г., а претензія, напыщонность, педантическая важность просто бъжали отъ него или таяли передъ нимъ, какъ воскъ передъ огнемъ. Я знавалъ людей, пре-

ebponencents genorpators, coxpansa ty me otepobenhocts by upieмать жизни и обхожденія, какъ въ Москвв. Одно это могло уже уронить человъка передъ клубнымъ и соціалистическимъ персоналомъ, который охотно пользуется добродушіемъ, но весьма мало цънитъ его. Г. принялся гримироваться для новой своей публики въ человъка, носящаго на себъ тяжесть громадниго политическиго мандата и призванія, нежду тімь, какь вь сущности его занимали всів разнообразивития иден науки, искусства, европейской культуры и поэзін, потому-что онъ быль по-своему также и поэтомъ. Следы этой неблагодарной работы надъ собой оказались особенно после того, какъ первыя попытки его помочь русскому обществу въ работъ совлеченія съ себя одеждъ ветхаго человіка-встрітили общов сочувствіе: онъ выработаль изъ себя пеузнаваемый тяпъ. Какая готовность попрать всв связи и воспомпнанія, всв старыя симпатін въ интересахъ абстрактного либерализма, какое надменное легковфріе въ пріемъ извъстій, льстящихъ личному настроенію и ему поддакивающихъ, и какое неусыпное стояніе па карауль при всякомъ чувствъ своемъ, при всякой частной и національной склонности, чтобы опо не исказило величественнаго облика, какой подобаетъ безстрастному человъку, олицетворяющему судьбу народовъ! Впрочемъ, надо сказать, что Г. никогда вполиъ не достигалъ цъли своихъ стараній. Онъ не успълъ выворотить себя на изпанку, а успълъ только перепортить себя. Онъ успълъ еще и въ другомъ — онъ нажилъ себъ безвыходное страданіе, я если чья судьба можеть назваться трагической, то, конечно, именно его судьба, подъ конецъ жизни. По пеобычайно-пытливому и проницательному уму онъ разобраль до посладней пылинки ничтожество, пошлую в комическую сторону большинства корифеевъ европейской пропаганды и, однакожъ, следовалъ ва ними 1). По живому правственному чувству, которое ему было обще съ Вълинскимъ, Грановскимъ и со всей русской эпохой 40-хъ годовъ, онъ возмущался безстыдствомъ, цинизмомъ мысли и поступковъ у свободных людей, собравшихся подъ однинъ съ нинъ знаменемъ, и бережно таилъ свое отвращение. Со всемъ темъ, товарящи его, руководимые чутьемъ самосохраненія, отгадали въ немъ врага и обратили на него свое обычное оружіе — клевету, сплетию, диф-

<sup>1)</sup> Мий вспомнияся при этомъ карактеристическій апекдоть. Послі 1848 г. одняв изъ русскихь эмигрантовь С\* відумаль составить альбомъ изъ портретовь тогдашией немногочисленной русской эмиграціи, которую называль настоящей Россісй. Онь обратился къ Г. за портретомъ. "Я согласень дать,—огибчаль Г., мой портреть въ коллекцію, но съ тімъ, чтобы въ нее быль принять и сотоварищь мой—крипостной лакей, недавно убъявній оть своего барина въ Парижт".

фанацію, пасквиль. Г. остался одинъ <sup>1</sup>). Но до всего этого было еще далеко. Когда я узналъ его, Г. былъ въ полномъ блескъ молодости, исполненъ надеждъ на себя, составляя гордость и утъщеніе своего круга. Въ эпоху первыхъ публичныхъ лекцій Грановскаго, онъ волновался, писалъ о нихъ статьи и торжествовалъ уснъхъ своего друга такъ шумно, что, казалось, будто празднуетъ свой собственный юбилей <sup>2</sup>).

А, между тыпт, связи его съ Т. Н. Грановскимъ начались далеко не подъ счастливыми предзнаменованіями. Замівчательно то об-.. стоятельство, что зародыши различныхъ направленій и первые ростки ихъ показались у насъ какъ-то за-разъ въ концъ 30-хъ годовъ и начала сороковихъ. Едва началось страстное изучение измецкой философія сь той положительной ся стороны, о которой мы говоряли, какъ на скамьяхъ московскаго университета уже сформировался кружокъ молодыхъ людей, обратившихъ вниманіе не на философскіе, а па соціальные вопросы, поклонявшіеся не Гегелю, а Сенъ-Симону (1834). Во главъ кружка стоялъ юноша, студентъ естественно-математическаго факультета, будущій кандидать его пменно, этотъ самый Г. Онъ позже говориль мив, что и онъ, и сто молодая партія смотрили очень подосрительно на Станкевича и Грановскаго, отзывались враждебпо и насмешливо объ ихъ занятіяхъ, какъ о пріятномъ препровожденіи времени, найденномъ досужнин людьми. Г. носился, на первыхъ порахъ, со своимъ Сенъ-Симономъ, какъ съ кораномъ, и разсказываетъ въ собственныхъ запискахъ, что, явясь однажды къ Н. А. Полевову, назвалъ его отстальня человъкомъ за равнодушный отзывъ о реформаторъ. Н. А. Полевой грустно и гифвио замътилъ: «Вотъ и трудись всю жизнь, чтобы первый мальчикъ назваль тебя никуда негоднымъ. — Пого--прибавиль онъ пророчески, - то же будеть и съ вами». По-

<sup>1)</sup> Къ числу поэтическихъ страницъ, какихъ у Г. много, принадлежитъ описаніе его последняго путешествія въ Неаполь и посещенія тамъ монастыря кармелитовъ. Горькія, глубоко-печальния и трогательния мысли, внушенныя ему тихимъ монастыренъ, показываютъ состояніе его души и принадлежатъ къ драгоценнымъ автобіографическимъ остаткамъ, которыми следуетъ дорожить по справедливости.

з) Горячія статьи его о Грановскомъ въ "Московскихъ Вѣдомостахъ", 1844, и въ "Московтяннивъ", 1844, еще и тъмъ были замѣчательны, что онъ протягивалъ въ нихъ руку славянской партін, предлагая миръ на честнихъ условіяхъ. Вотъ что выговаривыть онъ у нея для своихъ сдиномышленниковъ: "Пѣтъ положенія объективние относительно прошедшаго Евроны, какъ положеніе русскаго. Конечно, чтобъ воспользоваться имъ, педостаточно быть русскимъ, а надобно достигнуть общечеловического развитія, надобно именно не быть исключительно русскимъ, т.-е. понимать себя не противоположнымъ зап. Европф, а братственнымъ" ("Москвитянинъ", 1844 г., № 7). Партія славянофиловъ отчасти приняла эти условія мира, какъ увидимъ, но съ оговорками, много ихъ измѣнившеми.

вамёсть въ умё молодого соціалиста жило полное презрівніе чистому мышленію и къ его представителямь на Руси. Это върно, что вогда Г. возвратился изъ первой своей Вятско-Владимірской жизни (1839 г.) въ Москву, кружовъ нашихъ философствующихъ принялъ его довольно холодно и не скрылъ, что таеть его человъкомъ еще не развитымъ и отсталаго образа мыслей. Обстоятельство это и заставило Г. обратиться въ источнику благодати, къ изучению Гегеля, которымъ дотолъ пренебрегалъ. Открытіе, сделанное пив тогда, нивло важныя последствія. Онъ успотрвлъ въ системв учителя совствиъ не то, что видели его повые друзья. Онъ признаваль совпадение истории и человъческаго прогресса съ ходомъ иден, развивающейся діалектически въ логикъ Гегеля, но думаль, что моменты видоизменения этой идеи соответствують только общественнымь и религіознымь переворотамь исторіи. Поступательные шаги въ человъчествъ, по этому толкованію, обнаруживаются тогда, когда какой-либо изъ историческихъ народовъ начинаеть ибиять старыя основы своей жизии. Тогда только и наступають винуты реальнаго осуществленія прогрессивныхъ идей исторіи. На этихъ, такъ-сказать, постоянныхъ, но и феноменальныхъ, случайныхъ протестахъ человъчества и зиждется возножность признать единство эволюцій и логической идеи съ историческими явленіями, а не на основаніи естественнаго, рокового и пензбыжнопрогрессивнаго хода человъческаго развитія. Способъ такого пониманія допускался системой Гегеля наравив съ другими: стоило только перевести иден учителя изъ одного разряда фактовъ въ другой. Г. привлекъ къ своему образу пониманія и старовівровь философін. Оказалось, что, выступивъ на литературное и жизненное поприще съ враждебнымъ настроеніемъ противъ лучшаго, существовавшаго тогда круга людей, Г. не только сошелся и сговорился съ нимъ, по и сталъ впереди его, какъ авторитетъ, въ вопросахъ отвлеченнаго мышленія. Философія сдалалась въ его рукахъ оружісмъ крайне-острымъ и далеко берущимъ, но славянская партія виставила противъ пея другое, тоже хорошо испробованное оружіе. Такимъ образомъ, въ началъ сороковыхъ годовъ, послъ короткой размольки, Бълинскій, Грановскій, Г. и др. были уже сплочени единствомъ стремленій, и хотя впутренніе раздоры продолжали еще, отъ времени до времени, возникать между инми, по при общности принциповъ и особенно въ виду опаснаго врага, славянофильской партін, они уже никогда пе расходились такъ, чтобы не слыхать голоса другъ друга и не отвъчать на призывъ товарища.

### XVIII.

Не будучи постояннить жителень Москви и посвщая ее случайно, чрезъ довольно долгіе промежутки времени, я не нивлъ чести познакомиться съ домомъ Елагиныхъ, который, состоя изъ хозяйки, А. П. Елагиной, племянинцы В. А. Жуковскаго, сыновей ся отъ перваго мужа, извъстнихъ братьевъ П. В. и И. В. Кирфевскихъ, и сенейства, пріобратеннаго въ посладнень брака, быль любиним мастонь соединенія ученыхъ и литературныхъ знаменитостей Москвы, а по тону сдержанности, гуманности и благосклопнаго винианія, въ немъ царствовавшему, представляль ньчто въ родь замиренной почвы, гдж противоположныя мивнія могли свободно высказываться, не опасаясь засадъ, выходокъ и оскорбленій для личности препирающихся. Почтенный домъ этотъ ималь весьма заматное вліяніе на Грановскаго, Г. и многихъ другихъ западниковъ, усердно посъщавшихъ его: они говорили о немъ съ большимъ уважениемъ. Можетъ быть, ему они и обязаны были накоторой умаренностью въ сужденіяхъ по вопросамъ народнаго быта и народныхъ върованій, умфренностью, которой не зналъ уединенно стоявшій и дъйствовавшій Вълинскій, називавшій ее прямо любезностію чайнаго столика. Обратное действіе западниковъ на московскихъ славянофиловъ, составлявшихъ большинство въ обществъ Елагинскиго дома, тоже не подлежитъ нивнію. Все это, вибств взятое, даеть ему право на почетную страницу въ исторіи русской литературы, наравив съ другими подобишин же оязисами, куда скрывалась русская мысль въ тв эпохи, вогда недоставало еще органовъ для ея проявленія 1).

Я самъ имълъ случай видъть примъръ воздъйствія на Г. бесъдъ съ людьми другого настроенія, несходнаго съ его собственних, хота въ примъръ, который хочу привести, слышится также и отголосовъ его прежняго обхожденія съ соціальными вопросами. Въ одно изъ утреннихъ моихъ посъщеній Г., въ мезонинъ его дома на Свинцовомъ-Вражкъ, гдъ помъщался его кабинетъ, онъ заговорилъ о презръніи, которое выражено было Бълинскимъ къ мужицкому быту вообще, названному ими «лапотной и сермяженой дойствеительностью». Фраза находилась въ разборъ какой-то пустой

<sup>1)</sup> Мы слишали, впрочемъ, что собранія въ домѣ Елагиныхъ все-таки должим били превращиться подъ конецъ, вслёдствіе все болёе и болёе возраставшей горячноств споровъ между встрічавшимися тамъ людьми объихъ партій. Довольно примести однить приміръ: въ 1845 г. разница въ сужденіяхъ о намфлетѣ И. М. Язмюка: «Ис наши», и о поступкѣ автора, его написавшаго, чуть не вызвали дузли между В. В. Кирфевскимъ и Т. И. Грановскимъ, едва устраненной друзьями ихъ.

внижонки съ разсказами изъ народной жизни, грубо и комически идеаливированной авторомъ. «Книжка внижкой, —говориль Г., — но отзывъ неостороженъ и самъ по себъ, и тъмъ, что даетъ потачку журналу считать себя большимъ бариномъ передъ народомъ. За что презирать лапоть и сермяжку? Въдь онъ не болъе, какъ признакъ крайней бъдности, вопіющаго недостатка. Можно ли дълать изъ нихъ позорные эпитеты, а между тъмъ такіе эпитеты стали рас-пложаться въ журналъ. Мит иногда бываетъ очень трудно защищать его. Я, напримъръ, ничего не нашелъ отвътить Хомякову, когда онъ, подобравъ эти фальшивыя ноты, замътилъ:—«хоть бы вы растолковали редактору, что онъ ходитъ въ сапогахъ потому только, что у него есть подписчики на «Отечественныя Записки», а не будь у пего подписчиковъ на «Отечественныя Записки», и онъ не далево бы ушелъ отъ лапотника».

Т. Н. Грановскій, по временамъ, также скотріль не совсімъ одобрительно на пъкоторыя полемическія выходки Бълинскаго, особенно на тв, которыми затрогивались личности писателей, но ни онъ, ни Г. уже не допускали и мысли о потворствъ славянско-народной партін въ ся жалобахъ на безцеремонность критика — жалобахъ, ниввшихъ постоянно въ виду его апализъ прошлихъ и настоящихъ литературныхъ «славъ» Россін. Въ мивиіяхъ объ этихъ, тавъ называемыхъ, славахъ они почти постоянно сходились съ критикомъ. Не далве какъ въ 1842 г., Белинскій, возмущенный темъ, что одинь изъ московскихъ профессоровъ не иначе смотрълъ на его изсябдованія въ области литературы, какъ на преступленія противъ величества русскаго народа (lèse-nation), написалъ довольно злой и остроумный наифлеть, подъ названісив «Педанть», въ которомъ осмънвалъ слабия стороны мифиій и прісмовъ своего черезчуръ желчнаго противника. Памфлетъ имълъ большой успъхъ и, разумботся, раздражиль до-нельзя того, кто послужиль ему оригинадомъ. Вфронтно, полагая возножнымъ требовать отъ Грановскаго важныхъ уступокъ на основанія знакомства по упиверситету я дому Елагиныхъ, обиженный предложиль сму, въ присутствии многихъ свидътелей, довольно надменный вопросъ: «Неужели послъ такой статьи онъ, Грановскій, еще решится подать публично руку Белинскому, при встрвив?» — «Какъ! подать руку? — отввиалъ Гра-новскій, вспыхнувъ: — На площади обниму» 1). Говоря вообще, Ввлинскій быль, если можно такъ выразиться, смутителемъ московской жизни: безъ его раздражающаго слова, можетъ быть, она сохранила бы долже тотъ наружный видъ изящнаго разномислія, неисключающаго иягкихъ и дружелюбныхъ отношеній между спорящими, кото-

<sup>1)</sup> Разсказъ Бълнискаго.

рый составляль ся отличіс въ первый періодъ велекой литературвой распри, завизавшейся у насъ. Вълинскій, решетельными афоризнами и прогрессивно-растущей сифлостью своихъ заключеній, ставиль ежеминутно, такъ-сказать, на барьеръ своихъ московскихъ друзей со своими врагами въ Москвъ. Первый, почувствовавшій весообразность положенія людей, изловчающихся какъ ножно приличење и ласковње напосить другу другу если не смертельныя, то очень тажелыя рапы, быль благородиваний и последовательнейшів Константинъ Сергвевичь Аксаковъ. Правда и то, что для него славянизмъ и русская народная жизнь составляли болюе, чюмъ довтрину или ученіе, защищать которыя обязываеть честь: славянизит и народный русскій строй жизни сділались жизненными основами его существованія и кровію его самого. Г. разсказываетъ въ своихъ запискахъ, какъ, встрътившись на улицъ, К. С. Аксаковъ трогательно распрощался съ нимъ навсегда, но признавая въ немъ болъе товарища на жизнениомъ пути. Съ Грановскимъ дъло было еще знаменательные. К. С. Аксаковъ прівхаль къ нему почью, разбудилъ его, бросился къ нему на шею и, кръпко сжимая въ своихъ объятіяхъ, объявилъ, что пріфхалъ въ нему исполнить одну язь саныхъ горестныхъ и тяженыхъ обязанностей своихъ-разорвать съ нямъ связи и въ последній разъ проститься съ винъ, какъ съ потеряннымъ другомъ, несмотря на глубокое уваженіе и любовь, какія онъ питаетъ къ его характеру и личности. Напрасно Грановскій убъждаль его смотрыть хладнокровные на ихъ разномыслія, говорилъ, что, кромъ идей славлиства и народности, между ними есть еще другія связи и правственныя убъжденія, которыя не подвержени опаспости разрива, — К. С. Аксаковъ остался непреклоневъ и уфхалъ отъ него сильно взволнованный и въ слезахъ 1). Тогда еще у насъ ученіе в взгляды порождали внутреннія HHTRMвия драмы.

Въ домъ же Елагиной, Г. встръчался съ постояннымъ своимъ оппонентомъ А. С. Хомяковымъ, въ которомъ чрезвычайно уважалъ собственную свою способность усматривать въ мысляхъ и фактахъ присущую имъ отрицательную сторону, ихъ немощи и бользии, и потому искалъ диспутовъ и столкновеній съ противникомъ такой селы, такой эрудиціи и такого остроумія. Въ это время Г. уже напечаталъ свою извъстную, очень живую, котя и отвлеченно-философскую статью: «Дилеттантизмъ въ наукъ» («Отечеств. Записки», 1842 г.), въ которой давалъ право наукъ нисколько не беречь дорогихъ предапій, убъжденій, облегчающихъ существованіе людей и народовъ на землю, и уничтожать ихъ безъ робости, какъ только

<sup>1)</sup> Разсказъ Т. II. Грановскаго.

они противоръчать въ ченъ-либо ся собственныть научныть основаніямъ. Въ этомъ правъ пауки онъ находиль и ея отличіе отъ дилеттантизма, равно неспособнаго отдаться иладенческой душой поэзів народнихъ изиншленій и слідовать неуклонно по пути апализа и строгаго изследования предметовъ. Этими качествами дилеттантизма и объясняется его природная способность изшать всэмъ дойти до окончательныхъ выводовъ, подъ предлогомъ дружелюбной помощи каждой изъ сторонъ. Взаменъ и въ вознаграждение какихълибо утратъ въ жизни, авторъ сулилъ отъ имени науки рядъ высокихъ наслажденій уна и такихъ здравихъ убіжденій, котория съ избыткомъ возпаградитъ за все, что могло быть потрясено или уничтожено ею. Статья обнаруживала страстную, поливиную вфру всемогущество науки, подъ которой разумълась все-таки философія естествознанія, и, несмотря на ифсколько тяжелый языкъ, была глубоко-радикальной статьей по своему содержанию. При нервой встрычв съ А. С. Хомяковымъ, Г. наткнулся, въ противоположность своему философскому радикализму, на другой, тоже поливиший радикализиъ, по совстиъ иного вида.

Г. разсказалъ самъ, въ одномъ изъ своихъ заграничнихъ изданій, часть твхъ сшибокъ его съ Хомяковымъ, которыя касались преимущественно строя, духа и основаній нёмецкой философія. Изъ этихъ сообщеній ясно оказывается, что главивійшимъ аргументомъ Хомякова противъ Гегелевой системы служило положеніе, что изъ разбора свойствъ и явленій одного разума, съ исключеніемъ всёхъ другихъ, не менво важныхъ правственнихъ силъ человёка, пикакой философіи, заслуживающей этого имени, выведено быть по можетъ. О другой части своихъ споровъ съ Хомяковымъ — теозофской, Г. едва упоминаетъ въ запискахъ, можетъ быть потому, что она казалась ему гораздо менве важной, чёмъ первая, по позволительно теперь не согласиться съ его мивніемъ.

Основнымъ, хотя еще и невысказываемымъ ясно поводомъ къ втой второй части ихъ диспутовъ послужило, предпринятое тогда А. С. Хомяковымъ, возстановленіе (реабилитація) византінзма, столь опозореннаго между учеными на Западъ. Способъ попиманія и приложенія его пашими прямыми, натуральными его защитниками—наставническимъ персоналомъ духовныхъ семинарій и академій, увеличивалъ еще отвращеніе къ нему. Съ извъстнаго письма Чаадаева, однакожъ, въ 1836 году, въ которомъ византінзмъ объявлялся источникомъ умственнаго и политическаго растятнія всей Россіи и предавался чуть-чуть не проблятію исторіи, уже сельзя было обойти вопроса о византінзмъ всякому, кто захотъль бы сообщить своимъ върованіямъ и убъжденіямъ видъ критически обсуженнаго и раз-

смотреннаго дела. А. С. Хомяковъ не только не обходилъ вопроса, но настойчиво примъмиваль. его по встив явленіямь жизни и къ такимъ сферамъ двятельности человъческой, гдв его присутствіе всего менье ожидалось, вездъ давая ему, подъ рукою, роль мърила ис-тины, добра и красоты. Ключъ въ пониманію многихъ крайне оригинальныхъ мивній и приговоровъ школы Хомякова, которые шли наперекоръ всемъ добытымъ фактамъ и положеніямъ, лежить именно въ изобратения и употребления этого поваго критериума для оцанки историческихъ явленій. Тезиси и положенія ся въ родъ того, что религіозная сторона западнаго искусства и преимущественно до-рафаэлевской живописи есть произведеніе слабосильнаго мистицизма, а не прямого христіанскаго созерцанія, что привлекательный идеалъ стараго русскаго правителя представляетъ намъ царь Оедоръ Ивановичъ въ своей особъ, а прекрасный типъ правленія въ народномъ духъ являеть царствованіе Елизаветы Петровны въ новой нашей исторін,—всв эти тезисы, говорниъ, и другіе, еще болье сивлые и странные, оттого и приводили въ такое недоумъніе противниковъ школы Хомякова, что они не вполив зпали ея тайну и не обладали влючомъ къ разбору этихъ загадокъ.

Что Хомиковъ быль добросовъстені и въроваль въ свои начила — о томъ не можетъ быть и слова, но позволительно думать, вибств съ томъ, что его уму, прениущественно діалектическому, идея поднять знамя византіизма, передълать приговоръ исторіи, поворотить общее инфпіе назадъ-погла инфть свою обольстительную . сторопу. Какъ бы то ни било, объявляя византінзиъ великинъ и еще не вполить оптененных явлениемь въ человъчествъ, А. С. Хомяковъ тъмъ самымъ отрицалъ и уничтожалъ громадную массу историческихъ, критическихъ и теологическихъ трудовъ Запада, враждебныхъ восточной цивилизаціи, понижаль его кичливость и многіє предметы его гордости, какъ, напримъръ, эпохи «реформаціп» и «возрожденія», до смысла второстепенныхъ и даже бользненныхъ явленій человъческой инсли. Реформація была для него жалкой попыткой западныхъ народовъ исправить религію, примые источники которой засыпаны католицизмомъ па-глухо, а эпоха «возрожденія», ей предмествовавшая, отчаниных призывонь, со стороны техь же народовъ языческаго міра, на понощь для созданія у себя чего-либо похожаго на науку, искусство и цивилизацію. Положительная сторона въ защитъ всеспасающаго византизма основивалась у него на представлении и понимании церковнаго восточнаго учения, какъ такого, которое допускаетъ полную свободу мысли при неограниченвоиъ авторитетъ политическаго или церковнаго догиата. А. С. Хоняковъ нисколько не ственялся исторіей византійской имперія, кото-

рая могла противорвчить этому положенію. Во-первыхъ, для него дъльной, безпристрастной исторіи византійских грековъ вовсе не существовало на свътъ, и все, что выдается за ихъ исторію въ Европъ, представлялось ему чуть ли не сплошной клеветою или жалкихь недоразумъніемъ, а во-вторыхъ, она не могла бы служить ни подтвержденісять, ни опроверженісять его мысли, если бы в существовала. Начала, лежавшія въ основъ восточнаго христіанства, были такъ глубови и высови, что политическое и общественное развитіс самой страны за ними не поспъвало. Можно себъ представлять растивніе константинопольскаго двора, общественных в правовъ и государственныхъ порядковъ въ какомъ угодно видъ, но духъ и созерцаніе, хранимов церковью народа и переданное ею въкамъ, все-таки остается единственными фундаментоми, на котороми можети быть утверждено великое, образованное и нравственное-христіанское государство. Въ византійской имперіи ся церковное ученіе и есть пастоящая ея исторія, ея имсль и ея право на благодарпость пародовъ. Въ поздичищихъ брошюрахъ, которыя А.С. Хомяковъ издавалъ за границей, въ пятидесятыхъ годахъ, подъ псевдошиюмъ «Ignotus», содержится изложение главныхъ пунктовъ этого ученія и вытекающаго изъ нихъ взгляда на взапипыя отношенія народа. въ своимъ ісрархамъ и властямъ въ христіанской общинъ. Восточпое христіанство даже рядомъ и на зло азіатскому деснотизму, яногда становившенуся во главъ его, сберегло представление о собрани върныхъ, какъ прототпив государства, гдв каждый зависить отъ каждаго, и гдв каждый есть въ одно время и подпачальное, и руководящее лицо. Опо допускало фактически, но не знало въ принципъ дълонія людей на учителей и учеппковъ, на обязанныхъ повелывать и обязанныхъ повиноваться, потому что всв люди имфли одно назначеніе—служить церкви, — и мальйшій изъ нихъ могъ стать рядомъ съ превознесеннымъ членомъ въ течении этой непрерывной службы и по ея требованію. Самые догнаты, выработанные восточнымъ христіанствомъ, при всемъ своемъ характеръ непререкаемости и неизивиности, еще нисколько не ственяють свободы движенія для философской мысли, благодаря полученной ими въ «соборахъ» глубинъ и всеобъемлемости: они облекаютъ человическое разуминие со всвяъ сторонъ, какъ атмосфера или небо облекають нашу землю. Сверхъ того, философія, не чуждающаяся теологических истинь, правственныхъ и бытовыхъ вопросовъ, такая, зачатки которой паходятся въ византійскихъ учителяхъ, отвічаетъ точно также на требованія сердца, накъ и на запросы самаго тонкаго метафизическаго анализа, и по этому двойственному характеру она именно в должна, рано или поздно, пустить живые отпрыски во всв виды науки, освъжить обновить умственный быть Европы.

Къ такому велякому двлу обновленія захудавшаго, въ нравственномъ смыслю, европейскаго существованія призвана та національность, которая судьбами исторіи и Провиденія сделалась наследницей и представительницей византінзма въ мір'ю какова бы, впрочемъ, ни была покам'есть б'едная, смиренная, приниженная доля этой избранной національности.

Волее отвлеченного радикального мышленія нельзя было противопоставить философскому радикализму Г., и последній сознавался, что А. С. Хомяковъ заставиль его прочесть волюминозныя исторіи Неандера и Гфрёрера и особенно изучать исторію вселенскихъ соборовъ, мало знакомую ему, для того, чтобы возстановить искотораго рода равновесіе въ споре съ противникомъ и иметь возможность поверять обильныя ссылки Хомякова на каноны и параграфы соборныхъ постановленій, которыми онъ сыпаль на память, противопоставляя ихъ точнымь немецкимъ тезисамъ Г.

Если основное положение Хомякова, точка исхода всей его систени, имъла такой радикальный характеръ, то само собою разуявется, что выводы, практическія приложенія, политическія, историческія и литературныя сужденія, ею обусловливаемия, должны были еще въ сильнейшей степени носить оттепокъ пренебрежения къ западной цивилизицій, суроваго взгляда на ея развитіе и рашительнаго отрицанія большей части ся продуктовъ. Оно такъ и было. Самъ А. С. Хомяковъ прилежно стедилъ за ходомъ и открытіями ваукъ, художествъ и даже ремеслъ въ Европъ, будучи одникъ изъ саныхъ развитыхъ людей на Руси, но школа, пиъ образованная, понеслась, какъ всегда бываетъ, въ дапномъ ей направленіи уже безъ оглядки и осторожности, сохраняемыхъ основателемъ. Все, съ чать носились тогда наши «западники», начипая отъ романовъ Ж. Запда, инфиникъ большой успъкъ нежду нини, по соціальнымъ вопросамъ, которые они поднимали, до новыхъ попытокъ къ устроеню политического и экономического быта государствъ (Контъ, Прудонь, Мишеле),—все это отстранялось школой Хомякова, какъ несторщее винманія. Европа объявлялась несостоятельной для здороваго искусства, для удовлетворенія высшихъ требованій человіческой природы, для успокоснія религіозной жажды народовъ и водворенія справедливости, правом'врности и любви между ними. Ей предвазначались остественныя, финансовыя, техническія науки, великія промышленныя изобрътенія, созданів громадныхъ торговыхъ и военнихъ флотовъ-словомъ, баснословные успъхи по всемъ отдъламъ въдънія, способствующимъ матеріальной сторонъ существованія. Она осужданась на развитие комфорта, роскоми, богатствъ, которыя п накопляются ею въ безиврномъ количествъ. Влагосостояние Европ

безприибрное въ исторіи, продолжаеть еще рости, въ ущербъ все болье и болье грубьющему нравственному смыслу ел. Она даже закрываеть глаза отъ возстающей передъ ней смерти въ образв пролетаріата, который расплодился подъ ся кровомъ и грозить возобповленіемъ временъ варварства. Отъ европейскихъ литературъ школа Хомякова брала и помнила только подходящія ивста изъ ихъ сатириковъ, моралистовъ и обличителей; историки и писатели Европы цънились по количеству упрековъ и нареканій, какіе случалось имъ проронить относительно своего времени и прошлаго ихъ отечества. Иностранная хрестоматія школы вся почти состояла изъ образцовъ этого рода, которые и цитировались ею часто и охотно. По свидетельству всехъ слышавшихъ Хомякова, опъ пропиводилъ критику соціальнаго и интеллектуальнаго положенія Европы съ особеннымъ искусствомъ, блескомъ и остроуміемъ, хотя и въ границахъ приличія и осторожности, свойственныхъ его чуткому уму. Какъ Г., со своей стороны, ни старался сдерживать и холодить его критическое воодушевленіе, овъ самъ еще не избавился отъ дъйствія этой критики. Слова Хомякова, по пашему мифию, оставили слъды въ умъ и сердцъ Г. противъ его воли, можетъ быть, и отразились въ поздивищей его проповыди о несостоятельности и банкротствы западной жизни вообще.

На пути этихъ жаркихъ преній встрічалось, однако же, имя, вокругъ котораго споръ шумблъ и пвинлся особенио яростио, на подобіє потока, встретившагося съ пеподвижной скалой. Это было имя нашего колосса, который, принимая отъ сената титулъ сотца отечества», сказалъ рачь, какъ-би отвачающую изъ глубини прошлаго стольтія на современныя волненія потомковъ: «Намъ всегда надлежить помпить участь Царяграда и Византійской имперіи, для того, чтобъ за пустыми занятіями не потерять своего государстка. За то имя этого человъка и причислялось напболью горячими адептами школы къ разряду той вольницы, техъ изгоевъ общества и ненавистинковъ русскаго бита, которихъ во всв времена било много на Руси, не только нежду приказными и по царевымъ кружаламъ, но даже и въ почтенныхъ, но особенио строгихъ семействахъ. Этито изгои и произвели реформу, когда одинъ изъ геніальнайшихъ людей всвую вековъ сделался ихъ представителемъ и захватилъ бразды управленія московскимъ царствомъ. Радикальнью этого нельзя было отвічать западникамъ, благоговівшимъ передъ реформой; за то западники и истили своинъ противникамъ, предавая съ своей стороны поруганію все, что тв считали святыней народнаго духа и народныхъ воспоминаній.

Въ печати, на скромномъ поприщъ тогдашией публицистики,

все это, разумъется, являлось въ смягченномъ видъ, высказывалось не такъ ярко и откровенно. На сцену люди выходили, за очень налини, встиъ извъстними исключеніями, ибсколько принаряженные. Однако же слады домашнихъ бурь должны были отражаться и въ журнальной литературф, и действительно отражались. Журналь «Москвитянинъ», сдълавшійся эхомъ славянофильской школы, доходилъ въ защитъ своихъ основнихъ положеній — о богатствъ русскаго народнаго духа, о его религіозной сущности, объ элементахъ смиренія, кротости, терпинія, мудрости, его отличающихь, до крайнихь граинцъ увлеченія, до утвержденія, наприміръ, что вемля русская удобрянась для исторіи, не какъ земли западникъ народовъ, кровью населеній, а только слезами ихъ. Журналъ «Отеч. Записки», сдълавтійся съ 1840 года центромъ соединенія для «западниковъ», въ своей проповъди общечеловъческаго развитія, законы котораго одинавовы, какъ они утверждали, для всёхъ странъ, почасту простиралъ отрицаніе народныхъ отличій до степени непониманія, казавшейся напускной и предумышленной. Оба журнала вели ожесточенную полемику, и, конечно, не было недостатка съ объихъ сторовъ во взбалмошнихъ головахъ, въ cenfants perdus, которихъ редавція выпускали въ видъ застрольщиковъ: они-то и производили та курьёзы и абсурды, которыхъ можно набрать довольное количество и тутъ, и тамъ. Многіе и досель еще полагають, что эти курьёзи и абсурди именно и составляють характеристическія черти тогдашней журналистики, но раздфлять этотъ взглядъ не предстоитъ возножности. За обоими журналами стояли еще люди, смотръсшіе гораздо далбе того горизонта, которынъ ограничивались, по необходимости, публичные органы, ими поддерживаемые. Такъ, Вълияскій попималь всё вопросы гораздо глубже, чёмь «Отеч. Записки», где писаль, а за Велинскимь стояли еще Грановскій, Г. и др., часто вовсе не раздълявшіе взглядовъ своего журнала. Съ «Москвитяниномъ зто еще было очевидиве и резче. Люди, подобные обоимъ Кирњевскимъ, Хомякову, Аксаковымъ, никакъ не могутъ быть привлечены къ отвътственности за всъ задорныя выходки редакціи. По обширности пониманія славянофильскаго вопроса, по дівльности и внутрениему значенію своихъ убъжденій, они стояли гораздо выше «Москвитянина», который постояние считался ихъ органовъ и поддерживался ими наружно.

Такимъ образомъ, объ литературныя партін, въ описываемое время (1848) стояли какъ два лагеря другъ противъ друга, каждий со своими шпагами. Казалось, онъ уже пикогда и не будутъ встръчаться иначе, какъ съ побужденіемъ наносить взаимно удары и обиъпиваться вызовами, но время, года прибывающаго размышле-

нія устроили діло иначе. Уже въ половинь этого періода, между 1845—46 г., въ умахъ передовихъ людей обоихъ становъ свершился поворотъ и начало возникать предчувствіе, что обів партіполицетворяють собой каждая одну изъ существеннійшихъ необходимостей развитія, одно изъ началь, его образующихъ. Партіп должны были бороться такъ, какъ онів боролись, на глазахъ публики, для того именно, чтобы выяснить всю важность содержанія, заключающагося въ идеяхъ, ими представляемыхъ. Только послів ихъ усилій, трудовъ и борьбы можно было распознать, сколько жизненной правды заключается въ идей народнаго, племенного.

## XIX.

Въ вонцъ 1843 г., Бълинскій, уже женатый, занималь небольшую квартиру на дворъ дома Лопатина, котораго лицевая сторона выходила на Аничкинъ мость и Невскій проспекть.

Въ этомъ помъщени Бълинскій предоставиль себъ три небольшихъ комнаты, изъ коихъ одна, попросторите, именовалась столовой, вторая за ней слыла гостиной и украшалась сафьяннымъ диваномъ съ обязательными креслами вокругъ него, а третья—нтито въ родъ глухого коридорчика объ одномъ окить— предназначалась для его библіотеки и кабинета, что подтверждали шканъ у стъны и инсьменный столъ у окна. Впрочемъ, самъ хозянить инсколько не подчинялся этому распредъленію: въ столовой онъ постоянно работалъ и читалъ, а диванъ гостиной служилъ ему большею частію ложемъ при частыхъ его недугахъ; въ кабинетъ онъ заглядывалъ только для того, чтобъ достать изъ шкана нужную книгу. Двъ задпія комнаты занимала его семья, умножившался вскорт дочерью Ольгою.

Ребеновъ этотъ, а потомъ сынъ, прожившій не долго и унесшій съ собою въ могилу посліднія силы отца, да еще цвіты на оквахъ—составляли тогда предметь его ухаживаній, заботъ и ніжнійшихъ попеченій. Они одни были его жизнію, которая начинала уже убітать отъ него и угасать по-немногу. Вскорті ему уже предписано было носить респираторъ при выходті на воздухъ, и онъ шутливо говориль миті: «вотъ какой я богачъ сділался! Максимъ Петровичъ у Гриботрова траль на золотті, а я дышу черезъ золото: это будеть еще по-важить, кажется!»—Часто заставаль я его на дизант гостиной въ совершенномъ изнеможеніи, особенно посліт усиленныхъ трудовъ за срочной статьей, оставлявшихъ его съ головной болью и въ лихорадкть. Надо сказать, вирочемъ, что онъ очень скоро поправлялся посліт этихъ пароксизмовъ, поддерживаемый ттихъ напря-

женнымъ состояніемъ духа и воли, которое уже не покидало его съ 1842 года, и которое, поднимая его часто съ одра болъзни и давая ему обманчивый видъ человъка, исполненнаго жизни и энергіи, разрушало въ то же время и послъднія основы его страдающаго организма.

Возбужденное состояніе сдівлалось, наконець, нормальнымъ состояніемъ его духа. Почти ни минуты повоя и отдыха не знала его правственная природа до техъ поръ, пока болезнь окончательно не слоинла его. Саныя тихія, дружескія беседы чередовались у него съ порывами гифва и негодованія, которые могли быть вызваны первымъ анекдотомъ изъ насущной жизни или даже разсказомъ о какомъ-либо дикомъ обычай иной, очень далекой страны. однажды разсказаль передъ нимъ способъ, которымъ добывалъ себъ свиуховъ хорошей расы старый египетскій паша, Мегенетъ-Али. Мегеметъ дълалъ именно разію на какое-либо сосъднее негритянское племя и приказываль захватывать при этомъ всехъ детей мужескаго пола; затамъ надъ плапинии производился строгій выборъ, а избранные экземпляры подвергались извъстной операціи, послъ которой ихъ тотчасъ же зарывали, по-поясъ, въ горячій песокъ степи. Половина дътей унирала, а другая, выдержавшая опытъ, разсылалась старынь элодбень развынь турецкинь сановникань, въ которыхъ онъ почему-либо нуждался. Кровь бросилась въ голову Бълинскому; онъ подошелъ къ апекдоктисту, и произнесъ жалобнымъ голосомъ: «зачимъ вы разсказали это; --- мнв придется теперь не спать ночь». Жена Вълинскаго вообще чрезвычайно боялась вечеровъ, когда онъ засиживался съ друзьями въ разговорахъ.

По дъйствію воображенія и представительной способности, развитыхъ у дего неимовърно, онъ пореносилъ ненависть на лица, уже отошеднія въ область исторів, на давноминувшія событія, почемулибо возмущавния его. У него было множество враговъ и предметовъ влобы, какъ въ современномъ мірф, такъ и въ царства таней, о которыхъ онъ равподушно говорить не могъ. Объективныхъ, тоесть, по-просту сказать, индифферентныхъ отношеній къ исторяческимъ двятелямъ или важнимъ фактамъ исторіи вовсе и не знала эта страстная природа. Вълинскій превращался какъ будто въ современника различныхъ эпохъ, на которыхъ натывался въ чтенін, выбираль сторону, которую следовало защищать, и боролся съ противной стороной, уже давно замолишей, — такъ, какъ будто она сейчасъ нарушила его правственный покой и убъжденія. Нічто подобвое, въ обратномъ смыслъ, происходило и съ предметами его симпатій, которыя онъ отыскиваль въ разпыхъ въкахъ и у разныхъ народовъ: онъ влюблялся въ героевъ своей мысли, вскакивалъ съ

мъста при одномъ ихъ имени и неръдко защищалъ ихъ отъ современной критики до послъдней возможности. Онъ неохотно разставался со своими друзьями. Но всего болъе однако-же тратилъ онъсилъ на вражду и негодованіе. Кругъ враговъ его, кромъ дъйствительныхъ и состоявшихъ на лицо, увеличивался всъмъ персоналомъ, добытымъ въ чтеніи: онъ боролся такъ же страстно съ тънями прошлаго, какъ и съ людьми и событіями настоящаго.

Можно себъ представить, что пропсходило, когда Бълнскій повидаль безотвътныхъ своихъ подсудимыхъ и случайно натыкался на живое, соврешеное лицо, стоявшее передъ нимъ во-очію съ кавий-либо ограниченнымъ пониманіемъ серьёзнаго предмета или съ кавой-либо тупой и обскурантной теоріей. Въ то время вообще не умъли различать человъва отъ его слова и сужденія, и думали, что они неизбъжно составляютъ одно и то же. Встав менте допускаль это различіе Бълинскій и громовия его обличенія въ подобныхъ случаяхъ разрывали вст связи съ оппонентомъ и не оставляли никавой надежды на возобновленіе ихъ въ будущемъ. Послъдствіемъ такого образа спошеній со свътомъ была, конечно, необходямость жить въ одиночествъ или только въ сообществъ очень близкихъ людей, на что Бълинскій охотно и осуждалъ себя, не изитияя нисколько своихъ пріемовъ мысли и сужденій, когда насильно и случайно вводился въ другую среду.

Понятно, что въ таковъ же напряженновъ состояни духа происходило и его чтепіе, даже и тогда, когда обращалось на предметы ученаго и отвлечениаго содержанія. Мы уже упомянули, что въ этотъ періодъ его жизин, оно — чтеніе это — все прогрессивно разросталось въ сторону экономическихъ и политическихъ вопросовъ. Такой манеры чтенія, какую усвоиль себъ Бълинскій, достаточно было, чтобы надсадить и болье сильный организмъ. Къ киигь, къ статьъ, любому ученію и мивнію, начиная отъ самыхъ добросовъстнихъ трактатовъ, захвативающихъ глубочайтіе интересы общества и человъчества и кончая самыми ничтожными произведеніями русской словесности -- Вълинскій всегда относился болью чыль серьёзно, относился страство, допытываясь исихическихъ причипъ ихъ появленія, создавая имъ генеалогію, разбирая одну по одной черти ихъ правственной физіономів. Поводовъ для восторговъ в всимпекъ гизна. находилось туть иножество. Сколько разъ случалось намъ заставать его - послъ оконченной книги, статьи, главы - расхаживающимъ вдоль трехъ своихъ комнатъ со всфии признаками необщиайнаго колненія. Онъ тотчасъ же принимался передавать свои висчативии отъ чтенія, въ горячей, ничень не стеспенной импровизаціи. Я находиль, что эта импровизація еще лучше его статей, но статьи въ такомъ

товъ и не пишутся, да и писаться не могуть. Если судеть но воличеству и массъ ощущеній, порывовъ и мыслей, какіе переживалъ этоть заивчательный человыкь каждый день, то можно назвать его коротенькую жизнь, такъ быстро сгорфиную на нашихъ глазахъ, достаточно продолжительной и полной. Къ тому следуетъ прибавить, что Вълинскій такъ вростался, сибенъ выразиться, въ авторовъ, которыхъ изучалъ, что постоянно открывалъ ихъ затаенную, невыскаванную мысль, поправляль ихъ, когда они изменяли ей или нарочно ватемняли ее, и выдавалъ ихъ послъднее слово, которое они боялись или не хотели произнести. Этого рода обличения были самой сильной стороной его критики. Такъ, во многихъ иностранныхъ, превмущественно экономическихъ и соціальныхъ писателяхъ, онъ угадиваль направленіе, которое они причуть или должны принять. Такъ, напримъръ, онъ говорилъ о Жоржъ-Зандъ, котораго, впрочемъ, очень укажаль, что писательница эта гораздо болье связана тыми идеями и принципами, которые отвергаеть, чемь сколько сама то думаеть; о Тьер'в, онъ зам'тчалъ, что въ его «Исторіи французской револю-ціи» послединя является чемъ-то въ роде божьяю попущенія, отчего въ ней становится многое пепонятнымъ, несмотря на очень ясное и гладкое изложеніе. Пьера-Леру Бълинскій называль взбунтовавшенся католическимъ попомъ и т. д., а о русскихъ нашихъ дъятеляхъ и говорить нечего — опъ почти безошибочно опредълялъ всю будущую ихъ дъятельность по первымъ представленнымъ ими образцамъ ся.

Не мудрено, если при этой постоянной работв его духа пріятели его находили, что съ каждой новой встрвчей онъ уже стояль не тамъ, гдв его видвли наканунв: неустанное колесо мысли уносило его часто далеко изъ ихъ глазъ. Полемикв его суждено было выразить именно эту сторону его психической натуры, жаждавшей борьбы и движенія, подобно тому, какъ критико-публицистическія статьи изобличали его способность самообладанія и его господство надъ собственной мыслію.

Послѣ этого уже не трудно представить себѣ, что въ войнѣ между западниками и славянофилами Бѣлинскій оказался врагомъ пепримиримыть, между тѣмъ какъ другіе собратья его по оружію, какъ Г., или Грановскій и проч., считали себя втайнѣ только времеными врагами нашей національной партіи и ждали отъ лучшихъ ся представителей только разъясненія ихъ программы, чтобы протянуть имъ руку. Правда, и Бѣлинскій пришелъ позднѣе въ мысли о необходимости разобрать дѣльное въ ученіи славянофиловъ отъ не совсѣмъ дѣльнаго наноса, да также допустилъ и оговорки, ограждающія собственное его западное воззрѣніе отъ упрека въ слѣной

страсти но всих европейских порядкахь, но онъ последній кинуль брешь, которую фанатически защищаль отъ вторженія элементовъ темнаго, грубаго, непосредственнаго мышленія народныхъ массъ, противопоставляя знамя общечеловъческиго образованія всемъ притязаніямъ и заявленіямъ такъ-называемыхъ народныхъ культуръ.

Исходной точкой всей ожесточенной полемики его противъ такихъ культуръ и противъ ихъ защитниковъ было убъжденіе, что они могутъ возникать при всякомъ порядкъ вещей и уживаться со всякимъ строемъ жизни, къ которому привыкли или который почему-либо излюбили. Наоборотъ, ему казалось, что основной характеръ общечеловъческаго образованія именно и состоитъ въ томъ, что люди, его усвоившіе, подвергаютъ критикъ и обсужденію вст формы существованія и удовлетворяются только тъми, которыя отвъчаютъ логикъ и выдерживаютъ самый строгій анализъ. На этомъ основаніи Бълинскій дълилъ міръ на зрячіе и слъпые народы, и послъдніе были ему противны по принципу, какими бы въ прочемъ добродътелями, высокими качествами души, способностями и другими знатными преимуществами ни обладали.

Нужно ли прибавлять, что о какой-либо справедливости по отношеню въ людямъ, народамъ и предметамъ не было и помину при
этомъ, да о справедливости Бълинскій, въ пылу битвы, и не заботвлся, въ чемъ совершенно походилъ и на своихъ противниковъ,
поступавшихъ точно также. И онъ, и они спасали только свои возэрѣнія, казавшіяся имъ благотворными по своимъ послъдствіямъ, а
о томъ—сколько падало при ихъ столкновеніяхъ напрасныхъ жертвъ,
сколько напосилось грубыхъ ударовъ, ничьмъ не оправдываемыхъ,
идеямъ и върованіямъ, сколько страдало ва-даромъ репутацій и личностей—никто и не думалъ. Все это предоставлялось разобрать послъдующей исторіи и возвратить каждому должное и заслуженное.
Для современниковъ же оставалась горькая, упорная борьба, отчаянная, многольтняя ненависть другъ къ другу, закоренълая до того,
что она даже пережила иногихъ борцовъ и продолжалась отъ ихъ
имени на ихъ гробахъ.

Еще до возвращенія моего на родину, именю въ 1842 г., Бълинскій, вскорт послі своего памфлета «Педанть», о которомъ я уже упоминалъ, нанесъ и еще другой, тяжелый ударъ одной весьма почтенной личности московскаго круга—пыні покойному К. С. Аксакову. Извъстно, что К. С. Аксаковъ, при появленіи первой части «Мертвыхъ Душъ», въ томъ же 1842 г., написалъ статью, въ которой проводилъ мысль о сходствт Гоголя по акту творчества и силъ созданія съ Гомеромъ и Пекспвромъ, находя, что только у однихъ этихъ писателей, да у нашего автора обпаруживается даръ

указывать въ пошлихъ характерихъ и въ самомъ порокъ еще нъкоторую внутреннюю крипость и своего рода силу, которыя почерпаются ими уже отъ принадлежности къ мощной и здоровой національности. К. С. Аксаковъ, приравнивая Гоголя къ Гомеру, по акту творчества, позябыль при томъ упомянуть о множествъ геніальныхъ европейскихъ писателей, отличавшихся тоже необычайными творческими способностями, которые, такимъ образомъ, какъ-будто ставились всв ниже Гоголя, а вдобавокъ — еще прямо объявлялъ, что въ деле романа, понятаго какъ продолжение древне-греческаго эпоса, -- уже ни одно соеременное европейское имя не можетъ быть поставлено рядомъ съ именемъ Гоголя, ни въ какомъ случав. Ничто не могло возмутить Вълинскаго болбе этихъ афоризмовъ. Тотъ саный Вилинскій, воторый первый провозгласиль Гоголя геніальнымъ художникомъ, объявлялъ теперь и печатно, и устно, что геніальность Гоголя, какъ создателя типовъ и характеровъ, хотя и не можетъ быть опровергаема, но имъстъ все-таки значение относительное. По содержанію и внутренному симслу задачь, разрівшаемыхъ русскимъ авторомъ, она ограничена умственнымъ и правственнымъ положениемъ страны, и дело, имъ производимое, не можетъ идти ни въ какое сравнение съ вопросими и томами обронейского искусства, съ целями, какія оно себъ задавало и задаеть теперь въ лицъ лучшихъ своихъ представителей; что затамъ нивакой предполагаемой краности и силы народнаго духа въ выводимыхъ Гоголемъ на сцену лицахъ не обратается, ни о какомъ такомъ значения ихъ, вароятно, авторъ и не думаль, а если и думаль, то ребячески ошибался. Вдобавокъ, Вълнескій прибавляль, что Гоголь не только не выше всехъ европейскихъ романистовъ, но, превосходя многихъ изъ нихъ даромъ пепогредственнаго творчества, наблюденія и поэтическаго чувства, уступаеть въ объемъ и значеніи основнихъ идей нъкоторимъ, даже и не очень круппынъ явленіянъ европейской литературы. Всв эти заифтки наносили достаточно сильный ударъ новому, предпринятому толкованію Гоголя, но Вфлинскій присоединиль еще въ этому нівсколько саркастическихъ выводовъ изъ положеній своего противника и заключаль споръ насившкой. Последнинь ударонь — coup de grace этой полемики со стороны Вълинскаго было его заявление, что если судить по инкоторымъ лирическимъ инстамъ первой части «Мертвыхъ Душъ», въ которыхъ объщаются изумительныя откровенія относительно внутренней и вифиней красоты русской жизни, то Гоголь ножетъ, пожалуй, утерять и значение великаго русскаго художника. Съ техъ поръ имя Белинского пропеслось «яко вло», въ лагере славлнофиловъ, и даже сделалось у нихъ какъ-бы олицетвореніемъ ваносной, ни съ чемъ не связанной, чуждой народу петербургской

пивилизаціи, нежду твив какъ сами они отписали за собой Москву, какъ городъ, гдв особенно живетъ и развивается чуткое пониманіе русскаго народнаго духа со встин его чалніями и представленіями.

### XX.

Я засталь Вълинскаго еще подъ вліяність этой полемики, раздраженнаго ею въ высшей степени и собирающагося на новыя битви. Не проходило дия, чтобъ не завязывался разговоръ о московскомъ пониманія правственнихъ я политическихъ задачъ Европы и Россін, о московскихъ толкованіяхъ Гоголя и сторонъ русской жизни, имъ разоблаченныхъ, о московскомъ представлении порядковъ старорусскаго быта и о морали, которая истекаеть изъ ученія славянофиловъ или въ немъ подразумъвается. Повторяемъ, о справедливости къ противникамъ тутъ не било и помысла, да и противники платили той же монетой своему нетербургскому опноненту и его партін. Споръ сошоль на вражду и прерскательство между двумя городами. Съ объихъ сторопъ патріотизмъ заключался въ томъ, чтобъ унизить одну столицу на счетъ другой. Для человака, изсколько чуждаго страстей, въ которыхъ истопрансь объ партін, не было возможности сохранить что-либо похожее на свободное мивніе. Выхода покамъсть не существовало. Надо было выбирать между партіями, жертвуя всеми возраженіями, которыя могли появлиться въ унь, при ихъ взаимныхъ напраслипахъ, и, такъ-сказать, обезличить себя въ пользу своей собственной стороны.

Никто не испыталь на себъ поливе и болванениве дъйствие этой перестрълки нежду двумя центрами нашего развитія, какъ И. С. Тургеневъ, очутившійся въ средв ихъ, когда явился изъ-заграницы, выступивъ вскоръ потомъ и на литературное поприще съ поэмой «Параша» (1843 г.). Заподозривъ въ немъ съ первыхъ же таговъ истаго западника, партія, педружелюбно смотрившая на образцы чуждаго воспитанія и развитія, словно задалась мыслью-собрать какъ можно болье помъхъ на его жизненномъ пути. Цълая коллекція пустыхъ анекдотовъ о его словахъ, выраженіяхъ, замъчаніяхъ, собиралась тщательно противниками и пускалась въ ходъ съ нужными прикрасами и дополненіями. О произведеніяхъ Тургенева до «Записокъ Охотника» — пначе и не говорилось, какъ о чудовищностяхъ западнаго развитія, пересаженныхъ, безъ всякихъ признаковъ таланта, на русскую почву. Не такъ думалъ Вълинскій, открывшій съ-разу въ «Парашь» признаки недюжинной авторской аблюдательности и способности выбирать ориспиальную точку зръвія на предмети: «что мий за діло до всіхі ансидотовь о немъ, — говоримъ Білинскій: — кто написаль «Парашу», тоть съумбеть поправить себя, въ чемъ будеть нужно и когда будеть нужно». Слова его и на этоть разь оправдались. Вистрое, ослішетельное развитіе художническаго таманта въ Тургеневі, вийсті съ развитіемъ качествь его правственной природы, его духа благорасположенія, терпимости вообще къ людямъ и особенно справедливости къ ихъ трудамъ и убіжденіямъ — примирило съ нимъ всіхъ его бывшихъ преслідователей и поставило его самого въ центрі умственнаго движенія.

Впроченъ, въ то время, нежду партіями танлась, однако же, одна связь, одна примиряющая мысль, болве чемъ достаточная для того, чтобъ отврыть имъ глаза на общность цели, къ которой оне стремились съ разныхъ сторонъ... Но еще не наступняю время для разъясневія этого примеряющаго начала, лежавшаго въ зернъ посреди браннаго поля и безпрестанно затаптываемаго ногами борцовъ. Зерно, однако же, проросло, несмотря на всё невзгоды, какъ увидниъ. Связь заключалась въ одинаковомъ сочувствін къ порабощенному классу русскихъ людей и въ одинаковомъ стремленіи къ упраздненію строя жизни, допускающаго это порабощеніе, или даже на немъ именно и основаннаго. Покамъстъ никто еще не хотълъ видать сродства въ основномъ мотивъ, двиганшемъ объ партіи, и когда, по временамъ, мотивъ этотъ обнаруживался самъ собой, партін наши торопились поскорте замять его. Для вящшаго укртиленія розви, не довфрали на чувствамъ, ни характеру, ни намфреніямъ другъ друга. Въ Москвъ говорили по поводу петербургскихъ гуманныхъ протестовъ: «Петербургъ сдълаль изъ либерализма и своего отчаянія покойное вольтеровское кресло, въ которомъ и ніжится». Изъ Петербурга отвъчали на это: «на московскихъ историческихъ пуховикахъ еще слаще должно спаться, — особенно подъ гулъ сорокасороковъ. Ко всему этому присоединялись еще и стихотворныя перебранки. Въ Москвъ писались пасквили и эпиграмии на Вълинскаго и притомъ людьми, въ житейскомъ отнощении, несомивние чистаго правственнаго характера, а изъ Петербурга инъ отвъчали ругательной писенкой, содержавшей, между прочинь, такую строфу:

Да, Россія — властью вашей — Та же, что и до Петра: Набиваеть брюхо кашей II ригаеть до угра.

Какое же тутъ могло быть соглашение?

Раздраженный полемикой, Белинскій сделался подозрительнымъ въ высшей степени. Такъ, движимый все темъ же опасеніемъ зг элементы европейскаго развитія, онъ недружелюбно отнесся и къ нашей провинціальной литературів, къ появлявшимся тогда сборникамъ, харьковскимъ, архангельскимъ и другимъ, усматривая тутъ намівреніе образовать маленькіе центры цивилизація, въ противоположность большимъ, государственнымъ центрамъ—петербургскому и московскому—и проводить у себя дома, втихомолку, иден о самостоятельной народной культурів, которая способна сама отыскать себів всів нужныя основы.

Пропасть, раздълявшая партін, особенно расшерилась, когда у насъ публично зашла рачь о правахъ на наше патріотическое и народное сочувствіе всёхъ нноземныхъ—австрійскихъ, венгерскихъ. турецкихъ славянъ. Рёчь эта, впервые поднятая М. П. Погодинымъ, перешла въ русскую печать изъ оффиціальныхъ и частныхъ круговъ, гдъ конфиденціально держалась съ начала 30-хъ годовъвъ такомъ декламаторскомъ видъ, что на первихъ порахъ вызвала у Вълинскаго глумление надъ ся формой и содержаниемъ. Положеніе, принятое имъ по славянскому вопросу, имьло одинаковый источнивъ съ тъмъ, которое онъ выбраль относительно славянства вообще. Поводомъ въ отрицанію этого вопроса служило Вълинскому опять предположение, что за вопросомъ скрывается попытка прославления темныхъ пародныхъ культуръ и успліе противопоставить ихъ теперь съ накоторой надеждой на успахъ выработаннымъ началамъ европейской мысли. Въ самомъ дёль, попытка на этотъ разъ могла разсчитывать на тв невольныя спипатін къ угнетеннымъ племенамъ и народамъ, которыя должны жить и действительно жили въ русской публикъ. Никто болъе самого Бълинскаго не быль предрасположенъ къ такого рода сочувствію, но при мысли, что тугъ можеть существовать планъ — возвысить бъдное, племенное творчество съ его сусвъріями, заблужденіями и безсознательными проблесками истины на степень равную или даже висшую обдуманныхъ основъ и началъ европойскаго образованія — при одной этой мысли Вълинскій устраняль всю другія соображенія и нередко насиловаль свое чувство. Такъ и въ настоященъ случав вышло, что Вълинскій хладнокровно относился въ доблестнымъ трудамъ и жертвамъ твхъ почтенныхъ иностранныхъ дъятелей славянства, которые спасли язывъ и правственную физіономію своихъ племенъ отъ конечной гибели посреди другихъ, враждебныхъ имъ народовъ. Не болбе справедливости, впрочемъ, оказывали и противники Вълинскаго ему самому, когда принимались разбирать основы и побужденія его оппозиціи. Опи объявляли его человъкомъ, преданнымъ самымъ узкимъ интересамъ существованія, не имъющемъ даже и органа для пониманія патріотическихъ или народнихъ инстинктовъ. Они шли и далве. По горячей его защитв государственных прісновъ Петра I, по заявленнымъ симпатіямъ въ Петербургу, они объявляли его мелкемъ и врядъли еполню безкорыстнымъ централизаторомъ и бюрократомъ. Централизаторомъ онъ, дъйствительно, и былъ, но не въ томъ симслъ, какъ говорили его враги,—не въ пользу какого-либо существующаго уже порядка дълъ и вещей, а того дальняго, который представлялся ему въ видъ единенія всъхъ народовъ Европы на почвъ одной общей цивилизаціи, подъ покровомъ однихъ законовъ для разумнаго существованія.

Съ какимъ одушевленіемъ говориль опъ о первыхъ проблескахъ этой будущей централизаціи, этого будущаго строя жизни, которые усматриваль и въ сближение европейскихъ народовъ между собой посредствомъ новыхъ дорогъ, неждународныхъ установленій и проч., и въ ихъ успліяхъ создать, но уничтожал родовыхъ и племенныхъ особенностей каждой страны, одинь общій кодексь для государственнаго и общественнаго существованія челов'ячества! А вийст'я съ тімъ, онъ уже не могъ, да и не хотелъ сдерживать своего негодованія, какъ только ему казалось, что обнаруживаются признаки посягательства на этотъ мерцающій вдали и еще далеко не обработанвый кодексъ. Все, что затрудняло его осуществление со стороны народнаго тщеславія, заносчивости этнографовъ, возвеличивающихъ ту или другую изъ пародныхъ группъ на-счотъ всёхъ другихъ націовальностей, или со стороны скептицизма, почерпающаго въ отрицательныхъ и темныхъ подробностяхъ современной овропейской жизни доводы въ пользу устраненія ся отъ діль, -- все это приводило сго въ неописанное волнение. Во иногомъ онъ и заблуждался, какъ показало время, при восторженномъ изложении своихъ надеждъ на развитіе Европы, но онъ заблуждался — доблестно, какъ бываеть съ людьми, глубоко-върующими въ какую-либо великую идею! Бълинскій до того ревниво охраняль добро, собранное старой и новой европейской цивилизаціей, что уже подозрительно смотриль на образцы и замінчательныя производенія другихъ, чуждыхъ ей культуръ и отвывался о нихъ очень сдержанно. При появлени поэмы «Наль и Данаянти» въ художественномъ переводъ Жуковскаго, онъ ограничился напоминовеніемъ читателю, какъ греческій эпосъ «Иліада» више измышленій индійскаго народнаго творчества. То же самов было в тогда, когда прекрасный переводъ Я. К. Грота познакомиль русскую публику съ финской эпопеей: «Калевала», съ этимъ памятникомъ фантазій и представленій народа, нікогда населявшаго, какъ говорять, всю Европу. Противопоставляя опять финскій эпосъ греческому созерцанію жизни, Бълинскій находиль въ первомъ только безобразную фантазію, чудовищные образы и сплетенья, свойственные дикому народу, и которые должны оттолкнуть всякаго, кто разъ ознакомидся со стройностію, мърой и изяществомъ греческой народной производительности.

Какъ ни важны были, однако же, все эти вопросы, и въ кавой яркой полемний ни давали они поводъ, все же они не могли заслонить ни на минуту передъ Вълинскимъ чисто-русскаго вопроса, который тогда целикомъ сосредоточивался у него на одномъ имени Гоголя и на его романъ «Мертвыя Души». Романъ этотъ открываль критикъ единственную арену, на которой она могла заниматься внализомъ общественныхъ и бытовыхъ явленій, и Вълинскій держался за Гоголя и романъ его цъпко, какъ за нежданную помощь. Онъ какъ-бы считаль своимъ жизненнымъ призваниемъ поставить содержаніе «Мертвыхъ Душъ» вив возможности предполагать, что въ немъ тантся что-либо другое, кромф художественной, исихически и этнографически вфрной картины современнаго положения русскаго общества. Всъ силы своего критическаго ума напрягалъ онъ для того, чтобъ отстранить и уничтожить попытки къ допущению кавихъ-либо другихъ, смягчающихъ выводовъ изъ знаменитаго романа. промів тіхть суровыхть, строгообличающихть, какіе прямо нать него вытекають. Посяв всвух своихъ отступленій въ область европейсвихъ литературъ, въ область славянства и проч., онъ возвращался съ этого поля, болже или менже удачных битвъ, опять къ своему постоянному, домашнему дълу, только освъженный предшествующими кампаніями. Домашнее дело это заключалось преимущественно въ томъ, чтобъ выбить изъ литературной арены навсегда, если можно, какъ дикихъ, коварнихъ и своекористнихъ ругателей гоголевской поэны, такъ и восторженныхъ ея доброжелателей, прозравающихъ въ ней не то, что сна дъйствительно даетъ. Онъ не уставаль указывать правильныя отношенія къ пей и уство, и печатно, приглашая при всякомъ случав и слушателей, и читателей своихъ подумать, но подумать искренно и серьёзно о вопросв-почему являются на Руси типы такого безобразія, какіе выводены въ поэмъ; почему могутъ совершаться на Руси такія невіроятния собитія, какія въ ней разсказаны; почему могутъ существовать на Руси, не приводя никого въ ужасъ, такія рфчи, мифнія, взгляди, каків переданы въ ней.

Бълинскій думаль, что добросовъстный отвъть на вопросъ можеть сділаться для человівка, добывшаго его, программой діятельности на остальную живеь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильнаго сужденія о себъ и другихъ.

Къ этому же времени относится и появление въ русской изящной литературъ, такъ-называемой «натуральной школы», которая созръла подъ вліяніемъ Гоголя, объясняемаго тъмъ способомъ, какинъ объясняль его Вфлинскій. Можно сказать, что настоящинъ отцомъ ея билъ—последній. Швола эта ничего другого не нивла въ виду, какъ указаніе техъ подробностей современнаго и культурнаго бита, которыя не могли еще бить указани и разобрани никакимъ другимъ способомъ, ни политическимъ, ни научнимъ разследованіемъ. Кстати заметить: прозвище «натуральной» дано ей било корифеемъ риторическаго, безталантнаго, фальшиво-благонамъреннаго изложенія русской жизни, Булгаринымъ, но изъ вражди къ Белинскому прозвищу обрадовались, и прозвище усвоили даже и люди, глубоко-презиравшіе литературную и критическую деятельность Булгарина. Оно и до сихъ поръ держится у насъ, несмотря. на свое происхожденіе и на свою безсинслицу.

## XXIII.

Покуда все это происходило вокругъ имени Гоголя, самъ онъ повернулъ въ такую сторону, куда не пошли за нимъ и многіе изътвхъ, которые считались людьми, разділяющими всів его взгляды. Въ февраліз 1844 г., я получилъ отъ него неожиданно и посліз долгаго молчанія сліздующее письмо:

«Февраля 10-го, Ница. 1844.

- «Ивановъ прислалъ мив вашъ адрессъ и сообщилъ инт вашу готовность исполнять всякія порученія. Благодарю васъ за ваше доброе расположеніе, въ которомъ, впрочемъ, я никогда и не соминавался. Итакъ, за дало. Вотъ вамъ порученія: 1-е... (это первое порученіе заключалось въ понужденіи друга Гоголя, товарища его по Нажину, а теперь повареннаго по далу печатанія «Мертвыхъ Дущъ» въ Петербурга, Н. Я. Прокоповича, къ скорайшему доставленію наличныхъ вырученныхъ денегь и разсчетовъ. Какъ мало дюбопытное, мы его пропускаемъ и прямо переходимъ ко второму порученію, какъ самому существенному для насъ, которое уже и выписываемъ цаликомъ, съ сохраненіемъ ореографіи автора).
- «2. Другая прозьба. Увъдомте, въ какомъ положени и какой приняли характеръ нинъ толки, какъ о М. Душахъ, такъ и о сочиненіяхъ монхъ. Это вамъ сдълать я знаю будеть отчасти трудно, потому-что кругь, въ которомъ вы обращаетесь большею частію обо мнъ хорошаго мнънія, стало бить, отъ нихъ, что отъ козла молока. Нельзя-ли чего-нибудь достать внъ этого круга, хотя чрезъ знакомыхъ вашимъ знакомымъ, черезъ четвертые или пятые руки. Можно много довольно умныхъ замъчаній услишать отъ тъхъ людей, которые совстиъ не любять монхъ сочиненій. Нельзя ли при

удобномъ случай также узнать, что говорится обо мий въ салонахъ Булгарина, Греча, Сенковскаго и Полевого, — въ какой сили и степени ихъ ненависть, или уже превратилась въ совершенное равнодушіе. Я вспомниль, что вы можете узнать кое-что объ этомъ даже отъ Романовича 1), котораго вйроятно встритите на улици. Онъ бевъ сомийнія биваетъ по-прежнему у нихъ на вечерахъ. Но дилайте все такъ, какъ бы этимъ вы, а не я интересовался. Не дурнотакже узнать мийніе обо мий и самого Романовича.

«За все это я вамъ дамъ совътъ, который пахиетъ страшной стариной, но тъмъ не менъе очень умный совътъ. Тритесь побольше съ людьми и раздвигайте всегда кругъ вашихъ знакомыхъ, а знакомые эти чтобы непремънно были опытние и практическіе люди, имъющія какіе-нибудь занятія; а знакомясь съ ними держитесь такого правила: построже къ себъ и по списходительнъе къ другимъ, а въ хвостъ этого совъта положите мой обычай не пренебрегать пикакими толками о себъ, какъ умными, такъ и глупыми, и никогда не сердиться ни на что. Если выполните это, благодать будетъ надъвами, и вы узнаете ту мудрость, которой ужъ никакъ не узнаете ни изъ книгъ, ни изъ умныхъ разговоровъ.

«Увъдомте меня о себъ во всъхъ отношенияхъ какъ вы живете, какъ проводите врейя, съ къмъ бываете, кого видите, что дълаютъ всъ знакомые и незнакомые.

«Въ каконъ положени находится вообще картолюбіе и ...любіе, и что нинв предметонъ разговоровъ какъ въ большихъ, такъ и въ налыхъ обществахъ, натурально въ выраженіяхъ приличныхъ, чтобы не оскорбить пикого: Затънъ, обнимая васъ вскренно и душевно и желая всякихъ существенныхъ пользъ и пріобрътеній, жду отъ васъ скораго ув'єдомленія. Прощайте. — Вашъ Г.».

«Адресуйте во Франкфуртъ на Майнъ, на имя Жуковскаго, который отнынъ учреждается тамъ, и гдъ чрезъ мъсяцъ я намъренъбыть самъ».

Письмо принадлежало въ числу техъ, которыя удивляли весьма близкихъ въ Гоголю людей, какъ Плетнева, напримъръ, своими без-конечными вопросами о толкахъ и мизніяхъ публики по поводу его сочиненій. Гоголь требовалъ особенно перечета наиболже дикихъ и безобразныхъ мизній. Даже и не очень короткіе знакомые Гоголя завалены были письмами подобнаго рода и подали поводъ думать, что любопытство это, подъ благовиднымъ предлогомъ изученія отно-шеній публики къ его джятельности, прикрываетъ у него особый

<sup>1)</sup> Тоже итжинскій товарищь Гоголя, пробивленійся въ литераторы съ большими чевліями и посъщавній для того разние литературные вруги.

видь фдеаго тщеславія, которое способно еще доставлять ему нфкотораго рода наслажденіе. Что касается до меня, я обрадовался письму Гоголя и написаль ему пространный ответь съ откровенностію и добродушіємъ, которыя мив самому напоминали невабвенные вечера въ Римъ, Альбано, Фраскати и проч., когда мы проводили чудния южимя ночи въ безконечимъъ толкахъ и разговорахъ о всемъ и о вся, когда за этими разговорами, какъ не-разъ случалось въ Тиволи, даже вовсе не ложились въ постель на ночь, а просиживали до утра на окић тратторіи, дремля подъ шумъ фонтана, который монотонно плескаль посреди ся двора, переразывая великолиния линіи древняго греческаго храма, высившагося на другомъ его концъ. Тогда все понималось просто и также говорилось. Но я ошнося жестоко - времена переменились. Не предчувствуя еще новаго направленія, принятаго Гоголемъ, я неожиданно и невольно попалъ въ больное мъсто его мысли и растревожилъ ее. Хорошо помию, что, отвъчая на его вызовъ, я предстаниль ему положение партій относительно его романа и передаваль полемику Бълинскаго съ ними, причемъ, конечно, не считалъ нужнымъ отзываться осторожно ни объ одной изъ нихъ. Мей казалось, что я обязавъ былъ высказать ему всю мою мысль сполна, какъ онъ того просилъ, и потому, можеть быть съ нъкоторымъ излишиниъ пыломъ и негодованість, говорилъ и о врагахъ его изъ салоноез Булгарина и Сенковскаго и о друзьяхъ его изъ московской партіп. Не подозр'явая тиспыхъ связей, образовавшихся у Гоголя съ последней въ то время, я впалъ въ одну изъ трхг опроистанних искренностей, которыя заставляють человъка раскаяваться въ собственной своей правдивости. Гоголь, призывавшій искренность, не выдержаль этой и не поняль дружескаго письма.

Въ концв его, если не измъняетъ мив память, находилось еще замъчаніе, что въ ту переходную эпоху, въ которой мы живемъ, почти невозможно себв и представить такого дъла, которое бы получило отзвукъ въ потомствъ, такъ какъ оно, въроятно, не захочетъ и знать о нъкоторыхъ надеждахъ и стремленіяхъ нашего времени. Конечно, замъчаніе принадлежало къ разряду громкихъ, но незрълыхъ и заносчивыхъ афоризиовъ, какіе въ частной интимной перепискъ сливаются неръдко съ пера у человъка, желающаго сказать скоръе болье, чъмъ менье того, что ему кажется нужнымъ, и ве предвидящаго вдобавокъ, что слово его будетъ прочитано не дружескимъ, а уже подозрительнымъ глазомъ судьи и цензора. Можно было ожидать опроверженія и разъясненія замъчанія, но, конечно, не того, что я получилъ.

Съ спокойной совъстью я отправиль ное, не въ мъру откро-

венное, письмо, и черевъ два ивсяца получиль на него ответъ. Я быль просто приведень въ педоунание этикь отватомъ. Онь содержаль въ себъ строжайшій, болье чыть начальническій, а какойто пастырскій выговоръ, точно Гоголь отлучаль меня торжественно отъ общения съ върными своей церкви. Вийсто мей вилкомаго добродушнаго, прозордиваго, все понимающаго и влассифирующаго исихолога-стояль теперь передо мною совствы другой человткъ, да и не человакъ, а какой-то проповадинкъ на каоедра, имъ же и воздвигнутой на свою потребу, громящій съ нея грфхи бъдвыхъ людей на-право и на-ліво, по власти кізмі-то ему дапной и но всегда зная хорошенько, чемь они действительно грешать. Топъ письма сбиль меня совстви съ толка, потому что я еще не зналъ тогда, что роль пророка и проповединка Гоголь уже довольно давно усвоилъ себъ, что въ этой роли опъ уже являлся г-жъ Сипрновой, Пого-дину, Языкову, даже Жуковскому и мпогимъ другимъ, громя и повременанъ бичуя ихъ съ довкостью почти что ветхо-завътнаго человъка. Привожу это письмо цъликомъ:

•Франкфуртъ, мая 10-го (1844).

«Влагодарю васъ за въкоторыя извъстія о толкахъ на книгу. Но ваши собственныя инвнік... смотрите за собой; они пристрастиы. Неумфренные эпитеты, разбросанные кое-гдф въ вашемъ письмф уже показывають что они пристрастии. Человикъ благоразумный не позволиль бы ихъ себъ никогда. Гиъвъ или неудовольствіе на кого бы-то ни было всегда посправедливы, въ одномъ только случав можетъ быть справедливо наше неудовольствие, когда оно обращается не противъ кого-либо другого, а противъ себя самого, противъ собственных д первостей и противъ собственного пенсполнения своего долга. Еще: вы думаете, что вы видиге дальше и глубже другихъ, и удивляетесь, что многіе, повидимому, умпые люди, не замвчають того, что замътили вы. Но это еще Богъ въсть ито опибается. Передовые люди не тъ, которые видять одно что-пибудь такое, чего другів пе видять, и удивляются тому, что другіе не видять; передовыми аюдеми можно назвать только твхъ, которые именю видятъ все то, что видять другіе (всв другіе, а не пъкоторые), и опершись на сумму всего видять все то, чего не видять другіе и уже не удивляются тому, что другіе не видять того же. Въ письмѣ вашемъ отраженъ человъкъ просто унывшій духонь и невзглянувшій па санаго себя. Еслябъ ны всв вийсто того чтобъ разсуждать о духв времени, взглянули какъ должно всякой на самого себя, мы больше гораздо бы выпграли. Кром'в того, что им узнали бы лучше, что въ насъ самихъ ваключено и есть, им бы пріобрали взглядъ ясиче и иногосторон-

нъй на всъ вещи вообще и увидъли бы для себя пути и дороги тамъ, гдъ гръховное униніе все темнять передъ нами и вивсто путей и дорогъ показываеть намъ только самое себя, т. е. одно грвховное уныніе. Злой духъ только могъ подшепнуть вамъ мысль, что ви живете въ каконъ-то переходящемъ въкъ когда всъ усилія и труди должны пропасть безъ отзвука въ потоиствъ и безъ ближайшей пользы кому. Да если бы только хорошо осветились глаза наши, то мы увидали бы что па всякомъ месть, где бы ни довелось намъ стоять, при всехъ обстоятельствахъ, какихъ бы то ни было, споспътествующихъ или поперечныхъ, столько есть дълъ въ нашей собственной, въ нашей частной жизни, что можеть быть самь умъ нашъ помутился отъ страху, при видъ неисполненія и препебреженія всего, и унине не даромъ бы тогда закралось въ душу. По крайней ифрф оно бы тогда было болве простительно, чвиъ тенерь. Признаюсь, я считаль вась (не знаю почему) гораздо благоразумиве. Самой душв моей было какъ-то неловко, когда я читаль письмо ваше. Но оставлю это, и не будемъ никогда говорить. Всякихъ мифній о нашемъ вфкф и нашемъ времени я терпъть не могу, потому что опи всв ложны, потому что произносятся людьми, которые чёмъ-нибудь раздражены, или огорчены... Напишите мив о себв самомъ, только тогда когда почувствуете сильное неудовольствіе противъ себя самого, когда будете жаловаться не на какіе-нибудь пом'вшательства со стороны людей, или въка, или кого би то ни било другого, но когда будете жаловаться на помешательства со стороны своихъ же собственныхъ страстей, ліни и неділятельности умственной. Еще: и луча візры пізть ни въ одной строчкъ вашего письма и малъйшей искры смиренія высоваго въ немъ незамътно! И послъ этаго еще хотъть, чтобъ умъ нашъ не билъ одностороненъ, или чтобъ билъ онъ безпристрастенъ. Воть ванъ целый возъ упрековъ. Не удивляйтесь, вы сами на нихъ напросились. Вы желали отъ меня освъжительнаго письма. Но меня освъжають теперь один только упреки, а потому ими же и прислужился и вамъ.

«А вивсто всяких толковь о томъ, чвиъ другой виновать или невыполнить своей обязанности, постарайтесь исполнить тв обязанности, которые я наложу на васъ. Пришлите мив каталогъ Смирдинской бывшей библіотеки для чтенія, со всьии бывшими прибавленіями. Онъ поливший книжный нашъ Реестръ, да присоедините къ тому Реестръ книгъ всюхъ напечатанныхъ Синодальной типографіей: это можете узнать въ Синодальной лавкв. Да еще сдвлайте одну вещь: выпишите для меня мёлкимъ потчеркомъ всё критики Сенков. въ Библіотекъ для чтенія на М. Д. и вообще на всъ мои сочиненія, такъ чтобы ихъ вожно послать въ письмъ. Сколь-

я ни просиль объ этомъ, никто не исполниль. Каталогь Синрд.
есть важется мой у Прокоповича. Пошлите тоже съ почтой, которая
имий принимаетъ посылки. Адресуйте въ Верлинъ на имя служащаго при тамошней миссія графа Мих. Мих. Вісльгорскаго для
доставки мий, если почта не возмется доставить во Франкфуртъ
прямо на мое имя. Вотъ вамъ обязанности покамисть истинно Христіанскія. Отъ васъ требуетъ выполненія этаго долга прямо, безвозмездно. — Н. Гоголь».

Несмотря на совершенно неожиданный для меня учительскій н раздраженный тонъ этого письми, опо меня все-тики глубоко тронуло: во-первыхъ, и замъчательнымъ литературнымъ своимъ достопнствомъ, а во-вторыхъ-и преимущественно какой-то безпредфиьной върой въ новое созерцаніе, имъ возвъщаемое. Загадкой оставалось для меня только следующее: какимъ процессомъ мысли Гоголь перенесъ прямо на меня все, что я говорилъ вообще о современныхъ людяхъ, и отыскалъ въ моихъ сообщеніяхъ личный вопросъ, — уныніе, ропотъ, недовольство судьбой и другія качества неудачнаго честолюбца. Но особенно не могь я понять, откуда туть взялся сще вопросъ о религіозныхъ монхъ уб'яжденіяхъ, о состоянін мосй души и совъсти, такъ какъ исповъдываться въ нихъ я не имълъ ни малфй-шаго помысла передъ Гоголемъ, да онъ и не возбуждалъ такого вопроса. Передавать толки публики о «Мертвыхъ Душахъ» и по этому поводу представить свидательство о болье или менье удовлетворительномъ состоянія своего религіознаго чувства — кому же это могло придти въ голову? Впоследствін все это объяснилось. Писько Гоголя, какъ и иножество другихъ такихъ же, полученныхъ разпыми лицами въ Россін, было однинъ изъ той гряды облачковъ, которая предшествовала появленію роковой книги «Переписка съ друзьями». Письма возвъщали ея близкое восшествие на горизонтъ. Гоголь, ужаспуншійся усибха своего романа между западниками и людьми непосредственнаго чувства, весь погруженъ быль въ замыселъ разоблачить свои настоящія историческія, патріотическія, поральныя и религіозныя возярьнія, что, по его миннію, было уже необходимо для пониманія готовящейся 2-й части поэми. Винсти съ тимъ, все болье и болбе созравали въ уме его падежда и плапъ паделить, наконецъ, безпутную русскую жизнь кодексомъ великихъ правилъ и незыбленыхъ аксіонъ, которыя помогли бы ей устроить свой внутренній міръ на образецъ всимъ другимъ пародамъ. Но намиреніе оставалось еще поканасть тайной для всахъ, и служить какимъ-либо поясненіемь действій Гоголя не могло. Въ потелкахъ я отвечалъ эголю, что получиль его письмо, благодарю за участіе ко мив,

не оторчаюсь его выговорами, не отвергаю вовсе его совътовъ, но считаю нужнымъ указать ему на странную ошибку. Опъ считаютъ меня человъкомъ весьма высокаго митиля о себъ, надменнымъ и страдающимъ гордостью, а между тъмъ могъ бы замътить въ теченіи долгихъ нашихъ сношеній, что я скоръе нивлъ претензію считать себя ничтожнъйшимъ изъ дътей міра, и безъ всякаго вознагражденія, о которомъ говорить поэть, употребившій однажды это выраженіе.

Затвиъ корреспоиденція наша прекращается на-долго, до 1847 года, когдя, живя уже съ больнымъ Вълинскимъ на водахъ въ Силезін, въ Зальцбрунъ, я опять получиль отъ Гоголя писько, по уже нягкое и отчасти грустное письмо. Книга его «Переписка съ друзьями» уже вышла и принесля ему такую массу огорченій, упрековъ, наконецъ, клеветъ и незаслуженныхъ оскорбленій, что опъ склонился подъ этой бурей общественнаго негодованія, какъ тростникъ-до вемли. Состояніе его духа отразилось и на письмі, но объ этомъ послв. Съ твхъ поръ уже благодуниое, ласковое, списходительное настроеніе не покидало Гоголя по отношенію въ старому его корреспонденту и собестднику, и всякій разъ, какъ им встрічались, до самой его сперти, выказывалось съ повой силой. Въ 1851 году, за годъ до своей кончины, провожая меня изъ сюей квартиры, въ Москвъ, на Инкольскомъ бульваръ (домъ графа Толстого), опъ, на порогв ол, свазалъ мив взволпованнымъ голосомъ: «Не думайте обо инь дурного и защищайте передъ своими друзьями, прошу васъ: я дорожу ихъ инфијемъ».

Страдальческій умиротворенный и на все уже подготовленный сбликъ Гоголя, — Гоголя посліднихъ дней, — остался въ моей жизни саминъ трогательнымъ воспоминаніемъ, наравив съ обликомъ медлено умирающаго и все еще волиующагося Білинскаго.

Въдный, запутавшійся другь, погибшій добровольной и мучительной смертью именно потому, что жиль въ эпоху столкновенія неустановившихся върованій, одинаково важныхъ и неустранимыхъ, и которую такъ горячо защищалъ противъ мивнія о ея переходномь состоянія! Чрезвычайно замъчательно слъдующее обстоятельство. Въ мартъ 1848 года, занимаясь обработкой 2-й части «Мертвыхъ Душь» въ Москвъ, онъ пишетъ старому своему товарищу, уже упомянутому Н. Я. Проконовичу, что труду его мъщаютъ, во-первыхъ, недуги, а во-вторыхъ — отраженіе на авторъ встуть невыгодныхъ вліяній шаткаго переходиаго временц, въ которое онъ живетъ. Итакъ, ужасъ и негодованіе, возбужденные въ Гоголъ однимъ намекомъ на то, что эпоха эта можетъ быть названа переходною, миновались совершенно черезъ четыре года, да и не только миновались, но сама мысль признана еще неоспоримой истиной, на осно-

ваніи личнаго опита. Воть это замічательное місто письма, съ котораго я тогда же сняль точную копію, конечно, не объясняя никому причинь, почему я считаю его особенно важнымь.

"Москва, 29-го марта (1848).

«Бользые пріостановили мон занятія «Мертвими Душами», которыя пошли было хорошо. Можеть быть, бользиь, а можеть быть и то, что какъ поглядишь, какіе глупые настають читатели, какіе безтолковые цънители, какъе отсутствіе вкуса... просто не подимаются руки. Странное доло, хоть и знаешь, что трудъ твой не для какой-нибудь переходной современной минуты, а все-таки современное неустройство отнимаеть нужное для него спокойствіе».

Какъ далеко стойть это признаніе отъ восклицанія: «Злой дукъ только могь подшепнуть вамъ мысль, что вы живете въ какомъ-то переходящемъ въкъ, когда всъ усплія и труди должны пропасть безъ отзвува въ погоиствъ...> -- Уви! Кавъ еще положение это ни казалось опрометчиво, заносчиво и ложно, сказанное неловко и не во-время, самъ Гоголь, страстно опровергавшій его, испыталь еще сомниніе въ пользи своихъ усилій и трудовъ для потомства,сомивніе, результатомъ котораго било, какъ извъстно, сожженіе 2-й части «Мертвихъ Душъ». Если би дело состояло тогда въ его власти, то результатомъ этого настроенія могло би бить и пічто большее-именно сожжение всехъ его трудовъ вообще. Иравда, тутъ примъщалась душевная бользнь, натологическое состояние мозговыхъ бргановъ, — по развъ переходныя эпохи именно и не отличаются этими бользиями, которыя сами суть по что иное, какъ произведеніе глухой борьбы началь въ глубинъ души и мысли каждаго развитаго человъка.

Со всёмъ темъ мий легко сознаться теперь и повторить, что вамфчаніе о безплодности трудовъ, предпринятыхъ въ переходное время, которымъ я погрешилъ тогда, и которое вызвало такія недоразуменія, было вполить необдуманно и ложно въ основаніи. Ни деятельность Гоголя, ни деятельность самого Велипскаго, а также и людей 40-хъ годовъ вообще изъ обоихъ лагерей нашихъ не остались безъ следа и вліянія на ближайшее потомство, да найдутъ, по всёмъ вероятіямъ, еще не одинъ отголосокъ и въ более отдаленныхъ отъ насъ поколеніяхъ. Это убъжденіе только и могло вызвать составленіе настоящихъ «Воспоминаній».

# XXIV.

Мей приходится говорить теперь о замичательном въ исторіи нашихъ литературныхъ партій 1845-иъ годи и приступить въ пратвому библіографическому отчету о ийкоторыхъ статьяхъ журнала «Москвитянинъ», состоявшаго слишкомъ малое время подъ непосредственной редакціей И. Кирйевскаго. Статьи были важнымъ событіемъ описываемой впохи, и безъ разбора ихъ— дальнійшій разсказъ о ней утеряль бы свой настоящій смысль. Оні именно обозначають ту минуту, съ которой распря между славянами и западниками приняла у насъ новый, менію безпощадный и сліной характерь, чінь прежде, хоть и долго потомъ еще не нуждалась въ вониственномъ одушевленіи, но тонъ становился другой. Переміна тона и самой річн, на которую рішнянсь прежде всіхъ славяне, вийла значительныя посліндствія по отношенію къ внутреннимъ дізамъ и положенію дійствующихъ лицъ въ обізихъ партіяхъ.

Извъстно, что, кромъ Бълинскаго, вопросъ объ отношения народной культуры къ европейскому образованію запималь еще Грановскаго и Г., съ ихъ друзьями. По близкимъ отношеніямъ ихъ къ славянскимъ дфятелямъ, вопросъ этотъ мфшалъ сойтись имъ съ людьин противнаго лагеря, нравственную цену которыхъ они очень хорошо знали, на какой-либо исйтральной почив. Действительно, пока въ славянской партін господствовало полное отрицаніе европензма, невозможно было никакое примирение и соглашение. Черезъ это препятствів висино и перешагнули Кирфевскіе, Хоняковъ и ихъ друзья, когда въ 1845 году приняли въ свои руки редакцію журнала «Москвитянивъ. Они сдълали первый пагъ на-встричу западникамъ. Можно сказать, что новые редакторы «Москвитянина», овладъвая журналомъ, ничего другого и не нивли въ виду, какъ правильнаго, съ ихъ точки зранія, постаповленія и разрашенія вопроса. Тогда и оказалось съ перваго же раза, что для славянской партіи типъ европейской цивилизаціи столько же дорогь, какъ и любому европейцу, но дорогъ не какъ готовый образецъ для подражанія, а какъ падежный вкладчикъ въ капиталъ собственныхъ уиственныхъ сбереженій русской народной культуры, какъ хорошій пособникъ пря обработкъ сю симой своего канитала.

Первымъ деломъ редакторовъ было, поэтому, устранение и опровержение техъ мифий своихъ собственныхъ единомышленниковъ, которые или презирали типъ европейской пивилизации, или противопоставляли его славянской культуръ, какъ нечто враждебное посатедией или къ ней неприложимое. Руководящая статья И. В. Ки-

рвевскаго въ 1-иъ № «Москвитянина» за 1845 годъ («Обозрвніе современнаго состоянія словесности») наносила тяжелые удары преследователянь Запада и, прежде всего, старому критику того же «Москвитянина» — С. III., который въ 1841 году въ статъъ: «Взглядъ на образование европейское», выражалъ мивии, что Россія, не испытавшая ни реформаціи, ни революціи и темъ самымъ сохранившая въ себъ великое правственное единство, не можетъ дълить духовной жизни съ болъзненнымъ европейскимъ міромъ, а скорве призвана, можеть быть, исцилить в обновить его. И. В. Кирвевскій не менве С. Ш. ввроваль во всв, такъ-сказать, догматы славянофильской партін, въ печальное раздвосніе европейской жизни, въ необходимость и возможность ем обновленія началами восточнаго любомудрія, что и высказываль въ своемъ трактать; но И. В. Кирфевскій, вифств съ тфиъ, инфль представленіе о роли Запада въ деле цивилизаціи гораздо более широкое, чемъ ультра-славяне изъ его собственной нартіи, которынь и не замедлиль высказать горькія истины.

Во второй своей статью (Могквитянинъ», Ж 2, 1845 года) овъ объявляль оба направленія наши, какъ чисто-русское, такъ и чисто-западное, одинаково ложными, и это на основаніяхъ, которыя были гораздо болъе оскорбительны для собственной его партіи, чъмъ для враждебной ей. .«Чисто-русское направленіе ложно потому,--замъчалъ онъ, — что пришло неизбъжно, роковымъ образомъ, къ ожиданію чуда и призыву его на помощь своей віры, ибо только чудо можетъ воскресить мертвеца-русское прошлое, которое такъ горько оплавивается людьми этого возарфиія. Направленіе, вдобавокъ, не видитъ, что каково бы ни было просвъщение европейское, но истребить его вліяніе, посяв того, какъ мы однажды сдвяались его причастниками, уже находится вив нашей сили, да это било би и великимъ бъдствіемъ . — «Оторвавшись отъ Европи, — добавлялъ онъ, -- мы перестаемъ быть общечеловическою національностью, лишаемся всёхъ благъ римско-греческаго образованія» («Москвитя-иннъ», 1845 года, № 2, стр. 63—78). Западникамъ, подъ которыми преимущественно разумълся Вълинскій, какъ самый крайній изънихъ, посылался тоже довольно тяжкій укоръ. Направленіе ихъ обвинялось въ непониманіи того, что истины Запада суть только остатки христіанскихъ началь, и упрекъ добавлялся замічанісяь, что они «женоподобно управляются одной страстью къ предмету обожанія, которая и привела ихъ къ нельной мысли, будто все уже рышено Европой и стоить только подбирать какъ святыню все, что она бросаеть нужнаго и пенужнаго» (стр. 73). Высто этихъ пустыхъ направленій, для Кирфевскаго существуєть и важно только

представленіе о двухъ родахъ образованія - одно то, которое творится чрезъ внутрениее устроение духа, силою извищающейся въ немъ истины. Это самое разумпое, высшее, и уже безъ познанія Европы обойтись не можеть. Другое—низшее образование слагается чрезъ формальное развитие разума и приобратение высшихъ повнаний, сь помощью одного заимствованія; опо делаеть изъ человека подобіе логически-технической выкладки, безъ національныхъ и всякихъ другихъ убъжденій (74). Въ концъ изслъдованія является у Кирвевскаго резюмирующій тезись, который гласить: «поэтому, любовь къ образованности европейской, равно какъ и любовь къ нашей, объ совиадають въ послъдней точкъ своего развитія въ одиу любовь, въ одно стремленіе къ живому, полному, всечеловіческому и истинно христіанскому просвіщенію. Объ статьи И.В. Киртевскаго произвели громадное впечатлъніе и нашли доброжелателей и порицателей одинаково въ обоихъ лагеряхъ — славянскомъ и западномъ. Вълинскій принадлежаль къ числу порицателей. Въ постройкъ статей онъ усмотриль отчасти нимецкій характерь, искусно, но фальшиво обобщающій предмети, а потомъ я въкоторую непослъдова-«Какъ же это, - говорилъ онъ, -- Кирфевскій отыскалъ племя, способное дополнить развитие Европы свежими элементами своего изделія, а между темъ предлагаеть сму идеалы цивилизаців собственнаго своего измышленія. Да в'ядь идеалъ-то цивилизацін и есть само это избранное пленя! Н'ть, ужь если вы не обманываето самого себя, говоря, что сподобилися читать въ кингв судобъ о призваніи русскаго народа, такъ но стыдитесь лежать передъ нимъ во прахъ. Я больше люблю Ш. и П., которые, не бродя по сторонамъ, просто ревутъ: «мы спасители, мы обновители!» -ужъ и зваешь, что инъ на это отвъчать».

Третья статья И. Кирфевскаго, которая, по плану его, должна была заняться текущими явленіями литературы, къ сожалівню, не появилась въ печати.

Не менве рвинительно и строго отнесся къ доморощеннымъ гонителямъ Запада и А. С. Хомяковъ въ двухъ прекрасныхъ своихъ статьяхъ: а) «Письмо въ Петербургъ« («Москв.», 1845, № 2): о русскихъ желвзинхъ дорогахъ; и б) «Мивије иностранцевъ о Россіи» («Москв.», 1845, № 4).

Послъдняя не была подписана и, конечно, имъла въ виду извъстную книгу Кюстина, которая, несмотря на строгое запрещение ея, читалась у насъ повсемъстно и возбуждала характеристикой иъкоторыхъ лицъ и событій саркастическіе толки въ-тихомолку, очень невинию, но очень безпоконвшіе однакоже административныхъ людей эпохи. Обычныхъ славянофильскихъ оговорокъ и въ этихъ

статьяхъ нашлось много. Какъ и Кирвевскій, Хомяковъ объявляль въ первой изъ нихъ просвъщение не чемъ инымъ, какъ просвътленіемъ всего разумнаго состава въ человікі или народів, дополняя эту инсль еще замфчаніемъ, что такое просвітленіе можеть совпадать съ наукой, а можеть существовать и безъ нея, не теряя отъ того своего благотворнаго действія 1). Какъ и Кирфевскій, опъ предпосылаль обличению друвей обличение западниковь и школы Бфлинскаго, которыхъ винилъ въ непростительной односторонности. Въ литературныхъ сужденіяхъ своихъ, какъ И.В. Кирфевскій, такъ и А. С. Хомяковъ, очень близко подходили въ Вълинскому, а часто шли и дальше его. Вотъ, напримъръ, мъсто изъ второй статьи Кирфевскаго: «Произведенія нашей словесности, какъ отраженія свронейскихъ, не могутъ имъть интереса для другихъ народовъ, кромъ интереса статистическаго, какъ показанія ифры нашихъ ученическихъ усивховъ въ учени ихъ образцовъ> («Москв.», № 2, с. 63). Сильнъе этого начего не говорият и Балинскій, а сколько брани вытеривять овъ за подобные, теперь уже совершение оправданные приговоры! Правда - славянская наша партія, часто соглашаясь втайню съ положениями ненавистного ей критика, старалась всемфрио держать себя въ сторонъ отъ него, отыскивая подъ-часъ довольно хитростнымъ способомъ возможность, раздъляя его мивніе, противорючить ему. Примвровъ этому много. Оградивъ такимъ образомъ убъжденія свои отъ всякихъ подозрівній въ потакательствів врагамъ, Хомяковъ тамъ съ большей силой обращается къ старов врамъ собственной партін, чурающимся оть Запада какъ оть язвы. «Не думайте», восклицаеть онъ: «что подъ предлогомъ сохранить целостность жизни и избъжать европейскаго раздвоснія, вы имвете право отвергать какое-либо умственное или вещественное усовершепствованіе Европы . . . «Есть что-то смітнос», продолжаеть онь: «н даже что-то безиравственное въ этомъ фанатизмъ неподвижности > (Пр. стр. 82-83). — «Знайте», поясняеть опъ далье, что успоеніе чуждыхъ стихій производится въ силу законовъ правственной природы народа и производить новыя явленія, обнаруживающія его своеобычность, иногосторонность и самостоятельность. -Онъ даже обзываеть нашихь ультра-натріотовь и гонителей Запада просто скептиками, лишенными вфры въ силу истины и здоровыхъ началъ русской жизин, которую защищають и которая на нашихъ глазахъ. несмотря на характеръ подражательности, сй свойственной, уже оне-

<sup>1)</sup> Въ этомъ мъстъ Хомяковъ приводиль въ примъръ такихъ мудрихъ и свътлихъ знохъ, сложившихси, однако же безъ участія формальнаго знанія,—царствованія Осдора Пвановича, Алексъя Михайловича и императрицы Елизавети Петровни, о чемъ било уже говорено.

редила своихъ учителей во многомъ: въ ней, напримъръ, немыслимо такое явленіе, какъ *баварское* искусство, занятое воспроизведеніемъ въ одно время греческихъ, византійскихъ и средневъковыхъ памятниковъ.

Выло довольно странно восхвалять русскую жизнь за то, чего она не сдълала, не имъя еще и понятія объ исторіи искусства вообще, но мъткость всъхъ другихъ опредъленій Хомякова была признава славянами по отношенію къ западникамъ, а западниками по отношенію къ славянамъ.

Вторая статья Хомякова: «Мивніе иностранцевъ о Россіи», любонытна была темъ, что освобождала иноземныхъ авторовъ и ихъ руссинхъ подсказывателей отъ отвътственности за нольпости, распространяемыя ими о Россіи. Что другое могли бы они говорить?запъчаетъ Хоняковъ. Основное жизненное начало народа, откуда все исходить, весьма часто не только пе понимается другими народами, да перидко и ниъ саминъ. Примиромъ тому можеть служить Англія, н досель не понимаемая, по мпьнію автора, ни чужеземными, ни своими писателяни 1). При одномъ формально научномъ образованіи н при одномъ логическомъ способъ добыванія идей — прибавляють онъ-пъть и возможности уловить душу народа, уразумъть начала, которыми онъ живетъ. Вотъ почему нашъ простой народъ, не пошедъ за высшими классами въ логическомъ и формальномъ образованін, оказаль, по Хомякову, громадную услугу Руси. «Туть произошло», говорить авторъ, «безсознательное ясновидение человеческаго разума, которое предугадываеть иногое, чену еще не можеть дать ин имени, ни положительного очертания (№ 4 «Москов.», с. 38). Сохранивъ свою національную культуру, русскій народъ подготовилъ дорогіє матеріалы для народнаго самосознанія, которое сще болью укрышится и сильные выразится послы усвоенія элементовъ европейской цивилизаціи, и уже сдівлаеть тогда невозножнымь лжетолкованія русской жизпи, какъ со стороны чужеземныхъ, такъ и своихъ изследователей.

Даже и такой труженникъ, какъ П. В. Киръевскій, весь носвятившій себя собиранію намятниковъ народнаго творчества и не охотно являвшійся на журнальную арену, принялъ участіе въ дълъ созиданія прочныхъ основъ для своей нартіи. Онъ опровергалъ въ

<sup>1)</sup> Это сидлое положеніе А. С. Хомякова, всеми заміченное и не оставленное безь возраженія, новазивало еще разь, какъ далеко увлекаль его блестящій умъ, наконний въ рівштельнимъ словамъ и афоризмамъ, ради потрясающаго ихъ дійствія на слушателей. Воть что говорнать онъ даліве въ подтвержденіе своей мисли: «Везді она (Англія) является, какъ созданіе условнаго, мертваго формализма... но она вийсті съ тімь имбеть преданія, пожію, свитость домашняго очага, теплоту сердца и Дивсека, мемьшаю брата, нашего Гоголя» (!). "Москв.", 1845 г., № 4, с. 29.

Ж З «Москвитянина» изв'ястное положение М. П. Погодина, покоторому русскій народъ всегда отличался мягкостію, податливостію, не зналъ сословной розни и легко покорялся всякому требованію. П. В. Кирфевскій считаль это положеніе оскорбительнымъ для русскаго народа, предлагалъ другое поясненіе его исторіи и вызваль жаркое возраженіе М. П. Погодина, подтверждавшаго свою прежнюю тэму о податливости русскаго народа ссылками на літописи.

Вообще можно полагать, что старый редакторъ журнала имъль причины раскаяваться въ томъ, что предоставилъ органъ свой другимъ рукамъ, несмотря на быстрое правственное и матеріальное значеніе, пріобрътенное «Москвитяниномъ» подъ новой редакціей. Уже съ 3-го пумера, М. П. Погодинъ поспъщилъ оградить себя отъ нападковъ своихъ слишкомъ добросовъстнихъ и откровеннихъ друзей, требованія которыхъ все болье и болье росли и грозили оставить его самого и добрую часть его партіи позади себя. Въ статейкъ: «За русскую старину» (Ж 3, с. 27) онъ съ нескрываемой досадой возражаеть на упрекъ или на касвету, какъ выразился, будто славянофилы не уважають Запада, будто хотять воздвигнуть мертвый трупъ, будто нечестиво поклоняются неподвижной старинъ. Обиженный редакторъ довольно пронически поисняетъ, что они ратуютъ только за русскій духъ, візющій изъ старины, за самостоятельность жизни, а потомъ и за свободное признание всъхъ заслугъ запада, востока, ствера и юга (с. 31).

Это значило не отвічать вовсе на сущность вопроса. По окончанін года, М. П. Погодниъ поспішиль принять журналь опять въ свои руки и легко успълъ лишить его значенія, которов опъ сталъ пріобрътать. «Москвитяння» влачиль довольно безцвътное существованіе, опаздывая книжками и изр'ядка оживляясь полемическими искрами, скоро потухавшими безсладно въ масса литературнаго хлама. Такъ продолжалось до 1850 г., когда новое поколфніе, исключительно воснитанное Москвой, опять обратило на журналъ вниманіе публики. Имена свіжную діятелей, оживившихъ тогда редакцію журнала, подъ впаменемъ котораго они собрались, теперь хорото извъстны. Это были, по части художественнаго производства, А. Островскій, А. Писемскій, А. Потехинъ, Кокоревъ я другіе, а по части критики и философіи— Ап. Григорьевъ, Эдельсопъ, Т. Филипповъ и др. Петербургъ тотчасъ же завязалъ и съ пими полемику, принявъ ихъ за эпигоновъ - последки старой могущественной партіи, но это уже отпосится къ другому періоду литературы и развитія.

Московскіе западники, съ Грановскимъ и Г. во главъ, не остази руки, такъ великодушно протянутой имъ партіей славянъ, безъ отвъта. Они просто обрадовались возможности завязать съ высоворазвитыми своими противнивами опять итвоторый обмънъ мыслей, такъ какъ главный ровъ, мъщавшій всякому сношенію между обоими лагерями, былъ если не вполет, то на половину засыпанъ. Слово возвратилось борцамъ, потому что они могли уже разумъть другъ друга. Сохраняя всъ свои отличія и свою независимость, не признавая очень многія изъ положеній славянъ, которыми они окрапивали и дополняли главную тэму о пользть и необходимости изученія Европы, а особенно не отрекаясь отъ права и обязанности энергически противиться при случать выводамъ, которые они дълали изъ исторіи, какъ русской, такъ и европейской вообще — московская западная партія признавала, однако же, важность ихъ послъдняго ргобеззіоп de foi и поняла необходимость и законность уступокъ и съ своей стороны. Уступки эти и были сдъланы, какъ увидимъ. Но Гълинскій оставался вить всего этого движенія.

## XXV.

Одновременно съ раздвоеніемъ въ лагеръ «славянъ», послъдовало точно такое же и у западниковъ: «Москвитянинъ» вызвалъ много бурь въ нъдрахъ этой партін, и на одной изъ такихъ бурь, лътонъ 1845 г., я присутствовалъ. Лъто 1845 года оставило во миъ такія живыя воспоминанія, что я и теперь (1870 г.) по пронествіи слишкомъ 25-ти лътъ, какъ будто вижу передъ собой каждаго изъ тогдашнихъ лицъ московскаго вружка, и какъ будто слышу
каждое ихъ слово. Для меня это—не дальнее, на половину позабытое прошлое, а какъ будто событіе вчерашняго дня. Голоса, выраженіе физіономій и поза людей—стоятъ въ памяти такъ живо,
точно мы ведавно разошлись по домамъ; постараюсь передать мои
воспоминанія съ наивозможной върностью.

Грановскій, Кетчеръ и Г. извістили своихъ пріятелей, что на лізто 1845 г. они поселяются въ селів Соколовів—въ 25-ти или 30-ти верстахъ отъ Москви. Село принадлежало поміщику Д—ву, который, на случай своихъ прійздовъ въ вотчину, оставиль за собой большой домъ, а боковые флигеля и домикъ позади предоставиль наемщикамъ, вмістів съ ведиколізннымъ липовымъ и березовимъ садомъ, который отъ дома сходиль подъ гору, къ рівкі. На противоноложной сторонів різки и горки, по общему характеру русскаго пейзажа, тянулся сплошной ридъ крестьянскихъ избъ. Въ обоихъ флигеляхъ размістились семейства Г. и Грановскаго, а домикъ позади занялъ Кетчеръ. Поміщнкъ не безпокоилъ наемщи-

ковъ. Въ радкіе свои навады онъ только приказываль крестьянамъ и врестьянкамъ свободно гулать по своему саду, проходя верепицани мимо оконъ большого дома. Какъ ни легка, повидимому, была эта барщина, по она возбуждала сильный ропотъ въ людяхъ, къней приговоренныхъ, чему наемщики были сами свидътелями пе разъ.

Въроятно, ни ранже, ни позже, Соколово уже не представляло такой поразительной картины шума и движенія, какъ льтомъ 1845 года. Прідздъ гостей къ дачникамъ быль невфроятный, громадный. Объды устроивались на лугу передъ домомъ почти колоссальные, и объ хозяйки—И. А., жена Г., и Е. Б. Грановская, уже привыкшія къ наилыву посытителей, справлялись съ этою толпой неимовърно ловко. Сами онъ представляли изъ себя очень различные тини, хотя и связаны были тъсной дружбой. Жена Г., со своимъ мягкимъ, една слышнымъ голоскомъ, со своей ласковой и болъзисиной улыбкой, со всемъ своимъ детски-пежнымъ, хрупкимъ и страдающинъ видомъ, обладала еще страстностью характера, иламеннымъ воображениемъ и очень сильной волей, что и доказала на дълъ при началъ своей жизни и при концъ ся. Елизавета Богдановна Граповская была олицетвореніемъ спокойной, молчаливо-благодарной и втайнь радостной покорности своей судьбь, устроившей ся положеніе какъ жены и какъ женщины. Объ опъ способны были, каждан по-своему и съ различными побуждениями, на очень значительныя жертвы и подвиги, если бы то потребовалось. Всегда окруженныя своими московскими пріятельницами, онф нокамфетъ служили въ Соколовъ тъмъ умъряющимъ, эстетическимъ началомъ, которое сдерживало пиры друзей, гдф на шампанское не скупплись, въ тонф веселой, но далеко не распущенной бестали.

Я появияся среди этого персонала Соколова въ копцв іюня мъсяца, былъ припять имъ съ величайшимъ радушіемъ, но съ оттвикомъ, который бросался въ глаза. Какъ гость изъ Петербурга и изъ ближайшаго кружка Вълпискаго, я дояженъ былъ почувствовать, въ средъ самыхъ дружескихъ изліяній, ту поту разпогласія, диссонанса, какая уже существовала между двумя отдълами западной партіи. Нота эта звучала и въ проническихъ шуткахъ Г., и въ нервномъ хохотъ Кетчера, и въ полусерьёзной физіопоміи Грановскаго, которая поперемънно разглаживалась и темнъла. Всъмъ пеобходимо было пропъть противную эту поту поскоръе вслухъ, чтобы войти опять въ простыя, откровенныя отношенія другъ къ другу. Это и не замедлило случиться.

Въ тотъ же самий день все общество собралось на прогулку въ поля, окружавшия Соколово, на которыхъ, по случаю ранняго читва, царствовала теперь муравыния д'ятельность. Крестыяне и

крестьянки убирали поля въ костюмахъ, почти примитивныхъ, что и дало поводъ кому-то сдълать замъчаніе, что изо всёхъ женщинъ одна русская ни передъ къмъ не стыдится, и одна, передъ которой также никто и ни за что не стыдится. Этого замъчанія достаточно было для того, чтобы вызвать ту освъжающую бурю, которой всё ожидали. Грановскій остановился и необычайно серьёзно возразиль на шутку:— «Надо прибавить, сказаль онъ,— что фактъ этотъ составляетъ поворъ не для русской женщины изъ народа, а для тъхъ, кто довель ее до того, и для тъхъ, кто привыкъ относиться къ ней цинически. Вольшой гръхъ за послъднее лежитъ на нашей русской литературъ. Я никакъ не могу согласиться, чтобы она хорошо дълала, потворствуя косвенио этого рода цинизму распространеніемъ презрительнаго взгляда на народность». Съ этого и начался споръ.

Я не упомянуль, что въ числе постоянных в гостей Соколова быль еще вліятельный человівть кружка — издатель «Моск. Від.» Евг. Оед. Коршъ. По убъжденіямъ своимъ, онъ принадлежаль вполив партін крайнихъ западниковъ, отыскивая вибств съ ними основы для мысли и для жизни въ философіи, исторіи, слёдя за теоріями соціализна, и инсколько не ужасаясь никакихъ результатовъ, какіе бы могли оказаться на концъ этихъ розысканій; но вифстъ съ тъмъ онъ не прицималъ на въру никакихъ заманчивыхъ посуловъ доктрины, откуда бы она ни исходила, если только мало-мальски приближалась из утопін или обнаруживала поползновеніе на произвольный выводъ. Окъ постоянно воевалъ съ идеалами существованія, которихъ тогда возникало иножество. Вообще, это быль вритикъ убъжденій и върованій своего круга, съ которымъ раздъляль йногія изъ его падеждъ и всв основния положенія. Онъ стояль постоянно съ ногой, занесенной, такъ-сказать, изъ своего лагеря въ противоположный, охлаждая слишкомъ радужныя чаянія или черезъ-чуръ сапгвинические порывы своихъ друзей. Обшириая начитанность и по истипъ замъчательная доля мъткаго и ядовитаго остроумія, эффектъ котораго увеличивался еще отъ противоноложности съ недостаткомъ въ произношеніи — дълали изъ Евг. Корша выдающееся лицо вруга 1). Онъ тотчасъ попяль, что завязавшійся споръ не есть какая-либо рашительная битва, изивняющая въ конецъ положение сторонъ, а

<sup>1)</sup> Под множества его цвиких замътокъ и номию одну, обращенную въ собесъднику, который, на основании Прудона, отмениваль въ анархім спасительное средство для современныхъ обществъ.—"Это, въроятно, потому,—сказалъ Евг. Коршъ, что анархім всегда ведеть за собой монархію". Въ другой разъ опъ отвъчалъ одному профессору, который, съ ивкоторымъ провинціальнымъ акцентомъ, восклацалъ:—"Я, братцы, какъ вамъ извъстно, родикалъ".—«Я и прежде думалъ, что ты инчего другого родимъ не можешь», замътилъ Евг. Коршъ.

только простое объяснение между ними; поэтому онъ и ходилъ свободно между сторонами, не приставая пи къ одной. Иначе принялъ дело Кетчеръ, которому казалось уже необходимостью произвесть себя въ адвокаты отсутствующей петербургской стороны, какъ еще мало онъ самъ ни раздёлялъ всёхъ ея воззрёній. Онъ поднялъ перчатку Грановскаго и повелъ съ нимъ споръ о принципалз чрезвычайно горячо, какъ окажется, надёюсь, и изъ сокращенной моей передачи этого любопытнаго препирательства. За точность и порядокъ мыслей и за приблизительную вёрность самаго выраженія ихъ ручаюсь 1).

— Да, помилуйте, вакъ же можно, — восклицалъ Кетчеръ, — обобщать на этотъ манеръ каждое пустое вамъчание. Какой же человъкъ удержитъ голову на своихъ плечахъ, если изъ каждаго его слова, пущеннаго на вътеръ, станутъ вытягивать разные смыслы. Въдь это преображенскій приказъ. А если ужъ обобщать, Грановскій, такъ ты бы лучше поставиль себъ вопросъ: не участвовалъ ли самъ народъ въ составленіи нашихъ дурныхъ привычекъ, и не есть ли наши дурныя привычеки именно народныя привычки?

— Постой, братъ Кетчеръ, —возразилъ Грановскій, —ти говоришь: не слёдуетъ обобщать всякую случайную замѣтку; во-нервыхъ, любезный другъ, случайныя замѣтки состоятъ въ близкомъ родствъ съ тайной нашей мислію, а во-вторыхъ, собраніе такихъ замѣтокъ составляетъ иногда цѣлое ученіе, какъ, напримѣръ, у Бѣлинскаго. — А я тебъ долженъ сказать здѣсь прямо — добавилъ Грановскій съ особеннымъ удареніемъ на словахъ, —что во взглядѣ на русскую національность и по многимъ другимъ литературнымъ и нравственнымъ вопросамъ я сочувствую гораздо болѣе славянофиламъ, чѣмъ Бѣлинскому, «Отеч. Запискамъ» и западникамъ.

За этимъ категорическимъ объявленіемъ послідовала минута молчанія. Гораздо поздніве мысль, выраженная Грановскимъ, повторялась много разъ и самимъ Г., отъ своего имени въ его заграничныхъ изданіяхъ, но впервые она была сказана именно Грановскимъ и въ Соколовъ. Г. конечно, принялъ участіе въ закязавшемся споръ, нисколько не предчувствуя, разумъется, что не далье, какъ черезъ годъ, онъ придетъ самъ въ столкновеніе съ Грановскимъ по вопросу, совершенно схежему съ тімъ, который теперь разбирался 2).

<sup>1)</sup> Замътки и цигаты, тогда же брошенныя мною на бумагу для намяти, много помогля возстановлению жей этой сцены.

э) Въ "Запискахъ" Г. разсказана подробно исторія его есори въ 1846 г. съ Грановскимъ по новоду неосторожнаго браннаго слова, произнесеннаго О- мчъ въ присутствіи сожительници, впоследствіи жени К. Тогда Г. стояль за О., не вифияль ему зъ вину случайнаго, непечатнаго вираженія, а обиженнимъ уже являлся К., такъ

Теперь онъ держаль сторону Грановскаго, хотя не такъ решительно, какъ можно было думать, судя по внешнимъ признакамъ сходства въ ихъ настроеніяхъ. Прямая, неуклонная, откровенная деятельность Велинскаго приходилась ему всегда по душе, несмотря на множество оговорокъ, какія онъ противопоставляль ей, да и предчувствіе близости горькихъ разсчетовъ съ саминъ Грановскимъ, вероятно, уже возникло въ его уме и сдерживало его слово. Вившательство его въ разговоръ носило дружелюбный характеръ.

— Пойми же ты, братецъ, — говорилъ онъ, обращаясь къ Кетчеру, — что кромъ общаго народнаго вопроса, о которомъ можно
судить и такъ, и иначе, между нами идетъ дъло о нравственномъ
вопросъ. Мы должин вести себя прилично по отношенію къ низшимъ сословіямъ, которыя работаютъ, но не отвъчаютъ намъ. Всякая выходка противъ нихъ, вольная или невольная, похожа на
оскорбленіе ребенка. Кто же будетъ за нихъ говорить, если не мы
же сами? Оффиціальныхъ адвокатовъ у пихъ нътъ, — понимаешь, что
всъ тогда должни сдълаться ихъ адвокатами. Это особенно не мъшаетъ понять теперь (1845 г.), когда мы хлопочемъ объ упраздненін всякихъ управъ благочинія. Не для того же нужно намъ
увольненіе въ отставку видимыхъ и невидимыхъ исправниковъ, чтобы
развязать самимъ себъ руки на всякую потъху.

Кетчеръ не любилъ оставлять последняго слова за противникомъ. Онъ возопилъ противъ попытки примъшать еще и правственность, посяв національности, къ пустому случаю, разросшемуся въ такой диспуть, утверждаль, что обличение какого-либо несомившнаго факта, хотя бы и самаго прискорбнаго характера-никогда не можеть бить бозиравственно, а, наконецъ, посяф насмфиливыхъ отвывовъ о новыхъ народившихся руссофилахъ (на этого рода пикантныя приправы къ споражь никто тогда не скупился), перешель къ Бълнескому, который собственно и составляль настоящій предметь всего разговора. Кстчеръ замітиль, что врядь ли мы и имбемъ право судить о настоящихъ возвръніяхъ Вълинскаго на русскую народность, такъ какъ онъ ихъ пикогда не высказываль вполнь, да и въ виду цензуры и не могь передать всей своей мысли, какъ по этому предмету, такъ и по многимъ другимъ. Здъсь Грановскій опять остановияъ Кстчера и покончилъ споръ замъчаніемъ, которое поразило всъхъ своей неожиданностью; привожу его буквально:

— Знаешь ли, братъ Кетчеръ, что я имъю тебъ сказать по поводу твоего замъчанія о цензуръ. Объ умъ, талантъ и честности Бълинскаго не можетъ быть между намя никакого спора, но вотъ легко прощавшів прежде мимолетния замътки. Грановскій поддерживаль К. и раздъляль его негодованіе.

что я скажу о цензуръ. Если Бълинскій сдъдался силой у насъ, то этимъ онъ обязанъ, конечно, во-первыхъ, самому сесъ, а во-вторыхъ, и нашей цензуръ. Она ему не только не повредила, но оказала большую услугу. Съ его нервнимъ, раздражительнымъ характеромъ, ръзкимъ словомъ и увлеченіями онъ никогда би не справился, бозъ цензуры, со своимъ собственнымъ матеріаломъ. Она, цензура, заставила его обдумивать плани своихъ критикъ и способы выраженія и сдълала его тъмъ, чъмъ онъ есть. По моему глубокому усъжденію, Вълинскій не имъетъ права жаловаться на цензуру, хотя и ее благодарить тутъ не за что: она, конечно, также не знала, что дълаетъ.

Споръ быль вполив истощень именно этимь заявлениемъ Грановскаго. Все было сказано, что Грановскому хотвлось сказать. Когда за твиъ кто-то замвтилъ, что всв рвзкія, апти-національным выходки Бълинскаго происходять еще изъ горячаго демократическаго чувства, возмущеннаго твиъ состояніемъ, до котораго доведены народныя массы, Грановскій горячо присталъ къ этому мивнию, находя въ немъ разгадку многихъ излишествъ критика, которыя все-таки считалъ явленіемъ пепормальнымъ и печальнымъ. Споръ прекратился. Онъ сдвлалъ свое двло, очистивъ совъсть и позволивъ всьмъ возвратиться уже безъ всякихъ помвхъ къ простымъ, дружескийъ и искреннимъ отношеніямъ.

Въ моемъ пониманія этоть споръ еще имъль и другое значеніе. Это было первое крупное проявленіе мысли, давно уже танвшейся въ умахъ, о необходимости болфе разумныхъ отношеній къ простому народу, чфиъ тъ, которыя существовали въ литературъ и въ нъкоторыхъ слояхъ мыслящаго класса людей. Литература и образованные умы наши давно уже разстались съ представленіемъ народа, какъ личности, опредфленной существовать безъ всякихъ гражданскихъ правъ и служить только чужимъ питересамъ, но они не разстались съ представленіемъ народа, какъ дикой массы, не имфющей пикакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя. Споръ выразилъ собою переворотъ, совершившійся въ понятіяхъ одного отдъла западниковъ относительно способовъ судить в оцфиять домашнюю культуру и нравственную физіономію толпы.

Года два-три передъ тъмъ никому изъ западной партіи и въ голову не приходило провърять самые смълые свои приговоры объ обычаяхъ, върованіяхъ, моральныхъ свойствахъ народа, или заботиться объ основательности и справедливости своихъ воззръній на его быть, надежды и ожиданія. Все это было дъломъ личнаго вкуса и всякому предоставлено было думать объ этихъ предметахъ, что угодно, безъ мальйшей отвътственности за свои мифиія и за свою точку зрънія. Тонъ горделиваго, полу-барскаго и полу-педантиче-

скаго презранія въ образу жизни и въ измишленіямъ темнаго, работающаго царства водворился незаметно въ среде образованныхъ круговъ. Особенно бросался онъ въ глаза у горячихъ энтузіастовъ и поборниковъ ученія о личной энергіи, личной иниціативъ, которыхъ они не усматривали въ русскомъ міръ. По часту отзывы ихъ объ этомъ мірть снахивали на чванство выходца или разбогаттвишаго откупщика передъ менъе счастливыми товарищами. Кичливость образованностію опрачала неогда самые солидные уны въ то время и была по прениуществу темной стороной нашего западничества. Оно же — западничество это — и положило предвлъ подобному извращенному примъненію его началь къ жизпи. Споръ, изложенный выше, быль результатомъ давиншияго желанія одного отділа нашихъ западниковъ заявить формальный протесть противъ легкомысленнаго трактованія вопросовъ народной жизни, какимъ погращали накоторые ряди его собственной партіи. Можетъ быть, никто не принялъ такъ горячо въ сердцу ново-возникшаго вопроса о самобитномъ мишленін темникъ людей, какъ одинъ изъ надеживйшикъ и горячихъ друзей круга, именно К. Д. Кавелинъ, человъкъ, вносившій обыкновенно страстное одушевление во всв свои какъ научныя, такъ н житейскія убъжденія. Привычка къ высоконфриону обращенію съ народомъ была такъ обща, что ею тронуты были даже и люди, оказавшіеся впосл'ядствін самыми горячими адвокатами его интересовъ и правъ. Уже гораздо поздиве и въ Петербургв, куда онъ перевхаль и гдв приходилось всого болво расчищать дорогу благорасположенному отношению во всемъ видамъ народнаго творчества,пропаганда Кавелина не умолкала вплоть до конца 50-хъ годовъ. Здівсь истати сказать еще, что человінкь, тоже не нало содійствовавшій къ изміненію способа относиться къ народу и представлять себъ его уиственную жизнь, быль столь ипого осибянный нъкогда славянофилами Тургеневъ. Первые его разсказы изъ «Записокъ Охотинка», явившісся въ «Современників» 1847 г., положили ковецъ всякой возножности глумленія надъ народными массами. Но почва для «Записовъ Охотника» была уже подготовлена, и Тургеневъ выразняъ ясно и художественно сущность настроенія, которое уже носилось, такъ-сказать, въ воздухв.

## XXVI.

Возвращаюсь къ Соколову. Въ срединъ лъта подносковное село образовало нъчто въ родъ подвижного конгресса изъ безпрестанио наъзжавшихъ и пропадавшихъ литераторовъ, профессоровъ, артистовъ, знакомыхъ, которые видимо всъ инъли цълью переки-

нуться идении и извъстінии другь съ другомъ. Хознева жили въ страшномъ многолюдствъ и повидимому не имъли времени сосредоточиться на какомъ-либо своемъ собственномъ, спеціальномъ занятів. Гости калейдоскоппчески сменялись гостями: туть, вроме Нанаева, оставившаго и описаніе Соколовской жизни, промелькнули въ монхъ глазакъ Н. А. Некрасовъ, давно уже инъ знакомый и возбуждавшій тогда общій симпатическій интересъ своей судьбою и своей поэзіей, затамъ Ив. Вас. Павловъ, здась впервые иною и встраченный, и поражавшій оригинальной грубостію своихъ прісмовъ, подъ которыми танлось у него много мисли, наблюденія, юмора и т. д.; Евг. Оед. Коршъ, старый Щепкинъ, нолодой, рано умершій Засядво, начинающій живописецъ Горбуновъ, сдълавшій литографированную коллекцію портретовъ со всего кружка 1) — были постоянпыни посвтителями Соволова. Совсвиъ не праздно жили и хозяева дачи въ этомъ водоворотъ гостей и наважихъ со всехъ сторонъ, какъ могло показаться сначала. Такъ, Г. печаталъ и продолжалъ свои письма объ изученіи природи; Грановскій приготовлялся къ новой, второй серін публичнихъ своихъ лекцій; Кетчеръ переводилъ Шекспира упорно. Иногда онъ на целме дни пропадалъ изъ Соколова, въ грязной, сфрой блузф, и захвативъ только съ собой кусокъ хлъба. Онъ тогда бродиль по лъсамъ, окружавшимъ Москву, и однажди встратиль тамъ истощеннаго баглаго солдата, съ пораненой ногой, который не очень дружелюбно посмотраль на него.

<sup>1)</sup> Я сохраняю его каррикатурный листокъ, долиный карандашомъ и изображающій Г., Грановскаго, Корша, Панаева, мою особу и др. въ ночной беседе, какія тогда часто бывали на обрыве горы, въ садовомъ павильоне соколовскаго парял. Кругу, собиравшенуся въ Соколовь, недоставало двухъ весьма круппихъ членовъ его, В. П. Боткина и О. Оба они жили за-границей, въ Парижв, и первый, по разсказамъ Панаева, тоже недавно возвратившагося отгуда, усиленно старался офранцузить себя въ языка, образа жизни, правахъ, и уже отличался прой пепавистью къ старому своему идолу-идеализму. Второй философски растрачиваль остатки своего, ивкогда громаднаго, состоянія и очень солиднаго здоровья. Впрочемъ, скандалелимо анекдоты Панасва объ обоихъ не внолив передавали ихъ правственное содержание, потому что первый, Боткинъ, събодивъ въ Испанію, подариль русскую публику замачательно-уминив и картининив описанісяв страни, а второй, О., воператись на родину въ 1846, производилъ такое сильное обаније своей поэтической личностью, что сделался почти ченъ-то въ роде директора совести —directeur de conscience -- то авухъ семьйхъ-у Г. и у П. А. Тучкова. Дамы объихъ семей упивались написанными нят тогда, поэтически-философскими и соціятьно-скоющинин стиходноющими "Щопологи<sup>и</sup>—да и мужская половния семей, какъ оказалось вносл'ядствін, подпала вліянію поэта по менфе женской. Тайна этого обаянія заключалась въ какой-то анатической, лінивой нервозности характера, позволявшей О, постепенно достигать крайнихъ границъ, какъ въ жизни, такъ и въ мысли, и уживаться, страдая, со всеми самыми исвозножными положеніями, легко, какъ у себя дома.

Ветчеръ винуль у него занозу изъ ноги, перевязаль рану и отдаль ему свой кусовъ хлюба. Когда туземное и пришлое население Соколова собиралось въ сходку, на какомъ-либо изъ его форумовъ (кромъ многолюдныхъ объдовъ Соколова, такимъ форумомъ служила еще и круглая площадка въ глубинъ парка, обнесенная великолъпными липами), то разговоры, пренія, разсказы, происходившіе на этнхъ форумахъ, отражая все многообразіе характеровъ, умовъ и настроеній, носили еще одинъ общій тонъ, который и былъ господствующимъ тономъ всёхъ бесёдъ этой эпохи.

Политическихъ разговоровъ, въ прямомъ смысле слова, на этихъ пипровизированныхъ академіяхъ, почти никогда не происходило. Тогдашняя публичная жизнь снабжала только людей юкористическими аневдотами и покамъсть инчего болъе не давала. Собственно же основные принципы, управлявшіе обществомъ-вовсе и не затрогивались. Разсуждать о нихъ считалось деломъ празднымъ, и говорить о нихъ начинали тогда, когда въ примъпеніи своемъ они достигали или комическаго, или трагическаго абсурда. До техъ поръ ото были явленія, для всехъ, давно отпетыя и похороненныя. Вспоинняли о нихъ особенно, когда настояла надобность ускользнуть изъ когтей того или другого изъ мертвецовъ, ходившихъ по землв, и пускавшагося неожиданно преслідовать живых людей. Взамінь, на первомъ планъ стояли европейскія дъла, ученія, открытія: они и составлями господствующую ноту въ разговорахъ. Вивста съ танъ проходила още другая красная нитка черезъ всю многообразную съть узоровъ свободной бесъди въ Соколовъ. Она-то и давала предчувствіе объ общемъ происхожденіи и родствів всіхль мпіній и мыслей, тамъ высказывавшихся, несмотря на частую ихъ противоположность. Прежде всего следуеть заметить, что въ Соколове не позволялось только одного — быть ограниченнымъ человъкомъ. Не то, чтобъ тамъ требовались непремвино эффектамя рвчи и проблески блестящихъ способностей вообще — паобороть, труженики, поглощениме исключительно своими спеціальными занятіями, чествовались тамъ очень высоко-но необходимъ быль извастный уровень мысли и навоторое достоинство характера. Воспитанію мисли и характера въ людяхъ и посвящены были всв беседы круга, о чемъ бы они въ сущности на шли, что и давало ниъ ту однообразную окраску, о которой говорено. Еще одна особенность: кругь берегь себя отъ сопривосновенія съ печистыми элементами, лежавшими въ сторонъ отъ него, и приходилъ въ безпокойство при всякомъ, даже случайноиъ и отдаленномъ, напоминовенія о нихъ. Опъ не удалился отъ свъта, но стоялъ особнявомъ отъ него — потому и обращалъ на себя вниманіе, но всябдствіе именно этого положенія въ средв его развилась особенная чуткость во всему искусственному, фальшивому. Всякое проявленіе соминтельнаго чувства, лукаваго слова, пустой фразы, яживаго завъренія угадывались имъ тотчась и вездъ, гдъ появлялись, вызывали бурю насмъшекъ, провіи, безпощадныхъ облеченій. Соколово не отставало въ этомъ отношеніи отъ общаго правила. Вообще говоря, кругь этотъ, важивійніе представители котораго на время собрались теперь въ Соколовъ, походиль на рыцарское братство, на воюющій орденъ, который не имълъ никакого письменнаго устава, но зналъ всіхъ своихъ членовъ, разсімнныхъ по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоялъ, по какому-то соглашенію, пикъмъ въ сущности не возбужденному— понерекъ всего теченія современной ему жизни, мъщая ей вполять разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими.

# XXVII.

Исторія послідовавшихъ вскорів внутреннихъ разногласій «западной» партій достойна не меню впиманія, чемъ и исторія ся возникновенія и вліннія въ обществъ. За протестоиъ московскихъ друвей противъ исключительнаго европензиа Бълинскаго последоваль расколь въ самонъ носковскомъ отдълъ западниковъ. Оба главиъйшів его представителя, Г. и Грановскій, разошлись по вопросамь, возникшимъ въ концъ-концовъ на почвъ той самой западной цивялизацін, явленіями которой они такъ занимались. Толчокъ къ новому подраздъленію партін дали уже иден соціализма и связанный съ ними переворотъ въ способъ относиться къ метафизическимъ представленіямъ. Самые первые проблески этого разногласія между друзьямя оказались опять въ Соколовъ, хотя разгаръ спора, со всъм во последствіями, относится уже къ следующему, 1846 году. Позволяю себъ остановиться теперь же на этой подробности, которая, въ различныхъ видахъ и формахъ, повторилась и во многихъ другихъ кружкахъ и отдълахъ нашего «западничества».

Кому пензвастно, что собственно русскій соціализмъ, или то, что можно назвать народными экономическими представленіями, заключался въ очень ясныхъ и узкихъ границахъ, состоя изъ ученія объ общинномъ и артельномъ началахъ, т.-е. изъ ученія о владапів и пользованіи сообща орудіями производства. Въ этомъ скромномъ, ограниченномъ видъ, данномъ всей нашей исторіей, русскій соціализмъ и былъ поставленъ впервые на видъ славянофилами, съ прябавкой однакомъ, что онъ можетъ служить не только образцомъ экономическаго устройства для всякой сельской и ремесленной про-

иншленности, но и приивромъ сочетанія христіанской идеи съ потребностями вившняго, матеріальнаго существованія. На эту-то прибавку именно западники наши и не согласились: они отвергаля ее санынъ положительнынъ образонъ, признавая, что русская община спасаетъ интересы народа въ настоящую минуту и даетъ ему средство бороться съ несчастными обстоятельствами, его окружающими, во за общиннымъ владениемъ они не признавали никакого всесветнаго экономическаго принципа, который могь бы быть годенъ для всякаго хозяйства. Временное значеніе артели и общины западники подтверждали примъромъ точно тавихъ же установленій, являвшихся у всехъ первобытныхъ народовъ, и думали, что съ развитіемъ свободы и благосостоянія русскій народъ и санъ повинеть эту форму труда и общежитія. Убъжденія эти принадлежали и современной имъ политико-экономической наукф, которая, вмфстф съ ними, признавала общиный порядокъ производства ценностей и равномернаго распредъленія земли и орудій труда не болье какъ міропріятіемъ противъ голода со стороны нищенствующаго, иладенчествующаго народнаго быта, и не позволяла питать никакихъ надеждъ на пріобрѣтевів ниъ въ будущемъ какого-либо политическаго или экономическаго значенія. Въ такомъ видъ представлялся западникамъ «русскій соціализив». Совстив въ другой форми явился передъ ними новый «европейскій соціализмъ». Начать съ того, что онъ открываль блестиція перспективы во всь стороны и развертываль передъ глазами лучезарную, фантастически освъщенную даль, которой и грапицъ не было видно. Какъ уже было сказано, европейскія соціальния теорін изучались тогда очень прилежно, но изъ самыхъ теорій этихъ получались только, болже или менже хорошо связанныя и разафщепныя, коллокціи поожиданныхъ, изумляющихъ и подавляющихъ афоризмовъ. Европейскій соціализмъ того времени не стоялъ еще на практической и научной почвъ, а только разработывалъ покамысть пычто въ роды «видыній» изъ будущаго строя общественной жизни, которую опъ самъ рисовалъ по своему произволу. Существенной частію его содержанія была ожесточенная критика всбут экономическихъ уставовъ и дъйствующихъ религіознихъ върованій и убъжденій, которая служила ему способомъ очистить самому себъ мъсто въ умахъ: она и давала ему сильно-намъченный, боевой характеръ. И въ какихъ энергическихъ словахъ выразился этотъ характеръ! Уже не говоря о пресловутовъ восклицания Прудона-la propriété c'est le vol, -о не менъе знаменитомъ изречени портного Вейтинита — «намъ предоставленъ только одинъ видъ свободнаго труда-грабежъ», -- сколько было еще другихъ, тоже ослиняющихъ и оглушающихъ тезисовъ тогдашняго молодого соціализма, надъ во-

торыми приходилось работать его неофитамъ: «Торговля и сословіе купцовъ, ею созданное, не что иное, какъ паразиты въ экономической жизни народовъ»; -- «результаты коллективного труда рабочихъ достаются даромъ патрону, который всегда оплачиваетъ только единичный трудъ»; -- «правильная ассоціація распределяеть работу по силанъ каждаго, а вознаграждение по нужданъ его»; -- «способности рабочаго не дають ему права на большую долю вознагражденія, будучи сами даромъ случая»; — «искусство и талантъ суть уродливости нравственцаго міра, схожія съ уродливостими физическими, и никакой оценки и оплаты не заслуживають»; — «рабочій имъетъ такое же право на произведенную имъ ценность, какъ и заказчикъ ея»; -- «цивилизація Европы есть прямое порожденіе праздныхъ ея сословій - п такъ далье, и такъ далье. Я привель здысь только тезисы и положенія поваго соціализма, какія попали подъ перо, но ихъ было мпожество, и всв они раздражали воображение гораздо болве, ченъ целыя системы этого же направленія, въ родф системъ Сепъ-Симона или Фурье, такъ-какъ у перваго јерархическій характеръ ученія, а у второго искусственная гармонія темпераментовъ и психическихъ серій—возбуждали многими свопми сторопами педоумівніе и юморъ. При афоризмахъ же и тезисахъ «воюющаго» соціализма — наобороть — никто и не предъявляль требованій на очевидность и убъдительность доказательствъ. Сила этихъ громоноснихъ положеній заключалась не въ ихъ логической неотразимости, не во внутренией ихъ правдф, а въ томъ, что они возифицали какой-то новый порядокъ дълъ и какъ-будто бросали полосы свъта въ темную даль будущаго, отврывая тамъ неизвъстныя, счастливыя области труда и наслажденія, о которыхъ всякій судиль по висчатлішію, полученному въ короткое мгновение той или другой изъ подобнихъ вспышекъ. Эти прозрънія въ будущев, одинюжь, действовили чрезвычайно различно на людей самаго круга. Грановскій, наприміръ, нисколько не обольщался ими.

Признавая европейскій соціализмъ явленіемъ, которое уже не можетъ быть оставлено безъ вниманія ни историкомъ, ин вообще мыслящимъ человъкомъ, онъ смотрълъ на него, какъ на бользи въка, тъмъ болье опасную, что она не ждетъ и не ищетъ помощи ни откуда. «Соціализмъ, — говорилъ опъ, — чрезвычайно вреденъ тъмъ, что пріучаетъ отыскивать разрішеніе задачъ общественной жизни не на политической арень, которую презираетъ, а въ сторонъ отъ нея, чъмъ и себя, и ее подрываетъ». Иначе отнеслись къ нему Г. и Евлинскій.

Волиственные манифесты соціализма, возв'єщавшіе истребительный походъ его на европейскую цивилизацію, не приводили ихъ въ ужасъ.

Конечно, ни у того, ни у другого, не было и помина объ усвоенів всталь его предписаній или о превращеніи всталь его претензій въ догнаты собственной своей «въры» (это было бы и нельно въ ихъ обстановив). Многіе изъ невеллирующихъ декретовъ соціализма даже казались и имъ юношескими вспышками, но они смотрели гораздо бодрве, хладнокровиве и спокойнве, чвиъ Грановскій, на участь современной образованности, если бы она и должна была потерпъть нъкоторый ущербъ. А въ томъ, что образованности этой предстоитъ не малое испытание — уже никто не сомиввался: тогда во всей Европв думали, что съ соціализмомъ надвинется на нее свирыний ураганъ, долженствующій потрясти всё такъ долго и такъ трудно нажитня ею върованія, убъжденія, привычки, мысли и историческія основы. Разница въ способахъ относиться въ этимъ предчувствіямъ переворота именно и образовала ту рознь въ московскомъ кружкъ, о которой теперь говоримъ. Г. былъ за-одно съ Бълинскимъ, и они оба смотрели прано и открыто въ лицо всемъ симптонанъ разложенія, грознашимъ, по ихъ мивнію, Европв со стороны соціализма, не призывая, по и не ужасаясь развалинъ, которыя онъ долженъ произвести. Они думали, что изъ пепла старой цивилизаціи Европы возникиетъ фениксъ — новый порядокъ вещей, какъ вънецъ и последнее слово ея тысячельтняго развитія.

Всв предчувствія переворота, напротивъ, тревожили Грановскаго въ высшей степени, и самый переворотъ, какъ онъ представлялся его уму, не вызывалъ у него ни малвйшей симпатіи, никакихъ радужныхъ надеждъ или ожиданій. Разногласіе между друзьями было, какъ видимъ, совершенно невиннаго характера, не имъя въ основаніи своемъ ничего, кромъ предположеній и гаданій, но оно сопровождалось еще ироніями и диспутами, обнаруживавшими взгляды сторонъ и на другіе предметы нравственнаго характера. Разъ затянувшись, споръ уже поддерживался множествомъ горючихъ элементовъ, прибывавшихъ къ нему со стороны, изъ ученыхъ и другахъ явленій тогдашней жизни.

Однимъ изъ такихъ горючихъ матеріаловъ должно считать, между прочимъ, хорошо изв'ястную книгу Фейербаха, которая находилась тогда во вс'яхъ рукахъ. Можно сказать, что нигдъ книга Фейербаха не произвела такого потрясающаго впечатленія, какъ въ нашемъ «западномъ» кругъ, нигдъ такъ быстро не упраздняла остатки вс'яхъ прежнихъ, предшествовавшихъ ей, созерцаній. Г., разум'ястся, явился горячихъ истолкователемъ ся положеній и заключеній, связывая, между прочимъ, открытый ею переворотъ въ области метафизическихъ идей съ политическимъ переворотомъ, который

возвъщали соціалисты, въ чемъ Г. опять сходился съ Бълинскимъ 1). Но Грановскій съ горечью въ душъ, уже тронутой сомивніями, отбивался отъ того последняго слова, которое требовали у него друзья по поводу всвхъ подобныхъ явленій и не говориль его, силясь сохранить подъ собой историческую, конкретную основу существованія, подимваемую со всёхъ сторонъ. Онъ начиналь расходиться съ собственнымъ кругомъ, съ темъ кругомъ, въ которомъ, по собственнымъ словамъ его, заложены были целикомъ его сердце и ися правственняя часть его существованія. Охлажденіе и разногласіе между друзьями уже существовало втайнъ прежде, чънъ вышло наружу. Уже въ Соколовъ, Грановскій сказалъ разъ при мнъ, шутя отпрашиваясь у общества въ Москву для свиданія съ другими пріятелями, тамъ оставшенися и преннущественно съ доможъ Елагиныхъ: «Мив это нужно, чтобы не совствив загрубтть между вами — воть вы выдь успыли уже лишить меня безсмертія души». Слова эти, несмотря на шуточный ихъ характеръ, поразили меня тогда же, какъ разоблаченіе. Черезъ годъ, именно въ 1846 г., ръщеніе Грановскаго было принято окончательно. Г. разсказываеть въ своихъ «Запискахъ», что Грановскій однажды положительно объявиль ему, послів вакого-то горячаго пренія между ними, что онъ, Грановскій, не можетъ дальше идти съ прежинии своими товарищами въ томъ направленін, какое все болье и болье усволется ими, и изъ котораго онъ не видитъ никакого разумпаго выхода; что опъ принужденъ, съ болью въ душв, выдвлиться изъ дорогого ему круга, по многимъ религіознымъ, нравственнымъ и историческимъ вопросамъ, и заявить это твердо и искренно. Г. быль поражень: онь теряль друга-и какого друга!-своей молодости, да и видель еще, съ какой глубовой печалью на лицъ и какимъ голосомъ Грановскій представилъ свой ультиматумъ! Изумленный и растерянный, Г. обратился тогда же за разъясненіемъ діла, а если можно то и за посредничествомъ въ Е. О. Коршу, но онъ встратиль у него уклончивый отвать, который показываль, что не всв члены вруга расположены смотрыть на заявленіе Грановскаго, какъ на минутную или капризную вспышку. Евг. Коршъ не одобрялъ кругой постановки вопроси, какую сдълалъ Грановскій, но изъ объясненій его можно было догадаться, что самъ

<sup>1)</sup> Кстати замітить еще факть. Для Біднискаго собственно быль сдівлань въ Петербургі, однимь изъ пріятелей, переводь нісколькихь главь и важивійшихь мість изь кинги фейербаха—и онь могь, такъ-сказать, ослзательно познакомиться съ процессомъ критики, опрокидывавшей его старме мистическіе и философскіе идоли. Пужно ли прибавлять, что Бідлинскій быль поражень и оглушень до того, что оставался совершенно ніжь передъ пер и утеряль способность предъявлять какіе-либо вопросм оть себя, чімь всегда такъ отличался.

Корть признаваль однако основательность новодовь, которые понудил Грановскаго из его заявленію. Разрывь пріобріталь значеніе несомнівннаго факта и требоваль, подобно перелому кости въ организив, наложенія на первыхь порахь перебязки и предоставленія затімь живительному дійствію времени—произвесть сростаніе члена. Такь и было сділано. Полнаго, совершеннаго исціленія однако же не нослідовало между надломленными членами кружка. А, между тімь, я быль свидітелень, что до конца жизни ни Грановскій, ни Г., ни Білинскій не могли говорить другь о другі безъ умиленія и глубокаго сердечнаго чувства.

#### XXVIII.

Что же ділаль Вілинскій за все это время Въ конців літа этого года (1845) Білинскій жиль на дачі, на Парголовской дорогі, противь сосноваго ліска, окружавшаго озеро Парголовское. Ми туда и ушли съ Білинскимъ, когда, по прибытій въ Петербургь, я прівхаль навістить его и переговорить о всемъ, что виділь за літо. Я ему передаль подробности впечатлівній, вынесепнихъ мною изъ пребыванія въ Соколові. Онъ выслушаль внимательно моє сочувственное описаніе тамошнихъ діль и словъ, и промольнує: «Да, московскій человівкъ — превосходный человівкь, но кромі этого онь, кажется, ничімь боліве не єділается».

Вълинскій оставался теперь почти одинъ со знаменемъ и девизомъ непримиримой вражды. Онъ считалъ своей обязанностью еще више держать это знамя на показъ съ техъ поръ, какъ ряды его защитниковъ стали разстроиваться. Не безъ огорченія смотрель Велискій на сближеніе враждебныхъ партій въ Москвъ,—сближеніе, которое сделалось возножнымъ, какъ онъ дуналъ, только потону, что одна партія не вполнъ договаривала свою мысль и не вполнъ обпаруживала свои конечныя цёли, а другая — западническая, непоприо обрадовалась сочувственному слову и съ запрытыми глазами предалась обычному своему наслажденю-кидаться на шею врагамъ и поскоръе сажать ихъ за одниъ столъ съ собою. Причины разладицы увеличивались все болфе и болфе между друзьями: въ борьбф съ славянофилами, Вълинскому приходилось задъвать и всъхъ ихъ союзниковъ, старыхъ и новыхъ. Недоразумбиія копились поэтому въ лагоръ западниковъ почти при всякомъ обмъпъ мыслей между старини друзьями. Сбереглась въ цёлости только одна черта въ ихъ обычныхъ сношеніяхъ. Друзья не скупплись на взапиныя обличенія и жестокіе упреки, когда стояли лицомъ другъ къ другу, и обращались тотчась же въ прежнихъ друвей и върныхъ товарищей, когда замолкали или расходились по домамъ. Веречь свои симпатіи, нажитыя въ теченіи долгаго времени, становилось тогда для всъхъ необходимостью, нисколько не мъшавшей каждому настаивать на своихъ убъжденіяхъ и ихъ проводить въ свътъ.

Вълинскій приступиль тотчась же, съ обычной своей страстностью и искреиностью, къ опредъленію и уясненію пунктовъ разногласія, образовавшихся между московскими и петербургскими западнивами. Прежде всего, опъ отпесся свептически и насмъшливо къ серьёзнимъ минамъ, съ которыми ученые въ Москвъ разбираютъ вопросы русской жизни, перенося ихъ на почву науки, философія, философствующей исторія и проч. По его мпілію, вопросы эти не пуждаются въ такой пышной обстановкъ и могутъ разръшиться очень простыми, не хитрыми и не мудреными мерами и принципами, доступпыми каждому, самому простому пошиманію. Такъ же точно и по отношенію литературы въ образованнымъ классамъ общества Бфлинскій думаль, что последніе нуждаются скорею въ правильномъ устройствъ ихъ образа инслей, чънь въ знанін посліднихъ результатовъ европейской науки. Первое наглядное приложение этой системы отрицанія дальнихъ разъясненій и глубокомисленнихъ упражненій въ сферф идей, Бълинскій сдълаль тотчась же на письмахъ Г. объ изучении природы, которыя стали появляться тогда же въ «Отечественныхъ Запискахъ». Опъ признавалъ, что какъ положенія, такъ и цели этихъ чрезвычайно умпыхъ статей въ высшей стецени важны, но не признавалъ возможности извлечь изъ откровеній естествознапія моральныхъ и воспитательныхъ указаній, пужныхъ особенно для русскихъ читателей, большинство которыхъ еще не обзавелось органомъ для пониманія первыхъ правственныхъ пачалъ: «И какимъ отвлеченнымъ, почти тарабарскимъ языкомъ написаны эти стятьи, говориль Бълинскій, — точно Г. составиль ихъ для своего удовольствія. Если и могь понять въ нихъ что-нибудь, такъ это потому, что нибю за собой десятокъ несчастныхъ льтъ колобродства по нъмецкой философін, — но не всякій обязань обладать такимь преимуществомъ!>

Несомивню, что въ такихъ и имъ подобныхъ заявленіяхъ Бълинскаго сквозило желапіе имъть діло съ общественной литературой, занимающейся насущными вопросами для, съ популярнымъ изложеніемъ научныхъ и моральныхъ истипъ (онъ вздыхалъ по литературів этого рода и въ одномъ изъ тогдатинхъ своихъ годичныхъ обозрівній словесности), но все-таки оспованія его приговора казались очень жествими. Они лишали интеллигентныхъ людей эпохи послідняго убіжища отъ пустоты жизии, какое они еще паходняв

въ наукъ и въ отвлеченной постановкъ вопросовъ. Они отнимали единственную арену, на которой дозволялось проявление имсли. Способствовать уничтожению этой арены или уналению ел значения въ публикъ, значило просто, по мпънию противниковъ Вълинскаго, играть за-одно и въ руку съ обскурантами. Въ Москвъ смотръли на эту оппозицию Бълинскаго эрудиции и чистому мышлению, какъ на громадную ошибку увлекающагося критика и, вдобавокъ, какъ на плохой разсчетъ. Нельзи вызвать, — говорили тамъ, — популярную пропаганду науки, закрывая или подрывая настоящие источники самой науки, принуждая или отстраняя ел дъятелей и замъщая нынъшния условия умственной жизни одними упреками, страстными призывами и пожеланиями лучшаго, тщета которымъ должна быть ясна самому вспыльчивому критику еще болъе, чъмъ кому-либо иному. Такъ расходились московские западники все далъе и далъе отъ центразападничества, образованнаго Вълинскимъ въ Петербургъ.

Помию любопытную сцену, приходящуюся къ втому же времени: я быль случайнымь свидътелемь ен. П. Н. Кудрявцевь, проважая въ Берлинъ, куда посылался для окончанія своего профессорскаго образованія, постиль, разумъется, въ Петербургъ Вълинскаго, этого пріятеля молодыхъ своихъ годовъ, который въ авторъ «Флейты» ваходилъ когда-то идеалъ природнаго эстетическаго вкуса и понинапія. Но встрічна ихъ теперь оказалась въ висшей степени сдержавной, холодной и напряженной-н, конечно, по ней трудно было бы догадаться о родственныхъ связяхъ, ибкогда существовавшихъ нежду этими людьми. Кудрявцевъ являлся точнымъ представителемъ московскаго взгляда на тенерешнюю деятельность петербургскаго критика, и весь ходъ разговора, завязавшагося нежду старыми друзьями, яспо показывалъ, что тутъ лежитъ, въ скрытой формъ, довольно сильно назръвшій раздоръ. Какъ теперь сиотрю на высокую фигуру П. Н. Кудрявцева, въ списть фракъ съ свътлыми металлическими пуговицами: онъ опрокинулся на кресло въ прісмнойстоловой Вълинскаго и останавливалъ порывы своего собесъдника отривочными, холодными фразами, которыя, будучи сказаны обычнив глухинь голосонь его и при каменновь выражени на его лиць, падали, какъ судейские приговоры. Вфлинский выбралъ опять статьи Г. для того, чтобы черезъ нихъ переслать упреки московскикъ людань за ихъ абстрактныя отношенія и къ жизни, и къ наукъ. Кудрявцевъ отвъчалъ коротко: «Безъ абстракцій нельзя обойтись при многихъ научныхъ вопросахъ-за это надо сердиться на логическую необходимость, а не на людей». Напрасно Вълинскій старался развить мысль о необходимости предпочтенія твуж научныхъ положеній, которыя наиболіво приложимы къ современному быту,

о необходимости трактованія этихъ положеній наиболіве понятнивь для читателей образомъ, — Кудрявцевъ отвічаль: «Что за іерархія такая въ наукахъ? Отвлеченния науки такъ же необходими, какъ и политическія, и другь другу помогають. Почему не заниматься тіми, съ которыми болье знакомъ, и въ формі, которая болье сподручна?» Въ такомъ тоні шла бесізда ніжоторое время. Весь пыль Білинскаго, однако, не могь долго выдержать этого рімительнаго отвода всіхъ его положеній, — отвода, повидимому, очень спокойнаго, но въ сущности — весьма гнівнаго и непріязненнаго. Весізда падала сама собой, и старые друзья хладпокровно разстались, обміниваясь самыми пошлыми вопросами на прощаніи, точно посторонніе. Устами Кудрявцева говорила извістная часть московскаго университета.

И тотъ же самый П. Н. Кудрявцевъ черезъ годъ, когда в посътиль его уже въ Верлинъ, при миъ очень сурово и ръшительно остановилъ нъкоего г. С—ва, ученика и поклопиика Шеллинга, но только очень низкой проби, когда тотъ вздумалъ, очертя голову, ругать Вълинскаго огуломъ. Надо знать, что С—въ предлогомъ для своихъ ругательствъ взялъ неблагопріятный отзивъ о Шеллингъ, гдъ-то высказанный Вълинскимъ (кажется, въ статью о «Тарантасъ» графа Соллогуба), а самъ Кудрявцевъ въ то время состоялъ подъ неотразимымъ вліяніемъ Шеллинговой «Философіи Откровенія» и говорилъ о пей съ упоеніемъ, что не помъщало ему, какъ сказано, круго отнять слово у своего едипомышленника. Но такъ почти всегда дъйствовали противники Вълинскаго, да и онъ самъ, принадлежавшіе къ особому, теперь уже вымершему, роду противняковъ.

Не болье влобы и ожесточенія сохраниль и Г., знавшій отзывь критика о его статьяхь и упоминавшій объ этихъ отзывахъ потомъ не разъ. «Чудавъ этотъ, — говориль онь, — изволить находить, что трудно выказать болье ума и дільнаго взгляда на предметь въ болье темнихъ выраженіяхъ, но онъ забываеть, что иначе никакого ума и взгляда на русскомъ языкі и показать нельзя». Впрочемъ, Г. скоро быль съ избыткомъ вознаграждень за строгіе приговоры критика. Всліддь за письмами объ изученій природы, появились въ «Отечествен. Запискахъ» первыя главы извістнаго романа Г. 1), и авторъ иміль тотчась же удовольствіе видіть, какъ внезанно перемінились всі отношенія Білинскаго къ его авторской діятельности. Вілинскій пришель отъ начальныхъ главь романа въ положительный восторіть, который возрасталь по мірів развитія повісти. Піритикъ пашъ, конечно, не просмотріль романтическаго колорита, который положень быль на главныя дійствующія лица романа, но

<sup>1) &</sup>quot;Кто виновать?"

отношенія самого автора пов'ясти въ своимъ мицамъ, горькая правда, съ которой онъ излагаеть ихъ порывы и мечтанія, не исключающия, впрочемъ, и глубокаго сочувствія къ немъ, а наконоцъ-картина поучительной житейской драмы, возникающая изъ фальшивыхъ общественныхъ ихъ положеній, — все это поразило критика, почти какъ неожиданность. Онъ многаго ожидаль отъ лучеварнаго ума Г., но такого мастерства «сочиненія» не ожидаль. «Воть гдв его сила, говориль онъ, --- воть гдт онъ на-просторъ, и воть какая арена ему открылась для богатырскихъ литературныхъ упражненій, къ которимъ онъ склоненъ». Г. былъ тронутъ этимъ неожиданнымъ успъховъ своего романа, переломившимъ сухое настроение критика. «Виссаріонъ Григорьевичъ, — зам'язалъ онъ потомъ шутя, но очень довольный приговоромъ, — гораздо болъе любитъ наши сказочки, чъть паши трактаты, да онъ и правъ. Въ трактатахъ им безпрестанно переодбваемся отъ надзора и раскланиваемся любезно съ каждинъ буточниковъ, а въ сказкъ ходинъ гордо, и инкого знать не хотимъ, потому что въ карманъ плакатный билетъ имъемъ: чи-нять ей пропуски, давать почлеги и кормежные». Г. подтвердилъ свое воззръніе на «сказку», да оправдалъ и пророчество Бълинскаго, напечатавъ въ 1847 г. («Современникъ», 1847 года) такъвазывления «Записки» и т. д. (о душевныхъ болъзпяхъ вообще, и проч.). Это била тоже сказка, но-сказка, захвативавшая глубокіе психологические и соціальные вопросы.

Била, однакожъ, и еще причина для этихъ симпатическихъ изліяній Белинскаго, кром'я той, которая порождалась самимъ литературнымъ достоинствомъ произведенія Г.: Бізлинскій склонялся все болью въ признацію важнаго значенія, такъ-называемой, беллетристики, разнообразной, умной, ценкой беллетристики, какая существуеть во всехъ странахъ Европы, образуя въ нихъ такой же существенный элементь общественнаго развитія, какъ и художественния произведенія, и часто служа пособіемъ для ихъ понинанія. Со стороны Вълинскаго этотъ вводъ новаго дъятеля въ область искусства и это снабжение его патентомъ на право гражданства въ ней не было изивной старымъ положеніямъ вритика 1840—1845 гг., а только дополненіемъ ихъ. «Великія, образцовыя произведенія искусства и науки, — говорияв онв, — были и останутся единственними пояснителями встхъ вопросовъ жизни, знанія и нравственности, но до появленія такихъ произведеній, заставляющихъ иногда ждать себя по-долгу, беллетристика — дело необходимов. Въ эти долгів промежутки она предназначена занимать, питать и поддерживать јим, которме безъ нея обречены были бы на праздность или на повтореніе старыхъ образцовъ и преданій». Желать возникновенія

беллетристиви, не придавая ей значенія послідняго судьи всіх современних задачь—значило для него только желать обміна идей и сбора необходимаго матеріала для разрішенія втих задачь уже путемь науки и творчества, когда наступить ихь время. Зачатки такой беллетристики Білнискій усмотріль именно въ вышеупомянутомь романів Г., что однажды и высказаль публично въ разборів его, не придавая ему художническаго значенія, но ставя его высоко, какь произведеніе умнаго, наблюдательнаго и развитаго человіка. По тімь же поводамь и первыя произведенія другого писателя, Д. В. Григоровича, выступившаго въ 1846 съ повістью «Деревня», за которой послідовала другая «Антонь Горемика»— обіт возбудившія множество толковь— встрічены были чрезвычайно сочувственно нашимь критикомь. Онь увидаль въ нихь начало вры талантливыхъ разоблаченій и ловкой провірки жизненныхь явленій изъ сельскаго нашего быта, важность котрыхъ была теперь несомивниа для него.

Какую скромную роль пи отводиль еще Бълинскій беллетристикъ вообще въ литературъ, но ходатайство за нел и предъявленіе ею правъ на вниманіе — показались еще многимъ ересью. Ново и дико било то, что вритикъ признаваль учителями общества уже не одни геніальные или очень крупные таланты, какъ прежде, а и всю безымянную массу литераторовъ и дъятелей, разработывающихъ вопросы жизни и времени, по мъръ силъ своихъ и пониманія. Первая, усмотръвшая новое направленіе Бълинскаго, была, конечно, очень чуткая къ видоизмъненіямъ его мысли—славянофильская партія. Она объявляла все ученіе о беллетристикъ прославленіемъ публичной «болтовни», приниженіемъ серьёзныхъ тружениковъ въ пользу «горлановъ». Миъ самому приходилось слышать отъ нъкоторыхъ—и не безвъстныхъ—лицъ этой партіи замъчаніе, что поставленіе беллетристики на одну доску съ поэтическимъ трудомъ похоже на оскорбленіе «святого духа».

Московскимъ умфреннымъ западникамъ новая пропаганда Бълинскаго не показалась ин очень новой, ни такой страшной для двла образованія: они внали участіе беллетристики въ созданіи общаго умственнаго строя современной Европы. Притомъ же, внутри круга жело убъжденіе, что нападки враговъ Бълинскаго порождены просто недоразумфніемъ, у многихъ даже и сознательнымъ, ибо преслівдователемъ художественности, чистаго творчества и серьёзнаго труда нельзя было его и представить себъ. И опа были прави, какъ доказаль восторгъ Бълинскаго при появленіи въ томъ же 1845 году, еще въ рувописи, «Бъдныхъ людей» Достоевскаго, которыхъ онъ считалъ, на первыхъ порахъ, замічательнымъ художническимъ произведенісмъ.

## XXIX.

Въ одно изъ моихъ посъщеній Вълинскаго, передъ объдомъ, когда онъ отдыхаль отъ утреннихъ писательскихъ работъ, я со двора дома увидель его у окна гостиной, съ большой тетрадью въ рукахъ и со всеми признаками волненія на лице. Онъ тоже заметиль меня и прокричаль: «Идите скорфе, сообщу новость»... «Вотъ отъ этой самой рукописи, — продолжаль онъ, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это романъ начинающаго таланта: каковъ этотъ господинъ съ виду и каковъ объемъ его инсли-еще не знаю, а романъ открываеть такія тайни жизни и характеровъ на Руси, которыя до него и не снились викому. Подумайте, это первая попытка у насъ соціальнаго романа н сдъланная притомъ такъ, какъ дълаютъ обыкновенно художники, т.-с. не подозравая и сами, что у нихъ выходитъ. Дало тутъ простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагають, что любить весь міръ есть необычайнан пріятность и обязанность для важдаго человъка. Они ничего и понять не могутъ, когда колесо жизпи со встин ея порядками, натхавъ на нихъ, дробитъ имъ молча члены и кости. Вотъ и все, — а какая драма, какіе типы! Да я и забылъ вамъ сказать, что художника вовутъ «Достоевскій», а образцы его мотивовъ представлю сейчасъ». И Вълинскій принялся съ необычайнымъ наоосомъ читать мъста, наиболью поразившія его, сообіцая лиъ еще большую окраску своей интонаціей и нервной передачей. Такъ встратиль онъ первое произведение нашего романиста 1).

И этимъ еще не кончилось. Вълинскій хотълъ сдълать для молодого автора то, что онъ дълалъ уже для многихъ другихъ, какъ, напримъръ, для Кольцова и Некрасова, т.-е. висвободить его талантъ отъ резонёрскихъ наклонностей и сообщить ему сильние, такъ-сказать, нервы и мускулы, которые номогли бы овладъвать предметами прямо, съ-разу, не надрываясь въ попыткахъ, но тутъ критикъ встрътилъ уже ръшительный отпоръ. Въ домъ же Бълинскаго прочиталъ былъ новымъ писателемъ и второй его разсказъ: «Двойникъ»; это — сенсаціонное изображеніе лица, существованіе

<sup>1)</sup> Во время вторичнаго моего отсутствія изъ Россіи, въ 1816 году, почти такое же настроеніе охватило Білинскаго, кляъ разсказывали мий, и съ рукописью "Обминовенная исторія" П. А. Гончарова — другимъ жудожественнымъ романомъ. Онъ съ перваго же раза предсказаль обоимъ авторамъ большую литературную будущность, что било не трудно, но онъ еще предсказаль, что потребуется имъ мпого усилій в явого премени, прежде чімъ они наживуть себі творческія идеи, достойныя вхъталанта.

котораго проходить нежду двуня нірами — реальнымъ и фантастическимъ, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни къ одному изъ нихъ. Бълинскому нравился в этотъ разсказъ по силь и полноть разработки оригинально-странной тэмы, но миь, присутствовавшему тоже на этомъ чтенін, показалось, что критикъ ниветь еще заднюю мысль, которую не считаеть нужнымъ высказать тотчасъ же. Онъ безпрестанно обращаль винианіе Достоевскаго на необходиность набить руку, что называется, въ литературновъ двяв, пріобрасти способность легкой передачи своихъ инслей, освободиться отъ затрудненій изложенія. Бізлинскій, видимо, не могъ освоиться съ тогдашней, еще расплывчатой манерой разсказчика, возвращавшагося поминутно на старыя свои фразы, повторявшаго и изифиявшаго ихъ до безконечности, и относилъ эту манеру къ неопытности молодого писателя, еще не успъншаго одолъть препятствій. со стороны языка и формы. Но Вълинскій отибся: онъ встрітель • не новичка, а совствиъ уже сформированиатося автора, обладающиго потому и закоренълыми привычками работы, несмотря на то, что онъ являлся, повидимому, съ первымъ своимъ произведениемъ. Достоевскій выслушиваль наставленія критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успъхъ, полученный его повъстью, съ-разу оплодотвориль въ немъ тв стмена и зародиши высокаго уваженія къ самому себъ и высокаго понятія о себъ, какія жили въ его душъ. Усивхъ этотъ болбе чвиъ освободиль его оть сомичній и колебаній, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторовъ: онъ еще припялъ его за въщій сонъ, пророчившій вънцы и капитолін. Такъ, ръшаясь отдать романъ свой въ готовившійся тогда альнанахъ, авторъ его совершенно спокойно, и какъ условіе, сяфдующее ему по праву, потребоваль, чтобъ его романъ быль отличенъ отъ всёхъ другихъ статей книги особеннымъ типографскимъ знакомъ, папримъръ---каймой.

Впоследствін изъ Достоевскаго вышель, какъ известно, изумятельный искатель редкихъ, поражающихъ феноменовъ человеческаго мышленія и сознанія, который одинаково прославился верпостію, ценностію, интересомъ своихъ психическихъ откритій — и количествомъ обманныхъ образовъ и выводовъ, полученныхъ путемъ того же самаго топчайшаго хирургически-остраго, такъ-сказать, психическаго анализа, какой помогъ ему создать и всё наиболее яркіе его типы. Съ Белинскийъ онъ вскоре разошелся — жизнь развела ихъ въ разныя стороны, хотя довольно долгое время взгляды и созерцаніе ихъ были одинаковы.

Я не успълъ еще сказать, что двъ знин 1844 и 45 гг. — Петербургъ видълъ въ стънахъ своихъ и постояниаго сноего анта-

гониста Н. Кетчера. Н. Кетчеръ провель въ Петербургъ эти зним по служебнымъ дъламъ своимъ и страшно скучалъ по родному своему городу, въ который и возвратился окончательно летомъ 1845 г., гдъ, какъ ин видъли, я и засталъ его на дачъ въ Соколовъ. Въ Петербургъ онъ занимался переводомъ съ нъмецкаго какой-то терапсвинческой или фармацевинческой книги, долженствовавшей служить руководствомъ для учебныхъ заведеній віздомства медицинскаго департамента, но поверхъ этой книги всогда лежали на письменномъ его столъ томики Шекспира въ оригиналъ и въ пънецкомъ текстъ, и онъ свободно переходилъ отъ перевода учебной книги къ переложенію поэтическихъ созданій британскаго драматурга. Въ промежутки между этими занятіями онъ постщаль театръ и общество петербургскихъ актеровъ, которыхъ довольно своеобразно воспитываль, ругая почти все, что имъ правилось и на что они возлагали большія падежды. Опъ иногда и собпраль ихъ въ своей квартиръ, на Владинірской. Тутъ я встрітиль однажды и В. А. Каратыгина, бившаго въ апогев своей слави. Знаменитый трагикъ эпохи показался мив ивсколько нелвнымъ со своимъ громаднымъ ростомъ, густымъ и глухимъ басовъ, величавымъ видомъ и тупо-сдержаннымъ и значительнымъ словомъ. По бъщенству жестовъ, изысканности позъ и утрировив выраженій, онъ частенько бываль нелвив и на сцень, но туть онъ выкупаль эти недостатки инстинктивной отгадкой главной черты изображаемаго характера, проведеніемъ ся черезъ всю роль и передачей оя въ возможной яркости и рельефности, чтиъ и достигаль подъ-чась замбчательныхь эффектовъ.

Пребывание Кетчера ознаменовалось постоянными нескончаемыми толками о различіи и противоположныхъ качествахъ обфихъ нашихъ столицъ. Вълинскій, огорченный *сдълками* партій въ Москвъ, греибль противъ города, инфющаго тлетворное влінніе на самыхъ здравомыслящихъ людей, а Кетчеръ исполнялъ теперь роль адвоката Москвы, что было согласно съ обычаемъ, принятымъ въ кругъвсегда стоять за отсутствующихъ. Мы видели, что летомъ, возвратись на свое родное непелище, въ Москву, онъ оказался, наобороть, горячивь защитникомъ петербургскихъ взглядовъ. Впрочемъ, въ спорахъ нежду друзьями не было ничего поваго, за исключениемъ одной черты: тутъ препирались уже не представители двухъ вражлебинхъ партій, а представители одной и той же дружеской партів, что подтверждало ся распаденіе. Объ столицы, Москва и Петербургъ, опять употреблены были въ дъло, какъ прежде въ борьбъ съ чистини славяпофилани, — для обозначенія духа и содержанія повыхъ отдиловъ раздвоившейся партін западничества. Москва и Петербургъ присуждены были, какъ и прежде, взимать на себя увлечение, стра-

сти, гийвныя вспышки современниковъ и служить имъ орудіями борьбы. Петербургское «западничество» выражалось устани Валинскаго: «Между питерценъ и носквиченъ, - говорилъ Бълинскій. подразумбвая уже однихъ западниковъ (я сохрапяю здбсь спислъ рвчей его, по не самую форму ихъ), — никакой общиости взглядовъ долго существовать не можетъ: первый -- сухой человъкъ по натуръ, а второй-елейный во всёхъ своихъ словахъ и мысляхъ. У нихъ различныя роли, они только машають и гадять другь другу, когда сойдутся». Этотъ афоризиъ я передалъ почти буквально, потому что часто слышалъ его отъ Вълинскаго. Затъмъ, по инфпію Бълинскаго, если позволительно мечтать о появленіи у насъ большой литературной и общественной партіп когда-либо, то ее следуеть ожидать только изъ Истербурга, потому что единственно въ Истербурга люди знають истинную цвну вещей, словь и поступковь, а затемь еще и потому, что единственно въ Петербургв люди ничемъ не обольщаются, и принимають, безъ благодарности и умиленія, всякіе подарки и милости, какъ нъчто имъ следующее; а наконецъ, и потому, что способны, безъ сердечныхъ болей, отделываться отъ застарълыхъ мыслей и отъ хорошихъ людей; если они ни къ чему не ведуть или машають достижению разъ поставленной цали. Какъ далеко ушель Бълинскій отъ своихъ, еще не очень давинхъ томленій по Москвів и ніжнихъ воспоминаній о ней! Кетчеръ, отъ имени московскихъ западниковъ, выражалъ совсимъ другое мибніе. По его лолкованію, вся работа петербургскаго человіта заключается въ томъ, чтобъ прослыты уминит человъкомъ, причемъ всяческія воззранія, убажденія, тенденція считаются у него различными видами дурачествъ, мъшающими устройству карьеры, а затъмъ уже, прослывъ умнымъ человъкомъ, петербуржецъ спитъ я видитъ, какъ би продать себя подороже со всемъ своимъ багажомъ.

Въ статейкъ «Петербургъ и Москва», написанной Бълинскимъ, въ 1846, для альманаха Некрасова и отражающей хорошо его споры съ другомъ, критикъ сознается, что Москва больше и лучше читаетъ, больше и лучше думаетъ, но онъ прибавлялъ еще въ разговорахъ своихъ къ этому замъчанію, что въ Петербургъ люди лучше держатъ себя и порядочнъе себя ведутъ, точно приготовляясь къ чему-то серьёзному: на этомъ основаніи истому и распущенному москвичу становится даже и жутко жить на берегахъ Невы. Кетчеръ имълъ отвътъ и на это положеніе. Онъ, приблизительно, выражалъ такую мысль: излишества, безобразіе и всякія чудовищности москвича еще почтеннъе приличія и сдержанности питерца. Тамъ всъ уродливости на-голо и ничъмъ другимъ, какъ уродливостями, не слитутъ, а здъсь въ цълый годъ не узнаешь, какой человъкъ у тебя

редъ глазами, герой ли добродътели или отъявленный негодий. — мивчательно, что въ такихъ противоположныхъ терминахъ пренія жду друзьями могли держаться цълме мівсяци сряду, но это отго, что въ споръ заплеталось множество личныхъ вопросовъ и мноество соображеній, порождаемыхъ явленіями и событіями каждаго и въ двухъ столицахъ. Притомъ же споръ этотъ былъ тогда поемістный, общій, и происходилъ, такъ или иначе, въ каждомъ мів, гдів только собирались люди, не чуждые литературів и вопромъ культуры.

Какими бы странимии, пустыми и праздными ни казались всв юры подобнаго рода современнымъ людямъ, но нельзя свазать, чтобы н лишены были вовсе дельныхъ основаній и поводовъ для возвновенія своего въ эпоху, когда процватали: западная партія, примъръ, въ Москвъ и Петербургъ успатривала въ лицахъ, по чувствію ихъ къ тому или другому городу, оттинки мийній, расзнавать которые другимъ путемъ было очень трудно, видъла сразу ) одному расположению человъка къ тому или другому центру зауческаго направленія настоящее знамя человіна и его пстинене иляды на общее дъло просвъщенія, угадывала, наконецъ, цвъта враски, въ какіе должны отливаться всв его убъжденія. Бълин-кій даже по степени симпатическихъ отношеній къ одной изъ стощь наклонень быль узнавать своихъ единомышленниковъ или свога тайныхъ недоброжелателей. Все это, однако же, продолжалось долго, какъ сейчасъ увидниъ, потому что характеръ самыхъ предэтовъ сравненія началь, съ переходомъ однихъ діятелей и предавителей направленія на другую почву, съ исчезновеніемъ иныхъ )все изъ среды партій, — міняться часто: мірило для расцінки определенія величинъ, противопоставленныхъ другь другу-окавалось безпрестаппо невърнымъ, неприложимымъ.

Гораздо долье этого спора держались толки и пренія по поду нзвістной фикціи, условнаго представленія, по которому сімещемъ славянофильства признавалась Москва, а западническихъ вденцій Петербургъ. Препирательства, вызванныя этой фикціей, зобновлялись нісколько разъ и впослідствій, но и они кажутся перь занятіемъ, придуманнымъ для себя людьми, страдавшими обиість праздныхъ силъ. Глазу современнаго человівка чрезвычайно рудно найти во всіхъ этихъ спорахъ исторически-вірный фактъ, акъ-какъ онъ видитъ теперь одии обложки явленій, не распознають вази ихъ съ психической жизнію эпохи и развлеченъ тімъ, что сів эти остатки недавняго нашего прошлаго стоять передъ никъ во въ новомъ, соверпіенно переработанномъ, почти неузнаваемомъ видъ, какой сообщило ниъ послъдующее развите нашей имсли и печати, принявшееся за ихъ возстановленее въ свою очередь.

Но толки и горячія бесёды не составляли для Бълинскаго никогда настоящаго дёла, а только были приготовленіемъ къ нему. Статьямъ его весьма часто предшествовалъ долгій обмень мыслей съ окружающими людьми или предпосылалось изложеніе идей, его занимавшихъ, въ дружескихъ разговорахъ, чёмъ онъ одинаково разъяснялъ самому себе свои тэмы и будущій порядокъ ихъ развитія. Такъ случилось и теперь.

Вълинскій воспользовался появленіемъ романа гр. Соллогуба «Тарантасъ», чтобы поговорить серьезно, подробно и уже печатно со своими московскими друзьями. Известно, что западники чрезвычайно откровенно относились другь къ другу въ своемъ интимномъ кружкъ, но чуть ли Вълинскій не первый перепесь эту откровенность и въ печать. Правда, привъръ подала славянская партія въ «Москвитянинь. какъ мы видели. Она принялась тамъ за чистку домашияго бълья и за сведеніе счетовъ нежду собой, но тотчась же и отказалась отъ этой попытки, находя, вфроятно, что малочисленность са семым требуетъ крайней осторожности и синсходительности въ обращенін членовъ между собой. Только на условін взаниной поддержки партія и могла сохранить свою целость и сберечь весь свой персоналъ, нужный для борьбы. Потребность держаться сплоченной, по возможности, передъ врагами приводила ее затемъ уже постоянно не только въ публичному, непрестанному выставленію на показъ лучмей стороны своихъ двятелей, причемъ тщательно покрывались молчаніемъ всв частныя разногласія сь ними, но и въ отыскапію блестящихъ сторонъ деятельности у такихъ людей своего круга, которые ихъ вовсе не инвли. Всв соображения и разсчеты подобнаго рода нивогда не помъщались въ головъ Вълинского и нивогда не могли остановить его. Онъ и теперь отдался вполив своему намівренію, безъ всяваго волебанія. Статью Білинскаго о «Тарантась» гр. Соллогуба можно назвать образцомъ мастерской полемики, говорящей гораздо болье того, что въ ней сказано формально. Она произведа сильное впечативніе на людей, умівших в различать за слышимой різчью другой, потаенный голось, а кто тогда не умізль этогої Вълинскій чрезвычайно искусно воспользовался двойнымъ характеромъ разбираемаго произведенія, изображавшаго очень вфрио, иногда даже съ истинимъ юморомъ, скудную умственную и житейскую арену, по которой двигались представители, какъ нашей первобытной, такъ и поправленной, щеголеватой Руси, но въ то же время дополнявшаго еще свои картины фантазіями на счеть будущаго блестящаго развитія той самой печальной среды, которую рисовало. Вы-

ходило такъ, что грубость и безплодіе почвы именно и дають право надвяться на получение съ нея обильной жатвы и ослепительныхъ результатовъ. Бълинскій отдавалъ полную справедливость реальной живониси предметовъ и образовъ, какую находилъ въ романв, и относился съ презръніемъ въ фантастическимъ пророчествамъ и поясненіямъ его, которые, говориль онъ, пичего не доказывають, кромъ бъдности сужденія и соверцанія автора, если только не полагать у пего иронических намфреній. Бълинскій называль всё эти детскія прозрънія въ будущее Россін донъ-кихотствонъ, но прибавляль, что это донъ-кихотство невинное и еще очень низкой, второстепенной пробы, а есть и другое, болье опасное и лучше обдуманное, - в затемъ критикъ восходилъ въ описанію этого донъ-кихотства высшаго сорта и порядка, начало котораго Балинскій успотраль за границей въ сферъ науки, исторіи и философіи, стало-быть — въ сферъ высоко-развитыхъ людей ¹) и предостерегалъ отъ появленія его у насъ. Это донъ-кихотство высшаго полета, по мивнію Велиискаго, въруетъ въ возможность примиренія началь, діаметрально противоположимить другь другу, убъжденій и взглядовъ, взанино исключающихъ другъ друга, и занято отысканісиъ какого-инбудь уголка въ области мысли, гдф бы могь спокойно совершиться устраиваемый имъ насильственный бракъ, противо-естественный союзъ различнихъ направленій. Какъ пи пишно съ вида это псевдо-паучное допъ-кихотство, располагающее однако же огромными средствами эрудеціи, діалектики и философской находчивости, оно все-таки, говорилъ Бълнискій, сродии пошловатому допъ-кихотству Соллогубовскаго романа. Обониъ имъ обще стремление искать спасения отъ жизненвой правды, быющей въ глаза, въ области лжи и фантазіи. Всъ наифренія и ціли полемической статьи этой были достаточно ясны и прозрачны для всвять, посвященныхъ въ дела литературы, но Бълинскому хотълось досказать и последнее свое слово. Онъ вивниль въ заслугу автору и то обстоятельство, что онъ далъ генерическое имя и отечество вздорному герою-мечтителю своего романа, назвавъ его «Ивапомъ Васильевичемъ». — «Мы теперь будемъ знать, говориль Балинскій, какъ называются у насъ всв фантазёры этогорода», — а извъстно, что и И. В. Киръевскій, авторъ замъчательнихъ статей «Москвитянина» --- носилъ то же имя и отчество.

Какъ отразилась эта статья на московскихъ друзьяхъ Бѣлинскаго,—видно изъ ръчей и митий на дачт въ Соколовъ, о которихъ было уже говорено прежде.

Онъ имъль въ виду прениущественно новую систему Шеллинги (Философія отдровенія), а после неи ученіе Бюше (Buchez)—о католическомъ соціализме, и другія.

## XXX.

Между тъмъ приблежалось время очень важнаго переворота въ жизни Бълинскаго.

Скорфе чфиъ можно было ожидать, овазалось, что Бфлинскій ошибался, когда, благодаря ослабъвшей энергін нашихъ партій, пророчиль близкое воцарение равнодушныхъ отношений къ существеннымъ вопросамъ русской жизни, или когда опасался, что партіп окончательно сойдутся на какомъ-либо фантастическомъ представлепін изъ области исторіи, права и народнаго быта, которов не будеть имъть ни мальйшей связи съ современнымъ положениемъ дълъ. Ничего подобнаго не случилось, да и не могло случиться. Какіе бы шаги ни дёлали унфренные отдёлы нашихъ партій на встрёчу другь другу — сойтись они все-таки никакъ не могли, какъ показало, и очень скоро-последующее время. Между ними лежала пропастьобразовавшаяся изъ различнаго пониманія роли русскаго народа въ исторіи и различнаго сужденія о всехъ другихъ факторахъ п элементахъ той же исторін. «Славяне», какъ изв'єстно, давали самое пичтожное участие въ развитии государства пришлымъ иноплеменнымъ элементамъ, за исключениемъ византийскаго, и во многихъ случаяхъ смотрели на нихъ, какъ на песчастіе, пометавшее пароду выразить вполив свою духовную сущность. «Европейцы», наоборотъ, приплсывали вившательству постороннихъ національностей большое участіе въ образовании московскаго государства, въ опредълсни всего хода его исторіи, и даже думали, что этнографическіе элекенты, внесенэтими чуждыми паціональностями, —и устроили то, что называется теперь народной русской физіономіей. Разногласіе сводилось окончательно на вопросъ о культурнихъ способностяхъ русскаго народа, и вопросъ оказался настолько силенъ, что положилъ непроходимую грань между партіями.

«Славянская» партія не хотѣла, да и не могла удовольствоваться уступками своихъ враговъ, пониманіемъ народа, напримѣръ, какъ одного изъ многочисленныхъ агентовъ, слагавшихъ нашу исторію, а еще менѣе могла удовольствоваться признаніемъ за народомъ вѣкоторыхъ симпатическихъ, нравственно-привлекательныхъ сторонъ характера, на что охотно соглашались ея возражатели. Она требовала для русскаго парода кое-чего большагэ. Она требовала именю утвержденія за нимъ громадной политической, творческой и моральной репутаціи, великой организаторской сплы, обнаружившейся въ созданіи московскаго государства и въ открытій такихъ общественныхъ, семейныхъ и религіозныхъ идеаловъ существованія, какичъ

ничего равносильнаго не могуть противопоставить наши поздившей и новые порядки жизни. На этомъ основании и не заботясь объ историческихъ фактахъ, противорвчившихъ ея догмату, или толкуя ихъ ловко въ свою пользу, она принялась по частямъ за лъпку колоссальнаго образа русскаго народа, съ цълью создать изъ него типъ, достойный поклопенія. Съ первыхъ же признаковъ этой работы по сооруженію, въ лицъ народа, аповеозы правственнымъ основамъ и идсаламъ старины, и еще пе дожидаясь ея конца, московскіе западники, цълымъ составомъ, угвопли себъ задачу— неустанно объявлять русскій пародъ славянофиловъ лжее-народомъ, произведеніемъ ученой наглости, изобрътающей историческіе черты и матеріалы, ей нужные. Особенно укоряли они своихъ ученыхъ противниковъ въ наклопности принимать подъ свою защиту, по необходимости, даже и очень позорные бытовые и историческіе факты исторіи, если ихъ нельзя уже пропустить молчаніемъ или нельзя цъликомъ отвергнуть, какъ выдумку враговъ русской земли.

Полемика эта длилась долго и особенно разгорълась уже въ 50-хъ годахъ, въ эпоху замъчательныхъ славянофильскихъ сборикковъ (1852-1855 г.: «Московскій Сборникъ», «Симбирскій Сборникъ», «Бесъда»). Душой этой полемики, послъ того, какъ уже не стало и Бълинскаго, быль тотъ же самый Грановскій, заподозренвый нъкогда петербургскими друзьями въ послаблени врагамъ, хотя онъ самъ ръдко виходилъ на арену. Правда, что это всегда билъ врагъ великодушный. Извъстно, что въ разгаръ спора много было сказано дъльныхъ положений съ объихъ сторонъ и иного обнаружилось талантовъ, успъншихъ пріобръсти себъ впоследствіи почетния имена. Ни одинъ изъ нихъ не прошелъ незамвченнымъ Грановскимъ спервоначала. Человъкъ этотъ обладалъ въ высшей степени живучей совъстливостію, попуждавшей его указивать на достоинство и заслугу вездъ, гдъ опъ ни встръчалъ ихъ, не стъсняясь никакими постороппими, кружковыми или тактическими соображениями. Не ръдко приходилось намъ истяв слышать отъ него такую оцтику его личнихъ враговъ и враговъ его направленія, какую могли бы принять сание благорасположенные къ инчъ біографы на свои страницы. Между прочимъ, онъ очень высоко ценилъ молодого Валуева, автора извъстной статьи о «Мъстничествъ» въ одномъ изъ славяпофильскихъ сборниковъ, такъ рано умершаго для отечества, и говорилъ о немъ но иначе, какъ съ умилениемъ.

Освобожденный отъ страха видъть заключение спора, такъ много стоившаго ему, какимъ-инбудь простымъ компромиссомъ между партіями, Бълинскій уже спокойнъе и объективнъе отнесся къ самому вопросу о долъ, какую должим имъть и имъютъ народные элементы

въ культурномъ развитии страны. Теперь (1846), когда оказалось, что дёло обличенія заносчивой пропаганды и излишествъ національной партін можетъ разсчитывать на старыхъ сподвижниковъ— спокойный отвъть на вопросъ значительно облегчался. Нельзя уже было не видъть, что ученіе о народности, какъ поводъ къ памъненію нынашнихъ условій ся существованія, имъстъ весьма серьёзную сторону; только опираясь на это ученіе, открывалась возможность говорить объ опибкахъ русскаго общества, повредившихъ чести и достоинству государства. Примъръ былъ на лицо. «Славянская» партія, несмотря на вст возраженія и опроверженія, пріобратала съ каждымъ днемъ все болве и болье вліянія и подчиняла себть умы, даже и не очень покорные по природт, и подчиняла одной своей проповъдью о неузнанной, несправедливо оцфиенной и безчестно-прилиженной русской народности.

И дъйствительно, какъ бы сомнительна ни казалась идеализація йарода, производимая «славяпами», какими бы шаткими ни объявлялись основи, на которихъ они строили свои народные идеалиработа «славянъ» была все таки чуть ли не единственнымъ дъломъ эпохи, въ которомъ общество паше принимало наибольшее участіе, и которое побъдило даже холодность и подозрительность оффиціальныхъ круговъ. Работа эта одинаково обольщала всехъ, позволяя праздновать открытіе въ недрахъ русскаго міра и посреди общей моральной скудости-богатаго правственнаго канитала, достающагося почти за-даромъ. Всъ чувствовали себи счастливъе. Ничего подоб-∢западники» предложить не могли, у нихъ не было никакой цъльной и обработанной политической теоремы, они запимались изслъдованіями текущихъ вопросовъ, критикой и разборомъ современныхъ явленій, и не отваживались на составленіе чего-либо похожаго на пдеаль гражданского существованія, при техь матеріалахь, каків пиъ давала и русская, и европейская жизпь. Добросовъстность «западниковъ» оставляла ихъ съ пустыми руками, — п понятно, что положительный образъ народной политической мудрости, найденный славянофилами, начиналъ поэтому играть въ обществъ нашемъ песьма видную роль.

Вольное обращение съ историей, на которое имъ постоянио указывали, нисколько не останавливало роста этого идеала и его развитія; напротивъ, свобода толкованія фактовъ способствовала ещо его процвътанію, позволяя вводить въ его физіономію черты и подробности, напболье привлекательныя для пародиаго тщеславія и наиболье дъйствующія на массы. Ошибки, невърности, нарушенія свидътельствъ приходились тутъ еще на здоровье, такъ сказать, идеалу и на укръпленіе партіи, его воспитавшей. Между тъмъ—

сознательно или безсовнательно — все-равно — партія достигала съ понощью своего спорнаго идеала несомивнио весьма важныхъ целей. Туть случилось то, что не разъ уже случалось на свътъ: рискованвыя и симовольныя положенія принесли гораздо болю пользы обществу и людямъ, чемъ осторожные, обдуманные и потому робкіе шаги безпристрастнаго изследованія. Партія успела ввести въ кругозоръ русской интеллигенціи новый предметь, новаго діятельнаго члена и агента для мысли -- именно народъ, и после ел проповеди ни наукъ вообще, ни наукъ управленія въ частности уже нельзя было обойтись безъ того, чтобы не имъть его въ виду при разныхъ политикосоціальныхъ ръшеніяхъ и по считаться съ нимъ. Это была великая заслуга партіп, чемъ бы она ни была куплена. Впоследствін, и уже за границей, Г. очень хорошо понималь значение возведенной постройки славянофиловъ и не даромъ говорилъ: «Наша европейская западинческая нартія тогда только получить місто и значеніе обществопной силы, когда овладветь тэмами и вопросами, пущенными въ обращеніо славянофилами».

Но если это-то было невозможно покамисть, то по крайней изръ уже наступало время понимать важность подобныхъ тэмъ. Не далье какъ въ 1847 г., самъ Бълпискій уже говориль о нельпости противопоставлять національность общечеловическому развитію, какъ будто эти явленія непремінно должны исключать другь друга, нежду темъ какъ, въ сущности, они постоянно совпадаютъ. Общечеловъческое развитие не можетъ выражаться иначе, какъ чрезъ посредство той или другой народности, оба термина даже и ненислины одинъ безъ другого. Мысль свою онъ подробно развилъ въ статьъ: «Обозръніе литературы 1846 года». Въ ней особенно любовытно одно место. Къ этому месту Белинскій подходить предварительнымъ и очень обстоятельнымъ изложениемъ инфиия, что какъ отдільное лицо, не наложившее печати собственнаго своего духа и своего содержанія на полученныя имъ иден и представленія — никогда не будеть вліятельнымъ лицомъ, такъ и народъ, не сообщившій особеннаго, своеобразнаго штемпеля и выраженія нравственвимъ основамъ человъческаго существованія, всегда останется мертвой массой, пригодной для производства надъ нею всякихъ экспериментовъ. Пространное развитіе этого положенія Бълнискій заключасть словами, почти буквально повторяющими точно такія же слова Грановскиго, сказанныя въ Соколовъ по поводу сочувствія, какое винуждають въ себв почасту основния убъжденія «славянь», хотя собственно критикъ нашъ этихъ словъ Грановскаго самъ не слыхаль. Воть это место: «Что личность въ отношени въ идее человъва, то — народность въ отношения въ идеъ человъчества. Везъ

національностей человічество было бы мертвымь логическимь абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія.  $oldsymbol{B}$ а отношении къ этому вопросу, я скоръе готовъ перейти на сторону славянофиловь, нежели оставаться на сторонь зуманических космополитикова, потому что если первые и отполются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорять бакь такое-то издание такой-то логики. Но, къ счастию, я надъюсь остаться на своемъ мъсть, не переходя ни къ кому..... Молодая редакція новаго «Современника» 1847 г., для котораго статья писалась и гдв она была помъщена, думала однакоже ниаче объ этомъ предметв. Такъ какъ борьба съ славянофильской партіей, да интересъ болье или менье художественной литературы обличенія, составляли пока всю программу новаго журнала, то понятно, что движеніе его критика на встрічу къ обычнымъ врагамъ. петербургской журналистики затемняло одну и важную часть самой программы журнала. Впоследствін я слышаль, что редакція много роптала на статью съ такой странной, исбывалой тепденціей въ петербургско-западнической печати, и которой она должна была открыть свой новый органъ гласпости.

Такимъ образомъ разрѣшалась долгая полемика Вѣлинскаго съ лютѣйшими своими врагами.

Основаніе «Современника», 1847 г., положило предъль участів Вълинскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ», которывъ онъ такъ усердно послужиль въ течени шести лъть, что создаль почетное имя и положение журналу и потерялъ свое здоровье. Съ половины 1845 г. мысль повинуть «От. Записки» не оставляла Вълнискаго, въ чемъ его особенно поддерживалъ И. А. Некрасовъ съ практической точки эрфиія. Дфиствительно, матеріальное положеніе Бфлинскаго, годъ отъ году, становилось все хуже и никакого выхода не представляло ни съ какой сторони. Силы его слабъли, семья требовала увеличенныхъ средствъ существованія, а въ случав катастрофи, которую онъ уже предвидълъ, оставалась безъ куска хлаба. Можеть быть, пикто изъ нашихъ писателей не находился въ положеніи болью схожень сь положеніемь тогдашняго работника и пролетарія въ Европъ. Подобно имъ, онь никого лично не могъ обвяиять въ устройствъ гнетущихъ обстоятельствъ своей жизни — всъ исполняли, по отношению къ нему, добросовъстно свои обязательства, никакихъ притъспеній опъ не испытываль, пикакихъ чрезмфримхъ требованій не предъявлялось, и пикто не ділалъ попитокъ увернуться отъ условій, принятыхъ по взаимному соглащенію — все обстояло, такинъ образонь, чинно, благопристойно, респектабельно, по англійскому выраженію, вокругъ него. Но трудъ

его все-таки пріобраталь свою цанность только тогда, когда уходиль изъ его рукъ, приносиль всю пользу, какой отъ него ожидать можно было, изданію, а не тому, кто его произвель. Не было и возножности поправить дъло, не измъняя обычныхъ экономическихъ условій, утвержденныхъ разъ навсегда. Съ каждынъ днемъ Вълинскій все болже и болже убъждался, что чжиъ сплыве станеть онь напрягать свою діятельность и чімь блестящіве будуть оказываться ея результаты, въ литературномъ и общественномъ смыслъ, твиъ хуже будетъ становиться его положение, въ виду неизбъжнаго истощенія творческаго матеріала и уничтоженія самой способности въ труду, всябдствіе его удвоенной эпергін. Вудущиость представлялась ему, такимъ образомъ, въ очень мрачныхъ краскахъ, и съ половины 1845 г. ны слышали горькія жалобы его на свою судьбу, жалобы, въ которыхъ опъ не щадилъ и самого себя: «Да что же в ділать судьбів этой, — говориль онь въ заключеніе, — съ глупынь человикомъ, которому ничего въ прокъ не пошло, что она eny ни давала > 1).

И действительно, съ концомъ 1845 г. Белинскій покидаетъ на время журнальную работу и разстается съ «Отечественными Записками». Событіе это произвело некотораго рода переполохъ въ маленькомъ литературномъ мірть того времени. Съ удаленіемъ Белинскаго пророчили паденіе журнала, но журналъ устоялъ, какъ всявое предпріятіє, уже добывшее себт прочныя основы и открывшее притомъ готовую арену для литературной деятельности новоприходящимъ талантамъ. Таковъ былъ молодой Майковъ, принявшій въ свои руки наследство Белинскаго—критическій отделъ журнала: отделъ этотъ обреталь въ немъ новую и свежую силу, висстоатрофіи и разслабленія, которыми ему грозили.

В. Н. Майковъ отложиль въ сторону весь эстетическій, нравственный и полемическій багажъ Бёлинскаго, и за норму оцінки произведеній искусства приняль количество и важность бытовыхъ

<sup>1)</sup> Привожу анекдоть изь этихъ проявлений самоосуждения и самообличения, къкоторимъ онь билъ склопенъ, но въ которихъ билъ также всегда и искрененъ. Одинъ изъ журнальнихъ редакторовъ того времени, напечатавъ въ своемъ изданіи веремодний романъ и заплативъ за него условленную сумму переводчику, почелъ себя въ правъ вмиустить переводъ отдъльной книжкой и въ свою пользу. По онъ напалъва эпергичнаго человъка, который, послъ безплоднихъ протестацій, ръшился повести діло серьезно, и пожалуй дойти до судебнихъ инстанцій, какіи тогда существовлін. Редакторъ принужденъ билъ уступить и возвратить переводчику его собственность. Вислушавъ разсказъ, Бълинскій молча принялся шарить по угламъ комнати, добильтать свою налку, и, подавая ее разсказчику, прибавилъ: "Учите меня, авось и я войну, какъ должно беречь свое добро". Но вмучиться этому онъ не могъ, не переставь бить Бълинскииъ...

и общественных вопросовъ, ими поднимаемыхъ, и способы, съ какими авторы — указываютъ и разръшаютъ ихъ. Преждевременныя смерть помъщала ему развить вполить свое созерцание 1).

Съ разривомъ старыхъ связей не все еще кончилось для Бълинскаго; надо было отыскать средства существованія. Вълинскій предвидель это и обратился, еще до разрыва, за советоит и пои щью къ друзьямъ, излагая имъ свой планъ — издать уже прямо отъ своего имени большой альманахъ изъ сововупныхъ ихъ трудовъ, если она согласится войти въ его виды и намфренія. Отвъть ве замедлилъ явиться. Со всвуъ сторонъ знаменитые и не-зпаменатые писатели наши поспъшили препроводить въ нему все, что имъли у себя на-готовъ, и уже къ началу 1846 г., въ рукахъ Бълнескаго образовалась значительная масса рукописнаго и частію очень цвинаго матеріала, какъ показало поздивищее его опубликованіе. Не могла скрыться отъ глазъ самого Вълинскаго и вниманія его ближайшихъ совътниковъ во всемъ этомъ діль, Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, важность собраннаго матеріала. Посл'ядніе уже -одори и изованительной издательной деятельности и пробовали ее не разъ-выпускомъ альманаховъ и сборниковъ, но тутъ представлялся случай къ основанію уже большого предпріятія - поваго періодическаго изданія. Матеріаль Вфлинскаго погъ би служить ему, на первыхъ порахъ, готовой поддержкой. Тогда и возвикла мысль о пріобрівтеній стараго, Пушкинскаго «Современника», скромно, почти безвъстно существовавшаго подъ руководствомъ И. А. Илетиева, -- мысль, которая и приведена была въ исполненie Heкрасовымъ и Панаевымъ. Они купили вифстф съ тфиъ и весь «матеріалъ» Вълинскаго (Панаевъ былъ главнымъ вкладчикомъ при всъхъ этихъ операціяхъ), что и помогло Бълинскому расплатиться съ долгами и впервые почувствовать себя свободнымъ человъкомъ. При этомъ новые редакторы «Современника» 1847 г. открывали ему еще и перспективу въ будущемъ, которая особенно должна была цениться Бълипскимъ. Они включали его въ число неоффиціальныхъ соиздателей журнала (оффиціальнымъ выставлился, въ видъ поруки передъ цензурой, проф. А. В. Никитенко) и предоставляли ему, кромъ платы за статьи, еще и долю въ выгодахъ изданія, вакія окажутся. Везъ популярнаго имени Вълинскаго дъйствительно трудно было обойтись предпріятію, но къ этому примашивались еще и надежда, раздъляеная и Вълинскимъ, что всъ лучшіо дъятели

<sup>1)</sup> Вибств съ В. Н. Майковимь быль еще и другой замичательный молодой человъкъ, В. А. Милютинъ, тоже рано погибшій. Они оба могуть считаться последними отпрысками замичательнаго десятильтія и составляють уже переходь къ литературному періоду 1850—60 г.

Москвы последують за нишь вы новое издание и разорвуть связи съ «Отечественными Записками». Надежде этой, однакоже, не суждено было исполниться. Московские литераторы, да и инвеоторые изъ литераторовъ въ Петербурге, желая полнаго успека «Современику», находили, что два либеральныхъ органа въ России лучше одного, что раздвоение направления на два представителя еще более гарантируетъ участь и свободу журнальныхъ тружениковъ, и что, наконецъ, по коммерческому характеру всяваго журнальнаго предприятия, — врядъ ли и новое будетъ въ состояни идти по какой-либо иной дороге, въ своихъ разсчетахъ съ людьми, какъ не по той же самой, по которой шло и старое. Все это происходило въ то время, когда я, уже съ февраля 1846 г., находился за границей.

## XXXI.

Въ одно прекрасное утро, по осени 1847 года, въ крошечномъ салонъ парижской моей квартиры, улицъ Caumartin, 41, явился господинъ, хорошо выбритый, по русскому обычаю, съ волосами, зачесанными на затылокъ, и въ долгополомъ сюртукъ, который странно ившаль его порывистымь движеніямь. Это быль Г., носившій еще ва всей своей вибиности ръзкій отпечатокъ московскаго жителя, но скоро преобразившійся, благодаря парижскимъ портнымъ и другимъ. артистанъ, въ полнаго джентльмена западной расы-съ подстриженной головой, щегольской бородкой, очень быстро принявшей всъ необходиныя очертанія, и пиджакомъ, ловко и свободно державшинся на илечахъ. Я обрадовался ему несказанно и выслушалъ юмористическую повъсть объ усяліяхъ и домогательствахъ, какія потребовались ему для выбада, и потомъ о долгомъ вояже его, еще на почтовых, черезъ всю Германію. Онъ прибыль въ Парижъ со всемъ семействомъ, остановился на Place Vendome и разспрашиваль меня, вакъ парижскаго старожила (я уже прожиль целый годъ въ столицъ Франціи) объ условіяхъ, образъ жизни и привычкахъ новой своей резиденціи, къ которымъ, тоже по-русскому обычаю, и примъянлся весьма скоро. И не онъ одинъ подчинился этого рода превращенію и изміненію своей оболочки, а съ нею и самаго образа жизни, но и семья его—и притомъ съ свободой и развизностію, которыя могли бы считаться изумительными, если бы не были всеобщинь, всень известнымь свойствомь нашей природы. Жена Г., пость первой недели своего пребыванія въ Парижь, представляла јже изъ себя совстив другой типъ, чтиъ тотъ, который одицетворяла собою въ Москвъ. Впрочемъ, внутренняя переработка, измънившая ел нравственную физіономію, началась еще тамъ, — какъ буду говорить — и только завершилась въ Парижъ. Изъ тихой, задумчивой, романтической дами дружескаго кружка, стремившейся къ вдеальному воспитанію своей души и не дълавшей никакихъ запросовъ и никакихъ уступокъ вифшнему міру, она вдругъ превратилась въ блестящую туристку, совершенно достойную занимать почетное мъсто въ большомъ, всесвътномъ городъ, куда прибыла, хотя никакой претензіи на такое мъсто и не заявляла. Новим форми и условія существованія вскорт вытъснили у нея и послъднюю намять о Москвъ. — Быстрота встахъ подобнихъ витыпнихъ и внутрепнихъ метаморфозъ, испытываемыхъ русскими людьми, зависъла, кромъ ихъ предрасположенія къ ней, еще и отъ многихъ другихъ причинъ.

Парижъ, напримъръ, знаменитаго буржуванаго короля Лудовика-Филиппа обаятельно дъйствовалъ различными сторонами своей политической жизни на русскихъ, пробиравшихся туда всегда болфе или менъе секретнымъ, воровскимъ образомъ, такъ какъ въ нашихъ паспортахъ заграничныхъ того времени поименование Франціи оффиціально воспрещалось. Впечатлівніе, производимоє Парижеми на пришельцевъ съ сввера, походило на то, которое является вследъ за неожиданной находкой: они припадали къ городу со страстію и увлеченісмъ путника, вышедшаго изъ голой степи къ давно ожидаемому источнику. Первое, что бросалось въ глаза при этой встрфчв съ столицей Франціи, было, конечно, ся соціальное движеніе. Вездъ по протяженію Европы уже существовали партін, поднергавшія разбору условія и порядки европейской жизни, вездів уже слагались общества, разсуждавшія о способахъ остановить, измінить и направить теченів современной жизни въ другую сторону, но только въ Нарижъ критическое движение это вошло, такъ-сказать, въ колею обычныхъ диевныхъ явленій и притомъ освіщалось чрезвычайно эффектно лучами французскаго народнаго духа, который умъетъ располагать въ живописныя группы людей, ученія и пден, и дізлать изъ нихъ картины и зрълища для публики, прежде чъмъ они сдълаются руководителями и преобразователями общества. Не было возможности удержаться отъ участія къ этому движенію, которое слагалось изъ . мътвихъ, остроумнихъ статей журнальнаго міра, изъ пропаганди на театръ, изъ періодическихъ лекцій и конференцій профессоровъ и не-профессоровъ. Такъ, три воскресенья сряду, я слышаль въ заль одного пассажа самого О. Конта, излагавшаго основныя черты своей теорія передъ толпой, которая и не предчувствовала чамъ сдвлается эта теорія впоследствін. Движеніе дополнялось еще нассой соціальныхъ книгъ, начавшихъ извъстную войну противъ оффиціальной политической экономін, и фамильными собраніями честныхъ, начитанныхъ и развитыхъ работниковъ, уже принявшихъ ихъ свъдънію новыя положенія соціализма и обработывавшихъ ихъ, посвоему, какъ впоследствій депутатъ Корбонъ, часовщикъ по ремеслу, котораго мий тоже удалось видъть въ его мастерской, служившей спу и редакціей для его журнала «l'Atelier». Все это были огоньки, которые предшествовали знаменитой революцій 48-го года, никъмъ, впроченъ, еще тогда не предчувстнуемой, и которая, сказать между прочинъ, своимъ внезапнымъ приходомъ ихъ всёхъ и потушила. Когда я прибылъ въ Парижъ по весит 1846, я уже засталъ тамъ цълую русскую колонію, съ главными и выдающимися ея членами, В. и С—вымъ, запятую пепрерывнымъ исканіемъ и обсужденіемъ битовыхъ, историческихъ, философскихъ и всякихъ вопросовъ, какіе постоянно возбуждала общественная жизнь Парижа при либеральномъ королѣ Лудовикъ-Филлипф.

Однако нначе нельзя было назвать покамъстъ того образа занятій европейскими вопросами, который существовалъ тогда между русскими, какъ—забавой.

Дъло шло тутъ превмущественно объ удовлетворения любопытства, раздражаемаго безустанно явленіями каждаго текущаго дня, объ исполнени обязанности стоять на сторожв относительно всего, что происходить важнаго и пичтожнаго въ городъ, о добычъ живого матеріала для разбора его, для упражневія критическихъ своихъ способностей, а затывь и болье всего для развития безконечной, пестрой, золотошвейной твани разговоровъ, споровъ, выводовъ, положеній и контръ-положеній. Никакой отвітственности передъ собственной совъстію, никакого обязательнаго начала для устройства собственной жизии и поведения при этомъ еще не представлялось никому. Необходимости подобнаго распорядка съ собой не предвиділось и въ будущемъ. О русской политической эмиграціи не было еще и помина: она явилась только тогда, когда прокатился громъ революціи 1848 г. и заставиль иногихь обратиться въ своему прошлому, подвести ему итоги и поставить себя самого въ ясное, опредъленное положение, какъ къ грозному явлению, неожиданно разразившенуся надъ Европой, такъ и къ правительстванъ, которыя были инъ испуганы. Правда, отъ времени до времени падали въ среду нашихъ людей, потвшавшихся Парижемъ, напоминовенія о требованіяхъ другого строя жизни, чънъ тотъ, которынъ они наслаждались. Такъ случилось съ извъстникъ Г-виникъ, котораго офиціально вызывали въ Россію за пустайшую книжонку, -- напечатанную имъ по-французски въ Парижћ, безъ дозволенія. Это былъ опыть политической экономін, представлявшей менфе, чфиъ учебникъ,

простую выписку изъ школьныхъ тетрадокъ, да и то не совстиъ толковую, но во всякомъ случав уже совершенно невинную. Я, кажется, и не встрівчаль на віжу мосят писателя, менію заслужевав-'шаго вниманія, какъ этотъ I'—винъ, въ одно время игравшій на биржв и въ оппозицію, пробиравшійся въ жокей-клубъ, въ міръ лоретовъ, и въ демократическія консиліабулы—наглый и ребическитрусливый, но онъ остался въ Парижъ, несмотря на вызовъ, и сдълался прежде всвую русскими «политическими» эмигрантомы и притомъ изъ особеннаго начала, изъ страха: ему мерещились всевозможные ужасы, которые, по отношенію къ нему, просто были немислими 1). Послъ напоминовений въ родъ того, какое получиль Г—винъ, кругъ дилеттантствующихъ политиковъ и соціалистовъ нашихъ нъкоторое время обсуждаль этотъ факть съ разныхъ точекъ эрвнія, и потомъ снова отдавался увлекающему потоку своихъ занятій и страстнаго, но безотвътнаго вифшательства въ интимныя двла французской національности.

Не должно дунать, чтобъ эта азартная игра со всемъ содержаніемъ Парижа велась только людьми, литературно и политически развитыми: къ ней примъшивались часто и такія особы, которыя имфли совства ним цтли въ жизни, — не культурныя. Такъ, по дороги въ Европу я получилъ рекомендательное письмо къ извистному Марксу отъ нашего степного помъщика, также извъстнаго въ своемъ кругу за отличнаго првца цыганскихъ прсенъ, ловкаго игрова и опытнаго охотника. Опъ находился, какъ оказалось, въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ учителемъ Лассаля и будущимъ главой питернаціональнаго общества; онъ увіриль Маркса, что, предавшись душой и тъломъ его лучезарной проповъди и дълу водворенія экономического порядка въ Европф, опъ фдетъ обратно въ Россію, съ намъреніемъ продать все свое имьніе и бросить себя, и весь свой капиталь въ жерло предстоящей революція. Далфе этого увлеченіе идти не могло, но я убъжденъ, что, когда лихой помъщикъ давалъ всь эти объщанія, онъ быль въ ту минуту искрепень. Возвратившись же на родину, сперва въ свои имвијя, а затемъ въ Москву, онъ забылъ и думать о горячихъ словахъ, прозвенъвшихъ ивкогда такъ эффектно передъ изумленнымъ Марксомъ, и умеръ не такъ давно престарълниъ, но все еще пылкинъ холостикомъ въ Москвъ.

<sup>1)</sup> Всего забавиће, что опъ и самъ считалъ себя важнимъ преступникомъ, бояјся видачи своей персопи дипломатическимъ путемъ, и побъжалъ объясияться съ министромъ Дюшателемъ, который, вислушавъ его опасенія, засмѣндея и замѣтилъ: "Какой вздоръ. Живите спокойно, дѣлайте что хотите, да ужъ если вамъ нуженъ непременно совѣтъ, то вотъ мой-ме очень вмъншваймесь въ польскія джава (ранскалъ Г--вина).

Не мудрено, однако же, что послё подобныхъ продёловъ, кавъ у самого Маркса, такъ и у многихъ другихъ сложилось и долгое время длилось убёжденіе, что на всякаго русскаго, къ нимъ приходящаго, прежде всего должно смотрёть, какъ на подосланнаго шпіона, или какъ на безсов'єстнаго обманщика. А дёло между тёмъ гораздо проще объясняется, хотя отъ этого и не становится невиннёе.

Я воспользовался однакоже письмомъ моего пылкаго помъщика, который, отдавая мев его, находился еще въ энтузіастическомъ настроснін,--- в быль принять Марксомъ въ Брюссоль очень дружелюбно. Марксъ находился подъ вліянісиъ своихъ воспоминаній объ образців широкой русской натуры, на которую такъ случайно наткнулся, и говориять о ней съ участіемъ, усматривая въ этомъ новоит для пего явленін, какъ мив показалось, признаки неподдільной мощи русскаго народнаго элемента вообще. Самъ Марксъ представляль изъ себя типь человъка, сложеннаго изъ энергін, воли и несокрушинаго убъжденія — типъ, крайне замъчательный и по вившности. Съ густой, черной шанкой волось на головъ, съ волосистыми руками, въ пальто, застегнутомъ на-искось — онъ имълъ однакоже видъ человъка, имъющаго право и власть требовать уваженія, какимъ бы ни являлся передъ вами и что бы ни делалъ. Вст его движенія были угловаты, но сиблы и самонадбянны, всв пріемы шли напереворъ съ принятыми обрядами въ людскихъ сношеніяхъ, но были горды и какъ-то презрительны, а ръзкій голосъ, звучавшій какъ исталяъ, шелъ удивительно къ радикальнымъ приговорамъ надъ лицами и предметами, которые произносиль. Марксь уже и не говориль иначе, какъ такими безаписляціонными приговорами, надъ которыми, впрочемъ, еще царствовала одна, до боли резкая нота, покрывавшая все, что онъ говорилъ. Нота выражала твердое убъжденів въ своемъ призваній управлять умами, законодательствовать надъ ними и вести ихъ за собой. Предо мной стояла олицетворенная фигура демократического диктатора, какъ она могла рисоваться воображенію въ часы фантазіи. Контрасть съ недавно поквнутыми иною тинами на Руси быль наиръшительный.

Съ перваго же свиданія Марксъ пригласиль меня на сов'ящаніе, которое должно было состояться у него на другой день вечеромъ съ портнымъ Вейтлингомъ, оставившимъ за собой въ Германіи довольно большую партію работниковъ. Сов'ящаніе назначалось для того, чтобы опредълить, по возможности, общій образъ дъйствій между руководителями рабочаго движенія. Я не замедлилъ явиться по приглашенію.

Портной-агитаторъ Вейтлингъ оказался бълокурымъ, красивымъ полодымъ человъкомъ, въ сюртучкъ щеголеватаго покроя, съ бород-

кой, кокетлево подстреженной, и скорве походиль на путешествующаго комми, чвив на суроваго и озлобленнаго тружениев, какого я предполагаль въ немъ встретить. Отрекомендовавшись на-скоро другъ другу и притомъ съ отгънкомъ изысканной учтивости со стороны Вейтлинга, им съли за небольшой зеленый столикъ, на одномъ узкомъ концъ котораго помъстился Марксъ, взявъ карандашъ въ руки и склонивъ свою львиную голову на листъ бумаги, между томъ какъ неразлучний его спутникъ и сотоварищъ по пропагандъ, высовій, прямой, по-англійски важный и серьёзный, Энгельсъ открывалъ засъданіе ръчью. Онъ говориль въ ней о необходимости между людьии, посвятившими себя дфлу преобразованія труда, объяснить взаниныя свои возэрвнія и установить одну общую доктрину, которая могла бы служить знаменемь для всехъ последователей, не имъющихъ времени или возможности заниматься теоретическими вопросами. Энгельсь еще не кончиль рфчи, когда Марксъ, поднявъ голову, обратился прямо въ Вейтлингу съ вопросомъ: «Скажите же намъ, Вейтлингъ, вы, которые такъ много надълали шума въ Германін своими коммунистическими проповідлями и привлекли къ себів столькихъ работниковъ, лишивъ ихъ мъстъ и куска хлюба, вакими основаніями оправдываете вы свою революціонную и соціальную дъятельность, и на чемъ думаете утвердить ее въ будущемъ?> Я очепь хорошо помию саную форму ръзкаго вопроса, потому что съ него начались горячія пренія въ кружкъ, продолжавшіяся, впрочемъ, какъ сейчасъ окажется, очень недолго. Вейтлингъ, видимо, хотълъ удержать совъщание на общихъ мъстахъ либеральнаго разглагольствованія. Съ какимъ-то серьёзнимъ, озабоченнимъ выраженіемъ на лицъ, онъ сталъ объяснять, что цълію его было не созидать новыя экономическія теорія, а принять тв, которыя всего способиве, кабъ показалъ опытъ во Франціи, открыть рабочимъ глаза на ужасъ ихъ положенія, на всв несправедливости, которыя, по отношенію къ нимъ, сдълались лозунгомъ правителей и обществъ, научить ихъ не върпть уже никакимъ объщаціямъ со стороны послъднихъ и надъяться только на себя, устрапваясь въ демократическія и коммунистическія общины. Онъ говорилъ долго, но, къ удивленію мосму и въ противоположность съ рачью Энгельса, сбивчиво, не совсимъ литературно, возвращаясь на свои слова, часто поправляя ихъ и съ трудомъ приходя къ выводамъ, которые у него или запаздывали или появлялись ранве положеній. Онь имбль теперь совсьмь другихь слушателей, чънъ тъ, которые обыкновенно окружали его станокъ, или читали его газету и печатные намфлеты на современные экономические порядки, и утеряль при этомъ свободу мысли и языка. Вейтлингъ, въроятно, говорилъ бы и еще долье, если бы Марксъ, съ гиввиостиснутыми бровами, не прервалъ его и не началъ своего возраженія. Сущность саркастической его рачи заключалась въ томъ, что возбуждать население, не давая ему никакихъ твердыхъ, продуманнихъ основаній для діятельности, значило просто обланивать его. Возбужденіе фантастическихъ надеждъ, о которомъ говорилось сейчась, — заявчаль далве Марксь, — ведеть только въ конечной гибели, а не къ спасенію страдающихъ. Особенно въ Германіи обращаться въ работнику безъ строго-научной идеи и положительнаго ученія равносильно съ пустой и безчестной игрой въ пропов'ядники, при которой, съ одной стороны, полагается вдохновенный пророкъ, а съ другой — допускаются только ослы, слушающіе его, разниувъ ротъ. «Вотъ, — прибавилъ онъ, вдругъ указывая на меня ръзкимъ жестовъ, — нежду нами есть одинъ русскій. Въ его странв, Вейтлингъ, ваша роль могла бы быть у мъста: тамъ, дъйствительно, только и могутъ удачно составляться и работать союзы между неленими пророками и пеленими последователями». Въ цивилизованной земль, какъ Германія, продолжаль развивать свою пысль Марксъ, люди безъ положительной доктрины инчего не могутъ сделать, да и ничего не сделали до сихъ поръ, кроме шума, вредныхъ всимшекъ и гибели самаго дъла, за которое принялись. Краска выступила на бледишке щекаке Вейтлинга, и оне обрель живую, свободную рачь. Дрожащинь отъ волненія голосомъ сталь онъ доказивать, что человъкъ, собравшій сотни людей во имя иден справедливости, солидарности и братской другъ другу помощи подъ одно звамя, не можетъ назваться совствиъ пустымъ и празднымъ человъкомъ, что опъ, Вейтлингъ, утвищется отъ сегодняшнихъ нападковъ воспоминаниемъ о твхъ сотняхъ инсемъ и заявлений благодарности, которыя получиль со встхъ сторонъ своего отечества, и что, можетъ онть, скроиная подготовительная его работа важиве для общаго дъла, чъмъ критика и кабинетные анализы доктринъ, вдали отъ страдающаго свъта и бъдствій народа. При последнихъ словахъ взбышенный окончательно Марксъ удариях кулакомъ по столу такъ сильно, что зазвенъла и зашаталась лампа на столъ и вскочиль съ »вста, проговаривая: — «Никогда еще певвжество никому не помогло!» Ми последовали его примеру и тоже вышли изъ-за стола. Загедание кончилось, и покуда Марксъ ходилъ взадъ и впередъ, въ необычайномъ гивномъ раздражени по компатв, я на-скоро распрощался съ нимъ и съ его собесъдниками и ушелъ домой, пораженный всъмъ иною виденнымъ и слышаннымъ.

Сношенія мон съ Марксонъ не прекратились и послів выйзда моего изт Брюсселя. Я встрітиль его еще, вийсті съ Энгельсонь, въ 1848 году, въ Парижів, куда они оба прійхали тотчасъ послів

февральской революціи, нам'вреваясь изучать движеніе французскаго соціализма, очутившагося теперь на-просторів. Они скоро оставили свое намфреніе, потому что надъ соціализмомъ этимъ господствовали всецило чисто-мистине, политические вопросы, и у него была уже программа, отъ которой онъ не хоталь развлекаться — программа добиваться съ оружіснь въ рукахъ господствующаго положенія въ государствъ для работника. Но и до этой эпохи были иннуты заочной беседы съ Марксонъ, весьма любопытныя для меня: одна такая выпала на мою долю въ 1846 году, когда по поводу нав'ястной вниги Прудона: «Système des contradictions économiques», Марксъ написаль мив по-французски пространное письмо, гдв излагаль свой взглядъ на теорію Прудона. Письмо это врайне замічательно: опо опередило время, въ которое было писано, двумя своими чертамикритикой положеній Прудона, предугадавшей цізликовъ всі возраженія, какія были предъявлени на нихъ впоследствій, а потомъ новостью взгляда на значеніе экономической исторіи народовъ. Марксъ одинъ изъ первыхъ сказалъ, что государственныя формы, а . также и вся общественная жизнь народовъ съ ихъ моралью, философіей, искусствомъ и наукой - суть только прямие результаты экономическихъ отношеній между людьми, и съ переміной этихъ отно-шеній сами маняются или даже и вовсе упраздияются. Все дало состоить въ томъ, чтобы узнать и определить законы, которые вызывають перемены въ экономическихъ отношенияхъ людей, имъющия такія громадния последствія. Въ антиноміяхъ же Прудона, въ его противопоставлении однихъ экономическихъ явлений другимъ, произвольно сведеннымъ другъ съ другомъ и, по свидътельству исторіи, нисколько не вытекавшимъ одно изъ другого, Марксъ усматривалъ только тенденцію автора облегчить совъсть буржувани, возводя непріятные ей факты современныхъ экономическихъ порядковъ въ безабстранцін à la l'erent и въ закопы, будто бы, присущів самой природъ вещей. На этомъ основания опъ и обзываетъ Прудона теологомъ соціализма и мелкинь буржув съ головы до ногъ. Окончаніе этого письма передаю въ дословномъ переводъ, такъ-какъ оно можетъ служить хорошимъ комментаріемъ къ сценъ, разсказанной выше, и даеть ключь для пониманія ея:

«Въ одномъ только я схожусь съ господиномъ Прудономъ (NB. Марксъ вездъ пишетъ: «monsieur Pr.»), именно—въ его отвращени къ плаксивому соціализму (sensiblerie sociale). Ранфе его я уже нажилъ себъ множество враговъ монии насмъшками надъ чувствительнымъ, утопическимъ, бараньимъ соціализмомъ (socialisme moutonier). Но г. Прудонъ странно ошибается, замфияя одинъ видъ сантиментализма другимъ, именно сантиментализмомъ мелкаго буржув

я своими декламаціями о святости домашняго очага, супружеской любви и другихъ тому подобныхъ вещахъ, — той сантиментальностью, которан, вдобавокъ, еще и глубже была выражена у Фурье, чъмъ во всехъ самодовольныхъ пошлостяхъ нашего добраго г. Прудона. Да онъ и самъ хорошо чувствуеть свою неспособность трактовать объ этихъ предметахъ, потому что по поводу ихъ отдается невыразимому бъщенству, возгласамъ, всемъ гифвамъ честной души — irae hominis probi: онъ пъпится, клянеть, доносить, кричить о позоръ и чумъ, бъетъ себя въ грудь и призываетъ Вога и людей въ свидатели того, что непричастенъ гнуспостямъ соціалистовъ. Онъ заничается не критикой ихъ сантиментализма, а-какъ настоящій святой или папа-отлучения несчастных грышинковь, причемь воспываеть хвалу наленькой буржувайн и он пошленькимъ натріархальнымъ доблестямъ, ел любовнымъ упражненіямъ. И это не съ-проста. Самъ г. Прудонъ съ головы до ногъ есть философъ и экономистъ маленькой буржуваін. Что такое наленькій буржуві Въ развитомъ обществъ опъ, всябдствіе своего положенія, неизбіжно ділается съ одной стороны экономистомъ, а съ другой — соціалистомъ: онъ въ одновремя и ословнень великолоніями знатной буржувзін, и сочувствуєть страданіямъ народа. Онъ мъщанинъ и виъстъ-народъ. Въ глубинъ своей совъсти онъ похваляеть себя за безпристрастіе, за то, что. нашелъ тайну равновъсія, которое, будто бы, не походить на «juste milieu», золотую середину. Такой буржув върусть въ противоръчія, потому что онъ самъ есть не что иное, какъ соціальное противорвчіе въ действін. Онъ представляеть на практике то, что говорить теорія, и г. Прудонъ достоинъ чести быть научнымъ представителемъ наленькой французской буржуваін. Это его положительная заслуга, потому что мелкая буржувая войдеть непременно значительной составной частью въ будущіе соціальные перевороты. Мий очень хотелось, вийсте съ этимъ письмомъ, послать вамъ и мою книгу «О политической экономіи», по до сихъ поръ я не могъ еще отыскать сого-нибудь, кто бы взялся напечатать мой трудъ и мою критику нъмецкихъ философовъ и соціалистовъ, о чемъ и говориль вамъ въ Брюссель. Вы не повърите, какія затруднеція встрічаеть такая публикація въ Германіи со стороны полиціи, во-первыхъ, и со стороны самихъ книгопродавцевъ-во-вторыхъ, которые являются корыстными представителями тенденцій, мною преслідуемыхъ. А что васается до собственной нашей партін, то она, прежде всего, крайне бъдна, а затвиъ добрая часть ея еще крайне озлоблена на меня за мое сопротивленіе вя декланаціянь и утопіянь.

Книга «О политической экономін», упоминаемая Марксомъ въ висьмъ, есть, какъ полагаю, послъдній его трудъ: «Капиталъ», наго всвиъ путешественникамъ, которымъ стыдно съ перваго же раза покориться чужой странви не сдвлать оговорокъ, вступая въ близкія съ ней связи. Отголосовъ этого мивнія сказался всего сильнве у В. П. Боткина, что и заставляетъ меня сдвлать выписку изъ московскаго его письма ко мив, отъ 12 октября 1847 г.:

«Истати, прочель въ 10 № «Современника» три письма Г. изъ Avenue Marigny и прочелъ ихъ съ санымъ живымъ удовольствіемъ. Первое письмо куже прочихъ: въ немъ даже замътно изкоторое усиліе съострить; разум'ьстся, не вездів, но кос-гай острота не вяжется сама собою къ перу, къ фразъ. Что касается до его взгляда на театры и городъ, то при всемъ его превосходствъ, при всемъ блескв и глубокомислій, по мосму мпінію, это все-таки первое наглядное впечатливие. Је пе cherche pas chicane à sa manière de voir-и вполив признавая за нимъ право смотреть на вещи подъ своимъ угломъ, я все-таки остаюсь при своемъ прежиемъ мивніи н не стану подражать славянской петеринмости Г., который меня разбранилъ за то, что я осмълился быть не одного съ нимъ мивнія. Во-вторыхъ, я прочелъ его письма съ наслаждениемъ: это такъ увлекательно, такъ игриво, это - арабескъ, въ которомъ шутка свивается съ глубокой мыслью, сердечный порывъ съ летучей остротой; что мић за дело, что я о многомъ думаю совершенно иначе: всякій имъетъ право смотръть на вещи по-своему, и Г. смотритъ на пихъ тавъ живо, такъ увлекательно, что я вовсе теряю желаніе спориты: наслаждение пересиливаетъ всякое другое чувство. По, но мосму мивнію, главный недостатокъ ихъ въ неопредвленности точки зрвнія; да, мив кажется, Г. не даль себв яснаго отчета ни въ значенін стараго дворянства, которымъ онъ такъ восхищался, ни въ значенін bourgeoisie, которую опъ такъ презпраетъ. Что же за этпяъ у него остается? Работпикъ. А земледълецъ? Неужели Г. думаетъ, что уменьшение избирательнаго ценза измъпить положение буржувзин. Я не думаю. Я не поклонникъ буржувзін, и меня не менто всякаго другого возмущаетъ и грубость ея правовъ, д ея сильпый прозаизмъ, но въ настоящемъ случав для меня важенъ факть. Я скептикъ; видя въ спорящихъ сторонахъ въ каждой столько же дельнаго, сколько и пустого, я но въ состояніи пристать ни къ одной, хотя въ качествъ угнетеннаго — классъ рабочій, безъ сомивнія, имъстъ всв мои симпатіи, а вивств съ твиъ не могу не прибавить: дай Вогъ, чтобъ у насъ была буржуазія! Cet air de matador, съ которымъ Г. все рышаетъ во Франціп-очень миль, увлекателень, я его, мочи нътъ, какъ люблю въ немъ, именно потому, что знаю мягков, голубиное сердце этого матадора, но въдь ръшение Г. ровно ничего не уясняеть: оно только скользить по вещамь. Всв эти вопросы до

такой степени сложны, что невозножно поднять на однав, не поднявши вийстй съ начъ нисколькихъ»...

Итакъ, даже оставляя въ сторонъ личные счеты В. И. Боткина съ Г., который высказываль ему часто горькую правду по поводу его безхарактерной поблажки всвиъ вившничъ приманкамъ парижсвой жизпи---приведенный отрывокъ все-таки выражаль инвніе и другихъ друзей Г., хорошо понимлющихъ причины и поводы демократическихъ возгласовъ о буржувзін въ ся отечествів, но считавшихъ такіе возгласы непригодными для русскаго общества, которое еще лишено образовательныхъ элементовъ, принесенныхъ нъкогда этой самой буржуазіей въ исторію. Притомъ же, друзья и не знали, куда еще заведеть Г. его огульное осужденіе Европы, и боялись, что авторитетное слово его отразится въ извращенномъ видъ на умахъ и представленіяхъ русскихъ читателей. Того же самаго боялись они и отъ исповеди Белинскаго, когда онъ попалъ за-границу и обпаружиль возэрвнія на западную культуру, близко подходившія къ воззръніямъ Г., о чемъ еще будемъ говорить. Можетъ быть, въ числъ причинъ, побудившихъ Г. написать позднъе вышеупомявутую свою статью. было и желаніе разъяснить друзьямъ свои истинвия отпошенія къ европейскому міру, и м'істо, которов онъ нам'ірень въ немъ запять. Извъстно, что въ статьъ противополагалось безвыходному положенію европейскаго общества появленіе народа, одно присутствів котораго въ Европ'в тревожить умы, который извъстепъ только съ прачинуъ сторопъ своихъ, но который несетъ съ собой народную культуру, качества имели и сердца, имъющія, повидимому, большую будущность. Къ этой нотъ, впервые раздавшейся у 1'. въ упомянутой статьъ, Г. потомъ часто возвращался и пробовалъ брать эту ноту на множество ладовъ, но она не у всехъ друзей вызвала сочувствіе, а въкоторые долго находили ее напряженной и фальшивой, несмотря ни на какія варьяція и смягченія, которыми сопровождаль ея по-часту авторъ...

Между тъмъ, жизнь Г. шла по-прежнему очень шумно и весело, несмотря на внезапныя остановки его посреди разсъяній и развлеченій Парижа и наступавшія за ними заботливыя ощупыванія почвы подъ своими погами; но перерывы эти были не долги, кругъ знакомыхъ его все болюе и болюе увеличивался, беседы разростались, говоръ усиливался 1). Ни онъ, да и никто изъ русскихъ друзей

<sup>1)</sup> Увлеченіе потокомъ развернувшейся передъ нимъ жизни отражалось и на плавахъ писательской его діятельности. Онъ началъ повість изъфранцулской революців 89 года съ русскимъ діятелемъ посреди ея, и не усоминлся послать разсказъ въ "Современникъ". Поздиве Панаевъ говорилъ мив въ Петербургі»: Г. съ ума сошель, посилаетъ памъ картини французской революція, точно она у насъ діло признаннов

его вовсе и не дунали о тонъ, что ножетъ наступить минута, вогда жить амфибіей посреди двухъ ніровь-западнаго и русскаго-не станетъ возножности, и придется выбирать между норядками, одинаково сильно и ревниво, хотя и на различныхъ основаніяхъ, предъявляющими права на обладание всемъ человскомъ. Минута была не за горами (всего одинъ годъ раздъляль ее отъ людей), по когда она пришла, - наступили горькіе разсчеты, болізненныя пожертвованія, выпужденныя, противоестественныя отреченія, испортивнія окончательно жизнь Г., да и иногихъ другихъ еще вивств съ ничъ.

## XXXII.

Начавъ говорить о зачаткахъ будущей русской эмиграціи, я не могу обойти молчаність новаго элемента движенія, которычь обогатился Парижъ въ тому времени, именно-польскаго. Элементъ этотъ существоваль, конечно, и прежде, но теперь онъ совершения преобразился.

Онъ сбросилъ съ себя мистическій оттинокъ, который сообщили ему Товянскій и Мицкевичъ, пять літь передъ тімь, не проповітдываль болье ученія о нессіанизнь, разрыпающень народные и всякіе другів вопросы посредствомъ парочно посылаемыхъ для того, предъпабранныхъ отъ въчности людей, и не говориль уже о братствъ всвур славянскихъ племенъ, какъ о последней цели ихъ историческаго развитія. Вивсто этого, въ Парижв засвдаль тогда, такъназываемый, центральный революціонный комитетъ изъ поляковъ, объявившій себя единственнымъ уполномоченнымъ отъ польскаго народа, для управленія діломъ возстановленія павшаго королевства въ старыхъ его границахъ, требовавшій для своихъ безаписляціонныхъ декретовъ слиного повиновенія отъ каждаго, кто только говорить польскимъ парфчіемъ, и достигавшій своей цели вполив. Комитетъ совсвиъ не дуналъ о примирени между славинами на какихъ-либо общихъ имъ основаніяхъ, а предписываль имъ просто войну противъ правительствъ, подъ которыми живутъ. Съ помощью своихъ агентовъ, прокламацій, администраторовъ и генераловъ, посылаемыхъ на различные и самые опасные пункты вь славянскихъ земляхъ, онъ держалъ всв нати общирнаго республиканскаго заговора въ своихъ рукахъ и только-что произвелъ галиційское движеніе 1846 г., кончившееся різней землевладівльцевь и падепісяв Кракова, после котораго комитеть и замолкъ на время, соображая н нозабытов. Повесть, разумеется, не попала въ печать, а явилась за границей, въ

особомъ сборинкъ.

вовие плани возстаній и движеній. Такъ какъ энергія двиствій была единственнымъ правомъ комитета на существованіе и едиственной инвеститурой, какую онъ предъявляль своимъ недоброжелателянь, въ родъ аристократической партіи Чарторискаго, то и всъ члени этой ассоціаціи отличались, или старались отличаться, точно тавой же эпергіей. Опа, нежду прочниъ, очищала и изсто въ саномъ комптетъ для честолюбцевъ, да имъла и множество другихъ выгодъ. Прежде всего она оснобождала людей отъ излишне требовательныхъ запросовъ со стороны пностранцевъ: отъ героевъ чего требовать? Одна эта доказанная революціонная энергія отвічала за все, замъщая удобно всъ другія качества, какія могли недоставать людянъ, она закрывала всв ихъ недостатки по образованію и умственному развитію, шла въ обмъпъ даже за правственныя свойства ихъ и за моральный характеръ, когда ихъ не оказывалось на лицо, — словомъ, персоналъ польскихъ эмигрантовъ жилъ въ Парижь какинь-то особеннымь, привилегированнымь сословіемь. Къ нему именно и пристроился одинъ изъ русскихъ искателей политическаго діла—В., знакомый уже намъ.

Уже съ 1842 года В. предвъщалъ то, чънъ сдълался впоследствін. Въ этомъ году онъ помъстиль въ извъстномъ журналі А. Руге свою статью подъ исевдонимомъ: «Elyzard», которая возбудила внимание ученыхъ немецкихъ бюргеровъ своими искусно построемными обвиненіями німецкаго гепія въ безплодной способвости его переводить всв требованія времени и развитія на почву сходастики, и затемъ, увидавъ ихъ въ облачении и пышныхъ орнаментахъ философской теоріп, успоконваться и приниматься опять за новыя упражненія въ томъ же же родь. Будучи самъ однимъ изъ жаркихъ адентовъ германской философін, онъ разорвалъ съ нею всь связи, а чтобъ положить между собой и ею достаточное физическое и правственное пространство — перевхаль изъ Берлипа въ Парижъ и принялся искать политического занитія по редакціямъ журналовъ, настерскимъ работниковъ, денократическимъ кафе-ресторанамъ наконецъ, успълъ обръсть въ польской пропагандъ нъчто похожее на спеціальность и призваніе. Посл'я нівкотораго колебанія, вызванваго самой ея односторонностью, о которой часто и упоминаль въ бесьдахъ съ друзьями, онъ окончилъ тъмъ, что принялъ ее вполнъ и отдался ей уже безоглядно, открыто и рашительно, сжигая собой корабли, не оставляя пи малейшей тропинки позади себя, на случай отступленія. Никто еще изъ русскихъ до вего такъ сивло не отрывался отъ домашнихъ пенатовъ своихъ, прежняго строя мыслей, старыхъ воспоминаній и созерцаній въ пользу вапрещенной резигін польскаго діла. Обаяніе этой религін заключалось для него

преннущественно въ революціонномъ характорів, за который ей отпускались иногія узкія стремленія, иногіє темные инстинкты. было что-то похожее на революціонный романтизив своего рода, гдв призраки и фантомы шли впереди логики, указаній исторіи, соображеній разсудка и опыта. Подъ покровомъ такого романтизма можно било сожальть о существовании въ человъчествъ различнихъ паціональностей, враждебных другь другу, — и въ то же время служить самому исключительному національному делу изъ всеха, когда-либо бывшихъ на свътъ; можно било отвазиваться отъ патріотическихъ предразсудковъ вообще, — и развить въ себъ взгляди и чувства польскаго ультра-патріота; можно било, наконецъ, счятаться свободных отъ всъхъ религіозныхъ и сословныхъ опредъленій, — и жить душа въ душу съ воюющимъ католичествомъ в шляхетствонъ. Такой широкой дороги для радикального дилеттавтизма не представляль даже и соціализмь, требовавшій все-таки отъ человъка въ каждомъ своемъ подраздъления (а ихъбило тогда не мало) отреченія отъ другихъ соперничествующихъ съ нимъ отдвловъ.

Въ это же время возникло и ученіе о необходимости привить польскую оппозиціонную энергію къ русской національности, лишенной ея отъ природы: развитіе этого ученія В. приняль на себя, в не мало способствоваль тому, что черезъ посредство газетъ, брошюръ, рачей и трактатовъ, учение вошло на накоторое время въ сознаніе Европы. Ему казалось, что онъ дёластъ при этомъ двойное дало-позбуждаеть сочувствіе къ одному славянскому народу, оскорбленному исторической песираведливостью, и воспитываеть основы независимаго сужденія въ другомъ славянскомъ народѣ, пменно—у соотечественниковъ. Такъ какъ отъ количества едипомышленниковъ въ русскомъ мірф завистла большая или меньшая важность его собственнаго положенія въ эмиграцін, то В. производиль наборъ пряверженцевъ не очень строго и разборчиво, зачисляя въ ряды ихъ, вивств съ умами, наклонными заниматься политическими проблемами, и просто любопытствующихъ людей, или такихъ, которые искали болью или менью интересныхъ и пикавтныхъ зпакомствъ въ Нарижь. Сань онь, однако же, подаваль примъръ открытаго исповъдыванія своихъ убъжденій, которое ищеть случаевь довести свои положения до общаго свъдъния и при нуждъ не отступитъ для этого передъ уличной манифестаціей или политическимъ склидаломъ. Таковъ быль проходимый имъ тогда фазисъ жизни, предмествовавший последнему ен періоду, когда Б. выработаль изъ себя полнейшій типъ космополита, до того полный, что казался отвлеченностью и становился почти непонятными съ точки арфиія реальными условій человічноскаго существованія, — типъ, не признававшій силы никавихъ историческихъ, географическихъ, бытовыхъ условій для опреділенія судьбы и дівятельности народовъ, упразднявшій расы, пленена, сложившіяся государства и общества — для постройки на ихъ обложкахъ одного общаго образца рабочей жизни.

В. скоро достигь апогея ниволлирующаго философскаго и экономическаго романтизма, но это было еще впереди, а теперь, въ качествъ только польскаго аглтатора, онъ ждалъ случая торжественно и оффиціально, такъ сказать, заявить свой выборъ партіи. Случай представился, почти накапунъ революціи 1848 года, при праздиованін польской волоніей годовщины варшавскаго возстанія 1830 года. В. произпесъ на юбилев, передъ иногочисленнымъ собранісять и въ публичной залів свою извівстную рівчь, въ которой. остерегаль поляковь отъ попытокъ примиренія съ врагами, какія били уже дъланы нъкоторыми изъ ихъ соотечественниковъ, и, напротивъ, возбуждалъ ихъ въ враждъ на-смерть за свою національную идею, приченъ, копечно, не былъ скупъ на прачную характеристику главных противниковъ идеи. Министерство Гизо, такъ боявшееся вообще народныхъ страстей и всякаго предлога въ нивъ (а особенно польскаго), не оставило рачь безъ отвата, и на третій день посл'в ея произнесенія вислало оратора изъ Парвжа, причень самь Гизо, отвітная на запрось по этому случаю въ палатів депутатовъ, сказалъ, что нельзя же дозволить всявой свирфиой личности (une personalité violente), въ родъ Б., нарушать общественвий порядокъ и международныя приличія. Тогда Б. убхаль въ Врюссель, написавъ предварительно письмо къ министру внутреннихъ дълъ, графу Дюшателю, въ которомъ, упрекая его за превишеніе власти, замівчаль, что будущность принадлежить не ему и его партін, а тімъ, кого онъ гонить и преслідуеть теперь.

Несмотря на силу привлекательности, какою обладаль В., и благодаря своей чуткости ко всвыь вопросамы совысти, возникающимы вы сознании человыка, благодаря еще ежеминутной готовности заниматься разрышениемы правственныхы и умственныхы затруднений, которыми страдаюты люди, ищущие выхода изы противорычий своей мисли со своимы воспитаниемы и природными наклонностями, —В. всетаки не могы устроиты откровенныхы сношений между русской колоней и польской эмиграціей, какы часто ни сводилы ихы, и какы искусно ни направлялы ихы бесьды. Очень тонкой струей, почти незамытной для посторонняго глаза, но внутренно ощущаемой всыми участинками дыла, пробыгала какая-то фальшы вы сношенияхы между двумя сторонами, и Г. открымы ее тотчасы же, какы очутился между ними. Съ обымы стороны существовало множество мысленныхы огра-

ниченій, — того, что въ доктринь iesyntobs называлось «restrictions mentales>, и всего обильные такими прісмами и уловками были именно тв патетическія минуты, когда стороны сходились на какихълибо общихъ началахъ и дружелюбно подавали другъ другу руки, радуясь единству и согласію своих і либеральних идей. Каждая нуъ сторонъ еще подразунивала ийчто такое, чего не висказивала, а это невысказываемое и было самое существенное. Надо вспомнить, что тогдашная польская эмиграція, всявдъ за своими передовний людьми, и при явномъ и тайномъ одобреніи Европы, жила мыслію о необходимости польскаго верховенства, польской гегемопін въ будущемъ федеративномъ союзъ славянскихъ племенъ, стояла за право Польши требовать отъ близкихъ и дальнихъ своихъ соплеменниковъ, во имя своей высшей цивилизаціи и давней принадлежности въ свропейской культурф, добровольной покорности и пужныхъ жертвъ для. осуществленія этого протектората. Понимая неудобство излагать передъ русскими друзьями свою руковедящую націопальную идею, польская эмиграція не ставила ее на видъ, когда річь заходяла о роли и призваніи различныхъ національностей славянскаго міра, а -такая ричь заходила поминутно.

Много другихъ любопытныхъ соображеній, а подъ-чась и откро--веній племенного духа и характера, высказывалось въ этихъ разговорахъ, но сообщать ихъ здъсь, по размърамъ и цълямъ нашей статьи, не предстоить возможности. Между прочимь маститый Лелевель, жившій въ Брюссель въ крайней и почетной бъдности, изумиль меня однажды правдой и откровенностію своихъ воззрвній, сберегаемыхъ другими его соотечественниками только про себя. Впрочемъ, опъ и последнихъ изумлялъ темъ же не разъ, какъ, наприивръ, въ извъстной своей польской исторіи, гдф высказаль столько горькой правды своему народу. Профадомъ черезъ Врюссель я встрфтиль Лелевеля въ излюбленномъ имъ кафе, на антресоляхъ котораго опъ и жилъ, пользуясь трубой поъ его цечи, проведенной мимо его комнаты и согрававшей ее зимою. Регулярно каждый вечеръ онъ сходиль въ кафе выпивать свою чашку кофе, причемъ расилачивался парой су, тщательно запернутыхъ въ бумажку. Посли непродолжительной бесфды съ этимъ ветераномъ польскиго дфла, я думалъ, что не услышу болъе его голоса, но на другой день онъ зашелъ ко мив п, не заставъ дома, оставилъ пебольшую записку пофранцузски. Къ великому моему удивленію, я нашель въ ней коротенькій трактатецъ о томъ, что въ русскомъ языкъ, будто бы, не существуетъ словъ для выраженія понятій о личной чести и добродътели — honneur, vertu. Существующее слово честь въ русскомъ чкъ выражаетъ, будто бы, одно понятіе о родовомъ или служебновъ отличін, и въ этомъ смыслё оно только и понималось у насънскони, а добродётель есть составное слово, придуманное нами по нуждё, для обозначенія психическаго качества, котораго оно, однако же, нисколько не передаетъ. Такимъ образомъ, старикъ выходилъ на соглашеніе съ поднятымъ забраломъ и не скрывалъ своего настоящаго мийнія о контрагентв, съ которымъ намфревался вступить въ сдёлку.

Скрыть, впрочемъ, правду отъ глазъ русскихъ, минутныхъ сводоброжелателей, эмиграція все-таки не могла, и вызывала у подобную же затаснную національную думу. Русскіе выказывали передъ политическими врагами своими образцовое великодушіе, двляли всевозножныя уступки польскому патріотическому чувству, върили ихъ обвиненіямъ и укорамъ, и вифстъ съ тъмъ держали въ сохранности заднюю мысль свою, подсказывавную, что право на какое-либо главенство въ славянскомъ мірф, если о немъ позволятельно еще думать, можеть принадлежать только крвикому политическому твлу, какъ ихъ отечество, которое и есть настоящій представитель этого міра. Много надо било принимать предосторожностей, чтобы помешать этимъ тайнымъ, невыговариваемымъ мыслямъ--видти наружу и разорвать неждународный миражъ, который успълъ образоваться въ Парижъ, благодаря В. По инстинктивному чувству опасности потерять возножность сходокъ, которыя если ничего не разръшали, то, по крайней мъръ, пріучали людей другъ къ другу (и это уже было тогда не маловажнымъ дъломъ), явилось обоюдное, не подготовленное заранъе соглашение держать въ сторонъ всъ жгучів пародные вопросы, полныя ссоръ и препирательствъ, предоставляя ихъ разръщеніе будущему времени, и ограничиться покамъстъ упражиеніями въ гуманныхъ и благородныхъ чувствахъ, которыя такъ легко, удобно и эффектно выставлять на показъ. На этихъ основаніяхъ хорошее настроеніе вськъ членовъ кружка было обезиечено, и въ Парижъ становилось однинъ праздниконъ больше. Такъ зачинался польскій вопрось въ русскомъ міръ, и я представляю здъсь только фактъ, не разбирая его ни съ политической, ни съ нравственной точки зрфнія, и не упоминая о его посл'ядствіяхъ.

Истати заметить, В. самъ сознавался, что польскій вопросъ дорогъ ему особенно темъ, что далъ возможность поместить куда-инбудь жизпенныя цели, пристроиться къ какой-либо деятельности. По высылке изъ Парижа, онъ, въ октябре 1847, написалъ къ друзьямъ, тамъ остававшимся, письмо изъ Врюсселя, изъ котораго извлекаю следующія строки: «Я, вероятно, скоре долженъ буду спова ораторствовать; покаместь не говорите объ этомъ, кроме Т\* дело еще не совсёмъ решено. Можотъ статься, что меня и отсюда

также прогонять-пусть себъ гоняють, а я буду тыпь смылые, лучше и легче говорить. Вся жизнь моя определялась до сихъ поръ почти невольными изгибами, независимыми отъ монхъ собственныхъ предположеній; куда она меня поведеть? Богь знасть! Чувствую только, что возвратиться назадъ я не могу, и что никогда не паменю свопиъ убъжденіямъ. Въ этомъ вся моя спла и все мое достоинство, въ этомъ также вся действительность и вся истина моей жизни, въ этомъ моя въра и мой долгъ; а до остального миъ дъла ивтъ: будетъ, какъ будетъ. Вотъ ванъ моя исповъдь. Во всенъ этонъ ипого ипстицизма, скажете вы, — да кто же пе мистикъ? Можетъ ли бить канля жизни безъ инстицизма. Жизнь только тамъ, гдф есть широкій, безграничный и потому и нівсколько неопредівленный, мистическій горизонть; право, им всь почти ничего не знасиъ, живемъ живой сферъ, окруженные чудесами, силами жизни, и каждый <u> пагъ нашъ можетъ пхъ вызвать паружу, безъ пашего въдома в</u> часто даже независимо отъ пашей воли... Пріємъ, сдъланный мив поляками, наложилъ на меня огромную обязанность, но вывств показалу и даль мню возможность дыйствозать. Я знаю, что ви отпоситесь ко всему этому ифсколько скептически, и вы съ своей стороны правы; и я тоже перепотусь иногда на вату точку зрвнія, но что-жъ дълать --природы не измънить. Вы скептикъ -- я въруюмій — у каждаго изъ насъ свое дало. Но довольно объ этомъ. G. вамъ вланяется. Марксъ treibt hier dieselbe eitle Wirtschaft, wie · vorher — портитъ работпиковъ, дълая изъ нихъ резонёровъ. То же самое теоретическое сумасшествіе и неудовлетворенное, недовольное собою самодовольствіе и т. д.». Письмо это, кром'в свид'втельства о томъ, что не сущность польской пропаганды привлекала В. (о ней онъ отзывался очень свободно), а открываемая ею арена политической и агитаторской деятельности-письмо это, говорю, любопштно еще и въ другомъ отношени. Оно показываетъ автора въ настоящемъ его свътъ, какъ романтическаго, мистическаго анархиста, чъмъ онъ всегда быль, и чти объясняется его ненависть къ авторитетному, положительному и закоподательствующему Марксу, — ненависть, воторая продолжалась более 25 леть и завершилась между ними скандаломъ и полимъ разрывомъ. Впрочемъ, вскоръ открылся для В. и еще новый путь даятельности. Не прошло и 6-ти масяцевъ, какъ переворотъ 1848 г. открилъ ему опять двери Парижа, куда онъ и прибылъ, поселившись въ казаржи съ работпиками, составлявшими охрану и свиту революціоннаго префекта полиціи, изв'юстнаго Косидьера. До того, В. прислушивался къ соціализну и знакомился съ руководителями его только какъ съ новымъ элементомъ, па который могуть опереться будущіе, замышляемые политическіе

перевороты. Теперь онъ убъдняся, что работники и соціализиъ самостоятельныя силы, способныя и сами вынести наверхъ, на свояхъ плечахъ, человъка съ даромъ слова, критическимъ талантомъ и природной изобрътательностью на почвъ теорій, отвлеченныхъ построеній и пышныхъ иллюзій. Онъ отдался фантастическому соціалязму съ тъмъ же увлеченіемъ и съ тою же готовностію на жертвы, какъ и фантастическому полонизму, ему предшествовавшему.

Между такъ, какъ русско-польские вдохновенные праздники торжествовали водвореніе въчнаго мира на съверъ Европы, такія же торжества происходили, по разнымъ поводамъ и въ разныхъ форнахъ, во всъхъ углахъ Парижа. Образованные пностранцы собственно для такихъ праздниковъ, съ великолюпными спектаклями и аповеозани будущаго, и съфажались, почерпая въ нихъ сведенія о состоянии и направлении умовъ въ отечествъ всяческихъ реформаторскихъ попытокъ. Русская колонія не отставала ни отъ кого при этонь, а Г. быль часто самь душой и героемь подобныхъ празденковъ. Онъ очень скоро сдълался, какъ и В., изъ эрителя и галереи участниковъ и солистемъ въ нарижскихъ демократическихъ и соціальныхъ хорахъ. Подъ электрическимъ действіемъ всёхъ возбуждающихъ элементовъ города, живая природа Г. мгновенио пустила въ сторону ростки необычайной силы и роскоши, въ которыя вся и ушла, надрывая свое пормальное существование. Многосторонняя образованность Г. начинала служить ему всю ту службу, къ какой была способна, -- онъ понималъ источники идей лучше тъхъ, которые ихъ провозглашали, паходиль въ нивъ дополненія и очень часто поправки и ограничения, ускользавшия отъ специалистовъ по даннымъ вопросамъ. Онъ пачиналъ удивлять людей, и немного прошло времени съ его прівзда, какъ около него сталь образовываться вругь более чень поклонияковь, а, такъ-сказать, любоеникоев его со всеми признаками страстной привязанности. Въ числе последнихъ находился и извъстный эмигрантъ, поэтъ Г — гъ, воторый потомъ ввесъ столько горя и страданія въ его личное и семейное существованіе. Не разъ при разгаръ этого интеллектуальнаго пира въ Парижъ, инъ вспоминались московские пиры села Соколова, сопровождавшісся такимъ же первимиъ возбужденіемъ умственныхъ и физическихъ силъ, но уже какая была разница въ содержаніи и настроснін!

Относительно изумленія, возбуждаемаго въ иностранцахъ обширностію пониманія ніжоторыхъ русскихъ людей, способомъ ихъ ставить вопросы и признаками вообще пеобычайныхъ способностей можно было бы привести много любопытныхъ подробностей. Г. и В. собирали дань этого изумленія, смішаннаго почти со страхомъ, єдва не

на каждонъ шагу. Они постоянно, после встречи съ знакомине и незнакомыми лицами, оставляли ихъ въ раздумы на счетъ загадочныхъ натуръ такой силы мысли, такой смелости воззрений и языка, остающихся одиновими экземплярами развитія посреди своихъ земликовъ. Извъстная замътка Мишле, пришедпаго даже въ смущение отъ павоса, остроумія и широкихъ размаховъ одной прочитанной ниъ книги Г., показываетъ, что авторъ «Исторіи Франціи» допольно тщательно искаль объясненія этому новому для него явленію и думаль найти его въ швабско-русскомъ, а не чисто-славинскомъ происхожденія автора. Что касается до В., то уже и тогда приходили въ нему за совътомъ и разъясненіемъ по вопросамъ философскаго, отвлеченнаго мышленія, и притомъ такіе люди, какъ, напримъръ, Прудонъ. Одинъ изъ умныхъ и развитыхъ французовъ, который видель пробеды въ умственномъ развити своей собственной страни-созываль ради В. своихъ знакомыхъ и при этомъ говорилъ: я вамъ покажу чудище (une monstruosité) по сжатой діалектик'в к по пучезарной концепціи сущности всяческих видей» (par sa dialectique serrée et par sa perception lumineuse des idées dans leur essence).

Если Г., какъ ны замътили выше, попесъ на себъ слъды парижской жизни, то темъ менью могла избъжать заразы опьяняющей атмосферы большого города-тихая, сосредоточенная жена Г. Она преобразилась въ истую парижанку, усвоила себъ яркую денократическую окраску и горячо принимала къ сердцу интересы французской жизни, восторгалсь и любуясь развыми, болье или менье, бъдными и страдающими людьми, выброшенными ею па улицу, и особенно твин полу-буржув и полу-работниками, которые, кромв разимшленій о формъ будущаго, неизбъжнаго переворота, никакого другого занятія на свътъ не пиъли. Домъ Г. сдълался подобіемъ Діописісва уха, гдв ясно отражался весь шумъ Парижа, малфйнія движенія н волненія, пробъгавшія на поверхности его уличной и интеллектуальной жизни. И только одна М. О. К., сопровождавшая Г. въ ихъ путешествін, не захвачена была водоворотомъ и служила живниъ напоминовенісмъ о недавно покипутой ими и уже позабываемой Москвъ. Больная, ръдко выходившая изъ дома, посвятившая себя уходу за дётьми и только издали прислушивавшаяся къ гулу, который песся отъ всемірнаго города, она становилась какимъ-то апахропизмомъ въ семьъ, впрочемъ очень любившей и уважавщей ев. Какъ ни интересна была по своему содержанию и разпообразию новая обстановка, въ которую попала теперь эта умная и многостороние образованиая женщина, но мысль ея постоянно жила въ кругу далекихъ друзей, оставленныхъ въ Москвъ и занятыхъ своимъ не

блестящимъ и не шумнымъ дъломъ — спасать умы и правственное чувство людей отъ загрубънія, наступающаго со всъхъ сторонъ. Одникъ свониъ присутствіемъ въ домъ Г., она говорила хозяевамъ и нъкоторимъ изъ русскихъ гостей ихъ о другой культуръ, о недавнихъ, уже пренебрегаемыхъ друзьяхъ, занятыхъ у себя дома невзрачной, подготовительной, черновой работой просвъщенія. До нихъ ли было теперь при такомъ блескъ, при такихъ очаровательныхъ дорогахъ, открытыхъ на всъ стороны каждому уиственному и правственному побужденію и даже всякому капризу мысли! Въ образъ М. О. К., стояла передъ Г. олицетворенная элегія съ горячими спинатіями къ прошлому, — а кто изъ тъхъ, которые неслись теперь въ вихръ всяческихъ наслажденій европейскимъ міромъ и добытой свободой, имълъ время останавливаться передъ элегіями или прислушиваться къ нимъ?!

## XXXIII.

Вскоръ мив уяснилось, что были и другія причины къ холодности между друзьями, перефхавшими за-границу, и твин, которые
остались дома, — посущественные разсіяній Парижа. Посль пізскольвихъ, искреннихъ и довірчивыхъ бесіздъ, — происходившихъ у насъ
обыкновенно по вочамъ — въ Парижѣ, я не могъ сомнівшться боліве, къ великому моему изумленію, что въ глазахъ Г. и его семьи —
Москва совершенно поблекла, лишилась своихъ красокъ, утеряла магическое слово, отворяющее сердца. Вся старая жизпь въ ней казалась уже Г. и его женъ сухой степью; на ней уже не росло боліве трогательныхъ воспоминаній, да и тв, которыя оставались отъ
давняго времени, видимо завяли, не поддерживаемым тщательнымъ
уходомъ, который также необходимъ для воспоминаній, какъ для дівтей и цвітовъ.

Переворотъ этотъ объяснить не совсвиъ легко, потому что онъ вышелъ изъ довольно сложнаго психическаго процесса и воспитался массой очень топкихъ первимхъ раздраженій, — но несомивнно, что начался переворотъ еще въ Москвв и только довершился за-граписй. Обстоятельство это проянло для меня большой свътъ на всв пріеми Г. въ Парижъ, на всю его судорожную торопливость поставить себя въ центръ новой жизни: другая, старая, которая могла бы служить ей противовъсомъ, уже скрылась для него въ туманъ и болье не существовала. Никто еще не возбуждалъ во миъ такъ полно предчувствія, при первыхъ же шагахъ Г. на почвъ европензма, что онъ приростетъ къ ней навсегда, что почва эта окон-

чательно овладветь имъ и уже не уступить его никакой другой, хотя фактическихъ поводовъ для такого пророчества пока еще и не представлялось ниоткуда. Но я тогда не зналъ, что Г. просто старается нажить себъ второе, духовное отечество, такъ какъ первое уже лишилось своей притягательной силы и существовало только какъ поводъ къ сожалънію, дружескому участію и великодушному предложенію посильныхъ услугъ, если потребуются.

Извъстно, что незадолго до отъбзда за-границу, Г. потерялъ отца и получиль довольно значительное наследство, сделавшее его сравнительно богатымъ человъкомъ. Рамки, въ которыхъ заключено было до того его московское существованіе, раздвинулись, но показались ему еще теспее, стеснительнее, чемъ прежде; съ увеличеніемъ матеріальныхъ средствъ поднялись и окрылились желанія, а желанія и стремленія у этого въ высшей степеви сангвипическаго характера находились въ уровень съ его образованиемъ и мыслію. При томъ же для Г. наступала та пора жизни, когда человъкъ испытываетъ обыкновенно мучительную потребность самой напряженной деятельности (ему шелъ 35-ий годъ); но простора для деятельности въ той формъ и тъхъ размърахъ, какіе ему были нужны, опъ, конечно, найти не могъ. Оставалось убивать весь избитокъ накопившейся энергін въ пустомъ мозговомъ одушевленін, въ шумъ дружескихъ собраній, въ поддержаніи или опроверженіи болье или менво двльныхъ тэзисовъ на вечерахъ и по объдамъ; во, во-нервыхъ, это не могло продолжаться долго, а во-вторыхъ, скоро оказалось, что и по этой тропинкъ уже нельзя было двигаться. Центры прежнихъ собраній распались, дружескія интивныя сходки но удавались болье. Последнимъ особенно повредилъ переворотъ въ матеріальномъ бытв Г. и сравнительно богатая обстановка его дома, явившаяся, конечно, безъ всякаго преднамфренія у новыхъ хозяєвъ. Не было увлеченія, составлявшаго букеть подобнихь сходокь въ прежнее время, когда онв возникали на общихъ издержкахъ, требовали ифкотораго пожертвованія, вызывали хлопоты и хозяйскія соображенія. Г. разсказываль, что появленіе какого-нябудь серебряваго подноса или канделябра въ его новомъ хозяйствъ поражало какъ-бы ивмотой его друзей: искренность и веселіе пропало, какъ только повстрачались съ готовымъ комфортомъ. Онъ относилъ это явленіе въ той каняв демократической зависти, которая живеть въ сердцахъ даже самыхъ лучшихъ людей; но такое изъяснение мив казалось всегда песправедливостію: туть било сожальніе объ утерянныхъ условінхъ прежняго скромнаго образа жизни. Когда уже оказалось почти невозможнымъ собрать подъ одну кровлю близкихъ людей безъ того, чтобы не увидать признаковъ изивненныхъ отношеній съ ними, и когда скоро оказалось (о чемъ сейчасъ будемъ говорить), что они уже расходится и въ пониманіи предметовъ—что оставалось дѣлать? Уиственные интересы московской и вообще русской среды были изслѣдованы до нитки, вопросы, казавшіеся особенно важными, переворочены на всѣ лады. Серьёзной работы, въ которую можно было бы уйти и запереться отъ міра—не обрѣталось вовсе, а потому оставалось, конечно, только тушить поѣдающій огонь дѣлтельности чѣмъ ни попало. А между тѣмъ, почти о-бовъ, существовала, въ формѣ западнаго міра, — просториая арепа для безконтрольнаго удовлетворенія всѣхъ уиственныхъ потребностей, но доступъ къ ней былъ невозможенъ, по особенному ноложенію Г. въ отечествѣ. Много усилій употребиль онъ, чтобъ разорвать эту цѣпь, связывающую его движенія, и вѣролтно не усиѣлъ бы, если бы В. А. Жуковскій не принялъ участія въ его судьбѣ и не помогь ему достигнуть цѣли.

Не женъе любоинтна и душевная исторія, пережитая въ эту же пору женою Г. И ей, какъ и мужу ея, страшно издобла дисциплина, которую ввель и неуклонно поддерживаль тогдашній пдеализив между друзьями. Паблюденіе за собой, отметаніе въ сторону, какъ опаснаго элемента, ифкоторыхъ побужденій сердца и натуры, неустанное хождение по одному ритуплу долга, обязанностей, возвышенныхъ мислей, — все это походило на строгій монашескій искусъ. Какъ всякій искусь, онь имъль свою чарующую и обаятельную силу сначала, но становился нестерпимымъ при продолжительности. Любопытно, что нервимъ, поднявшимъ знамя бунта противъ проповъди о нравственной выдержив и объ ограничении свободы отдаваться личнымъ физическимъ и уиственнымъ поползновеніямъ былъ О. Онъ и привилъ къ обоимъ своимъ друзьямъ, Г. и его женъ (особенно къ послъдней), воззрвніе на право каждаго располагать собой, не придерживаясь высакому кодексу установленныхъ правилъ, столь же условныхъ и стъспительныхъ въ оффиціальной морали, какъ и въ приватной, какую заподять иногда дружескіе кружки для своего обихода. Ність сомивнія, что возарвніе О. нивло аристократическую подкладку, давая развитымъ людимъ съ обезпеченнымъ состоянісмъ возможность спокойно и сознательно пренебрегать тами правственными стасненіями, какія пропов'ядываются людьми, незнавшими отъ роду обаяній и наслажденій полной матеріальной и умственной независимости. Въ основъ его лежало еще и уважение къ физіологическимъ требованіявь лица, которыя всего менве признавались демократическими учани, искавшини установить общін правила и начала даже и для органическихъ и психическихъ отличій человъка. Оно пришло по вкусу тогдашнему Г., выбитому изъ обиденной колен московскаго

дружескаго существованія, и это обстоятельство, вийсти съ сохранившейся ніжностью къ товарищу своего дітства, объясняеть то високое мийніе объ О., которое не разъ выражаль Г., называя его свободнійшей человійкомъ и умитишей головой въ Россів. То достовірно, что вліяніе О. вийло ненсчислиныя послідствія для самого Г., а также и для жени его.

Вся эта работа передвиженія съ одной точки зрвнія на предметы — на другую, начавшаяся съ появленія О. въ Москвъ, въ 1846 г., — шла однакоже гораздо медлените у Г., чтить у его жени. Г. не скоро отдълался отъ первоначальной философской своей закваски. Несмотря на свое отречение отъ статутовъ идеалистическаго ордена, въ которому принадлежалъ, несмотря на попытки сскуляризовать, такъ-сказать, свою жизнь, Г. долго и потомъ сохранялъ на себъ печать, пріемы в сословныя отличія своего прежняго званія. Типъ строгаго учителя и правственнаго проповъдника остался съ нимъ и после того, какъ онъ сошелъ, такъ-сказать, съ каоедри и поселился на публичномъ рынкъ, раздъляя его волненія, ропотъ и жалобы. Отъ пъкоторыхъ основныхъ началъ исповъдуемой ниъ . накогда философско-моральной доктрицы онъ никогда уже и не отказывался. Впоследствін онъ даже казался, на основанін именю этого первороднаго гръха, мпогимъ умамъ и характерамъ, поздиве народившимся и уже не знавшимъ никакихъ стфененій, — полу-либераломъ и первшительнымъ человъкомъ. По наружности пикакой перемъны въ способъ пользоваться своей жизнію и полодостью съ нимъ не произошло съ тъхъ поръ, какъ онъ стояль на евронейской почив. Онъ и прежде, не ственяясь началами и правилами, отдавался свободно влеченію мимолетной фантазів, всякому затронутому чувству и первому впечатлівнію, но тогда еще у него сохранялось въ цівлости сознаніе, что опъ остается тімь же человінкомь, просвітленнымъ благодатию высшаго понимания жизни, какимъ воспитала его среда, что онъ не потерялъ способности судить правильно о собственныхъ увлеченіяхъ своихъ, и для сохраненія ихъ не продаваль своей души и иногихъ годовъ ся научнаго воспитанія. Также свободно распоряжался онъ и теперь своею нарыжскою жизпію, но съ вторженісыв вы нее политических и соціальных страстей - усноконтельной фикціи для сов'ясти не существовало боліве: всі эти явленія имівли свои устави, никівмъ не провітренние, очень требовательные, а подъ-часъ и возмущавшие непривычное къ нимъ ухо и чувство; вдобавокъ ови еще видавали себя за догмати, безъ принятія которыхъ къ нимъ и подступать не следуетъ. Запасъ старыхъ и нивогда вполив не растраченныхъ моральныхъ убъжденій составзпаченів ляль у Г. уже ненужный къ нимь придатокъ, потеряль

репулятора мыслей и существоваль безь цели, мешая уверовать въ правственную сторону предметовъ окончательно, и не имея силы совсемъ упразднить ихъ въ глубине совести, какъ ложные и не подтвержденные продукты одного общественнаго, болезненнаго недуга. Положение могло выдти трагическимъ—и впоследстви такимъ и вышло.

Наобороть, разложение старыхъ теорій и представленій отрази--пось полите и рашительное на душа бадной, восприничной, излиной по характеру и природъ, жепъ Г. — и переработало ее окончательно. Реакція противъ условій московскаго существованія началась у нея съ того игновенія, когда она почувствовала непреодоличое отвращение въ буржуваныма добродетелямъ, которыя составляли основу всего быта, окружавшаго ее, но она внесла еще страсть въ свою критику. Ей уже сделались не только скучны, но и подозрительны доблести при домашиемъ очагъ, семейный героизмъ, всегда довольный и гордый саминь собой, и въчное прославление всъхъ тахъ ножертвованій, трудовъ и добровольнихъ лишеній, которыя сносились передъ ся глазами на алтари разныхъ болве или менве почтенныхъ молоховъ, величаемыхъ, по ея мивнію, идеями. Съ пробудившейся жаждой въ расширенію своего существованія, она вознепавидела нескопчаемое хождение все въ одну сторону, по-солонь,и объясняла устройство этой невыносимой церемоніи, походившей въ ея глазахъ на раскольничье радвије, частію твиъ, что она необходина жрецамъ кружва для приврытія ихъ слабой, апатической, ограниченной природы, а частію твиъ, что она доставляють вообще бъднимъ инстинктамъ и побужденіямъ потъху гордаго самоуслаждепія. Никогда такъ радикально не относился самь Г. въ старому кружку друзей, пикогда не выкламваль столько жестовости и несправедливости въ приговорахъ надъ нимъ, никогда не отзывался о немъ съ такой пенавистью, цвия однако даже и въ спорахъ съ старимъ кружкомъ немиловижния усилія его членовъ выпосить жизпенния тяготы времени наиболъе мужественно, благоразумно и независимо. По все это пропало изъ вида его жени, замънилось кавой-то наивной, незлобивой диффанаціей прежнихъ друзей, какъ только приходилось вспоминать о нихъ. Жена Г. возлагала еще на отвътственность старыхъ знакомыхъ и долгую скуку прежней своей жизни, между твиъ какъ настоящей причиной этой скуки биль, какъ скоро объяснилось, запоздалый, мечтательный и безплодний романтизмъ. Несмотря на постоянное чтеніе серьёзныхъ иностранныхъ писателей, несмотря на философскій говоръ, раздававпійся постоянно около жены Г. н. вонечно, не щадившій никавихъ нальнивыхъ ръшеній вопросовъ, — душа ся имъла еще

свои секрети, сберегала про себя тайни задачи и питалась, въ самонъ шунъ скептическихъ изліяній, скрытными романтическими стремленіями и чалпіями. Но куда ни обращала опа свои глаза — ничего оник вы воскванскию он Ехгин викитиямо ймирорячоп ви отвжохоп вокругъ нея. Опа была счастлива въ мужћ, въ семьћ, въ друзькуъи страдала отсутствіемъ поэзін, которая не сопровождала всв этя благодатния явленія, въ той мірів, какъ би ей хотівлось. Она предпочла бы поэтическія біды, глубокія несчастія, окруженныя симпатіей и удивленіемъ постороннихъ, и минутныя упоснія — тому простому безиятежному благополучію, которымь наслаждалась. Задачей ея жизни сделалось, такимъ образомъ, обретение романтизма, въ томъ видъ, какъ онъ существовалъ въ ся фантазіи: за пимъ она и погналась со страстію и пеутомимостью искателя волшебныхъ иладовъ, падъясь когда-ипбудь панасть на его сятдъ и вкусить отъ той испробованной немпогими смертными амврозіп возвышенныхъ чувствъ, какую онъ готовитъ для своихъ вфринхъ слугъ, -узнать отраду небеспыхъ ощущеній, ниъ доставляемыхъ. Подъ конецъ жизни ей показалось, что она держитъ эту чашу съ волшеб-нымъ папиткомъ въ своихъ рукахъ, по при первомъ же прикосвовенін губъ-глубочайшее отвращеніе п жгучее раскаяніе во всемь, что было сдълано для обладанія драгоцівними сосудоми, овладівло всвиъ ся существомъ и свело преждевременно въ могилу.

Я не наміренъ разсказывать здісь печальныя подробности боліве головной, чімъ сердечной страсти, какъ она развилась на реальной почвів у этой все-таки замічательной женщины, но піжоторыя черты исторіи важны и для опреділенія отношеній между разнородными эмиграціями.

Двло въ томъ, что поэтическая мечтательпица ознакомилась съ жизнію по романтизму, которую наконецъ обрвла въ Парижв черезъ посредство въ высшей степени развитой, изящной и вивств холодной и эгонстически-сластолюбивой личности, какою и быль вышеупомянутый Г — гъ. Личность эта, вдобавокъ, была еще двойной германской знаменитостію, —она прославилась лирическими пъснями, призывавшими народы къ оружію, и радикализмомъ взглядовъ на правительство вообще, и на прусское въ особенности. Подъмягкой, вкрадчивой наружностію, прикрываясь очень многостороннимъ, прозорливымъ умомъ, который всегда былъ на сторожв, такъсказать, и оппраясь на изумительную способность распознавать мальйшія душевныя движенія человъка и къ нимъ поддълываться, — чудная личность эта таила въ себъ сокровища эгонзма, эпикурейскихъ склонностей и потребности лелъять и удовлетворять свои страсти, чего бы то ни стоило, не заботясь объ участи жерівъ, кото-

рия будуть падать подъ ножомъ ся свервнаго эгонзка. Всв средства своего образованія, развитія, действительно не совсемъ обыкновененкъ, даже и въ кругу передовикъ людей Европи, а также и своего нервнаго темперамента, часто разръщавшагося лирическими, вдохновенными вспышками и порывани, — всф эти средства, говорю, перепробовала замъчательная личность, здъсь описываемая, для дъла обольщенія зафажей мечтательницы, для доставленія себ'я поб'яды вадъ всіми запросами многотребовательной ея фантазін. Долго отыскиваемый романтизмъ являлся теперь передъ женой Г. въ великолепномъ, ослепительномъ виде! Лоэнгринъ со сказочныхъ высотъ быль передъ нею на лицо, и, только подойдя къ нему ближе, она вдругъ увидала, какой страшный образъ скрывается за ангельской наской, имъ усноенной, -- и въ ужасъ, последнивъ сверхъестественнымъ движеніемъ воли, опа вырвалась изъ его рукъ, измученная и оскорбленияя. Можетъ быть, обольститель и действительно чувствоваль ивкотораго рода любовь и привязанность къ обреченной имъ жертвъ, какъ это бываетъ у иныхъ преслъдователей; но когда жертва ускользнула отъ него, любовь и привизапность пропали безсатдно, а мъсто ихъ заняли бъщенство неудачи, жажда мести за помятое тщеславіе и за оскорбленіе, нанесенное его гордости и самолюбію. Онъ принялся публично бросать грязью въ женщину и семью, благополучів которыхъ разрушиль, употребляя при этомъ средства, возмущавшія даже и друзей его...

И вотъ, чъмъ копчался романтизмъ для бъдной женщины, предавшейся ему и ноплатившейся за него жизнію, и вотъ какъ разръшались столкновенія наивной натуры съ человъкомъ, принадлежащимъ къ типу людей, встръчающихся на Западъ, и вооруженнымъ съ головы до ногъ, какъ для доблестныхъ, такъ и для всякихъ другихъ подвиговъ.

Всего печальные и поучительные въ этой исторіи—то, что Г. сань ввель человыка подобнаго закала въ свой домь и самь водвориль его у себя. Поздные, Г. говориль, что обращеніе его съ этимь человыкомь было болье фамильярное, чымь дружественное. Можеть быть, это и такь въ смыслы психической вырности, но мы всы видыли его непрестанныя ухаживанія за нашимь эмигрантомь, его усилія выказаться передь нимь блестящими сторонами ума, купить его вниманіе. Такъ было, вирочемь, на первыхъ порахъ у Г. и съ другими эмигрантами и знаменитостями радикальнаго міра—гораздо менфе развитыми, чёмь тоть, о которомь мы говоримь. Онь и имь открываль сокровища своего ума, сердца, расточаль нередь ними блестки остроумія и начитанности, не спрашивая, спо-

собны ли они еще понимать то, что имъ показывають такъ нераз-

Да куда же, спросять, давалась способность Г. къ тонкому анализу характеровъ, о которой я говорилъ прежде, его сатирическая и полемическая оксилка, которая такъ сильно билась въ Москвъ и поногала ему создавать такіе изткіе, часто безпощадные и уничтожающіе портреты знакомыхъ людей. Куда проналъ признанный мастеръ разительно-схожихъ каррикатуръ и горячихъ винграммъ, низвшихъ все подобіе біографическихъ данныхъ? Они не пропали, какъ оказалось впоследствін, Г. не утеряль, не лишился ни одной язъ прежнихъ своихъ силъ, но, въ поискахъ за новой духовной отчизной, онъ ихъ сдерживалъ искусственно, старался затоптать, запрятать подалье въ глубь души для того, чтобы добыть себь покусственную слиноту, дилавшуюся теперь уже необходимостью для оправданія себя. Онъ принималь м'вры противъ своей прозорливости п склопности въ комическимъ разоблаченіямъ; на этомъ условін только и могь сохраниться, въ умъ его, весь окружавній его міръвъкачествъ дъйствительнаго, не призрачнаго существованія, но міръ этотъ не хотвлъ знать объ усиліяхъ Г. понять его съ панлучшей сторопы, а потребоваль разделенія съ нижь его предразсудковь, предвзятыхь идей, необдуканныхъ ръшсній и плановъ. Г. склопился и въ эту сторону, и только когда чаша была переполнена, действительность сдълалась нестерпима, нагло-яспа въ своей несостоятельности — возвратились въ Г. прежнія вачества ума, вся мощь глубоваго психолога-мыслителя, и онъ отдалъ на судъ будущихъ русскихъ людей, въ извъстнихъ своихъ «Запискахъ» — какъ самого себя, такъ г типы двятелей, ведшихъ за собой политическія фаланги того времени. --- Многое и другое еще возвратилось въ нему тогда...

При отъезде 1. за границу изъ Москви, въ последній разъ собрались около него всё друзья и сопровождали его до первой станціи петербургской дороги. 1. ехаль на Петербургь и въ оминбусе: — железнаго, пути еще не было. Прощальный обедъ, устроенный на станціи, закончился, несмотря на шумное начало его, въ грустномъ настроеніи друзей — многіе изъ нихъ плакали. Чего бы, кажись, плакать по случаю отъезда за границу, на более или мене продолжительное время, молодой, исполненной силь и надеждъ, семый Но вместе съ ней ехаль еще человекъ, который, на зло всемь недоразуменіямъ, составляль еще такую необходимость въ жизпе своихъ друзей, что утрата его, даже и на короткій срокъ, поразила ихъ — когда наступила минута разставанія. Что бы заговорнля они, если бы могли предчувствовать, что для всемъ ихъ это была уже утрата вечная. Сопровождаемый горячими напутствіями, почти

страстники выраженіями любви и дружбы, Г. тронудся въ дальнайшій путь подъ трогательнымъ впечатлянісмъ этой разлуки. Онъ довезъ впечатлъніе свое всецъло и до Парижа, да и въ послъдующемъ развитии его жизни опо не разъ возставало въ его памяти, хотя уже не могло примирить его съ покинутымъ и далеко оставленнымъ позади міромъ. Только въ минуты полнаго правственнаго одиночества, испытаннаго имъ особенно передъ основаніемъ своего журнала, да въ минуты горькихъ раздумій о своемъ дълъ, которое, чънъ бы онъ ни жертвовалъ для него, все-таки не давало ему полвой натурализаціи въ сонив европейскихъ двятелей—только тогда восновинанія о Москвів — теплой, обильной струей приливали къ его сердцу и извлекали воиль страдающей души, доходившій и до друзей въ Вълокаменной. Онъ препоручалъ имъ своихъ дътей, препоручалъ виъ защиту собственнаго имени и взывалъ въ ихъ участію, поощренію, правственной поддержкъ. Оказалось, что жить безъ старыхъ связей съ Россіей становилось невыпосимымъ спротствомъ. Толпы людей, привлеченныхъ къ нему журвальнымъ полемъ, открытымъ виъ для искреннихъ и для корыстныхъ обличеній, для нуждъ общественной важности и для нуждъ личной мести и задътаго самолюбія — не могли ихъ замфинть...

Такъ носила бурпая, кипучая волна европейской жизни этотъ драгоцинный самородокъ, брошенный въ нее изъ какой-то далекой, неизвистной планеты, — носила изъ стороны въ сторону, разбивая его и, конечно, не заботясь о томъ, куда его сложить и пристроить.

Иначе выразилось действие той же европейской среды на другого и тоже замечательнаго русскаго человека, Васили Петровича Боткина. Г. уже не засталь его въ Париже, по я еще успель, до отъезда его обратно въ Россію, прожить съ нимъ целый годъ в съездить съ нимъ еще летомъ 1846 г. въ Тироль и Ломбардію, причемъ путешествие наше совершалось довольно оригинальнимъ способомъ. Минуя публичныя кареты и дилижансы, насколько было возможно, а также и черезъ-чуръ гостепримные дворцы съ отелями в ресторанами, мы ехали въ телегахъ и колясочкахъ местныхъ промышленниковъ извоза, и три месяца жили между крестьянами, лодочниками, работниками, по народнымъ австеріямъ, рынкамъ и темнимъ закоулкамъ городовъ и селеній. Я сожалею, что не велъдаевника этой поездки, который могъ бы быть любопытенъ теперь, после переворотовъ, обновившихъ Австрію и Италію...

Извъстно, что В. П. Ботвинъ женился на француженкъ, прітавшей отыскивать фортуну въ Россію и не дунавшей никогдао формальномъ бракъ, какъ и сама заявляла. Когда друзья Ботвна замътили ему, что проектъ женитьбы на дъвушкъ, которая

ничего другого не желаетъ, какъ весело прожить съ любимивъ чедовъкомъ болъе или менъе долгое время, представляетъ нъкотораго рода странность, — Воткинъ пришелъ въ великое негодование. «Такъ вотъ ченъ кончастся, говорияъ опъ, ваша гунанность и исклейс идеаловъ! -- эксплуатировать женщину, натениться ею и потонъ бросить, когда надовла-хорошія основи! > - Вракъ быль совершень по всемъ обрядамъ, въ Казанскомъ соборе, но черезъ месяцъ Ботвинъ увидалъ свою ошибку, и бросилъ тотчасъ же несчастиую женщину на произволъ судьбы, не желая уже болъе и слышать о ней. Какъ всегда бываетъ, опъ возненавидълъ въ ней собственный промахъ и навазываль въ ней свой собственный грахъ. Вийств съ твиъ вся одежда крайняго идеалиста, какую опъ восиль постоянно, вопреки всеми новымь модамь — вдругь соскочила съ него, какъ въ театральномъ превращении у многозинаго Фауста, обратившагося игновению въ бъщенаго юношу. Опъ предался весь сенсуальной жизни, окунулся въ самый омуть нарижекихъ любовникъ и всяческихъ приключеній, дополняя ихъ раздражающими впечативніями искусства, въ которомъ кропотливо рылся, отыскивая тончайшія черты произведеній, что было видонзивненість того же культа сенсуализму, которому онъ предался. Онъ отрывался отъ него, по временамъ, чтобъ освъжить голову отъ хифля одуряющихъ наслажденій, и возвращался къ нимъ еще съ большей эпергіей. Илодомъ такихъ зигіеническихъ перерывовъ била его пофадка въ Испанію и прекрасная кпига его, за ней последовавшая: «Письма изг Испаніи». Изъ того же источника проистекали и его занятія соціальними и политическими вопросими, въ которыхъ онъ съ изумительной прозорянностію открываять и потомъ пресяфдоваять малейшія черты скрытаго идеализма, замаскированной чувствительности и мечтательности, сдёлавшіяся теперь предчетами его ожесточенной ненависти. Въ такомъ пастроеніи засталь его и уже въ Москвъ серьёзный повороть даль, начавшійся повсемастно въ Европа, съ 1848 года. Никто болбе его не испугался этого новорота, да новороть еще и укръпили въ немъ зародившееся настроение, такъ какъ оно могло служить ибкоторымъ образомъ щитомъ и охраной противъ подозрвній въ моральной склонности къ утопіямъ. На склонъ жизин, съ ослабленіемъ силъ, и уже тогда, когда опъ самъ сдвлался значительнымъ капиталистомъ, В. И. Боткинъ заиялъ почетное и видное ивсто въ рядахъ нашей ультра-консервативной партіи. Но опъ превратился въ ультра-консерватора на свой собственный манеръ, который ставиль его неизмъримо выше большинства его собратовъ по убъжденіямъ. Въ основу своего послъдняго созерцанія, онъ положиль, кроив чувства сохранения своего общественнаго положения,

воторое у него всегда было очень живо, еще и доктрины двухъ велеких современныхъ мыслителей— Карлейля и Шопенгауера. Онъ почерппулъ у перваго его ненависть ко вседпевной болтовив журналистики и литературныхъ репортеровъ, вивств съ ученіемъ о спасительной силв повиновенія велькимъ авторитетамъ, просвітителямъ народовъ и двигателямъ исторіи, гді бы они ни встрітились. Отъ второго онъ усвоилъ его глубочайшее презрівне къ толив и народните массамъ и его энергическія проклятія безпредметному философствованію умниковъ, разлагающихъ только безъ конца и цвли одну собственную мысль. Такимъ образомъ, замівчательный человіть этоть перешель множество стадій развитія, и только смерть помівшала ему видіть, во что слагается и чімъ кончаеть нашъ русскій консерватизмъ.

## XXXIV.

Къ числу особенностей тогдашняго Парижа принадлежало еще и важное качество его — представлять для людей, ищущихъ почемулибо уединенія, самое тихое мъсто во всей континентальной Европъ. Въ немъ можно было пританться, скрыться и заслониться отъ людей, не переставая жить общей жизнію большого, всесвътнаго города.

Не надо было употреблять и особенныхъ усилій для того, чтобы найти въ Парижъ замиренний, такъ-сказать, уголокъ, изъ котораго легко и спокойно могло быть наблюдаемо одно ежедневное творчество города и народнаго французскаго духа вообще, что представляло еще запятіе, достаточное для наполненія цвлихъ дней и ивсяцевъ. Такіе уголин добывались во всехъ частяхъ города-и притомъ за сравнительно небольшія пожертвованія 1). Отъ одного изъ такихъ уголковъ я былъ неожиданно оторванъ очень печальнымъ извъстіемъ изъ Россін. В. П. Боткинъ писалъ миъ, что Бълинскій становится плохъ и приговоренъ докторами къ пофадкъ за-границу, висню на воды Зальцбрунна, въ Сплезін, начинавшія славиться своими присоными качествами противъ бользией легкихъ. Друзья составили между собой подписку для отправленія туда больного; въ участію въ подпискъ приглашаль меня и Боткинь. Я отвъчаль, что прівду самъ въ Зальцбруннъ я надвюсь быть полезиве Бізлинскому этимъ способомъ, чёмъ какимъ-либо другимъ. Точно такое же решение принямъ и И. С. Тургеневъ, находившийся тогда въ Верлинъ. Онъ немедленно отправился на встръчу неопытнаго воя-

<sup>1)</sup> Въ такихъ угодкахъ жило много нъмецкихъ ученихъ, прівэжавшихъ въ Парикъ дованчивать свои работи, а изъ русскихъ въ это время тамъ находился Н. Г. Фроловъ, переводившій "Космосъ" Гумбольдта, и П. Н. Кудрявцевъ, дописивавшій лиссертацію: "Судьби Италіи".

жера, нало разунавшаго по-намецки и никогда еще не покидавшаго своей родины, въ Штеттинъ, гда и принялъ его подъ свое покровительство. Оба они и прибыли черезъ Верлинъ въ Оберъ-Зальцоруниъ, поселясь въ чистомъ деревянномъ домика съ уютнымъ дворикомъ на главной, но далеко не блестящей улица баднаго еще городка.

Итакъ, оторвавшись отъ всёхъ связей въ Париже и отложивъ на будущее время плани разныхъ путешествій, я направился въ іюне 1847 г. въ Зальцорупнъ. Перепочевавъ въ Вреславле, я на другой день рано очутился въ неизвестномъ мис местечке, и на первыхъ же шагахъ по какой-то длинной улице встретилъ Тургенева и Белинскаго, возвращавшихся съ водъ домой...

Я едва узналь Балинскаго. Въ длиниомъ сюртука, въ картуза съ прямымъ возырькомъ и съ толстой палкой въ рукф-передо мной стояль старивь, который по временамь, словно заставая себя врасплохъ, быстро выпрявлялся и поправлялъ себя, стараясь придать своей наружности тотъ видъ, какой, но его соображенияхъ, ей слъдовало нифть. Усилія длились недолго и никого обмануть не могли: онъ представляль изъ себи очевидно организмъ, разрушенный на половину. Лицо его сделалось бело и гладво, какъ фарфоръ, и ни одной здоровой морщины на немъ, которая бы говорила объ упорной борьбъ, выдерживаемой человъкомъ съ наплывающими на него годами. Страшная худоба и глухой звукъ голоса довершали внечатлине, которое я старался скрыть, сколько могь, усиливаясь сообщить развязный и равнодушный видъ нашей встрычь. Былинскій, кажется, заивтель подлогь. «Перенесля ян ваши вещи въ намъ въ домъ»!-проговориль онь торопливо и какъ-то сконфуженно, направляясь къ дому.

Вещи были перенесены—я поселился по второмъ этажикъ квартиры—и начался длинный, томительный мъсяцъ безнадежнаго леченія, о воторомъ старый широволицый, приземистый докторъ Зальцбрунна уже составилъ себъ, важется, понятіе съ перваго же дня. На всъ мои разспросы о состояние больного, о надеждахъ на улучшеніе его здоровья, онъ постоянно отвъчалъ одной и той же фразой: «Да, вашъ пріятель очень боленъ». Волю повой или объясняющей мысли я такъ отъ него и не добился.

Каждое утро Вълнскій рано уходиль на води и, возвратясь домой, поднимался во второй этажь и будиль меня всегда одними и тъми же словами— «проснися, сибарить». У него били любимия слова и поговорки, къ которымъ привикаль и которыхъ долго не мънялъ, пока не обрътались новыя, обязанныя тоже прослужить потрочный срокъ. Такъ, всъ свои довольно частие споры съ Турге-

невинъ онъ обыкновенно начиналъ словани: «Мальчикъ,---берегитесь-и вась въ уголь поставлю». Выло что-то добродушное въ этихъ прибауткахъ, походившихъ на дътскую ласку. Тургеневъ» однаво же высказываль ску подъ-чась очень жесткія истины, особенно по отношению из неумению Велинского обращаться съ жизнію и къ его непониманію первыхъ реальныхъ ея основъ. Вълинский становился тогда серьёзенъ и начиналъ разбирать исихическія и бытовыя условія, истающія иногда полному развитію лодей, хотя бы оне и имъли всв необходимыя качества для развитія; однако же многія слова Тургенева, какъ я замітиль послів, западали ему въ душу, и онъ обсуждалъ ихъ еще и про себя нъкоторое время. Какъ ни оживлениы были, по временамъ, бесъды вашь, особенно когда дело касалось личностей и физіономій, оставленимуъ по ту сторону пъмецкой границы, но онъ все-таки не могли наполнить целаго летияго монотонияго дия, и притомъ въ городке, лишенновъ всякаго интеллектуального интереса. Напрасно друзья перебирали свои воспоменанія за утреннимъ кофе, который всемфрно длили, сидя подъ навъсоиъ барака, игравшаго на дворикъ нашего домика роль курьёзной бесфдии безъ сада и зелени; напрасно потомъ долгій «table d'hôte» въ какомъ-то ресторань наполнялся анекдотами, передачей журпальныхъ повостей и замътовъ о прочитанныхъ книгахъ и статьяхъ -- времени оставалось еще нестериимо много. Притомъ же скоро оказалась необходимость понизить и тонъ встхъ разговоровъ. Случалось, что смъхъ. вызванный какимъ-либо забавнимъ анекдотомъ-переходилъ у Бълинскаго въ пароксизмъ кашля, страшно и долго колебавшаго его грудь и животъ, а съ другой сторони — какая-либо замътка, принятая имъ къ сердцу, игновенно выгопяла краску на его лицъ и вызывала оживленное слово, за которынъ однако-жъ следовало почти тотчасъ физическое изнеможение. Чисто растительная, животная жизнь въ персисжку съ чтенісиъ н обидномъ насколькихъ имслей становилась необходимостью; но Тургеневъ не могъ выдерживать этого режима. Онъ сперва нашелъ выходъ изъ него, принявшись за продолжение «Записокъ Охотника», начало которыхъ появилось пъсколькими мъсяцами ранбе и впервые познакомило его со вкусомъ полнаго, литературнаго и популярнаго успъха. Онъ паписалъ въ Зальцбрупнъ своего замъчательнаго «Буристра», который понравился и Бълинскому, выслушавшему весь разскавъ съ виннаніемъ и сказавшему только о Півночкинів: «что за мерзавецъ--съ тонкими вкусами!» Но затъмъ Тургеневъ уже не могъ долье насиловать свою подвижную природу, и однажды, послъ полученія почти, объявиль намь, что увзжлеть на короткое время въ Верлинъ — проститься съ знакомими, отъвзжающими въ Англію, го

что, проводивъ ихъ, снова вериется въ Зальцбруннъ. Онъ оставилъ даже часть вещей на квартиръ. Въ Зальцбруннъ онъ не возвратился, вещи его мы перевезли съ собой въ Парижъ, самъ онъ чуть ли не побывалъ за это время въ Лондонъ.

Молодие годи Тургенева были наполнени приибрами такихъ неожиданныхъ поворотовъ въ сторону отъ предпринятаго дъла, нивышихъ силу всегда удивлять и бъсить его друзей, но надо сказать, что уклопенія эти выходили у пего постоянно изъ одного источника. Тургеневъ тогда еще не могъ останавливаться долго на одномъ ръщения и на одномъ чувствъ-изъ опасения замъшкаться и . учустить самую жизнь, которая бъжить мино и никого не ждеть. Имъ овладъвалъ родъ нервнаго безпокойства, когда приходилось только издали прислушиваться къ ея шуму. Онъ постоя ино рвался. къ разнымъ центрамъ, гдъ она наиболье кипитъ, и сгоралъ жаждой ощупать возможно большее количество характеровъ и типовъ, ею порождаемыхъ, каковы бы они ни были. Не мало жертвъ принесъ онъ этому влеченію своей природы, становясь иногда рядомъ съ довольно вичтожными личностями, по своимъ стремленіямъ, и продолжая съ ними подолгу одинаковый путь, точно опъ былъ его собствонный или особенно излюбленный имъ. Онъ никогда не раздъляль брезгливости большей части людей его круга, которая ившала имъ приближаться къ характерамъ и личностямъ извъстнаго круга идей и строя жизни-и томъ лишала ихъ значительной доли поучительныхъ наблюденій и выводовъ: Къ тому же, сознаніе разнообразныхъ средствъ успъха, данныхъ ему образованиемъ и природой, затемияло еще тогда для Тургенева и жизненных цфли. Въ эти годы полодости и ся увлоченій сму казалось еще, что онъ можетъ испробовать всв возножныя существованія и соединить въ себъ солидныя качества писателя и художника съ качествами, нужными для пріобратенія репутаціи побадителя на всахъ ринкахъ, ристалищахъ и аренахъ свъта, какіе всякое нъсколько развитое общество открываетъ своимъ празднимъ силамъ и тщеславію. Всв эти стремленія скоро улеглись подъ вліяніемъ столько же годовъ, сколько и труда надъ саминъ собой, особенно подъ отрезвляющинъ вліяніснъ сознаннаго имъ, накопецъ, литературнаго своего призванія; но ихъ еще помнять его прежніе сотоварищи, а нівкоторые изъ пихъ помнять еще и съцълью сдълать изъэтихъ давно угаснихъ стремленій основную черту его біографія. Вотъ почену я и решился дать здесь ивсто монив воспоминаніямь о сущности санаго явленія—въ падеждв, что опи, воспоминанія эти, можеть быть, помогуть судить о немъ съ ифрой и осторожностію, которыя не всегда сохраняются совретепниками нашего поэта-романиста.

При небольшомъ вниманіи уже и тогда постоянно сказывалось, что истинныя сочувствія Тургенева совершенно ясны и опредвленны, несмотря на его равномфрио-ласковое отношение къ самымъ разнокачественнымъ элементамъ общества; что истинныя привязанности и предпочтенія его не только им'яють обдуманныя основанія, но и способны въ продолжительной выдержив. Впоследствии все это обпаружилось ясно, но круги паши, привыкшіе вообще строго держаться въ своихъ границахъ, пугливо и подозрительно смотреть на все, что лежитъ за ними и о бокъ съ ними, долго не могли помириться съ упомяпутой расточительностію Тургенева на связи и знакомства. Независимость всёхъ движеній Тургенева, свободные переходы его отъ одного стана къ другому, противоположному, отъ одного круга идей къ другому, ему враждебному, а также и радикальныя перемены въ образе жизни, въ выборе ванятій и интересовъ, — поочередно приковывавшихъ къ себъ его вниманіе, были загадкой для строгихъ друзей его, и составили ему, въ средъ ихъ, незаслуженную репутацію легкомислія и слабохарактерности, но пякто еще у насъ такъ часто не обманывалъ пророчествъ и опредъленій своихъ критиковъ; никто такъ успъшно не передълывалъ общественныхъ приговоровъ въ свою пользу, какъ именно Тургепевъ. Пока масса эксцентрическихъ анекдотовъ о немъ ходила по литературному міру, въ видъ свидътельства о расположенім его полагаться, для пріобрітенія себі почетнаго міста въ світі, боліве на эффектныя слова и поступки, чімь на содержаніе и достоинство нхъ-Тургеневъ ни о ченъ другонъ не дуналъ, какъ о разборъ явленій, полученныхъ инъ путень опыта и наблюденій, какъ о превращеній ихъ въ свое уиственное добро—и при этоиъ разборъ обваружилъ качества имслителя, поэта и психолога, поразнашія его преждевременныхъ біографовъ. Такъ, между прочинъ, изъ близкихъ и дружелюбныхъ сношеній съ разнородными слоями общества, не нсключая и техъ, которые стояли у нашихъ круговъ на index, считались слоями отверженими и недостойными вниманія, возникла у Тургенева та, сибю выразиться, нужда справедливости по отпошенію къ людянъ н — какъ необходиная ея окраска — то блигорасположеніе къ нивъ, которыя составили ему другую и уже болфе вфрную репутацію-чрезвычайно симпатическаго, доброжелательнаго и много понимающаго человъка въ нашенъ руссконъ ніръ.

Очень скоро Тургеневъ сділался на цілий литературный періодъ излюбленнымъ человівкомъ этого многосложнаго русскаго міра, который призналь въ немъ свое довівренное лицо и поручиль ему ходатайство по всімь своимъ діламъ. А діла эти всі были невещественнаго свойства и состояли преимущественно въ отыскиванія

правъ на сочувствіе къ нравственныхъ и укственныхъ представленіемъ русскаго міра. Тургеневъ оказался не ниже задачи. Почти съ самаго начала литературнаго поприща онъ успёль открыть въ простоиъ народъ цълый строй замъчательныхъ представленій и своеобычной морали, что особенно было цвино, такъ какъ дело тутъ шло о робкомъ и заствичивомъ классв общества, который не умъетъ, да и вообще не любитъ говорить о себъ и про себя. Перенося ту же нытливость анализа на другіе классы общества, Тургеневъ сдълался въ Россіи льтописценъ и историкомъ уиственныхъ и душевныхъ томпеній всего своего времени по разрышенію пастоятельныхъ запросовъ пробужденной мысли, очнувшагося ума и сердца, которые не знали покажисть, какъ найти для себя выходъ и что съ собой делать. Въ сущности, вся литературная деятельность Тургенева можеть быть опредълена какъ длинный, подробный и поэтически-объясненный реестръ идеаловъ, какіо ходили по русской земль, между разпородными слоями ся образованнаго и полу-образованняго населенія, въ теченіе 30 льть и посреди обычной обстановки жизни и суровыхъ условій существованія, въ которыхъ она вращалась. Тургеневъ открылъ особенное творчество на Руси, творчество въ области идеаловъ, и какъ бы мечтательны, молоды, нечальны ни были на видъ эти идеалы, какой бы характетъ частнаго домашияго дъла, единичныхъ, разрозпенныхъ стремленій мысли и чувства, ни посили они на себъ, --- поучительная сторона ихъ заключалась въ разновидности съ тъмъ, чъмъ русская жизнь тогда особенно кичилась и что обыкновенно производила. Но внутрений симслъ всякихъ идеаловъ, даже и самихъ скромиихъ, такъ привлекателенъ и обладаетъ такой сплой возбуждать внимание и сочувствие, что на немъ останавливаются подъчасъ и уми, далеко ушедшіе по лъстниць научнаго и гражданскаго развитія. Идеалы вообщо есть семейное добро всего образованнаго человачества, а при этомъ часто случается, что и не значительная вещь становится дорогой по воспоминаніямъ и мыслямъ, съ нею связапнымъ. Вотъ почему единогласное, почти восторженное одобреніе, какимъ были встрачены на Западъ разсказы Тургенева, объяспяется, - кромъ мастерства изложенія, ему свойственнаго и удивившаго искушенный художническій вкусъ Европы, кромъ любопытства, возбужденнаго картинами неизвъстной, своеобычной культуры, --еще и тымъ, что разсказы эти поднимали край завъси, за которой можно было усмотръть тайну духовной и общечеловъческой производительности у новыхъ, чуждихъ людей, работу ихъ сознанія и страдающей мисли. Мы слишали въ послъднее время, что старый Гизо, прочитавъ Щигровскаго увзда» Тургенева, увидаль въ этомъ разсказв такой

глубовій исихическій анализь обще-человіческаго явленія, что пожелаль познаковиться и лично поговорить о предметі съ его авторовь. Мивнія философа и критика—Тэна, а также и Ж.-Занда, о разсказі: «Живыя мощи», извістны. Послідняя нисала автору: Nous tous, nous devons aller à l'école chez vous. Уже не говорю о рецензенті и историкі беллетрических произведеній Германіи, Юліаніз Шиндті, который провозгласиль Тургенева—королень современной новеллы. Трудно и пересчитать всіз симпатическіе отзывы иностранцевь о діятельности вашего романиста.

Тургеневъ не изивнилъ качестванъ своего творчества и тогда, когда поздаве вывель передъ публикой типы и образы смелаго отрицательнаго характера: и на этихъ холодимхъ физіономіяхъ лежать еще огненные следы какого-то давняго прохода по нимъ техъ же волиеній, катастрофъ и паденій, какіе вызывались пдеальными стремленіями у людей предшествовавшей эпохи вообще. По всей справедливости, Тургенева можно бы было назвать искателемъ душевныхъ кладовъ, таящихся въ надрахъ русскаго міра, и притомъ искателемъ, обладающить пеобманчивыми примътами для добыванія ихъ: опъ разрыль многое множество существованій съ цалью получить вещественное свидътельство о той идеъ, idée fixe, которая ихъ интаетъ и служить путеводной звъздой въ жизни, и никогда не удалялся съ пустыми руками отъ работы, вынося, если пе цельныя дорогія, психическія откровенія, то въ крайнемъ случав зачатки и пробы идеальныхъ созерцаній. Все это и сделало его толкователемъ своей эпохи, а вийсти съ типъ и первокласснымъ писателемъ въ отечествъ и за-грапицей. Полное развитие однакоже всъхъ творческихъ прісмовъ Тургенева, не пренебрегавшихъ и раздражающими вами, жесткими словами, ядовитими намеками для опредвленія грубой, пошлой, обычной русской действительности, и открывавшихъ въ то же время теплыя, целительныя струп, какія просачиваются въ этой же самой действительности — все это творчество, говорю, тогда лежало еще внереди. Тургеновъ еще только собиралъ для него матеріалы.

И. С. Тургеневъ остался за границей во Франціи и по отърздъ Бълнискаго во-свояси. Онъ жилъ почему-то довольно долго въ провинціи (въ Вгіе, и чуть ли не замкъ Ноганъ, помъстьи Ж.-Зандъ), а когда нафзжалъ въ Парижъ, то довольно разсъянно прислушивался къ толкамъ соотечественниковъ, интересуясь не столько предметами, которые ихъ занимали, сколько проявленіемъ ихъ характеровъ, психическими основами ихъ митий, причинами, которыя опредълили у нихъ тотъ или другой выборъ доктринъ и созерцаній. Изученіе лица стояло у него всегда на первомъ планъ; убъжденія цівнились не столько по своему содержанію, сколько по свъту, вакой они бросають на внутрениюю жизнь человъка. Черту эту онъ раздъляль съ большинствоиъ художниковъ и вообще съ психологами по природъ. Художникомъ и психологомъ былъ онъ и по отношению къ самому себь. Двойной анализъ-эстетический и моральный, какому сталь онь рапо подвергать самого себя, подъ конецъ переработалъ всю его правственную физіономію, потушивъ суету пустыхъ искапій, погоню за напускными чувствами и волненіями, пеобходимими для эфсмернихъ тріумфовъ. Европейская жизнь иного помогла ему въ этомъ труде надъ собой. Вообще говоря, Европа была для него землей обновленія: корин встхъ его стремленій, основы для воспитанія воли и характера, а также и развитія самой мысли заложены были въ ся почвъ-и тамъ глубоко развътвились и пустили отприски. Понятно становится, почему опъ предпочиталъ съ-молода держаться на этой почив, пока совстив не утвердился на ней. Не мало упрековъ отъ соотечественниковъ вынесъ онъ на въку своемъ за это предпочтение, казавшееся имъ обидиммъ; нъкоторые изъ нихъ видъли тутъ даже отсутствіе національныхъ убъжденій, космополитизмъ обезпеченнаго человъка, готоваго проивнять гражданскія обязанности свои на комфорть и легкія потъхи заграпичнаго существованія, и проч. и проч. Ни въ одпомъ изъ взводимихъ на него преступленій Тургепевъ, конечно, не вровинился, да ими и не могъ провиниться человыкъ, литературная дыятельность котораго — то-есть, другими словами, вся задача жизпи -ничего иного никогда и не высказывала, кромф постоянной, пламенной думы о своемъ отечествъ, и который жилъ ежедневной мыслію о немъ, гдф бы ни находился, что хорошо извъстно и старымъ и повымъ его знакомымъ. Не отсутствіе народныхъ симпатій въ душв и не надменное пренебрежение къ строю русской жизни сдълали Европу необходимостію для его существованія, а то, что здъсь обильнъе текла умственцая жизнь, поглощающая пустыя стремленія, что въ Евроит онъ чувствовалъ себя болтве простымъ, дтльнимъ, върнимъ самому себъ и болье свободнимъ отъ вздорнихъ искушеній, чымь когда становился лицомь къ лицу съ русской действительностію.

Особенно важно замътить, что и въ то время, и поздиве, ипкакого разрыва съ отечествомъ не могло существовать у Тургенева — уже и потому, что опъ всегда оставлялъ тамъ часть своего существованія, куда бы ни уходилъ, предметъ страсти, такъ-сказать, вменно русскую литературу, — понимая подъ этимъ словомъ художпическую, критическую и публицистическую дъятельность. Другая ученая литература жила тогда въ замкнутыхъ кругахъ и съ обще-

ствоиъ сношеній не вела. На той, первой, популярной литературъ и сосредоточникъ всв помыслы Тургенева. Извъстно, что въ то время русская литература считалась ступенью къ изученію законовъ и условій искусства. Дюди той эпохи видівли въ занятін искусствонъ единственную, оставшуюся имъ тропинку къ искотораго рода общественному далу: искусство составляло почти спасеніе людей, такъ вакъ позволяло имъ думать о себъ, вакъ о свободно-мыслящихъ людяхъ. Никогда уже после того идея искусства не понималась у насъ такъ общирно и въ таконъ универсильномъ, политико-соціальномъ значенін, какъ именно въ эти годы затишья. Искусствомъ дорожили: это была единственная ценность, которая находилась въ обращении, и какой люди могли располагать. Каждая теорія искусства, присвонвавшая, добывавшая ему новыя умственныя области, каждое расширение его въдомства, принимались съ великой благодарностью. Чамъ просторные становилось въ своихъ владиніяхъ искусство, чемъ далее отодвигались его границы, — темъ сильнъе увеличивалось число предметовъ, подлежащихъ публичному об-. сужденію. Вся работа общественной мисли возложена была на одного только агента ея, и такое пониманіе искусства жило почти во встать умахъ, но, разумфется, сплыте появлялось у присяжныхъ двятелей его. Такъ и у Тургенева – привязанность къ русской литературъ и искусству составляла органическое чувство, одолъть которое уже были не въ силахъ никакіе постороппіе соблазны и влеченія. Бълинскій высоко цъпиль это качество своего друга. Для Тургенева и многихъ его современниковъ, послъ народа, пичего болье важнаго и болье достойнаго вниманія и изученія, чыть русская литература, вовсе и не существовало въ Россін: ее одну они танъ и видъли, и на нее возлагали всв свои надежды. Другіе голоса, которые рядомъ съ нею песлись оттуда и подъ-часъ настойчиво требовали вниманія и уваженія къ себъ, проходили безъ отзвука въ ихъ мысли. Для Тургенева, — да, повторяю — и для многихъ другихъ еще за нимъ — слъдить за русской литературой значило-сладить за первенствующимъ (если не единственнымъ) воспитивающимъ и цивилизующимъ элементомъ въ Россіи.

Убъждение это связывалось еще съ представлениемъ дъльнаго литератора какъ пензбъжно високо-правственнаго лица; занятие литературой, казалось всъмъ, требуетъ прежде всего чистыхъ рукъ и возвышеннаго характера. Можно было бы привести много примъровъ, гдъ это миъние высказывалось отъ имени публики. Гоголь, котораго нельзя упрекнуть въ потворствъ литераторамъ, разсказалъ въ своей извъстной «Перепискъ» случай, когда одного какого-то писателя, провинившагося неблаговиднымъ поступкомъ въ провинція,

неизвъстний членъ общества остановилъ строгимъ выговоромъ, который кончался замічанісмь: «а еще литераторь!» Тургоневь подтверждалъ свое страстное чувство къ литературъ и свои заботи о ней-на самомъ дълъ. Многіе пвъ его топарищей, видъпшіе воз-·никповеніе «Современника» 1847 г., должны еще помпить, какъ хлопоталъ Тургеневъ объ основания этого органа, сколько потратиль онь труда, номощи совътомъ и деломъ на его распрестраненіе и укрыпленіе. Первые N.M. «Современника» содержать, крояв начала «Записокъ Охотника», еще нъсколько историческихъ и критическихъ замътокъ Тургенева, не попадавнихъ въ полное собрание его «Сочиненій». Кстати сказать: эстетическія и полемическія замътки Тургенева носили всегда какой-то характеръ междудълья, отличались умомъ, но никогда не обладали той полнотой содержапія, которая необходина для того, чтоби сказанное слово осталось въ памяти людей. То же самое суждение можетъ быть приложено я въ его поздивишимъ объяспеніямъ съ притиками и педоброжелателяни, къ его исповъдямъ своихъ мивній (professions do foi), поправкамъ и дополнениямъ его созерцаний и проч. Они пе удовлетворяли ни тёхъ, къ кому относились, ни публику, которая слёдила за его мивніями. Тургеневъ овладіваль вполні своими тэмами и становился убъдительнымъ только тогда, когда разъясиялъ предметы и самого себя на аренъ художественнаго творчества. Русская литература, прикрфиленная тогда исключительно къ этой аренв и къ разнымъ обширнымъ и мелкимъ ея отделамъ, становилась такимъ важнымъ жизненнымъ явленіемъ, что за нею въ глазакъ Тургенева должно было пропасть и пропадало все, что делалось другого на родини. Настоящее дило било въ одинкъ ся рукакъ – и такъ думалъ о русской журпалистикъ, публицистикъ и русской художественной дъятельности вообщо не онъ одинъ; кажъ уже ми сказали.

Вотъ почему, между прочимъ, Тургеневъ хладнокровно обощелъ и всв иден и доктрины тогдашней русско-парижской колопіи: опи истекали изъ другихъ источниковъ, чемъ тв, въ которыхъ онъ полагалъ настоящую, целебную силу. Русскій «политическій» человіть представлялся ему пока въ типъ первокласснаго русскаго инсателя, создающаго вокругъ себя публику и заставляющаго слушать себя поневолъ.

Очень характеристично для этого отдаленнаго времени то обстоятельство, что исключительная любовь Тургенева къ литературъ могла еще казаться подозрительной и навлечь ему непріятности. По возвращеніи въ Россію въ 1851 г., Тургеневъ быль потрясень извъстіемъ о смерти Гоголя (1852), и послаль въ одну московскую

гизету изсколько горячихъ строкъ сочувствія въ погибшему діятелю, уже посять того какъ въ Петербургъ состоялось распоряжение о недопущения надгробныхъ панегириковъ автору «Мертвыхъ Душъ». Некто не осв'ядомнися, зналъ ли или не зналъ Тургеневъ о состоявшемся распоряжении и можно ли было даже, предполагая, что распоряжение было сму изв'ястно, поставить сму въ вину желанию провести свою статойку въ свъть, такъ какъ для достиженія своего желанія онъ не парушаль никакихъ положительныхъ законовъ и подвергъ статью обыкновенному цензурному ходу, только на разстоянів нізскольких в соть версть от Петербурга — въ Москвів. Тогдашпій продседатель цензурнаго комитета въ Петербурге (Мусинъ-Пушкинъ) однакоже усмотрълъ въ бъгствъ статейки изъ-подъ его ведомства и появленій ся въ Москве ослушаніс начальству, и последствіемъ быль месячный аресть Тургенева при одной изъ Съезжихъ и затемъ высылка въ деревню на жительство. Благодаря втой иврв, Съвзжая, гдв опъ содержался (у Большого театра, нежду Екатеринипскимъ каналомъ и Офицерской улицей), попала въ русскую литературу и сделалась исторической Съезжей. Танъ, погреди разныхъ донашнихъ расправъ полиціи, бывшихъ тогда еще въ полномъ цвъту, по въ квартиръ самого частнаго пристава, кудабыль перепедень по повельнію Государя Насліжника (нынь царствующаго Императора), Тургеневъ написаль тоть маленькій chefd'oeuvro, который но утеряль и досель способности возбуждить умиленіе читателя, именно разсказъ «Муму». На другой день своего освобожденія и передъ вывіздомъ въ ссылку, онъ памъ и прочелъ его. Истинно трогательное внечатление произвель этоть разсказъ, вынесенный имъ изъ съвзжаго дома, и по своему содержанію, и по спокойному, хотя и грустному тону изложенія. Такъ отвівчаль Тургеневъ на постигшую его кару, продолжая безъ устали начатую явъ дъятельную художническую пропаганду по важнъйшему политическому вопросу того времени.

Послѣ этого отступленія, которое, въ виду разнорѣчивыхъ толковъ о замѣчательномъ человѣкѣ, порожденномъ той же впохой — 40-хъ годовъ, казалось миѣ совершенно необходимымъ — возвращаось пазадъ. Итакъ, послѣ отъѣзда Тургенева, мы остались съ Бѣлянскимъ вдвоемъ, съ глазу на глазъ, въ Зальцбруннѣ.

## XXXV.

Вълинскій явился инв въ эти дни долгихъ босъдъ и каждочаснаго обмѣна мыслей совершенно въ новомъ свѣтѣ. Страстная его натура, какъ ни была уже надорвана мучительнымъ недугомъ, еще

далево не походела на потухшій вулкапъ. Огонь все тлился у Бъдинскаго подъ корой наружнаго спокойствія и пробъгаль иногда по всему организму его. Правда, Бълинскій начиналь уже бояться саного себя, бояться тахъ еще не порабошенныхъ силъ, которыя въ немъ жили, и могли при случав, вырвавшись наружу, уничтожить за-разъ всв илоды прилежнаго леченія. Опъ принималь міры противъ своей внечатлительности. Сколько разъ случалось инф видфть, какъ Вълинскій, молча и съ бользпепнымъ выраженіемъ на лиць, опровидывался на спинку дивана или кресла, когда полученное имъ ощущение сильно въбдалось въ его душу, а онъ считалъ нужнымъ оторваться или освободиться отъ него. Минуты эти походили на особый видъ душевнаго страданія, присоединеннаго къ физическому, и не скоро проходили: мучительное выражение довольно долго не покидало его лица послъ нихъ. Можно было ожидать, что, несмотря : на всв предосторожности, наступить такое мгновение, когда онъ вс справится съ собой, - и, дъйствительно, такое игновение наступило для него въ концъ нашего пребыванія въ Зальцбрупнъ.

Надо знать, чёмъ былъ за полгода до своей смерти Белинскій, чтобы понять весь наоосъ этого меновенія, вмёвшаго весьма важныя послёдствія, и отъ дальнейшихъ и окончательныхъ результатовъ котораго освободила его только смерть. Я подразумеваю здёсь известное его письмо къ Гоголю, много потерявшее теперь иль первоначальныхъ своихъ красокъ, но въ свое время раздавшееся по интеллектуальной Россіи, какъ трубный гласъ. Кто поверитъ, что когда Белинскій писалъ его, онъ былъ уже пе прежній боецъ, искавшій битвъ, а, напротивъ, человекъ, наполовину замиренный и потерявшій вёру въ пользу литературныхъ сшибокъ, журнальной полемики, трактатовъ о теченіяхъ русской мысли и рецензій, уничтожающихъ болёв или менёв шаткія литературныя репутаціи.

Мысль его уже обращалась въ кругу идей другого порядка и занята была новыми нарождающимися опредъленіями правъ и обязанностей человъка, новой правдой, провозглащаемой экономическими ученіями, которая упраздияла всь представленія старой, отмъняемой правды, о правственномъ, добромъ и благородномъ на землю, и ставила на ихъ мъсто формулы и тезисы разсудочнаго характера. Вълинскій давно уже интересовался, какъ мы видъли прежде, этими проявленіями пытливаго духа современности, но о какомъ-либо приложеніи ихъ къ русскому міру, гдъ еще не существовало и азбуки для разбора и разумънія ихъ языка,—пикогда не помышляль. Онъ пришелъ только къ заключенію, что дъло развитія каждой отдъльной личности, ищущей нъкоторой высоты и свободы для своей мысли, полжно сопровождаться посильнымъ участіемъ въ изслъдованіи свойствъ

и элементовъ того потока политическихъ и соціальныхъ идей, въ который брошены теперь цивилизація и культура Европы. Для облегченія этой работы, необходимой для каждой мало-мальски мыслящей и соопстацеой личности, Білинскій и начиналь думать, что слідовало бы и въ русской литературів установить коренныя точки зрівнія на европейскія дізла, съ которыхъ и могла бы начинаться независимая работа критики у насъ и свободное изслідованіе всего ихъ содержанія.

Одного только не могъ онъ переносить: спокойствіе и хладнокровное размышление повидало его тотчасъ, какъ онъ встречался съ сужденіемъ, которое, подъ предлогомъ неопредъленности или неубъдительности европейскихъ теорій, обнаруживало поползновеніе позорить труды и начинація опохи, не признавать честпости ея стремленій, подвергать огуломъ насившкв всю ея работу, на основаніи тахъ самыхъ отжившихъ традицій, которыя именно и привели встхъ къ нынфиному положению дель. При встроче съ ораторствомъ или диффанаціей такого рода, Бълипскій выходиль изъ себя, а книга Гоголя «Переписка съ друзьями» была вся, какъ извъстно, проникнута духомъ недовърчивости и наглаго презрънія къ современному движенію умовъ, которое еще и плохо понимала. Вдобавокъ, она могла служить и тормазомъ для возникавшихъ тогда въ Россін плановъ престыянской реформы, о чемъ скажу ниже. Негодование, возбужденное ею у Вълинскаго, долго жило въ скрытновъ видъ въ сто сердца, такъ какъ онъ не могъ излить его вполив въ печатной оцінкі произведенія по условіямь тогдашней цензуры, а потому, лишь представился ему случай въ свободному слову, — оно потекло огненной лавой гифва, упрековъ и обличеній...

Понятно, однако же, что съ новымъ настроеніемъ Вълинскаго волненія и схватки русскихъ литературныхъ круговъ, въ которыхъ онъ еще недавно принималъ такое живое участіе, отошли на задній планъ. Онъ даже начиналъ смотрѣть и на всю собственную дѣятельность свою въ прошломъ, на всю изжитую имъ самимъ борьбу съ литературными противниками, гдѣ такъ много потрачено было силъ и здоровья на пріобрѣтеніе кажущихся побѣдъ и очень реальныхъ страданій, какъ на эпизодъ, о которомъ не стонтъ вспоминать. Такъ выходило, по крайней мѣрѣ, изъ его суровой, несправедливой оцѣнки самого себя, которую въ послѣдніе мѣсяцы его существованія не одипъ я слышалъ отъ него. Вѣлинскій становился однвокимъ посреди собственной партіи, несмотря на журналъ, основанный во имя его, и первымъ симптомомъ выхода нзъ ея рядовъ явилась у него утрата всѣхъ старыхъ антипатій, за которыя еще крѣпко держались его послѣдователи, какъ за средство сообщать видъ стой-

славленіи эгоняма, какъ единственнаго оружія, какинъ частное лицо, притьсняемое со всіхъ сторонъ государственными распорядками, можетъ и должно защищаться противъ матеріальной и правственной эксплуатаціи, направленной на него узаконеніями, обществонъ и государствонъ вообще. Ібнига принадлежала къ числу мибгочисленныхъ тогдашнихъ попитокъ подивнить существующія основы политической жизни другими лучшаго изділія, и достигала, какъ часто бывало съ этими попытками, цілей, совершенно противоположныхъ тімъ, какія иміла въ виду. Возводя эгоняжь на степень политической доблести, книга Стириера устроивала въ сущности діза плутократія (кстати — легкій каламбуръ, представляемый этимъ словомъ на русскомъ языків, не разъ и тогда употреблялся Бізлинскимъ въ разговорів). Ознакомившись съ книгой Стирнера, Бізлинскій приняль близко къ сердцу вопросъ, который она поднимала и старалась разрішить. Оказалось, что тутъ быль для него весьма важный нравственный вопросъ.

- Пугаться одного слова: «эгонзиъ», — говориль онъ, — было би ребячествомъ. Доказано, что человъкъ и чувствусть, и мыслять, и дъйствуетъ неизивнио по закону эгоистическихъ побужденій, да другихъ и пить не можетъ. Въда въ томъ, что мистическія ученія опозорили это слово, давъ ему зпачение прислужника всехъ низкихъ страстей и инстинктовъ въ человфкф, а мы и привыкли уже понинать его въ этомъ симслъ. Слово было обезчещено по-напрасну, такъ какъ въ сущности обозначаеть вполив естественное, необходиное, а потому и законное явленіе, да еще и заключаеть въ себі, какъ все необходимое и естественное, возможность моральнаго вывода. А вотъ я вижу тутъ автора, который оставляетъ слову его позорное значеніе, данное мистиками, да только дёлаетъ его при этомъ маякомъ, способнымъ указывать путь человъчеству, открывая во всёхъ позорныхъ мысляхъ, какія даются слову, еще новыя качества его и новыя его права на всеобщее уважение. Онъ просто двлаетъ со словомъ то же, что двлали съ нивъ и мистики, только съ другого конца. Отсюда и выходить невообразимая путаница: я полагаю, напримъръ, что кинга автора найдетъ восторженныхъ цвнителей въ тъхъ людяхъ, одобренія которыхъ онъ совсьяв не желалъ, и строгихъ критиковъ въ техъ, для которыхъ книга наин-сана. Нельзя серьёзно говорить о эгоизмъ, не положивъ предварительно въ основу его-моральный принципъ, и не попытавъ затемъ наложить его теоретически, какъ моральное начало, ченъ опъ, рано или поздно, пепремънно сдълается...

Я передаю здёсь смысль рёчи Вёлинскаго въ томъ норядкё, какъ она запечатлёлась въ моей памяти, и, конечно, другими сло-

вани, а не твии самыми, какія онъ употребляль. Нісколько разъ, при разныхъ случаяхъ и въ разное время возвращался онъ опять къ вопросу, который видимо занималь его. Не могло быть сомивнія, что вопрось связывался съ посліднимъ видоизміненіемъ долгой моральной проповіди, которую Білипскій вель всю свою жизнь, и постепенное развитіе которой было уже нами представлено. Заключительное слово этой проповідн на столько любопытно, что можеть оправдать попытку собрать его замітки, съ помощью уцілівшихъ въ мосй памяти отрывковъ, въ одно цілое, причемъ необходима оговорка, уже столько разъ прежде ділаеман, что изложеніе не даеть ня мальйшаго попятія о пылів и краскахъ, какія сообщаль авторъсвоему слову, пи о формів, въ какую выливалась его річь.

– Трубый, животный эгонзмъ,—размышлялъ Вълинскій, пожеть быть возведень не только въ идеаль существования, какъ бы хотель исмецкій авторъ, но и въ простое правило общежитія. Это разъединяющее, а не связующее начало въ своемъ первобытномъ видъ, и получаеть свойство живой и благодетельной силы только после тщательной обработки. Істо не согласится, что чувство эгоизма, управляющее вствъ живимъ міромъ на земль, есть также точно источвикъ всехъ ужасовъ, на ней происходившихъ, какъ и источникъ всего добра, которое она видъла! Значитъ, если нельзя отдълаться отъ этого чувства, если необходимо считаться съ нимъ на всъхъ пунктахъ вселенной, въ политической, гражданской и частной жизни человъка, то уже сама собой является обязанность осмыслить его и дать сму правственное содержание. Точно то же было сделано для другихъ такихъ же всесвътныхъ двигателей — любви, напримъръ, полового влеченія, честолюбія, — и нізть причины думать, что эгоизив-меніве способень преобразоваться въ моральный принципь, чімь равносильныя ему другія природныя побужденія, уже въ него возведенныя. А моральнымъ принципомъ эгоизмъ сделается только тогда, когда каждан отдельная личность будеть въ состояни присоединить къ своимъ частимиъ интересамъ и нуждамъ еще интересы постороннихъ, своей страны, цфлой цивилизаціи, смотрфть на нихъ какъ на одно и то же дело, посвящать инъ те самыя заботы, которыя вызиваются у нея потребностію самосохраненія, самозащиты, и прочее. Такое обобщение эгоняма и есть именно преобразование его въ моральный принципъ. Вотъ уже и теперь есть примъры въ изкоторыхъ государствахъ такихъ передовыхъ личностей, которыя принимаютъ оскорбление, напесенное одному человъку на другомъ концъ свъта. за личную обиду и обпаруживають настойчивость въ преследованіп пезнакомаго преступника, какъ будто дівло идеть о возстановлени собственной чести. И заметить надо, что при этомъ ле

бовь, сочувствие, уважение и вообще сердечныя настроения не играють никакой роли-покровительство распространяется, въ одинаковой мірів, и на людей, часто презираемых в отъ всей души защитниками ихъ, -- на такихъ, которыхъ последние никогда не допустить въ свое общество, да, случается, не признають пользы и санаго существованія ихъ на світь. Что это такое, какъ не эгонзиъ, превосходно воспитанный и достигшій уже до чувствительности строгаго, правственнаго назала. Но такихъ передовыхъ личностей още очень нало-и они остаются поканфстъ исключеніями. Французи обозпачають словомь солидарность эту способность сберегать самого себя въ другихъ, и пытаются сдфлать изъ него научный терминъ, вводя нопятіе, которое оно выражаеть, въ политическую экономію, какъ необходиний ся отдель. А что такое солидариость какъ не тотъ же эгонзив, отшлифованный и освобожденный отв всехъ частицъ грубаго матеріала, входившаго въ его составъ. Говорятъ, что всъ старые и новые философы и проповъдники тоже учили ископи думать о ближнемъ болье, чымъ о самомъ себь. Это правда, но они не столько учили, сколько приказывали вфрить своинь словань, требуя жертвь и не объщая никакихъ вознагражденій за послупаніе, кромъ похвалъ совъсти — и успъхъ этихъ приказаній былъ таковъ, какъ извъство, что эгопанъ живеть и досель повсемьство въ самомъ сиромъ и нетронутомъ видъ. О насъ уже и говорить нечего. Песмотря на многовъковые приказы быть чувствительными къ страданіямъ ближняго найдется ли у насъ пятокъ человъкъ, которые возмутились бы ударами, падающими пе на ихъ собственную кожу? Единственную крвпкую и надежную узду на эгонэмъ выковываеть человакъ самъ на себя, какъ только доходить до высшаго пониманія своихъ интересовъ. Ифмецкій авторъ напрасно собользичеть о жертнахъ, какія требуются тенерь отъ каждой отдельной личности государствовъ и обществомъ, и напрасно старается защитить эту личность, проповъдуя всеотрицающій эгонзмъ: настоящій эгонзмъ будеть всегда приносить добровольно огромныя жертвы тамъ силамъ, которыя способствують облагороживанию его природы, а это именно и составляеть задачу всякой цивилизаціи. Государство и общество никакой другой цели въ сущности и не имеють, кроме цели способствовать прекращенію экивотниго эгонзма личности, въ чуткій, воспріничьвый духовный инструментъ, который сотряслется и приходитъ въ движеніе при всякомъ візнін насилія и безобразія, откуда бы ови ...иплохиди ин

Этотъ бъглый, новерхностный очеркъ размышленій Вълинскаго по поводу книги Стирнера—показываетъ, что послъдняя моральная ироповъдь уже основывалась на дъйствін тъхъ врожденныхъ

психических силь человека, которыя впоследствий были подробно изследованы и получили название альтруистических. Белинский предупредиль несколькими годами анализь психологовь, но, конечно, не могь дать его въ надлежащей чистоте и определенности, что, вероятно, помещало и изложение его взглядовь въ печати, где отъ няхь не находится никакого следа. Онь уже боялся прямого, непосредственнаго философствования, и не хотель къ нему возвращаться после своихъ старыхъ опытовъ на этомъ поприще 1).

Въ тъсной связи съ настроеніемъ Бълинскаго находится уже его призывъ, обращенный къ художественной русской литературъ и беллетристивъ-принять за конечную цель своихъ трудовъ служение общественнымъ интересамъ, ходатайство за низшіе, обездоленные влассы общества. Призывъ находится въ послъдней, предсмертной статьь Вълинскаго, написанной имъ по возвращении изъ-за границы в напечатанной въ «Современникъ» 1848: «Взглядъ на русскую литературу 1847 года». Обозрвніе это составляеть какъ-бы мость, перекнячный авторомъ отъ своего покольнія къ другому -- новому, приближение котораго Бълинский чувствоваль уже и по задачамъ, какія стали возникать въ умахъ. Не разъ и въ старое время Вълинскій высказывалъ тъ же мысли—о необходимости ввода въ литературу мотивовъ общественнаго характера и значенія, какъ способа сообщить ей ту степень дельности и серьёзности, съ помощію которыхъ она можеть еще расширить принадлежащую ей роль первостепеннаго агента культуры. Теперь критикъ уже наклоненъ быль требовать отъ литературы исключительнаго занятія предметами соціальнаго значенія и содержанія и смотреть на нихъ какъ на единственную си цъль. Разница въ постановкъ вопроса была тутъ немаловажная, и объясняется она, кромъ всего другого, още и состояніемъ уковъ, новыми реформаторскими въяніями, обнаружиншинися въ обществъ. Тогда именно крестьянскій вопросъ пытался впервые выдти у насъ на свъть изъ тайныхъ пожеланій и секретпаго канцелярскаго его обсужденія: составлялись полу-оффиціальвие комитеты изъ благонамфренныхъ лицъ, считавшихся сторонииками эмансинаціи, принимались и поощрялись проекты лучшаго разрвшенія вопроса, допускались, подъ покровительствомъ и-ва имуществъ, экономическія изслідованія, обпаружившія несостоятельность

<sup>1)</sup> Можетъ быть, подъ влінність вышензложенных выслей, Відлискій в получиль вредставленіе о Сикстинской Мадонив, которую потомъ виділь въ Дриценф, какъ объ ультра-арпетократическомъ типів. Онь перевель си божественное спокойствіс, такъ опсинзированное у насъ В. А. Жуковскимъ, на простое опреділеніе, по которому въ лиці ен выражается равнодушіе къ страданіять и нуждамъ низменнаго намето міра или, другими словами, полное отсутствіе альтруистическихъ чувстиъ.

обязательнаго труда и проч. Все это движение, какъ извъстно, продержалось не долго, обезсиленное сначала тайнымъ противодъйствіемъ потревоженныхъ интересовъ, прикрывшихся знаменемъ консерватизма, а затемъ окончительно смолкшее подъ вихремъ 1848, налетъвшимъ на него съ береговъ Сени, который опустошалъ преимущественно у насъ зачатки благихъ предначертаній. По до этой непредвиденной катастрофы, казалось, наступила благопріятная мипута указать, что всв истинно-великія литературы древняго и новаго міра никогда не имъли другихъ целей, кроме техъ целей, какія поставляеть себъ и общество въ стремленіяхъ въ лучшему умственному и матеріальному самоустройству. Это именно и сдівлаль Вівлинскій во «Взглядъ на литературу 1847 г.», причемъ, если изъръчи, которую повель онь тогда, устранить оценку произведений эпохи, не относящуюся прямо въ вопросу, то речь эта можеть быть названа предтечей и первообразомъ всвяъ последующихъ речей въ томъ же духв и направленія, сказанныхъ десять льть спустя, за исключеніемъ только одной черты ея, разко отдаляющей и Валинскаго, и его эпоху, отъ наступившаго за пими времени. Черта образовалась изъ особеннаго пониманія самыхъ условій искусства, хотя би и съ политической окраской.

Съ достовърностію можно сказать, что когда Вълинскій писаль свою статью, передъ глазами его мелькали соображения отчасти в практического характера. Изящная литература могла пособить, такъсказать, родамъ давно ожидаемой крестьянской реформы. Какъ ни упорно держались слухи о признанной необходимости ся въ оффиціальныхъ кругахъ- никто не говорилъ о ней прямо въ печати. Мпожество соображеній м'яшали реформ'я спуститься на площадь и принять единственный путь, ведущій къ осуществленію ся --- путь всенароднихъ толковъ. Изъ этихъ ившающихъ соображеній наиболю выское било слъдующее: --- ни одно самое умфренное и сдержанное слово, ни одно самое хладнокровное и безстрастное изследование, которыя захотели бы говорить о поводахъ къ измъненію кръпостинчества — этой коренной основы русской жизни-не могли бы обойтись безъ характеристики темпыхъ сторонъ, ею порожденныхъ и оправдывающихъ посягновенія на ся существованіе и заведенные ею порядки. Избъжать горькой необходимости -- осуждать прошлым времена и вывств сохранить въ целости идею реформы, ихъ отрицающую - вотъ что составляло трудную дилемму, на разрашение которой уходила безплодно вся энергія пововводителей, и которая постоянно держала ихъ на почвъ осторожныхъ внушеній и намековъ, не обязывающихъ къ немедленному принятію ръшенія. Литература романовъ, повъстей, такъ-называемая изящная литература вообще могла сослужить при

этомъ большую службу. Она не обязана была внать о существованів затрудненій и опасеній по ділу реформенной пропаганды, а прямо и сибло начать ее отъ своего имени. Обиднывая глаза своимъ притворнымъ равнодушіемъ къ политическимъ вопросамъ, занимаясь, повидимому, самымъ ничтожнымъ дъломъ прінсканія томъ и драматическихъ сюжетовъ для развлеченія публики, литература эта могла войти потменной дверью въ самую среду вопросовъ, изъятыхъ изъ ея въдънія, что уже и дълала не разъ. «Заински Охотника», «Записки доктора Крупова», «Въдные люди» Достоевскаго, а, наконецъ, мелодраматическій «Антонъ Горемыка» и «Деревня»—уже показали, какъ произведенія чистой фантазіи становятся трактатами психологіи, этиографіи и законодательству. Вфлипскій думаль, что пришло время для литературы взять на себя всю ту работу, которую другіе ділтели откладывали именно подъ предлогомъ безвременья, и произвости за нихъ тотъ следственный процоссъ надъ старыни условінии русскаго существованія, какой долженъ предмествовать окончательному ихъ устраненію и осужденію. В'ялинскій, вийсть съ тымъ, становияся и сторонникомъ правительства, какъ это можно нидать и въ многочисленныхъ печатныхъ его заявленіяхъ оть 1847 года. Нужда въ такомъ содействін литературы, однакожъ, скоро миновала, и, наоборотъ, вся ею уже заготовлениая съ этой цалью работа признана была даже опасной. Совсань танъ остается вполив достовърнымъ, что если бы движение продолжалосьлитература приняла бы на себя всф ненависти раздраженныхъ интересовъ и эгонстическихъ страстей, отдала бы себя на проклятія и поруганія и развизала бы другимъ руки только на свътлое, благодатное и благодарное дело возстановленія права и справедливости въ странв.

Исно, что какъ проповъдь, такъ и всё намъренія Вълинскаго въ этомъ случав скоръе можно назвать консервативными въ общирномъ смыслъ слова, чъмъ революціонными, какъ прославляли ихъ потомъ соединенные враги печати и реформъ въ стров русской жизни. Здъсь кстати будетъ сказать вообще о прозвищъ «революціонера и агитатора», какое получилъ Вълинскій у своихъ, ему современныхъ и у поздивишихъ враговъ, которымъ одинаково полезно было распространять эту репутацію. Ни одно изъ его увлеченій, ни одниъ изъ его приговоровъ, ни въ печати, ни въ устной бесъдъ, не даютъ права узнавать въ немъ, какъ того сильно хотъли его непавистники, -- любителя страшныхъ соціальныхъ переворотовъ, свирваго мечтателя, питающагося надеждами на крушеніе общества, въ которомъ живетъ. Тъ вепышки Вълинскаго, на которыя указывали диффаматоры его для подтвержденія своихъ словъ, всегда были

произведения ума и сердца, обиженныхъ въ своемъ нравственномъ существъ, въ своей идеалистической природъ. Инн онъ облегчаль душевныя страданія и истиль подъ-чась прикосновение къ какому-либо гуманному чувству своему; по одно недоразумъніе или одна злая подозрительность могли предполагать за всвиъ этинъ еще жажду скорыхъ расправъ, внезапныхъ потрясеній и простора для личной мести. Никогда и мысленно не принималь онъ защити техъ разрушительнихъ явленій, которыя проходять иногда черезъ исторію и действують въ ней со слепотой стихійнихъ силъ, не имъя подъ собой часто никакихъ моральныхъ основъ, и составляя какъ-бы страшиную и вибств нелвиню импровизацію жизня, раздраженной до последней степени несчастіями и страданіями. Не разъ Вълинскій и самъ признавался, когда заходила рівчь о тавихъ эпохахъ, упоминаемыхъ исторіей западныхъ европейскихъ народовъ, что въ подобныя времена онъ былъ бы совершенно ничтожнымъ, растеряннымъ человъкомъ, годнымъ единственно на то, чтобы умножить собою число жертвъ, обыкновенно оставляемыхъ ими за собой. Все, что не носило на себъ печати мисли, не имъло интеллектуальнаго характера и выраженія, вселяло ему ужасъ. Візлинскій легко, быстро понималь всякую смелую идею и всякое смелое решеніе, состоящее въ какомъ-либо, хотя бы и дальнемъ родствъ, съ началами -и приходиль въ-тупикъ передъ роковыми случайностими, такъ часто направляющими жизпь помимо человъческаго предвидъпія. На нихъ онъ никогда не разсчитывалъ и викогда не вводилъ ихъ въ кругъ своего созерцанія. Оставаясь такимъ же идеалистомъ въ пониманіи условій историческаго прогресса, какъ и въ своей жизни, онъ отличался неспособностію признать нужду лжи, даже когда она успокомваетъ колеблющіеся умы, чувствоваль неодолимое отвращеніе потворствовать пустымъ людямъ и вздорнымъ явленіямъ, если бы опи даже и дъйствовали въ рядахъ его собственной нартін. У Вълинскаго не было первыхъ, злементарныхъ качествъ революціонера и агитатора, какимъ его хотвли прославить, да и прославляють еще н теперь люди, ужасающиеся его честной откровенности и внутренней правды всехъ его убъжденій; по взамень у него были все черты настоящаго человъка и представителя 40-хъ годовъ-и между этими чертами одна очень крупная, къ которой теперь и перехожу.

Черта эта состояла, какъ уже было сказано, въ особенновъ нопинаніи искусства, какъ важнаго элемента, устроивающаго исихическую сторону человъческой жизни и черезъ нея развивающаго въ людихъ способность къ воспринятію и созданію идеальныхъ представленій. Чертой этой Бълинскій ръзко разграничивалъ свою эпоху отъ послъдующей, съ которой во всемъ другомъ имълъ множество

точекъ соприкосновенія. Разлагая и опровергая старый эстетическій афоризмъ — искусство для искусства, переводя всв задачи литературы на общественно-служебную почву, помъщая искусство и фантазію въ авангардъ, такъ-сказать, доблестной армін волонтеровъ, гражающихся за великодушныя иден, что значило, по иысли кри-. тяка, сражаться за хорошо понятые интересы важдаго лица въ государствъ-Вълинскій хотъль, чтобы войско это снабжено было и вадежнымъ оружість, а такимъ оружість для него онъ считаль всегда повзію и творчество. Онъ допускаль и простое обличеніе зла, простое отрицаніе на-голо, но смотрель на нихъ, какъ на рукопашную схватку, которая въ некоторыхъ случаяхъ ножеть быть нензбъжна, но которая одна никогда не ръщаетъ дъла и не одоливаеть враговь. Одоливаеть ихъ или, по крайней мирь, наносить ниъ неисцилимыя раны только творческій таланть, такъ какъ одниъ онь ножеть собрать милліоны безобразных случайностей, пробытающихъ черезъ жазнь, въ цельную поразительную картину, и одинъ онь способень выдълить изъ тысячи лиць, болье или менье возбуждающихъ наше негодованіе, полный типъ, въ которомъ они всѣ отразятся. Ивть надобности повторять здесь то, что онъ говориль по этому поводу, но необходимо отмътить и удержать въ памяти основу его литературно политической теоріи. Основой этой было коренное убъждение, что создание художническихъ типовъ указываетъ подожительными и отрицательными сторонами своими дорогу, по воторой идеть развитие общества - и ту, по которой оно должно бы вдти въ будущемъ. Это убъждение оставило и ясные сявды въ стать в притика: «Взглядъ на русскую литературу 1847», гдъ его всякій и можеть найти <sup>1</sup>).

Я уже сказаль, что эта статья была тёмъ послёднимь звеномь въ развитии одного періода нашей литературы, къ которому применули и за которое цеплялись первыя звенья новаго, последующаго ся направленія. Перерыва туть не было, какъ его, кажется, не было ин въ одну изъ эпохъ русской исторіп, но характеры явленій обозначались, на первыхъ порахъ, значительными отступленіями и несходствами. Черезъ 10 лётъ послё смерти Бёлинскаго, изъ его теорій изящнаго принято было ученіе объ общественныхъ цёляхъ искусства, а всё добавочныя положенія къ его ученію оставлень были въ сторонё.

Новое покольніе, уже усивниее пережить грозный промежутовъ времени съ 1848—1856, принялось за дъло изследованія формъ

<sup>1)</sup> Пусть читатель новърить эти слова въ "Современникъ", 1848, гдъ статья явидась, или въ "Собраніи соч Вълинскаго", 1861, часть одиннадцатая, страницы 348— 366 и 368—365.

русской жизни, недостатьовь ся и отсталыхь порядковь, какъ только оказались возножность говорить людянь о самихь себв 1). Наступилъ періодъ обличеній. Понятно, что покольніе взялось за это дъло съ тъми орудіями производства, какія состояли у него готовыми на лицо, и по имъло причины ожидать прибытія щегольского и тонкаго оружія (les armes de luxe) искусства для начатія своей работы. Съ теченіемъ времени руки привыкли такъ къ простымъ орудіямъ боллетристической фабрикаціи, что многіе, даже очепь даровитые судьи дела стали уже сомпеваться въ пользе водворенія болбе усовершенствованныхъ инструментовъ производства, пибвшихъ еще и ту невыгоду, что не всякій умель съ ними обращаться и заработывать ими свой хлъбъ. Надо было пріучаться жить безъ творчества, изобратательности, поззін — и это далалось при существованіи и полной двительности такихъ художниковъ, вакъ Островскій, Гончаровъ, Достоевскій, Писемскій, Тургеневъ, Левъ Толстой и Некрасовъ, которые продолжали напоминать о нихъ публикъ всъмн своими произведеніями!

Критика пришла на помощь озадаченной публикъ. что вследъ за первыми проблесками оживившейся литературной деятельности, наступила у нась эпоха регламентации убъждений, инъпій и направлепій, спутавшихся въ долгій періодъ застоя. Русскій литературный міръ еще помнить, сь какой энергіей, сь какимъ талантомъ и знанісмъ целей своихъ производилась эта работа приведенія идей и понятій въ порядокъ и къ одному знаменателю. На помощь въ ней призваны были историческія и политическія пауки, философскія и этическія теоріи. Встив старымъ знаменамъ и лозунгамъ, подъ которыми люди привыкли собпраться — противопоставлялись другія и новыя, по при этомъ постоянно оказывалось, что всего менъе поддавалось регламентации именно искусство, бывшее всегда, по самой природъ своей, наименье послушнымъ ученикомъ теорій. Подчинить его и сдълать върнымъ слугой одного господствующаго направленія удавалось только строгимъ религіозпимъ системамъ, да и то не вполив, такъ какъ пельзя было вполив побъдить его наклонности мънять свои пути, развлекать внимание капризными хо-дами, смъяться надъ школой, и выдумывать свои собственныя ръшенія вопросовъ. Оно составляло именно дистармоническій элементь

<sup>1)</sup> Какъ бы презрительно ни отзывалась потомъ критива о всемъ запасъ мелкихъ наблюденій, Едкихъ воспоминацій, горькаго опыта, наконивнихся у насъ въ теченік многихъ лётъ молчанія и терпінія и открывнихъ наконець исходъ для себя подъвидомъ единственно пужнаго и возможнаго искусства, все-таки должно скасать, что эта литература обличеній, какъ выраженіе обиженнаго личнаго или народнаго чувства, имбетъ еще смыслъ, котораго им одинъ историкъ пашего общества не пропустить безъ вниманія.

въ періодъ, следовавшій за Велинскийъ. Оставить за нийъ привилегію существовать особнякомъ, на всей своей воль, въ то время, когда всимъ предлагался общій и обязательный трудъ въ одномъ духв и за одникъ практическимъ двломъ-значило рисковать встрвтить искусство попереть дороги и противъ себя. Строгая дисциплина критики, для разбора и соотвътственной оцънки тъхъ изъ художниковъ, которые приняли ся программу, и тёхъ, которые ей не подчинились — становилась необходимостію. Какъ ни строга была эта дисциплина, введенная критикой, но помещать обществу увлеваться неузаконенными образцами творчества она не могла. Тогда и явилось решеніе отодвинуть искусство вообще на задній планъ, пояснить происхождение его законовъ и любиныхъ приемовъ немощью инсли, еще не окраншей до способности понимать и излагать прямо и просто симсяъ жизненныхъ явленій. Кругъ занятій, списходительно предоставленныхъ чистому художеству, намъченъ былъ съ необычайной скупостію. Ему предоставлялась именно передача мимолетныхъ сердечныхъ движеній, капризовъ воображенія, нервныхъ ощущеній, оттвиковъ и красокъ физической природы-всего, что лежитъ вив науки и точнаго изследованія. Все остальныя претензів искусства на діятельную роль въ развитіи общества были устранены, серьёзния тэмы изъяты изъ его въдънія и разложены на соотвътствующіе виъ отділи философія, научной критики, спеціальныхъ изслівдованій. Мыслящее общество тщательно ограждалось отъ вліянія того самаго агента, который усившиве всего приготовляеть душу человъка для принятія стянь какь гражданскихь, такь и всякихь другихъ идеаловъ. По временамъ, конечно, еще возникали протесты противъ этой несправедливости въ искусству, и раздавались голоса, которые указывали на важность художинческихъ литературныхъ произведеній въ ділів образованія характеровъ, направленія умовъ къ правственнымъ цълямъ, возвышенія уровня мыслей, но они проходили безследно. И по справедливости! Всв эти попытки папоявить о дъйствін идеальнаго и изящнаго на сердца людей, складъ ихъ представленій, а затімъ на всів ихъ крупные и мелкіе поступки, уже и потому не могли пибть успъха, не принимая даже въ соображение большую или меньшую діалектическую ихъ слабость, -что повому поколънію необходимо было, прежде всего, довести дъло свое до конца, выразить всю свою сущность, и затемъ уже оно погло оглянуться назадъ и дополнить себя всемъ темъ, чего ему недоставало. Такъ именно съ теченіемъ времени и случилось.

Казалось бы, что различное понимание вопросовъ объ искусствъ не должно было положить особенно яркой разграничивающей черты между двумя періодами развитія, особенно когда во всемъ другомъ они имъни такое иножество точекъ соприкосновенія. И однакожь вопросовъ этихъ достаточно било, чтобы ослабить въ значительной степени связи, ихъ соединяющія, и дать каждому изъ нихъ особое выраженіе и удалить ихъ другь отъ друга на значительное разстояніе. Это случилось потому, что между ними оказалась рознь не на теоретическомъ опредъленіи изящнаго, а оказалась разница въ міросозерцаніяхъ. Споры объ искусствъ, какъ и вообще о всъхъ истинно-великихъ вопросахъ науки и цивилизаціи, тъмъ особенно и по-учительем, что какова бы ни была ихъ относительная важность, подъ ними всегда кроется и течетъ певидимой струей то или другое міросозерцаніе. При этомъ слъдуеть сказать, что исторія про-исхожденія различныхъ созерцаній, отвъчавшихъ у пасъ въ свое время задушевнымъ стремленіямъ цълихъ покольній, имъетъ права на полнъйшее уваженіе наше, съ какой бы личной точки зрънія мы ни относились къ ея содержанію.

Послъ 30 лътъ, протекшихъ со смерти Вълинскаго, можно уже ясно судить о міросозерцанін его, не смущаясь притокомъ случайнихъ пастроеній, которые окративали его иногда своимъ особеннимъ, но скоро проходившимъ цвътомъ. Созерцание Бълпискаго все заключается въ пониманіи жизни и цивилизаціи, какъ силъ, предназначенныхъ на доставленіе человѣку полноты духовнаю и матеріальнаго существованія. По количеству идей и представленій, способствующихъ осуществленію той полноты разумнаго бытія, какая посилась передъ его глазами въ формъ пдеала, опъ судилъ объ относительномъ достоинствъ и значении эпохъ, людей и произведеній ихъ. Утайка, пропускъ, скритіе какого-либо пзъ элементовъ, необходимыхъ для достиженія этой полноты, било-ли то дівломъ преднамфренности или последствиемъ недосмотра, одинаково пробуждали его критическую чуткость. Онъ самъ постоянно и добросовъстно запимался разборомъ и опредълейсмъ настоящихъ и подложнихъ психическихъ и соціальнихъ дъятелей, заявляющихъ претензію на удовлетвореніе всёхъ нуждъ ума и развитія. Въ оцфикф твхъ и другихъ онъ могъ быть иногда излишие первенъ, распредълять краски, подъ вліяніемъ одушевленія или негодованія, не совстить равномърно, но документы, на которыхъ основывалось его сужденіе, всегда были подлинные, скрипленные свидительствоми исторін, точными изследованіями науки объ идеальныхъ и реальныхъ потребностяхъ человъческой природы. Удовлетворение этихъ потребностей, безъ своевольныхъ исключеній, подсказываемыхъ разсчетами и нуждами разныхъ теоретическихъ построекъ, онъ и считалъ задачей цивилизаціи и призванісив ся. Переходя отв общаго выраженія кв частнымъ приложеніямъ того-же санаго созерцанія, падо сказать,

что Бълинскій требоваль уже оть наждой иден, оть наждаго образа, ученія и литературнаго произведенія вообще, которые представлялись его глазамъ, нолноты содержанія, упраздняющей самую возножность вопросовъ и дополненій. Но такія цільныя явленія искусства и мышленія встрівчались різдко, а большей частію приходилось имъть дъло съ созданіями, еще сильнюе отличающимися коинчествомъ своихъ упущеній, чимъ открытій въ области выбраннихъ ими тэмъ. Собственно говоря, вся его литературная критика, вакъ еще ни старалась закрыться дипломатическими оговорками и изворотами, из которымъ и Вълинскій прибъгалъ по нуждъ времени, наравић со встии другими, — была въ сущности не чтиъ нимъ, какъ рядомъ возстановленій, реставрацій и оправданій разнихъ позабитихъ или искусственно принижаемихъ чертъ цивилизацін, психическихъ и культурныхъ псобходимостей личнаго и общественнаго существованія. Работа эта вошла у Бълинскаго въ привичку мисли, и что особенно важно — весьма часто обращалась пиъ и на самого себя, чёмъ легко объясняются его неоднократным перемъны точекъ зрвнія на предметы, столь удивлявшія и возмущавшія его враговъ.

Извъстно, что художественныя произведенія, какъ изящной, такъ и ученой литературы, обладаютъ качествомъ оставлять очень налую поживу искателянъ разсвяпностей или недоспотровъ автора, исчернывать свой предметь и представлять такую твердыню выводовъ и заключеній, для разрушенія которой, даже и въ малфіїней ея части, потребна почти такан же сила и способность, какія находились въ обладаніи и у самого ся строителя. Воть за такими-то произведениями стараго и новаго міра, въ переводахъ и оригиналахъ, Бълипскій проводиль дни и ночи: они никогда не старълись для него, сколько бы онъ ихъ ни перечитываль, никогда не могли договорить ему своего последняго слова. Какъ у аскетовъ другого порядка идей, у него была потребность каждодневнаго приближенія къ алтарю художинческихъ произведеній и углубленія въ тапиства, на немъ свершаемыя. Постоянное обращение съ великими образцами ученой и изящной литературы возвысили его духъ на такую степень, что люди въ его присутствін чувствовали себя лучше и свободиве отъ мелкихъ помысловъ, уходили отъ него съ освъжениимъ чувствомъ и добрымъ воспоминаниемъ, какого би рода ни велась съ нимъ беседа. Говоря фигурально, къ нему всегда являлись пъсколько по праздничному, въ лучшихъ нарядахъ, и моральной неряхой нельзя было передъ нимъ показаться, не возбудивъ его пегодованія, горькихъ и горячихъ обличеній. Таковь быль человъкъ, который первый указаль русской литератур

реальное направленіе, кажется, прежде чвиъ о немъ вспомнила к Европа, а теперь призываль ту же литературу на политическую арену, на занятіе вопросами гражданскаго, общественнаго характера. Что двигало этого эстетика по преимуществу? Конечно, прежде всего, благородное сердце, искавшее средствъ пособить первымъ, неотложнымъ нуждамъ развитія, еще вовсе и пеначавшагося для массы его соотечественниковъ, и затвиъ все то же исканіе полноти идеальнаго и реальнаго типа для жизни и мысли. Сзади этой предполагаемой литературной двятельности ему открывалось еще все громадное поле европейской цивилизаціи съ его обработкой, съ его пріобратеніями, сдалапными въ теченій столькихъ ваковъ! Съ него онъ и глазъ не спускалъ. Ни одного изъ всъхъ опитовъ — тарыхъ и новыхъ, приложенныхъ къ нему, ни одного счастливаго результата ими уже даннаго — не хотъла бы лишиться эта страстная Конечная цаль всахъ его требованій и указаній заключалась въ томъ, чтобъ выработать изъ русской жизни полнаго работпика просвъщенія, чтобы надълить ее всьми тъми силами и воспитательными началами, которыя образовали въ Европф лучшихъ и надежныхъ ея работипковъ. Не нужно, кажется, прибавлять, что всв эти дальновидные разсчеты оказались на двлв мечтой, но тотъ еще не будеть въ состояніи правильно судить объ эпохф Вфливскаго, кто не пойметъ и не признастъ, что всъ мечтанія и фантазін подоблаго рода были въ то время положительнымъ и весьма серьёзнымъ деломъ.

Возвращаюсь къ разсказу.

Приближалось времи окончанія лечебнаго курса и пашего отъ-<del>изда изъ Зальцбрупна. Вилинскій чувствоваль себя гораздо лучше,</del> кашель уменьшился, ночи сдфиались покойнфе — опъ уже поговариваль о скукв житья въ захолустьи. Почти накануяв нашего выбзда изъ Зальцбрунна въ Парпжъ, я получилъ неожиданно письмо отъ Н. В. Гоголя, извъщавшаго, что изданияя имъ «Переписка съ друзьями» надалала сму много непріятностей, что онъ не ожидаеть оть меня благопріятнаго отзыва о его книгв, но все-таки желаль бы знать настоящее мое мибніе о ней, какъ отъ человіка, кажется, не страдающаго заносчивостію и самообожанісяв. Это было первое письмо после того надменно-учительского, о которомъ говорено, и первое послъ короткой встръчи пашей въ Парижъ и Бамбергъ. Оно довольно яспо обнаруживало въ Гоголъ желаніе если не утвшенія и поддержки, то по крайней мфрф тихой бесьды. Въ концъ письма Гоголь неожиданно вспоминалъ о Бълинскомъ и кстати посылаль ему дружескій поклонь, вийстй сь письмомь причо на его имя, въ которомъ упрекалъ его за сердитый разборъ «Heреписки» во 2-иъ № «Современника». Это и вызвало то знаменитое письмо Бълинскаго о его послъднемъ направления, какого Гоголь еще и не выслушивалъ досель, несмотря на иножество перьевъ,
занимавшихся разоблачениеть недостатковъ «Переписки», попреками
и бранью на ея автора. Когда я сталъ читать вслухъ письмо
Гоголя, Бълинский слушалъ его совершенно безучастно и разсъянно,— но, пробъжавъ строки Геголя къ нему самому, Бълинский вспыхнулъ и промолвилъ: «А! онъ не сонимаетъ, за что люди на него
сердятся — надо растолковать ему это — я буду ему отвъчать».

Онъ поняль вызовъ Гоголя.

Въ тотъ же день небольшая комната, рядомъ съ спальней Вълинскаго, которая снабжена была диванчикомъ по одной ствив и круглымъ столомъ передъ нимъ, на которомъ мы свершали наши, довольно скучпыя, послв-объденныя упражненія въ пикетъ—превратилась въ письменный кабинетъ. На кругломъ столю явилась чернильница, бумага, и Вълинскій принялся за письмо къ Гоголю, какъ за работу, и съ твиъ-же пыломъ, съ какимъ производилъ свои срочныя журнальныя статьи въ Петербургъ. То была именно статья, но писанная подъ другимъ небомъ...

Три дня сряду Бълинскій уже не поднимался, возвращаясь съ водъ домой, въ мезонинъ моей комнаты, а проходилъ прямо въ свой импровизированный кабинстъ. Все это время онъ быль молчаливъ и сосредоточенъ. Каждое утро, послъ обязательной чашки кофе, ждавшей его въ кабинеть, онъ надываль летній сюртукъ, садился на диванчикъ и наклонялся въ столу. Занятія длились до часового нашего объда, послъ котораго онъ не работалъ. Непокажется удивительнымъ, что онъ употребилъ три утра на составленіе письма къ Гоголю, если прибавить, что онъ отрывался отъ работы, сильно взволнованный ею, и отдыхаль отъ нея, опрокинувшись на спинку дивана. Притомъ же и самый процессь составленія быль довольно сложень. Белинскій набросаль сперва письмо карандашомъ на разныхъ клочкахъ бумаги, затъмъ переписалъ его четко и аккуратно на-бъло, и потомъ снялъ еще съ готоваго текста кои ю для себя. Видно, что опъ придавалъ большую важность дёлу, которынь занимался, и какъ бугда понималь, что составляеть документь, выходящій изъ рамки частной, интимной корресполденціи. Когда работа была кончена, онъ посадиль меня передъ круглымъ столомъ своимъ и прочелъ свое произведеніе.

И испугался и тона, и содержанія этого отвіта, и, конечно не за Бізлинскаго, потому-что особенных послідствій заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидіть; я непугался за Гоголя, воторый долженъ быль получеть отвъть, в живо представиль себъ его положене въ минуту, когда онъ станеть читать это страшное бичеване. Въ письмъ заключалось не одно только опровержене его митий и взглядовъ: письмо обнаруживало пустоту и безобразе всъхъ идеаловъ Гоголя, всъхъ его понятій о добръ и чести, всъхъ иравственныхъ основъ его существованія—витот съ дикимъ положенемъ той среды, защитинкомъ которой онъ выступиль. Я хотвлъ объяснить Вълинскому весь объемъ его страстной рычи, но онъ зналъ это лучше меня, какъ оказалось: «А что же дълать?» сказалъ онъ. «Надо всъми мърами спасать людей отъ бъщенаго человъка, хотя бы взбъсившійся быль самъ Гомеръ. Что же касается до оскорбленія Гоголя, я никогда не могу такъ оскорбить его, какъ онъ оскорблялъ меня въ душт моей и въ моей въръ въ него».

Инсьмо было послано, и затъмъ уже ничего не оставалось дълать въ Зальцбруннъ. Мы вывхали въ Дрезденъ, по направленію къ Парижу.

Здвсь, забвгая впередъ, скажу, что по прибытіи въ Парижъ, Г., уже поджидавшій насъ, явился въ отель Мишо, гдв мы остановились, и Белинскій тотчасъ же разсказаль ему о визовів, полученномъ имъ отъ Гоголя, и объ отвітів, который онъ ему послаль. Затімъ онъ прочель ему черновое своего письма. Во все время чтенія уже зпакомаго мий письма, я быль въ сосідней комнатів, куда, улучивъ минуту, Г. шмыгнуль, чтобы сказать мий на ухо: «Это—геніальная вещь, да это, кажется, и завішаніе его».

## XXXVI.

Нелюдимость Вълинскаго, казалось, все еще увеличивалась за границей, съ теченіемъ времени, вмѣсто того чтобъ уменьшиться. Онъ утерялъ всякую охоту заводить связи, даже и минутныя, съ незнавомыми лицами; наоборотъ, чѣмъ долѣе шло время, тѣмъ онъ сильнѣе сосредоточивался въ номыслахъ о семъв, которая положительно заслоняла для него всю заграничную обстановку. Исключеніе составляли двухъ-трехъ-лѣтніе нѣмецкіе мальчишки—на тѣхъ онъ смотрѣлъ охотно и, не разъ указывая мив на какой-нибудь особенно выдающійся экземиляръ,—приговаривалъ глухо: «у меня точно такой же былъ дома». Словомъ, семья сдѣлалась для него уголкомъ, въ которомъ онъ мысленно запирался тотчасъ же, какъ оказывалась возможность къ тому. Всего любопытнѣе, что онъ желалъ оставить свѣтъ и окружающихъ людей въ невѣдѣніи на счетъ сво-

его пріюта, и когда заходила с немъ рівчь, отзывался равнодушно, не скрывая только—чего уже нельзя было скрыть—страстной любви своей къ дівтямъ.

Віографическая черта эта, кажется, стоить того, чтобъ оставовиться на ней. Вълинскій женился въ 1843 г. уже тогда, когда романтическій періодъ его жизни миноваль, и когда онъ укрѣпился въ имсли, что далже ждать печего отъ судьбы и случая, что опъ предопредвленъ не въдать сочувствія женскаго сердца, какъ въ силу своего вифшияго, будто бы, непривлекательнаго вида, такъ и въ силу правственныхъ своихъ качествъ, будто бы, несимпатичныхъ вообще для женской природы. Замъчательно было однакожъ то, что съ самиго 1838 г. онъ не умолкалъ громить и преследовать одиночество, на которое, повидимому, такъ ръшительно согласился. Въ его глазахъ и опредъленіяхъ строгое одиночество, если оно върно самому себъ, составляло противоестественное, искусственное, а потому и безиравственное явленіе, изъ какого бы душевнаго настроенія ни выходило. Исключенія изъ правила, въ родъ художника Иванова и ему подобныхъ, и онъ признавалъ, но думалъ, что и о нихъ надо судить только по важности идеи, для которой ими принесена была жертва. Онъ и покинулъ собственную систему одиночества тотчасъ, какъ явился предлогъ къ тому — и покинулъ съ неимовърной торопливостью, изумившей друзей. Тогда объясняли этоть факть твиъ, что онь встратиль привизанность, которая наносила ударъ ого скептическому пониманію самого себя, сохранившись черезъ значительный промежутовъ времени. Неожиданность такого открытія была настолько сильпа, что привела его къ имсли переустроить несь свой быть. -- Какъ бы то ни было, онъ привель въ исполнение свое рашение, при недоумавающихъ лицахъ друзей, предвидфишихъ въ этомъ поступкъ новыя затрудненія жизни для него. Женившись, Вылинскій не отказался однако-жь оть своихь воз**зр**іній на *сродство душі и стремленій*, какъ на единственный элементъ, узаконяющій брачное состояніе, и сознавался, что въ его собственномъ бракъ недоставало идеальнаго повода и отсутствовало поэтическое настроение. Онъ высказываль это мисние, не стесняясь, я передъ всеми громко и часто, и здесь нельзя не признать достоинство отвъта, какой онъ получалъ на свои всиышки. Умно-разсчитанное или уже врожденное по темпераменту хладнокровіе наиболье заинтересованной въ дъль стороны позволяло свободно истекать этимъ протестаціямъ и критическимъ обращеніямъ на совершившійся факть: они ни на волось не мізшали другой стороніз вести семейное дело въ одномъ духф, стойко, спокойно, привильно. Подъ конецъ, съ наступившинъ упадкомъ физическихъ силъ, обнаружилась на Вълинскомъ та непреоборимая, громадная, нивеллирующая мощь моногамическаго общежительства, которая побъждаетъ всё порывы, мечтанія и фантавін человёка. Бёлинскій видёль уже въ домашнемъ очагё своемъ какъ-бы цёлящую силу для больного сердца, и въ рукі, которая спокойно ему служила, какъ-бы руку, удерживающую его на свётё.

Первымъ благомъ жизии становилась теперь для него та заботливая тишина, то чуткое молчаніе домашняго быта, которыя позволяли ему думать свои пламенныя думы про себя, больть сердцемъ безъ поивхи. Раздълъ горькихъ мислей и ощущеній часто бываеть подстрекательствомъ къ нимъ, а въ последнемъ онъ уже более не нуждался. Онъ нуждался въ другомъ, а именно въ отдаленномъ, но спинатическомъ наблюденін за своей кончавшейся жизнью. Семья Вълинскаго умъла организовать такое наблюдение, которое не да, вало себя чувствовать, и не спрашивала у него никогда объ исторін бользин, не добивалась признаній и исповьди, не заставляла разсказывать страданій. Она пріучила его къ существованію, упрощенному до возможной степени и приноровленному столько же къ состоянию его мысли, сколько и къ физическому его состоянию. Понятно посят того, что обычные спутники всякаго путешествія какъ-то: многолюдство, пестрота жизни, назойливость вившинхъ явленій, папрашивающихся на винианіе, уже казались ему нестерпимыми, такъ-какъ составляли новую лишпюю прибавку въ психическомъ его мірф, какой онъ вовсе не хотель. Воть почему опъ и писаль длинимя письма изъ-за границы, часто украдкой, не въ друзьямь въ Петербургъ, а къ жент и женщинъ, которая, по его же мивнію, не въ силахъ была войти въ кругъ идей, пъсколько отдичныхъ отъ тъхъ, къ какимъ привыкла; поэтому также этотъ поэтъ въ душъ, воспитанный на чтепіи и изученіи художниковъ, но уже усталый-не видель ни памятниковъ культуры, ни самодвавнаго творчества природы на своемъ пути и стоялъ цередъ ними часто немой, разсвящий, видимо поглощенный совству другой п чуждой имъ мыслію.

Особенное отвращение испытываль Вълинский къ внезапнымъ бесъдамъ, которыя такъ часто завязываются на дорогахъ съ незнавомыми людьми: отвращение это пногда разръшалось довольно комическими эффектами. На пути къ Дрездену прыгнулъ въ нашъ вагонъ съ одной станціи какой-то очень вертлявый и, повидимому, весьма добродушный полякъ. Услыхавъ русскій говоръ, онъ обратился къ сосъду, которымъ, по несчастію, былъ Вълинскій, и началъ съ нимъ слъдующую короткую бесъду, передаваемую буквально. «Вы русскій?» — «Русскій». — «Прямо изъ Россій?» — «Со-

вершенно прямо». — «И, конечно, хорошо говорите по-французски?» — «Совствъ не говорю». — «Значитъ, только по-итмецки?» — «И по-итмецки тоже не умъю». — «Стало-быть, —приставалъ неугомонный полякъ и уже съ печальнымъ видомъ, —вы только по-русски говорите?» — «Немножко, и то неохотно», отвъчалъ Бълинскій, откидываясь въ уголъ кареты. Надо было видтъ выраженіе изумленія на лицт вопрошавшаго: я не могъ удержаться отъ ситха и перевелъ бестду уже на себя, начиная ее опять съ начала...

Въ Дрезденъ мы остановились на недълю, Вълинскій заказываль былье и, большей частью, лежаль на диваны своей комнати съ книгой въ рукъ. Онъ равнодушно гулялъ по берегу Эльбы, осматриваль безучастно городь, зашель и въ Grüne-Gewölbe, которая своими дорогими дътскими игрушками и сокровищами пробудила его внимание съ тъмъ, чтобы привести его почти въ негодованіе, и, наконецъ, раза два побываль въ Картинной Галерев. Здъсь, по принятому обыкновенію туристовъ, онъ также садился передъ Сикстинской Мадонной, но вынесъ впечативніе, совершенно противное тому, какое они обыкновенно исплатывають при этомъ и затемъ описываютъ. Онъ первый, кажется, не пришелъ въ восторгъ отъ ея небеснаго спокойствія и равнодушія, а, напротивъ, ужаснулся ему, что было также косвенцымъ признаніемъ геніальности мастера, создавшаго этотъ типъ. Въ дрезденской же галерев испитывалъ онъ и другое эстетическое горе: онъ наткнулся тамъ на маленькій chefd'oeuvre Рубенса— «Судъ Париса», въ которомъ роль Венеры и обнаженныхъ ся соперпицъ играли три фламандскія красавици, сиятыя съ натуры съ поразительной върностью и реализиомъ. Бълинскій, привыкшій понимать Венеръ и греческихъ женщинъ, какъ осуществленіе идеальной красоты на землю, очутился туть передъ тремя нагими матронами, пышущими здоровьемъ, упитанными и тучными, какъ огороды и сады ихъ отечества, будущими матерями здоровыхъ бургомистровъ и фабрикантовъ. Живописный реализмъ возбудилъ отвращение у поклопника реализиа литературнаго. Онъ не иогъ помириться съ картиной, какъ ни указывали ему на изумительный колорить ся, на жизненность этихъ тыль, отъ которыхъ, кажется, еще въяло тепломъ, какъ и отъ бархатныхъ, парчевыхъ одъяній, утрехтскаго издёлія, только-что ими покипутыхъ, на гармонію, рельефность всіхъ ся частей,—Белинскій стояль въ недоуменіи и продолжаль называть Рубенса поэтомъ мясниковъ. Только пъсколько поздние, когда указали ему, въ большой гравюри, на другую картину того же мастера: «Торжество Вакха», на этотъ ниръ, въ которомъ всё фигуры, начиная съ опьянёвшаго тигра, до последней вакханки, охвачены столько же хивлемъ виноградныхъ гроздій, . сколько и безграничной радостью молодой жизни, отпрывшей возможность наслаждения на землю, Бълинскій пришель въ изумлене отъ силы рисунца, смълости мотивовъ, отъ идеи, доведенной до высшей степени ен паеоса и выражения. Когда замътили ему, что картина принадлежить той же рукъ, которая произвела и «Судъ Париса», Бълинскій добродушно замътиль: «Ну, значить, я вавраль, да съ меня нечего взять—я въдь олухъ въ этихъ дълахъ».

Съ недоразумъніями подобнаго рода миъ приходилось встръчаться не разъ и потомъ, и слишать—напримфръ, отъ Г. —остроунныя выходки противъ манеры католическихъ живописцевъ полущать святыхъ на облакахъ въ сидичемо положении, низводить ангеловъ на землю и заставлять ихъ играть на арфахъ, лютияхъ и скрипкахъ, и проч., и проч. Все это казалось крайне неватуральнымъ и чудовищнымъ тъмъ самымъ людямъ, которые въ лигературныхъ произведенияхъ нисколько не возмущались, когда встръчали описанія сновъ, тайныхъ разговоровъ влюбленныхъ, мимолетныхъ исихическихъ ощущений, что все должно бы оставаться, по настоящему, секретомъ и для авторовъ, которые сами не могли начего подобнаго ни подглядеть, ни подслушать. То кажется несомевними, что для пониманія какъ литературнихъ, такъ и пластическихъ созданій, необходимо свыкнуться съ ихъ обычными пріемами, помиритьсь съ нелогичностью нткоторыхъ изъ нихъ и признать въ пихъ авторитетную силу для своей мысли. Но подчиненность такого рода особенно противия, когда она является не въ видъ навыка, полученнаго съ незапамятнаго времени, а требуется прежде всего отъ человъка, какъ начало премудрости, безъ котораго нечего и приступать въ сужденію о предметахъ искусства. Можеть быть, это обстоятельство именно и подсказало оригинальное ръшеніе Бълинскому, когда, прибывъ въ Кёльнъ, онъ не пожелалъ видъть знаменитой абсиди его собора, тогда сще недостроеннаго. Онъ мимоходомъ взглянулъ на нее снаружи, уже произдомъ на стапцію жельзной дороги, и только сказаль: «Обширное помъщеніе, нечего сказать, для католической иден, которая тамъ должна была проживать .

Парижъ оказался уже не подъ силу Вълинскому. Съ первыхъ же дней лихорадочное движение толпы, днемъ и ночью шумящие и ослъпляющие кафе и магазины, суста и говоръ, возстающие съ райняго утра, и толки, нерекрестимъ огнемъ раздающиеся со всъхъ сторонъ, утомили его скоръе, чъмъ я ожидалъ. Профхавъ по умецамъ и илощадямъ Парижа, нобывавъ нъсколько (немного) разъ въ его операхъ и театрахъ, онъ почувствовалъ почти тотчасъ же ве обходимость скрыться куда-пибудь отъ этого неумолкающаго празъ

ника. Онъ нашелъ два пріюта: за письменнымъ столомъ въ своей комеатъ, на которомъ писалъ много и долго къ женъ—во-первыхъ, и въ семьъ Г., гдъ М. Ө. К. и хозяйка окружали его попеченями и успъвали разглаживать морщины, наведенныя усталостью отъ зрълища мятущихся людей, цълей и намъреній которыхъ угадать нельзя.

Впечатлічніе, производенное на него Парижень, было вообще, такъ-сказать, удивленно-грустное. «Все въ немъ, — говориль Белинскій, — должно пранимать громадные разміры: алчность, разврать и легкомысліе, также точно какъ и разработка идей и знаній, и благородные порывы, и стремленія, — да разобраться въ этомъ омуть и узнать, чего въ немъ больше — дізо очень трудное». Онъ не разъ спрашиваль у друзей: въ самомъ ли дізлів необходимы для цивплизаціи такіе громадные, умопомрачающіе центры населенія, какъ Парижъ, Лондонъ и др.

Консчио, окружающіе Бълинскаго поспішили открыть сму ті источники, которыми питается движенів Парижа, такъ много удивавшее его: именно--музеи, лекціи, сходки и проч. Бълинскій слъдовалъ покорно за своими вожатаями, но, видимо, смотрелъ на это, какъ на исполнение долга, какъ на пъчто схожее съ праздничными визитами по начальству. Не трудно было подметить его благодарный взглядъ всякій разъ, когда его освобождали отъ этого, своего рода сифинаго нагляднаго обученія и замбияли его сокращенных изложением того или другого любонытного явленія въ литературъ, наукъ или жизии. Всего болъе интересовался онъ вопрогонь, какого результата въ будущенъ следуетъ ожидать отъ всехъ этехъ начинаній, къ какимъ положительнымъ выводамъ можно придти относительно дальпейшаго развитія цивилизаціи уже и теперь, на основаніи существующихъ данныхъ, — словомъ, какъ велика сумма общечеловъческихъ надеждъ, носимыхъ въ себъ всей этой видимой культурой? Отватовъ получено было много и, большею частью, санихъ благопріятнихъ для грядущихъ поколіній, за исключеніемъ только мивнія Г. но этому предмету, которое особенной вфры въ силу современных людей и ихъ способности къ прогрессу не обнаруживало. Вълинскій оставался, такинь образомъ, между двумя противоположными сужденіями о предметь, который его занималь. Не считая самого себя достаточно подготовленнымъ для разръшенія вопроса собственной мыслыю, онъ повинулъ Парижъ съ пелсиымъ представленіемъ діла, которое ділаль городъ. Да и кто могь тогда ясно видеть, что готовится въ немъ, или предсказать, что несетъ ему ближайшій, наступающій день исторіи?

Вообще, насколько становился Бълинскій синсходительнъе къ

русскому міру, настолько строже и взыскательніве относился къ заграничному. Съ нимъ случилось то, что потомъ не разъ повторялось со иногими изъ нашихъ самихъ рьянихъ западниковъ, когда они дълались туристами: они чувствовали себя какъ бы обманутыми Европой, смотръли на нее съ упрекомъ, какъ будто она не сдержала техъ объщаній, какія надавала ниъ втихомолку. Это обичнов явленіе объясняется довольно просто. Сухая, деловая, часто ограничения и невъжествения и всегда нелочная — илутоватия толна новыхъ людой первая встрфчала заграницей путешественниковъ и, случалось, довольно долго держала ихъ въ средъ своей, прежде чънъ они переходили въ явленіямъ и порядкамъ висшаго строя жизни. По тогда они уже расположены были требовать у последнихъ отчета за всю виденную прежде пошлость и возласить на эти явленія отвітственность за все то безобразное и ничтожное, которое не было уничтожено ихъ вліянісяв. Вълинскій не избъть общей участи путемественнивовъ. Подъ впечатлънісяъ скучнаго процесса своего леченія и особенно подъ впечатлівність зрізлища громадной людской массы, не имъющой и предчувствія тохъ идей и началь, которыя возвъщались міру отъ ен имени. Велинскій даваль прачный отчеть о заграничномъ своемъ житыф-быть в другьямъ въ Москвъ-и напугалъ ихъ. Имъ ноказалось, что опъ можетъ верпуться домой скептикомъ по отношенію къ европейской культурів вообще, и въ дальнейшей своей деятельности, даже нехотя и противъ своей воли, способствовать при таконъ настроеніи распространенію надменныхъ взглядовъ на западную цивилизацію, уже существующихъ въ русскомъ обществъ. Опасенія свои опи сообщили и самому Бълинскому. Одинъ изъ нихъ-В. П. Воткинъ инсалъ:

«Москва. 19 іюля, 1847. Сегодня получиль твое письмо пат Дрездена, милый мой Виссаріонь... Понимаю твое отвращеніе оть Германіи, Бѣлинскій,— очень понимаю, коть и не раздѣляю его. Я не могу жить въ Германіи, потому что нѣмецкая общественность не соотвѣтствуеть ни моимъ убѣжденіямъ, ни моимъ симпатіямъ, потому что нравы ея грубы, что въ ней мало такта дѣйствительности и реальности и такъ далѣе, но я не изрекаю ей такого приговора, какъ ты — и относительно дурпыхъ и корошихъ сторопъ народовъ придерживаюсь вѣсколько эклектизма. Понимаю твою скуку; я и здоровый закворалъ бы отъ скуки, проведя полтора мѣсяца въ Германіи, а ты еще провель ихъ въ Силезіи, въ Сальцбрунѣ! Парижъ, я надѣюсь, постоитъ за себя. Но за чѣмъ тебѣ видѣть тамъ одинхъ только конституціонныхъ подлецовъ? Тамъ есть много такого, что посущественнѣе и понитереспѣе ихъ. Политическіе очки не всегда показывають вещи въ настоящемъ свѣтѣ,

особенно если эти очки сделаны изъ принятыхъ заочно доктринъ. Часто и донорощенныя доктрины заставляють городить вздоръ (что доказываеть внига Лун Влана; съ твониъ умнымъ мивнісмъ о немъ совершенно согласенъ), а бъда есля нашъ брать прівзжаеть въ страну съ заранње вычитанною доктриною... Получа твое письмо, я тотчасъ побъжаль подълиться имъ съ Коршень и сегодия пошлю его въ Грановскому... Ты получилъ письмо отъ Гоголя? По разсказанъ — это письмо показываеть, что Гоголь потеряль, наконецъ, синстъ въ самымъ простымъ вещамъ и деламъ.. Сейчасъ получаю твое ко мив письмо обратно отъ Грановскаго; опъ не доволенъ имъ и боится, чтобы ты съ твоей теперешней точки зрвнія на Герма-вію и Францію не сталъ бы писать о нихъ, воротясь въ Россію. Въ самонъ деле-это было бы большинь торжествонъ для нашихъ невъждъ и мерзавцевъ. О цензурныхъ обстоятельствахъ, надъюсь, тебъ сообщиль уже Некрисовъ, и ты, конечно, уже знаешь, что теперь Ж. Зандъ не будетъ читаться на русскомъ языкъ...> и т. д.

Не трудно было окружающимъ Белинскаго, въ воторымъ московские друзья тоже обращались съ запросами о правственномъ его состоянія, разъяснить, что въ основаніи всёхъ его нареканій на заграничную жизнь лежить совсёмь не враждебное Европ'в чувство, а скорве чувство нажное къ ней, раздосадованное только тамъ виенно, что должно сдерживать, ограничивать себя и подавлять свои порывы.

Настроеніе, однакоже, не прошло у Бълинскаго безследно. О мозговомъ раздраженіи русской либеральной колоніи, съ ея заботами объ устроенія для себя наилучшаго унственнаго конфорта, приченъ, конечно, не могли быть забыты ею и эффектныя подробности изъ современныхъ открытій — уже и говорить нечего. Вълинскій не обратиль на колонію никакого вниманія, какъ на дело, извыстное ему по општу-и у себя дома 1).

Мы слышали, что поздиже и уже находясь въ Петербургв, Вълискій приняль изв'ястіе о революція 48-го года въ Париж'в почти съ ужасомъ. Она показалась ему неожиданностію, оскорбительной для репутаціи техъ умовъ, которые занимались изученіемъ общественнаго положенія Франціи и не видели ся приближенія. Горько пеняль онъ на своихъ париженихъ друзей, даже и не запквувшихся передъ нимъ о возможности близкаго политическаго пере-

<sup>1)</sup> Къ польскому вопросу Бълнискій всегда относился только съ гуманной точки эрвнія, находи, что жертвы исторіи и собственных граховь могуть возбуждать глубокое состраданіе, какъ вообще и всь угаснія національности прежнихь эпохъ.-Полятической стороны польскаго вопроса онь някогда не касался и постоянно обхолиз его съ равиодушісяъ.

ворота, который, какъ оказалось, и быль настоящимь дёломь эпохи. Этотъ недостатокъ предвидёнья, по миёнію Бёлянскаго, превращать подей или въ рабовъ, или въ беззащитныя жертвы одного виёшняго случая. Упреки были справедливы, но надо сказать, что окончательная форма переворота была неожиданностію и для тёхъ, кто его устроилъ.

Жена Г., по инстинкту женскаго сердца, поняда, жежду прочинъ, Бълинскаго, забхавшаго въ Парижъ, лучше и скорве всехъ другихъ. Опа собрала маленькую и хорошо подобранную коллекцію «образовательных» игрушекь, уже существовавшихъ тогда въ Парижь, хотя и безъ систематизаціи ихъ, и подарила ее дочери Вълинскаго. Между подарками были зоологические альбомы съ великоленными рисунками животныхъ всехъ поясовъ земли, которыми Велинскій не уставаль восхищаться. Онь мечталь о воспитанін дочери на естествознаніи и точныхъ наукахъ. Между прочимъ, онъ въ это время нашель игрушку и для самого себя. Фланпруя по улицамъ, онъ наткнулся въ одномъ магазинф готовихъ платьевъ на изумительно пострый халать съ огромными красными разводами по бълому фуляровому полю-и влюбился въ него. Халатъ билъ именно той выставочной вещью, которую магазины нарочно заказывають, съ цёлью огоромить проходящаго и остановить его передъ своими веркальными стеклами. Бълинскій почувствоваль родь влеченія къ этому предмету, долго колебался и наконецъ купилъ его, серьезно растолковывая намъ, что предметъ совершенно необходимъ ему для утреннихъ работъ въ Истербургв. Подробность заслуживаетъ упоминовенія потому, что этотъ несчастный халать надівлаль потомъ много хлопоть ему и мив.

По мірів того, какъ приближалось время къ отъйзду Білинскаго въ Россію, о ченъ онъ уже сталъ мечтать чуть ли не со дня своего появленія въ Парижі, возникаль вопрось о способахъ удобнійшаго отправленія его на родину, такъ-какъ предоставить Білинскаго самому себів въ этомъ діялів не было возможности, по малой его опытности и неспособности бесіндовать на иностранныхъ діалектахъ. Різшеніе вопроса было ужо принято, когда представилась возможность дать Білинскому благонадежнаго сопутника в вибстів оказать услугу честному старику, занимавшему важную въ Парижів должность «ростіет»—привратнику въ нашемъ домів. Старика, очень строгаго къ простымъ жильцамъ, которые поздно возвращались домой, и привязавшагося въ русскимъ своимъ пансіонерамъ какъ-то страстно и безотчетно—звали Фредерикъ. Онъ былъ родомъ німецъ изъ Саксоній, свершилъ походъ 12-го года въ Россію съ арміей Наполеона, попалъ въ ординарцы къ губернатору

Москвы маршалу Даву, что и помогло ему возвратиться цёльить и невредимымъ въ Парижъ, гдё онъ и поселился. Онъ охотно, особенно подъ хивлькомъ, разсказывалъ объ ужасахъ, какіе онъ видёлъ на пути въ Россію, и изъ Россіи и въ Москвё. Вийстё съ
темъ, онъ сгоралъ желаніемъ побывать на родинё (гдё-то около
Лейпцига), которой не видалъ уже боле 35 лётъ, и, когда я
предложилъ ему, подъ условіемъ сперва довезти моего пріятеля до
Берлина, посётить на нашъ счетъ свой фатерландъ и затёмъ возвратиться назадъ въ мёсту, которое покамёстъ будетъ блюсти его
супруга (толстая и величественная баба), старикъ какъ-то присёлъ,
положилъ обе руки между коленъ и, легко подпрыгивая, могъ
только нёсколько разъ промычать: «Оці, Monsieur! Аһ, Monsieur!..»
Для Белинскаго нашелся надежный проводникъ, говорившій по-немецки и по-французски, и готовый беречь его особу и особенно его
кошелекъ, какъ честь знамени или пароль, полученный отъ своего
шефа.

Въ Парижъ пришелъ также и отвътъ Гоголя на письмо Бълинскаго изъ Зальцбрунна. Грустно замъчалъ въ немъ Гоголь, что опять повторилась старая русская исторія, по которой одно неосновательное убъжденіе или слішое увлеченіе непремінно вызываетъ съ противной стороны другое, еще болье рискованное и преувеличеное, посылаль своему критику желаніе душевнаго спокойствія и возстановленія силъ и разбавляль все это мыслями о серьёзности въка, занимающагося идеей поливійшаго построенія жизни, какого еще и не было прежде. Что онъ подразуміваль подъ этимъ построеніемъ—письмо не высказывало и вообще не отличалось ясностью изложенія. Бізлинскій не питаль злобы и ненависти лично къ автору «Переписки», прочель съ участіемъ его письмо и замітиль только: «какая запутанная різчь; да, онъ долженъ быть очень несчастливъ въ эту минуту».

День оттавда изъ Парижа, после предварительного совещанія съ друзьями, быль назначень окончательно. Накануне его, вечеромь, Велинскій посидель еще разъ на любимомъ своемъ мёсте, на мраморныхъ ступенькахъ террасы, окружающей площадь Согласія, «de la Concorde», задумчиво смотря на лукзорскій обелискъ посреди площади, на Тюльери, выступавшій фасадомъ и куполомъ изъ каштановаго сада своего, на мость черезъ Сену и Бурбонскій дворець за нимъ, обратившійся въ палату депутатовъ, и вспоминая страшныя сцены и драмы, некогда разыгрывавшіяся въ втихъ мёстахъ. Поздно ночью, после прощанія у Г., возвратились мы домой. Все было тамъ уложено и приготовлено съ помощью Фредерика, и на другой день въ 5 часовъ утра мы были уже на но-

гахъ, а въ половина 6-го — и въ каретъ, которая должна была доставить насъ на дебаркадеръ дальней свверной желвзиой дороги. Уже подъезжая въ ней и за какіе-небудь четверть часа до хода самаго повзда, мив вздумалось спросить Велинскаго: «захватили-ли вы халатъ? > Въдний путешественникъ вздрогнулъ и химъ голосомъ произнесъ -- «забиль, онъ остался въ ващей комнать, на диванъ. - Ну, - отвъчалъ я, - бъда не большая, я вамъ перешлю его въ Верлинъ. Но упустить халатъ изърукъ показалось Вълинскому невыносимымъ горемъ. Надо било видеть ту печальную мину и слышать тогь уноляющій голось, сь которыми онь сказаль мић: нельзя ли теперь? Отказать ему не было возможности безъ уничтоженья въ его умъ всъхъ пріятнихъ впечатлъній вояжа. Я призвалъ на помощь русское авось, остановиль карету и послаль Фредерика скакать, въ первомъ попавшемся фіакрф, домой что есть мочи, подобрать халатъ и застать насъ еще на станціи. Простве было бы отложить повздку до завтра, но мной завладель тоже ивкотораго рода азартъ и желаніе одоліть номіку, во что бы то ня стало. Русское авось однако не измѣнило на этотъ разъ. Я едва усивлъ взять билетъ для Вълинскаго, распорядиться съ его багажомъ, какъ пробилъ третій звонокъ, а Фредерика не било. въстно, что на французскихъ дорогахъ царствуетъ или царствовалъ военный распорядокъ, такъ что подъ криками и командами кондукторовъ инв всегда казалось, что я скорфе на бастіонв крвпости, чиль на мирномъ дебаркадерй желизной дороги. На этотъ разъ командующие бастиономъ были еще суровъе обыкновеннаго. Въ растворенную дверь настежъ, по третьему звоику глали они теперь толцу нассажировъ на террасу съ такимъ неистопствомъ, что можно было подумать: нотъ ли у насъ сзади непріятельской артиллеріи в казаковъ: allez, passez, dépêchez-vous! Я шепнулъ Вълинскому, чтобъ оставиль адресь свой въ Врюссель на станціи и ждаль тамъ • Фредерика; затъмъ его втиспули въ толпу, изъ которой онъ вылетвлъ на террасу, по меня, какъ не имфющаго билета, уже не пустили туда: права провожать своихъ знакомихъ и родинхъ граждане Парижа тогда не имфли, да кажется и теперь не имфютъ. Что происходило затемъ съ Велипскимъ на террасъ, онъ описалъ мев потомъ изъ Брюсселя. Измученный, надорванный шумомъ, сустой, толчками, онъ остановился съ билетомъ въ рукахъ на террасв, тяжело дыша и не зная, куда направиться. Тутъ успотрель его одинъ изъ бъщеныхъ кондукторовъ, рыскавшихъ на террасъ, замьтиль билеть и съ восклицаніемъ: mais que faites vous là, sacrebleu? -- потащилъ его за руку и бросилъ въ первый попавшійся вагонъ повзда, который уже тронулся. Такъ опъ и должаль до

Брюсселя, но на пути повстречался съ новымъ происшествиемъ. Бельгійская таножня, раскрывъ его ченоданъ, увидала воллекцію игрушекъ, подлежащую пошленъ, и потребовала отъ него опредъленія цінности этого добра. Вийсто отвійта, Візлинскій сталь объяснять, какъ умълъ, что ценности вещей не знасть, такъ какъ это подаровъ одной преврасной дамы въ Париже и т. д., а наконецъ и вовсе замолчалъ. Нидо отдать справедливость таможенному чиновнику: посмотръвъ на нъмого и сконфуженнаго человъка, который стояль передъ нимъ, онъ прозраль, что имаеть дало не сь контрабандистомъ и, захлопнувъ чемоданъ, не взялъ никакой пошлины. Вълинскій изъясняль неаче великодушіе чиновника и довольно уморительнымъ образомъ: «догадавшись, что я глупъ до святости, — писалъ онъ, — онъ сжалился надо иной и оставилъ иеня въ покоћ». На другой день Фредерикъ, чуть не плававшій отъ пеудачи, повезъ ему въ Брюссель знаменитый халатъ, легко отыскалъ тамъ иногострадального путещественника, благополучно препроводилъ его въ Берлинъ, гдъ и сдалъ съ рукъ на руки Д. М. Щепкину, полодому, рано умершему и замъчательному ученому по археологіи и миссологіи. Въ Петербургъ Валинскій явился въ изумленію и радости своихъ знакомыхъ гораздо свъжъе и бодръе, чъмъ выбхалъ изъ него, но радость ихъ была не продолжительна...

## ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ

## А. С. ИУШКИНА

Изъ последение леть жизин поэта.

Чрезвычайно важно, для пониманія различных эпохъ русской жизни, опредъление правственной сущности тахъ или другихъ полетическихъ и общественныхъ взглядовъ и убъжденій, которини были проникнуты главные дъятели эпохи, приковывавшіе къ себъ вниманіе споихъ современниковъ. При этомъ ися трудность для изслъдователя заключается преимущественно въ томъ, что русскіе образованные люди, судя по общему характеру ихъ жизни, какъ будто мало отличались другь отъ друга, исповидывали какъ будто одпи и тъ же политическія иден, говорили почти одно и то же, какъ въ области знанія, ітакъ и на публичной аренъ литературы, занямались почти одними и тами же, не очень сложными и разнообразными предметами. Со всемъ темъ, поздпейшия монографии и біографическія изысканія показали, что мпогіе изъ такихъ дѣятелей, кромъ своего участія въ общемъ хоръ, гдъ дружно ис-полияли роль, случайно выпавшую на ихъ долю, еще имъли свои затаенныя воззранія на положеніе даль, свои правила морали, отличныя отъ тахъ, которыя требовались общимъ голосомъ, свою критическую опфику окружающого міра... Никогда и ни въ какія, даже наиболье тихія, строго-организованния эпохи, не прекращалась у насъ внутренияя деятельность общественнаго сознанія, разработка новыхъ жизненныхъ идеаловъ, параллельно съ существующими на-лицо, не исчезало личное, самостоятельное творчество въ способъ пониманія и представленія явленій русской исторіи, любиныхълдей, обычаевъ и увлеченій современности. А. С. Пушкинъ точно также пислъ свою домашнюю, секретную теорію разумнаго

гражданскаго существованія, какъ и учители его — Каранзинъ и Жуковскій, но съ тою разницей, что последніе пользовались возножностью доводить свои теоріи до свіздінія оффиціальнаго міра, нежду темъ какъ Пушкинскія теорін, которыя онъ обдунываль долгое время, должны были остаться при немъ одномъ, и притомъ въ необдъланномъ, разбросанномъ, почти безсвязномъ видъ. Много было уже у насъ попытокъ добраться до симсла истинныхъ политическихъ и общественныхъ убъжденій Пушкина съ помощію самыхъ его произведений и тъхъ выводовъ, какіе они представляють, — но все-таки приговоры, основанные на этомъ критическомъ разборъ, не ногуть имъть достонфриости личныхъ повазаній и признаній автора. Всего чаще, подобные приговоры не принимають въ соображение случайности поэтического настроенія, которымъ иногда выражается не подлинная мысль автора, а только мысль, навъянная ему сюжетомъ, содержанісмъ его образа или его фантазіи. Подлинная мысль человъка обрътается преимущественно въ его бесъдахъ съ самимъ собою, насдинъ со своей совъстью, при кабинетной повъркъ съ глазуна-глазъ всего своего уиственнаго достоянія. Между всеми остатками такой литературной дізятельности А. С. Пушкина, особенною печатью подлинной его мысли помъчены черновые планы полемическихъ статей, заготовляемихъ поэтомъ для «Литературной Газети» барона А. А. Дельвига 1830 года, а затвиъ отзывы и сужденія Пушвина при перечив указовъ и событій временъ Петра I-го, за исторію котораго онъ принялся въ 1832 году, по порученію правительства. Передачей этой подлинной мысли Пушкива въ области политическихъ и общественныхъ вопросовъ мы теперь и зайжемся, не отказываясь, впрочемъ, и отъ задачи уследить ея более или мене далекое отражение и на некоторыхъ литературныхъ и поэтическихъ его произведеніяхъ; вообще, основная мысль Пушкина сохранилась, въ его бумагахъ, въ формъ набросковъ, недоговоренвыхъ положеній и отрывковъ, соединить которые въ нѣчто цѣлое и однородное представляло не маловажное затрудненіе и потребовало особеннаго труда и усилій.

I.

Настоящая цёль изданія «Литературной Газеты» 1830—31 г. завлючалась, какъ изв'ютно, преинущественно въ томъ, чтобы образовать какой-либо оплотъ противъ журнальной монополін, захваченной издателями «Свв. Пчелы» и «Сына Отечества», благодаря

жалкой безпомощности самихъ писателей и апатическому характеру всего литературнаго міра. Монополія эта, какъ всегда бываетъ, тщательно наблюдала за твиъ, чтобы сохранить свое привилегированное положение всякимя позволительными и непозволительными средствами. Оставляя въ сторонъ всь ся немасныя старанія представить себя какъ единственную охранительницу инторесовъ порядка и благочинія—достаточно упомянуть объ орудіяхъ, какія она употребляла, чтобы держать въ страхв передъ собой печать и пишущихъ. Орудіями этими служили, во-первыхъ, безустанное преследованіе писателей независимыхь, но еще не составивших в себъ имени; лесть и искательство передъ знаменитостями, если они обнаруживали расположение покрывать своимъ молчаниемъ заведеный порядокъ дълъ, — и наоборотъ — ругательства, клевота, позорные намеки всякаго рода, если они теряли терибию и поднимали голосъ, а затъмъ исобычайное сиисхожденіе, покровительство и жаркая рекомендація всякому ничтожеству и посредственности, которыя становились добровольно подъ иго монополін и въ ней искали залоговъ успъха и упроченнаго положенія въ печати. Мононолія торжествовала. Благодаря заведенному ею террору въ литературномъ міръ, полному равнодушію образованнаго общества въ д'аламъ печати, и согласію, полученному сю, гдв следуеть, на предоставление простора въ приложенін дисциплинарныхъ мфръ къ непокорпымъ умамъ, -- она превратила почти весь тогдаший, немногочисленный персональ русскихъ писателей въ льстецовъ, клевретовъ и агентовъ своихъ корыстнихъ цвлей. Къ сожальнію, издатель «Московскаго Телеграфа», который могъ бы образовать относительно довольно сильную, самостоятельную и противодъйствующую ей партію, тоже вошель въ ел интересы и пристроился къ ней, напуганный, въроятно, московской оппозиціей своему журпалу, сильно обпаружившейся при появленіи соперничествующаго «Московскаго Въстпика», 1827 г., а еще — въроятпъе, по разсчету обезоружить одного изъ членовъ монополія, О. В. Вулгарина — это типическое лицо своего премени, пользовавшееся довфріемъ нівоторыхъ правительственныхъ лицъ, несмотря на то, что постоянно вводило ихъ въ ошибки своими сообщеніями. Горькій опыть ноказаль Н. А. Полевому, какь невфрень быль его разсчеть.

Ко всему этому следуеть еще присоединить первое появленіе у насъ памфлетической литературы. Съ альманахами — «Северный Меркурій» 1829 г. и «Северная Звезда» 1830 — 32, изданія М. А. Бестужева-Рюмина — на светь впервые выступаль назнай родь журнальной quasi-демократін, руководимый враждебнымъ чувствомъ ко всёмъ пріобретеннымъ литературнымъ положеніямъ. Вестужевъ-Рюминъ отличался своего рода ценкостію, не связань быль

понятіями о примичім и достоинствів своих в сужденій и представляль ранній, хотя еще и тусклый образець бойца, который старается сиблостію и наглостію выдти изъ толпы, гдф его удерживаютъ отсутствіе таланта и образованія. Тавъ, въ одновъ изъ своихъ изданій Бестужевъ-Рюминъ развязно напечаталь ифсколько рукописныхъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина, безъ віздома автора. всегда боявнагося подобныхъ несеромностей, и подъ одними литерами «Ап.» Пушкинъ даже и не протестовалъ, наученный еще прежде опытонъ, что литературная собственность не признается въ его отечествъ. Въ 1827 г. чиновникъ при Третьемъ Отдъленіи, статскій совътникъ Ольдеконъ, перевель на пъмецкій язикъ его «Кавказскаго планинка» и выпустиль въ свать съ полнымъ русскимъ текстомъ en regard, что равнялось новому, самовольному издапію поэми. Всв усилія Путкина — добиться защити своихъ правъ. обращавшагося за этимъ къ ближайшему начальству смелаго переводчика - остались безуспъшни. Оскорбленний авторъ, махнувъ рукой, тогда же и сказаль: «Ну, и чорть съ нимь, если на него нвтъ суда».

Въ такомъ видъ и съ такими правами и обычаями влачила свои дни журпалистика и печать русская къ началу 1830 г.

Понятно, послъ того, заявленіе, сдъланное «Литературной Газетой», на первыхъ же порахъ, о своемъ намфреніи поднять литературную критику изъ ея прискорбнаго состоянія и предоставить поле діятельности для писателей, которые не могуть участвовать ни въ одномь изв Петербургских и Московских журналось. Заявление было написано Пушкинымъ и содержало правдивый факть. После прекращенія «Московскаго Вестипка», целая группа, и самая значительная, -- литераторовъ, въ которой числились такія лица, какъ В. А. Жуковскій, Е. А. Баратынскій, князь П. А. Вяземскій, И. А. Крыловъ, П. А. Катенинъ, и наконецъ, самь Пушкинъ — дъйствительно не имъла органа. Группъ этой именно в припадлежить какъ первая мисль объ основания газеты, такъ и выборъ редактора для нея. По общену соглашенію, въ редакторы биль призвань А. А. Дельвигь, пользовавшійся репутаціей очень топкаго критика и имъвшій за собой препиущество почти безотлучнаго пребыванія въ Петербургъ. Правда, всъ эти основатели газети помогали ей впоследствии более советами, чемъ произведениями своими, за исключениемъ одного И. А. Крылова, давшаго ей значительный вкладъ новыхъ басонъ своихъ; а между тъмъ совокупныя вхъ усилія были бы совершенно необходимы для того, чтобы бороться съ такими општимим и изворотливыми врагами, какіе поджидали новый журналъ. Душой его сделался Пушквиъ. Онъ при-

няль на себя важныйшую, полемпческую часть газеты, и повель се, какъ увидемъ, съ такимъ пыломъ и въ такомъ ръшительномъ, безпощадномъ тонъ, какой до того еще и не быль знакомъ въ пашей литературъ. Монополія тотчась же распознала грозившую ей опасность, и для отвращенія ея собрала всв свои силы литературныя, а также и тв, которыми располагала сыв литературы. Вспомоществуемая въ то же время памфлетическими выходками Вестужевской тколы, она очень искусно церенесла вопросъ о причинахъ появленія новаго журнала на политическую почву, назвавъ издателей и стороппиковъ «Литературной Газеты» — кружкомъ людей, желающихъ выдълиться изъ общаго положенія, существующаго для литераторовъ, и стать особиякомъ, образовать партію знаменитостей, водворить «принципъ аристократизма» тамъ, гдъ его быть не можетъ, и направлять общественную мысль, въ смыслъ этого принципа. Этотъ опасный, при тогдашиемъ режнив, намекъ и дерзкій вызовъ, брошенные монополіей въ такомъ видь, были подняты «Литературной Газетой», или, лучше, ея вдохновителемъ, Пушкинымъ-съ необычайной энергіей. Теперь уже вполив извъстно, что именно Пушвинъ былъ отчасти составителемъ, а отчасти внушителемъ всёхъ твуъ многочисленныхъ полемическихъ замътокъ, въ которыхъ участіе избраннаго круга людей въ дівлахъ общества и литературы -доп · якд смимидохдоэн имэди от си и сминилеталеж сопклавадо нятія строя жизни и уровня мысли въ государствъ. Въ противоноложность съ задачами и цвлями, какія можеть иміть подобный избранный кругь, публицисть «Литературной Газеты» поставляль на видъ задачи какого-пибудь проходимца-литератора, въ родъ Видова, — и дъйствительно, статья Пушкина о заинскахъ отого сыщика, въ № 20 «Литературной Газети», нанесла чувствительний ударъ Булгарину, какъ нравственной личности. Далве, тотъ же публицистъ влеймилъ ядовитыми эпиграммами враговъ всякой умственной и моральной возвышенности въ людихъ, какъ признака аристократизма (ср. эпигранну Пушкина на того же Булгарина), и наконецъ въ пресловутой статейкъ, надълавшей много шума и не мало бъдъ самому издателю «Газеты» (и она тоже припадлежитъ Пушкину), дошель до замічанія, что пеумолкаемыя нападки журпаловь Вулгаринскаго пошиба на аристократію могуть кончиться твив, чвив онк кончились въ другой странъ — криками черни: «les aristocrates à la lanterne», и припъвомъ «са ira». Статейка еще добавляла свою выходку восклицаціемъ: «avis au lecteur!»

Враги Пушкина и вся Булгаринская партія поздно тогда спохватились, что сділали описку, затронувъ его и приложивъ къ нему свой инсинуаціонный способъ борьбы: Пушкинъ встрітилъ ихъ на той самой почви, гди они считали себя непобиденными, и даль почувствовать, что оружіе инсинуацій можеть быть обращено и противи нихь самихь. Испугь, произведенный замиткой Пушкина въ Булгаринскомъ лагери монополистовь, быль понятень: она наносила ударь ихь оффиціальной репутацій — благонадежности; но, бросая ее въ тикомъ ризкомъ види, Пушкинъ падилля, что она вызоветь столь же ризкій отвить — и тико дасть поводъ къ начатію серьёзной, принципіальной полемики.

Ничего подобнаго не случилось. Враждебная партія нисколько не была расположена затрогивать основы своихъ или чужихъ мевній и предпочла ограничиться горячими протестами противъ злонаифреннато вывода, сделаннаго изъ ел словъ, и скрыться подъ покровительство общихъ цензурныхъ законовъ. Но Пушкинъ уже не хотвать оставить ее спокойно предаваться, по прежнему, безматежному удовольствію вести простую диффаматорскую игру вокругь ниенъ и личностей, посяв того, какъ уже быль поднять вопросъ о направленіяхъ и следовало выразить свое отношеніе въ нивъ. Онъ принялся за объяснение и распространение первоначальной замътки, въ формъ разговора между двумя лицами: А. и Б., въ которомъ уже излагаль отчасти свое воззрвніе на явленія, носившія названія русской аристократіи и демократіи. Разговоръ предназначался имъ тоже для «Литературной Газеты», въ чемъ ножно убъдиться и по нъкоторымъ его пріемамъ и нівсколько осторожному тону изложенія; но Пушкинъ въ этомъ случав слишкомъ понадвялся на выносливость печати и разсчитываль на публикацію, не договорившись, по французскому выраженію, предварительно съ хозянномъ. Выло найдено, что весь этотъ литературный споръ зашелъ уже слишкомъ далеко и затронулъ стороны жизни, не подлежащія его въдънію, и посль должныхъ внушеній объимъ сторонамъ, дальныйшее его развитіе ділалось боліве невозможнымъ. «Разговоръ» такъ и остался въ бумагахъ Пушкина въ томъ необделанномъ еще виде, въ какомъ им здъсь и приводимъ его  $^{1}$ ):

<sup>1)</sup> Для библіографовъ и для будущаго истинно-полнаго собранія сочиненій Пушавна, им можемъ еще привести замітки его, польнивілся въ сміси "Литературной Газети" и не попавшія ни въ одинъ изъ сборниковъ его твореній. Такови: № 10, стр. 98—о князів Вяземскомъ; № 12, стр. 98—о каррикатурів въ Англіи, которая содержить намекъ на Н. А. Полевого; № 16, стр. 129—о гекзаметрахъ Мералякова, въ сравненіи съ гекзаметрами Дельвига; № 20 стр. 162—отвітъ критику, объявивему при разборіз одного литературнаго сборника, что пітъ причинъ сожаліть объотсутствім въ немъ знаменитмъх писателей; № 36, стр. 293—вторая замітка о веблаговидности пападокъ на дворянство.

«А. Читаль ты замъчаніе въ «Литературной Газеть», гдъ сравнивають нашихъ журналистовъ съ демократическими писателя-ME XVIII-ro croadtia?—B. Четаль.—A. Какъ же ты его находишь?—В. Довольно неумъстнымъ 1).—А. Конечно-иначе нельзя и думать. Какъ не стыдно литераторамъ обижать такимъ образомъ свою братію!... - Б. Согласенъ. - А. Русскіе журналисты не заслуживали такого преврительного сравненія.—В. А! такъ извини: я съ тобою не согласенъ. -- А. Какъ тавъ? -- Б. Я било тебя не поняль. Мив показалось, что ты находишь обиженными демократическихъ писателей XVIII стольтія, которыхъ съ нашими никакниъ образомъ сравнивать нельзя. Томасъ, Дюкло, Шамфоръ – были столь же умине, какъ и честине люди – не безиримърние геніи, но литераторы съ отличнымъ талантомъ. — А. Въ «Литературной Газетв > сказано, что эпиграммы ихъ приготовили крики: à la lanterne! Неужто въ самомъ дълъ эпиграммы произвели французскую революцію?— Б. О французской революціи «Литературная Газета» ислчить—и хорошо дълаеть.—А. Помилуй, да посмотри—les aristocrates à la lanterne, ça ira, и т. д.— $\mathcal{B}$ . И ты туть видишь французскую революцію?—А. А ты что тутъ видишь, есля сыбю спросить? — В: Одинъ жалкій эпизодъ французской революціи — гадкую фарсу въ огромной драмъ. — А. Такъ видно — ты стоишь за «Литературную Газету». Давно-ль ты сделался аристократовъ? — В. Какъ, аристократомъ? — Что такое аристократъ! — A. Что такое аристократъ? О, да ты журналовъ не читаемъ. Вотъ видишь ли: издатель «Литературной Газеты» и сотрудники его, и читатели еговсъ аристократи! – Б. Воля твоя, я смысла тутъ не вижу. Будучк санъ литераторомъ, я читаю «Литературную Газету», ибо мив любопытно знать ея мифиія: миф досадно видіть въ ней иногда личности и колкости, отвъты, возраженія, мелочную войну, которую не худо предоставить литературнымъ башкирцамъ; но никогда не видаль я въ «Литературной Газетъ» ни дворянской спъси, на гоненія на прочія сословія. Дворяне ли баронъ Дельвигь, клязь Вязенскій, Пупікнив, Баратынскій-мін до этого и дала натъ. Они объ этомъ не толкують. Заступясь за грамотное купечество, въ ляцъ г. Полевого-они сдълали хорошо; заступись нынъ за просвъщенное дворянство-они сдълали еще лучие. - А. А что значить: avis an lecteur! Къ кому это относится? Ты скажешь—къ журвалистамъ, а я такъ дунаю — не къ цензуръ ли? — Б. Да хоть бы в . къ цензуръ-что за отда?... Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждаго сословія, но сибяться надъ сословіемъ,

Этоть Е., какъ выразитель Пушкинскихъ мифній, имфеть въ виду еще и лятературную полицію, также встревоженную разкой заматкой.

потому только, что оно такое сословіє, а не другое--- не хорошо к не позволительно. И на кого журналисты наши нападають? Въдь не на новое дворянство, получившее свое начало при императоръ Петръ I и императрицахъ и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристопратію. Pas si bête! Наши журналисты передъ этинъ дворянствоиъ въжливы до крайвости; опи нападаютъ именно на старинное дворяпство, которое нывъ, по причинъ раздробленныхъ имъній, составляетъ у насъ родъ средняго состоянія, состоянія почтеннаго, трудолюбиваго и просв'ьщеннаго, состоянія, къ которому принадлежить и большая часть нашихъ литераторовъ. Издаваться надъ нимъ (и още въ оффиціальной газетъ) не хорошо и даже не благоразумно.—А. Почему же статья «Литературной Газеты» показалась неблагонамфренной иногниъ? — В. Потому, что политические вопросы никогда не были у насъ разбираемы. Журналы наши, не нарочно наступивъ на одинъ взъ таковыхъ вопросовъ, сами испугались движенія, ими произведеннаго. Демократическіе наши журналы (въ прямомъ или переносномъ смыслв), нападая на дворянство, должны были найти отпоръ и нашли его въ «Газетв». Все это естественно, даже утвшительно, но, повторяю, вопросы политическіе для насъ еще новость.—А. Знасть ли что? Мий хочется разговоръ нашъ передать издателю «Литературной Газеты - чтобъ онъ напечаталъ его себъ въ оправданье. - В. И хорошо сдълаешь. Есть обвиненія, которыя не должны быть оставлены безъ вниманія, оть кого бы они, впрочемъ, на происходили. Повредить замъчаніемъ нельзя. Образъ метнія почтенныхъ издателей «Съверной Пчелы» — слишком хорошо извъстенъ, и «Литературпая Гизета» повредить ниъ не можеть, а г. Полевой, въ ихъ компаніи и подъ ихъ покровительствомъ, мёжеть быть тоже безопасенъ».

Въ этомъ отрывив есть небольшая тирада, уже однажды нами приведенная («Пушкинъ въ Александровскую эпоху»), о нападкахъ журналистики преимущественно на остатки старыхъ дворянскихъ родовъ, лишенныхъ всякаго политическаго зпаченія, но мы предпочли, вивсто опущенія ея—повторить теперь на томъ мівстів, гдів ее встрівтили въ первый разъ.

Когда, вследствіе запрещенія, оказалось невозможнымъ продолжать споръ въ томъ полемическомъ тоне, какой онъ приняль съ самаго вачала, Пушкинъ перешелъ къ мысли возобновить его въ более спокойной, объективной форме руководящихъ статей и трактатовъ, которые бы могли найти уже безопасный пріють въ той же «Литературной Газеть» и сообщить ей общественно-политическій оттенокъ.

На душт его лежало: -- съ одной стороны, объяснить роль либеральной, прогрессивной, патріотической аристократіи въ государствахъ, которые ею обладають, а съ другой-открыть въ современной литературъ эру разработки политическихъ вопросовъ, какъ пъкогда сдълалъ это Каранзинъ для своей эпохи въ своенъ журпалъ «Въстникъ Европы» (1802—1803 гг.). Пушкинъ припялся набрасывать програнны и конспекты для статей съ н*аправленіем*ь, — по покуда панвчаль онъ существенныя черты и ходы будущей своей работы, сама «Литературная Газета» была пріостановлена. Поводомъ къ этой мфрф послужило нфсколько переводныхъ стишковъ изъ возаванія Казиміра Делавиня въ бойцамъ іюльскаго переворота, тогда прогремъвшаго во Франціи, и попавшихъ въ газету совершенно случайно, какъ дополненіе печатной страницы, и притомъ всего болбе за свою форму, такъ какъ сочувствія къ историческому факту, упоминался въ стихахъ—ни Дельвигь и никто изъ литераторовъ не могли питать по простой причинь, которую раздыляли со всымь нашимъ обществомъ того времени: они не имвли вовсе никакого инвиія о немъ. Распоряженіе это однавоже сопровождалось печальными посятдетвіями для Дельвига. Онъ призванъ быль къ отвъту генераломъ Венкендорфомъ, и при этомъ вытерпълъ такую бурю подозржий, угрозъ и оскорбленій, что она потрясла физическій и иравственный его организмъ. Онъ заперся въ споемъ домъ, завелъ варты, дотолю не виденныя въ немъ, никуда не показывался и никого не принималь, кромъ своихъ близкихъ. Подъ дъйствиемъ такого образа жизни и глубоко-почувствованнаго огорченія можно было опасаться, что первая серьёзная бользнь унесеть всь его силы. Такъ и случилось – болфань не заставила себя ждать и быстро свела его въ могилу (14 января 1830 г.). «Литературная Газета», однакоже, посяв довольно доягаго перерыва явилась опять на свътъ, подъ редавціей извістнаго тогда составителя безцвітних собозріній Русской Словеспости» для альманаховъ-Ореста Сомова, и въ рукахъ его продолжала еще существовать искоторое время, пиксмъ уже болъе не тревожимая, по н никому ненужная. Пушкинъ отложилъ въ сторону всъ планы статей для журнала, пересталъ думать о нихъ, и, наконецъ, позабылъ вовсе объ ихъ существовании...

Но они стоють того, чтобы вывести ихъ изъ забвенія, на которое были обречены. Какъ еще ни безсвязны, ни сжаты и лаконичны всв эти проекты неосуществленнаго труда, потребовавшія отъ насъ объясненій гораздо болье пространныхъ, чвиъ они сами; какъ ни кажутся съ перваго вида многіе изъ тезисовъ, тутъ приведенвыхъ, ръзко парадоксальными и неумфренно-горячими по выраженію (недостатки, которые вфроятно были бы сглажены или обойдены

при обработив ихв), - но въ своей совокупности эти программи автора представляють довольно ясно и отчотанво существенныя черты и коренныя основанія полной политической теоріи, законченваго ученія, цельнаго историческаго созерцанія. Оно нажито было Пушкинымъ долгими размышлоніями о способъ выяснить себъ современное сму положеніе общества, илйти точку отправленія для своей имсли, и всего болъе созръло въ бесъдахъ съ людьии, занимавшимися твии же поисками за отчетливымъ опредвлениемъ своей эпохи въ прошлое царствованіе. Вотъ почему теорія Пушкина, какъ она созидается изъ сложенія и возстановленія всёхъ отрывковъ, оставшихся послъ нея, имъетъ двоякое значение: во-первыхъ, какъ върное отражение весьма любопытной и важной стороны Александровской эпохи, которой Пушкинъ былъ върнымъ представителемъ, и, во-вторыхъ, какъ документь, далеко не лишенный интореса для запимающихся исторіей идей, которыя въ разное время посъщали умы нашего образовалваго общества. Между прочинь, ны убъждены, что извъстный, глубокосочувственный, почти восторженный отзывъ Мицкевича о «политическомъ смыслъ Пушкина возникъ преимущественно изъ знакомства съ основными чертами этой самой теоріи, которая уже давно народилась и созръвала въ головъ ся автора. Приводниъ, по порядку, нервый образчикъ Пушкинскихъ программъ:

«Что такое потоиственное деорянство? — Сословіе народа высшее, награжденное большими пренмуществами касательно собственности и частной свободы. — Кънъ? — Народонъ, или его представителями. — Съ какою целью?—Съ целью иметь мощных ващитинковъ (народа), или близвихъ и непосредственныхъ къ властямъ представителей. — Какіе люди составляють сіе сословіе? — Дюди, которые имбють время заниматься чужнии делами. -- Ито сін люди? -- Отивниме по своему богатству или образу жизни. -- Почену такъ? -- Богатство доставляетъ способъ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву du souverain. Образъ жизин, т-е., пе ремесленный или земледъльческій, вбо все сіе налагаеть на работника или вемледъльца различныя узы. — Почему такъ? — Земледфлецъ записитъ отъ земли, имъ обработанной, и болье исъхъ неволенъ; ремесленникъ — отъ числа требователей торговыхъ, отъ мастеровъ и покупателей. - Нужно ли для дворянства пріуготовительное воспитаніе? — Нужно. — Чему учится дворянство?—Независимости, храбрости, благородству, чести вообще.— Не суть ли сін качества природныя?—Такъ, но образь жизни можетъ ихъ развить, усилить или задушить. — Нужны ли они въ вародъ, также, какъ, напринъръ, трудолюбіе? - Нужны, и дворяндворянскія грамоты? — Мининъ! — Выло ян зло м'ястничество?.. Везд'я и существовало оно? Зач'ямъ уничтожено было оно? И было ян оно въ самомъ д'ялъ уничтожено? — Петръ».

Другая проба висказать свои убъжденія была сдълана Пушкиныть уже на беллетристической арень, но и туть ей не болье посчастливилось, чёмъ въ первыхъ двухъ пробахъ. Махнувъ рукой, послъ запрещенія «Литературной Газеты», на проекти статой, ей предназначавшихся, Пушкинъ не потерялъ нити своей политической доктрины, а только перенесъ ее, спустя 3-4 года (1833-34 г.), въ повъсти и разсказы, гдъ она, какъ красная нитка, и заплеталась въ ткань ихъ романической интриги. При печатаніи, однако-жъ, этихъ произведеній — уже послів смерти автора ста, содержавшія намеки на эту доктрину, подверглись исключенію, и красная нитка только кое-гдв и клочьями осталась на поверхности разсказовъ. Понятно, что въ беллетристическомъ изложенін политическая доктрина могла обнаружить только часть своего содержанія, только ту сторону свою, которая обращена была освъщение нравовъ общества, идей, въ немъ живущихъ и выведеннихъ типовъ. Все прочее оставалось въ полу-пракъ. На творческомъ станкъ доктрина потеряла много въ объемъ, но неизмърнио выиграла въ блескъ и цънности. Набрасывая свои повъствовательные отрывки, Пушкинъ уже становится замфчательнымъ правоучителемъ, хотя и не покидаетъ своей горячей защиты правъ высшаго просвъщеннаго сословія. Уваженіе къ предкамъ онъ считаетъ нравственной силой, укрънляющей волю, создающей характеры, ставящей высокія жизненныя ціяли, в возвышлется до степени ядовитаго сатирика и негодующаго патріота, когда принимается обличать слиноту и пустоту русского образованного общества, совершенно позабывшаго все свое прошлое для того, чтобы помнять только мелкіе и пошлые интересы дневного существованія, заниматься и питаться вопросами самаго низменнаго свойства, и притомъ въ такихъ размърахъ, къ какимъ способин бывають единственно люди, живущіе безъ идеаловъ. Сочувственное отношеніе къ старинъ, къ исторін и культур'й предвовъ, лежавшее скрытно въ основ'й вс'яхъ политическихъ теорій автора, здісь выділилось уже въ пламенную рфчь и горячую проповъдь, — и приходится сказать, что проповъдь эта чуть ли не составляла и самое существенное и единственноплодотворное зерно всего его ученія.

Извъстно, что въ послъднее время своей жизни поэтъ перъдко переводилъ на вымышленныя имъ лица иткоторыя черты собственнаго своего созерцанія, подъ-часъ даже особенности своего характера, полученныя психическимъ анализомъ своей личности и ду-

ховной природы, какъ было уже замъчено нами прежде, при разборъ его произведений и, между прочинъ, при его разсказъ объ «Импровизаторъ», гдв лицо героя Чарскаго представляетъ уменьшенное отражение нравственнаго облика самого автора. Другой приифръ прививки своихъ воззрвий и убъжденій къ вымышленному лицу поэтъ представилъ въ извъстноиъ разсказъ: «Разговоръ вечероиъ на раутъ 1). Весь этотъ разговоръ намъ кажется передачей дъйствительной беседы, слышанной авторомъ, по всемъ вероятіямъ, въ какомъ-либо изъ аристократическихъ и дипломатическихъ салоновъ Петербурга, куда онъ быль вхожъ. Въ рукописи разговоръ кончается сафдующимъ мъстомъ, которое — можетъ бить — пріятно будетъ встретить читателямь, после полувекового сна его подъ спудомь, хотя въ сущности оно представляеть не болье, какъ повторение и развитіе уже извістной, излюбленной. Пушкинской тэмы. Місто начинается вопросомъ одного изъ собеседниковъ, именно иностраннаго дипломата, о русской аристократіи— и завершается отвітомъ его русскаго собесъдника, устами котораго говоритъ уже самъ авторъ. Иностранный дипломать открываеть беседу заисчапісмь:

- «Вы упомянули о вашей аристократіи: что такое ваша аристократія? Занимаясь вашими законами, я вижу, что наслъдственной аристократіи, основанной на недълимости имъній, у васъ не существуеть, кажется. Между вашимъ дворянствоть существуеть гражданское равенство, и доступъ къ оному ни чёмъ не ограниченъ. На чемъ же основывается ваша, такъ-называемая, аристократія? Развътолько на одной древности родовъ русскихъ?»
- «Вы опиблетесь, отвъчаль онъ, древнее русское дворянство вследствіе причинь, вами упомянутыхь, у нась въ неизвъстности и составило родь третьяго сословія. Влагородная чернь, въ которой и я принадлежу, считаеть между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократія съ трудомъможеть назвать и своего деда. Древніе роди ихъ восходять до Петра и Елизаветы. Деньщики, певчіе, хохлы—воть ихъ родоначальники, будь сказано не въ укоръ ихъ достоинствамъ. Достоинство всегда достоинство, и государственная польза требуеть его возвышенія. Смешно только видеть въ ничтожныхъ внукахъ спесь какого-пибудь Монморанси, перваго христіанскаго барона. Я, напричерь, продолжалъ русскій не могъ бы отыскать въ хроникахъ

<sup>1)</sup> Этогь коротенькій разсказь быль едпиственнымь, написаннымь Пушкинымь еще до основанія "Литературной Газеты" (1829), между тімь какь всі другіе, какь "Егвегскія Почи", только-что упомянутыя, "Романь вы письм іхь", "Моя родословная", созданы послі нея

моего родоначальника. Знаю только, что предки мои сражались близъ Александра Невскаго, были у трона Ивана IV и возвели на престолъ... но если бы я подумалъ назвать себя аристократомъ, то, въроятно, насмъщилъ бы многихъ. Мы такъ положительны, что прошедшее для насъ не существуетъ: Карамзинъ недавно разсказалъ намъ нашу исторію, но едва ли мы выслушали его. Мы гордика не славою предковъ, но чиномъ какого-нибудь дяди-дурака или баломъ двоюродной сестры. Мы на коліняхъ предъ настоящимъ случаемъ, успіхомъ, но очарованіе древности, благодарность къ прошедшему и уваженіе къ правственнымъ качествамъ, у насъ...—Замітьте, что неуваженіе къ предкамъ есть первый признакъ безнравственности».

Эта горячая діатриба, направленная столько же противъ сустной фамильной спаси, сколько и противъ пренебрежения всахъ сенейныхъ преданій, еще уступаеть въ выразительности и яркости другой такой же діатрибъ, встръчаеной въ очень замъчательномъ и, къ сожальнію, тоже неконченномъ разсказь: «Романъ въ письмахъ». Тапъ она служить последней крупной и определяющей чертой для физіономін главнаго действующаго лица повести, невоего Владиміра Это лицо, даже и въ теперешнемъ своемъ видъ, представляетъ замъчательно-полный типъ аристократического славянофила временъ Александра I. Нигдъ еще Пушкинъ не рисовалъ такъ ярко собственнаго своего образа, состоянія собственной своей мысля в задушевныхъ убъжденій своихъ, какъ въ этомъ вымышленномъ лиць, сохраняя ему всв живыя краски и особенности самостоятельнаго и оригинальнаго характера. Приводимый отрывовъ находился въ одномъ изъ писемъ романа (письмо VIII), следовалъ за восклицаниемъ Владиміра Z., по поводу матеріальнаго настроенія нашего общества («Къ чему ведетъ такой матеріализмъ? — не знаю»), и начинался еще пофранцузски:

«Но пора положить этому преграды. Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lacheté dans le gentilhomme. Говоря въ пользу аристократія, я не корчу англійскаго лорда: мое происхожденіе, хоть я его не стижусь, не даеть на то никакого права, но я, безъ прискорбія, пикогда не могь видівть уничтоженія нашихъ историческихъ родовъ. Никто у насыши не дорожить, начиная съ тіхъ, которые имъ принадлежать. И какой гордости воспоминаній ожидать отъ народа, который пешеть на памятникі: «Гражданину Минину и клязю Пожарскому». Какой князь Пожарскій? Что такое гражданинь Мининь? Выль у

насъ окольнечій князь Динтрій Михайловичь Пожарскій, и быль Козьма Миничъ Сухорукій, выборный земли русской. Но отечество забыло даже настоящія имена своихъ избавителей. Прошедшее для насъ не существуеть. Жалкій народъ!

«Образованный французъ или англичанииъ дорожитъ строкою стараго летописца, въ которой упоминается имя его предка, честняго рыцаря, павшаго въ такой то битвъ, или въ такойъто году возвратившагося изъ Палестины, но калмыки не имъютъ ни дворянства, ни исторіи. Дикость и невъжество не уважаютъ прошедшаго, пресмыкалсь предъ однивъ настоящивъ. И у насъ иной потомовъ Рюрика болье дорожитъ звёздою двоюроднаго дядюшки, чъмъ исторіею своего дома, т.-е. исторіей отечества. И это вы ставите ему въ достоинство. Конечно, есть достоинства выше знатности—именно, достоинства личныя. Имена Минина и Ломоносова вдаоемъ перевъсятъ есть наши старинныя родословныя. Но неужто потомству ихъ смёшно было бы гордиться сими именами. Я видълъ родословную Суворова, писанную имъ самимъ. Суворовъ не презиралъ своимъ дворянскимъ происхожденіемъ».

И, наконецъ, въ безпрестанныхъ пробахъ передать свое соверцаніе въ такой формѣ, которая покорила бы вниманіе публики
— Пушкинъ дошелъ до самаго блестящаго выраженія его въ
великольщий поэмѣ: «Мъдный Всадникъ» (1833 г.), хотя тоже,
за спертію поэта, не получившей окончательной отдѣлки. Обезумѣвшій отъ горя, ничтожный потомокъ знатнаго боярскаго рода—и
современный коломенскій чиновникъ—осмѣливается укорять великаго
императора во всѣхъ своихъ несчастіяхъ и даже посягаетъ на угрозу
передъ бронзовымъ ликомъ его, въ которомъ онъ внезапно открываетъ
того человѣка, который лишилъ его фамилію гражданскаго значенія,
низвелъ его самого въ ряды бездольнаго служаки и косвенно настигъ,
даже послѣ своей смерти, въ послѣдненъ его убѣжищѣ—сердечномъ
счастіи, унесевномъ наводненіемъ въ основанномъ имъ Петербургъ.
Пушкинъ называетъ втого потомка знатнаго боярскаго рода только
по имени:

Прозванья намъ его не пужно — Хотя въ минувши времена Оно, быть можеть, и блистало, И подъ перомь Карамзина Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало; Но имиъ свътомъ и молвой Оно забыто. Нашъ герой Живетъ въ Коломиъ, гдъ-то служить, Дичится знатимхъ, и не тужитъ Ни о покойницъ-родиъ, Ни о забытой старинъ...

Нельзя не остановиться на безсимсленной, съ перваго вида, угрозв, слетвишей съ устъ этого несчастияго, подъ конецъ его рвчи: «Ужо тебя...» — восклицаетъ онъ! Невольно думается, что въ этомъ нелвиомъ: «ужо тебя» — безумецъ выразилъ промелькиувщую въ его головв мысль о возможности еще найти судъ въ потомствъ и передвлать приговоръ, давшій такую славу и значеніе имени грознаго реформатора. Мъдний-Всадникъ, погнавшійся за нимъ, словно угадалъ его тайную мысль 1).

Всв эти иден Пушкина теперь, по прошествіи почти 50 латъ со дня его смерти, не покажутся инкому ни очень новыми, ни очень върными: онъ получили такое обобщеніе въ посладнее время, будучи подняты снова борьбой и препіями по поводу нашего земскаго самоуправленія, и притомъ подвергнулись такому критическому обсужденію, что ни для кого не могуть уже болье служить соблазномъ. Притомъ же, одна часть этого воззранія, затрогивающая важность и достоинство историческихъ традицій, обработана была впосладствій съ силой эрудицій и діалектики, конечно превышающими все, что говориль поэть, и даже все, что опъ могь сказать по этому поводу въ свое время. Но за Пушкинымъ и за Александровской эпохой, его воспитавшей, остается честь перваго поднятія иногихъ подобныхъ же вопросовъ русской культуры и общественнаго быта.

Рано или поздно эти вопросы должны были снова явиться на свътъ и сдълаться уже предистани серьёзнаго разбора, ученой и иногосторенней полемики, какъ и случилось. Разногласіс по ихъ поводу еще не кончилось, и оградить накоторыя стороны Пушкинскаго ученія отъ превратнаго толкованія представляется еще и теперь необходимостію. Несомивнио, что ученіе поэта можеть дать поводъ къ важнымъ недоразумвніямъ, если переставить исходний пунктъ, отъ котораго отправлялся авторъ, на другую почву. Теорія, довольно похожая на ту, которую проповадиваль поэть, но вдобавокъ требовавшая, чтобы всв заботы государства обращены были на интересы одного избранняго сословія исключительно передъ другими, не разъ уже являлась въ средв нашего общества съ претензіями на высокую политическую мудрость. Какую бы строгую оцфику и критику ни заслуживали взгляди Пушкина, -- но достовфрно, что вичего общаго съ вышеупомянутой теоріей они не вивють. Мы видъли, что конечная цъль всъхъ его разсужденій была все-таки забота о народъ и о доставлени ему той доли защити и свободи

<sup>1)</sup> Это восклиданіе было опущено въ взданів сочиненій Пушкина 1855—57, гда осталась только начальная фраза угрозні: "Добро, строитель чудотворний!" См. томъ из анія 1857, стр. 72.

въ трудъ, какихъ онъ самъ, по стеченію обстоятельствъ и при извъстной тогдашней обстановив своей добыть не могъ. Направление Пушкина выходило не изъ кровной привязанности къ боярскинъ привилегіянь, какъ таковынь, а изъ сожальнія о потеры передовынь сословіемъ такъ орудій, которыя могли бы дать ему средства сослужить великую службу отечеству. Чувствуешь, что не въ вида лицемарной оговорки, а изъ глубины души воскликнулъ онъ: «Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевъсять всв наши старинныя родословныя». И могь ле сдёлать своимь полетическимь знаменемь теорію о наслідственномъ правів на почеть, безъ разбора правственнихъ вачествъ лица, тотъ человъкъ, которий въ самомъ разгаръ аристократическаго одущевленія своего твердо поставиль афоризиь-«личныя достоинства выше знатности». Подъ теоріей Пушкина и многихъ его современниковъ текла невидимая, но хорошо чувствуемая, горячая политическая струя, не позволявшая рости вокругъ себя ничему похожему на корыстный разсчеть, родовую кичливость или узкій эгонять, хотя сама теорія представляєть иного спорныхь сторонъ и является роднымъ дътищемъ своего времени, не знавшаго еще другихъ дорогъ къ устраненію злоупотребленій и къ обновленію себя, кром'й тахъ, которыя она прокладывала въ своемъ воображенія, въ области благородныхъ мечтаній и велякодушныхъ химеръ.

## II.

Какъ извъстно, А. С. Пушкинъ тотчасъ послъ свадьбы своей въ Москвъ (18 февраля 1831 года) уъхалъ въ Петербургъ. Спустя двъ недъли послъ того, именно въ мартъ мъсяцъ, онъ поселяется на дачъ, въ Царскомъ-Селъ, и безвытадно проводитъ семъ мъсяцевъ въ хорошо-знакомомъ ему городъ. Эти семъ мъсяцевъ положили основание всей послъдующей жизни Пушкина и должны счетаться исходнымъ пунктомъ новой литературной его дъятельности.

Дворцы, сады и парки царской резиденціи оживились въ літу 1831 года прибытіємъ двора. Вийстів съ нимъ прибылъ, конечно, и главный наставникъ Государя Цесаревича, В. А. Жуковскій. Давнія дружескія связи между нимъ и Пушкинымъ затянулись еще въ боліве крізпкій узель, благодаря частымъ, ежедневнымъ ихъ свиданіямъ, а также и весьма серьёзному настроенію, которое царствовало вокругъ нихъ. Политическій горизонтъ былъ праченъ, какъ въ Европі, такъ и въ Россіи. Друзья сходились для того, чтобы передавать другь другу извістія о тяжеломъ подоженін государства, посъщеннаго холерой, и имсля о неудачахъ, затрудненіяхъ и ошибкахъ нашей польской кампанін.

Польское возстание находилось въ апогет своего развития и потребовало усилий и жертвъ для подавления его, сначала и непредвидънныхъ. Втихомолку передавались печальныя новости съ театра войны: нертшительность дтиствий русской армін, возрастающія надежды инсуррекціи, сочувствіе къ ней со стороны народовъ Европы; за междоусобной войной проглядывала возможность большой европейской войны въ близкомъ будущемъ! Нравственная сторона польскаго вопроса особенно обращала вниманіе друзей въ Царскомъ-Селф, такъ какъ въ ней-то и заключалось все дъло. Пока большинство русскаго общества негодовало просто на медленность вооруженной расправы съ непріятелемъ, обвиняя въ томъ людей, совтинковъ и прочихъ, Жуковскій и Пушкинъ всего болфе думали о принципф, который возстаніе положило въ свою основу и которымъ себя оправдывало.

И было о ченъ подумать. Подъ знамененъ нарушеннаго привдипа народной воли и національности, Франція, только-что провозгласившая этотъ принципъ у себя, стала почти целикомъ въ ряды самыхъ ожесточенныхъ враговъ Россін. Начавшанся борьба двухъ славянскихъ племенъ вызвала тамъ въ печати и на трибунъ бурю ненависти, угрозъ и всевозможныхъ обвиненій противъ русскаго народа и правительства, — бурю, которая сообщилась и ближайшинъ сосъдянъ Россін. По секрету передавались слухи объ опасновъ положенін правительствъ, конституціонныхъ и абсолютныхъ, одинаково истощавшихся въ усиліяхъ сдерживать порывы своихъ народовъ, которые требовали почти въ одниъ голосъ передълки европейской исторіи и трактатовъ во всемъ, что они сказали въ пользу и въ интересв Россіи. Не одинъ Пушкинъ приходилъ въ негодованіе отъ этого непомірнаго озлобленія умовъ, не одинь онъ думаль, что какъ бы ни велики были успъхи нашей секретной диилонатической борьбы съ направленіемъ, — одной этой борьбы еще не было достаточно, и следовало бы вызвать на борьбу съ ничъ голось самого общества. Какъ ни совътовали еще последнему покрывать всв иростния нападки его враговъ однивъ горделивимъ полчаніемъ, по иногимъ, вифств съ Пушкинымъ и Луковскимъ, казалось, что вившательство общества въ полемику опло еще нуживе ему самому, для разръшения бользненныхъ тревогъ его собственной совъсти и сознанія, чънъ даже для отраженія несправедливыхъ обвиненій со стороны. Конечно, выразительных словъ: «бунть», «иятежъ --- достаточно было для успокоснія чувства законности у большинства тогдашней русской публики, но вопросъ о правственномъ

правъ употреблять силу оружія противъ иден о политической саностоятельности у народа, котораго много лють пріучали въ ней оффиціально, - этотъ вопросъ оставался и затвиъ смутнимъ для значительной части русской интеллигенціи. На этоть вопрось именно Пушкинъ и раминся отвачать, противопоставляя польской идеа и заграничной ел пропагандъ другую идею, обнаруживавшую, по его инфию, настоящій историческій и правственный симсяв начавшейся борьбы двухъ родственныхъ племенъ. Идея эта имъла еще и то качество, что способна была оправдать меры, принимаемыя для доставленія ей торжества. 5-го августа 1831 года, за три недели до паденія Варшавы, Пушкинъ написалъ по адресу европейскихъ и польскихъ враговъ нашихъ пьесу «Клеветникамъ Россіи», которую можно назвать первой политической журнальной статьей, тогда наинсанной у насъ по польскому вопросу, -- и это несмотря на ея лирическую форму. Политическая имсль укрылась здёсь подъ крыло Державинской оды и сложила тутъ свои зародыши, за ненивнісив никакого другого пріёмника. Зам'ячательно, что ей всів обрадовались и, ножеть быть, всего сильные тв, которые не считали возможнымъ и нужнымъ призывать на помощь своему двлу независимый голось публицистики. Всемь она даровала влючь въ благопріятному толкованію смутнаго и щекотливаго вопроса, но главная привлекательная ся сторона заключелась въ томъ, что она какъби возлагала великую народную миссію на непосредственныхъ, активимую деятелей войны. Такинь образонь, настоятельная потребность минуты была удовлетворена, хотя, безъ сомпънія, и въдухъ того времени. Много разъ потомъ ссилались на мысль Пушкина, что польскій вопросъ представляеть, по преимуществу, домашнее дъло славянскаго міра, отъ поворота котораго въ ту или другую сторону зависить направление и будущность славянства вообще; иного разъ также и разработывали эту мысль въ различныхъ смыслахъ. За Пушкинымъ остается, въ концъ концовъ, непререкаемая честь первой попытки подложить нравственную и теоретическую основу подъ голый фактъ ненавистнаго столкновенія двухъ родственнихъ племенъ.

27-го августа, совершилось столь долго и нетеривливо ожидаемое паденіе Варшавы, далеко не прекратившее, впрочемъ, какъ извъстно, развитіе племенной борьбы. Пушкинъ привътствоваль собитіе стихотворенісмъ «Вородинская годовщина», которое, вийстъ съ пьесой «Клеветникамъ Россіи» и стихотворенісмъ Жуковскаго по тому же случаю, напечатано въ одной брошюръ: «На взятіе Варшавы, 1831 г.». Также точно напечатали они въ одной и той же брошюръ четыре народныя сказки, сочиненныя ими въ Царскоиъ-Селъ, по уговору между собою. Въ это время они все дълали сообща.

Волье чыть выроятно, поэтому, что и появлению той знаменитой пьесы предшествоваль долгій обмыть мыслей въ дружескомъ кругу, который образовался около Пушкина въ Царскомъ-Сель, и который состояль почти весь изъ лицъ, приближенныхъ болье или менье къ императорскому двору, а потому и знавшихъ многія подробности и секреты политики, скрытыя еще отъ глазъ толпы. Въ кругу этомъ, между прочимъ, особенное покровительство и поощреніе встрытила мысль Пушкина основать печатный брганъ для отраженія наговоровъ европейской прессы. Сохранился отрывокъ изъ пробы Пушкина составить формальное прошеніе въ этомъ смысль.

«У насъ періодическія изданія не суть представители различнихъ политическихь партій (которыя въ Россіи и не существують), и правительству нёть надобности имёть свой оффиціальный журналь; но тёмь не менее, въ нёкоторыхъ случаяхъ, общее миёніе имёеть нужду быть управляемо. Нынф, когда справедлявое негодованіе и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всёхъ насъ противъ польскихъ мятежниковъ, озлобленная Европа нападаетъ покамёсть не оружіемъ, но ежедневной бышеной клеветою. Конституціонныя правительства хотятъ мира, а молодыя поколёнія, волнуемыя журналами, требуютъ войны... Пускай позволять намъ, русскимъ писателямъ, отражать безстыдныя и невъжественныя нападенія иностранныхъ газеть».

Не дожидаясь однако же этого дозволенія и не испросивъ, такъсказать, благословенія на подвигь, Пушкинъ возвысиль голось й успъхъ, какъ упомянуто, оказался громадний.

Проектъ изданія политическаго журнала не быль вовсе покинуть и послів появленія знаменитаго стихотворенія,—только, благодаря толкамъ и совітамъ дружескаго круга, въ проектъ замівшались теперь еще другіе и гораздо боліве обширные планы, вмівстів съ соображеніями объ окончательномъ устройствів общественнаго положенія Пушкина. Дійствительно, надо было, думали тогда, опредівлить місто, которое слівдуетъ занять поэту нъ світів, послів того какъ онъ сділался семьяниномъ, какъ миновала эра молодыхъ увлеченій и фрондёрства, построенныхъ на самомъ снисхожденія тіххъ, кого они затрогивали. Діворъ смотрівль на Пушкина съ участіемъ, и при всякомъ важномъ случав его жизни доказываль это участіе несомпівнымъ образомъ, какъ-бы приглашая поэта отыскить сферу публичной дівятельности, которая позволила бы ему разсчитивать на признательность, во имя общественныхъ заслугь и достоинства своихъ трудовъ. По мысли дружескаго круга, слівдовало выбрать еще занятіе, рядомъ съ обычными занятіями поэзіей, которыя въ ръдкихъ только случаяхъ давали тогда устроенное гражданское положение. Дъло было нелогкое. Пушкинъ не хотълъ и слышать ни о какого рода занятіяхъ, которыя ограничивали бы его независимость, изуродовали бы его талантъ, или потребовали бы сделовъ съ совестью; онъ предпочиталь лучше оставаться по прежнему «заподозранныма» человакома, чама сдалаться «выборныма» на подобныхъ условіяхъ. Друзья Пушкина разділяли его сомнівнія, но въ поискахъ за лучшими поприщами для будущей его дівятельности и общественной роди они пришли къ заключенію, что въ русскомъ мір'я существують два вакантныхъ м'яста, отв'ячающія всвиъ наиболве взыскательных требованіямъ сов'встлеваго труженика. Первое изъ этихъ мъстъ могло составить удълъ истиннаго журналиста, политического писателя, «уполномоченного» разъяснять публикъ духъ, намъренія и цъли правительства и отклонять отъ пего безумные толки; легкомысленную или превратную одфику его постановленій, обнаруживая ихъ сущность и присущія имъ идеи. Второе мъсто было еще обольстительнъе: оно возводило Пушкина въ должность оффиціального историка Петровской эпохи и открывало путь къ занятію государственнаго поста исторіографа, не имъвшаго еще своего представителя съ самой смерти последняго его обладателя — Н. М. Карамзина. Кавъ ни сильно отзывались еще эти предположенія романическимъ и утопическимъ характеромъ, но Пушкинъ съ жаровъ ухватился за нихъ: они отвъчали тайнывъ пожеланіявъ его собственной мысли. Опъ тотчасъ же и принялся за положеніе основъ къ ихъ осуществленію, и не далье какъ въ іюнь 1831 г. подалъ уже просьбу генералу Бепкендорфу, въ которой заявлялъ свое желаніе служить посредникомъ между правительствомъ и публивой, если оно того пожелаеть, и преждо всего заняться исторіей Петра I, съ правомъ входа въ государственные архивы.

Мы можемъ привести только черновой набросокъ этой просьбы. Не нифя подлинника и не зная, увидить ли онъ когда-нибудь свътъ, полагаемъ, что и первоначальный, блъдный абрисъ просьби Пушкина будетъ все-таки любопытенъ для читателя. То достовърно—что при окончательной редакціи авторъ документа сохраниль большую часть его содержанія. Это доказывается ссылкой на письмо въ статью, принадлежащей перу высшаго чиновника Третьяго От-дъленія, М. М. Понову, который видълъ и самый документъ (см. статью: «Алек. Серг. Пушкинъ» въ «Русской Старинъ», 1874. т. Х, августь). Авторъ этой статьи цитируетъ изъ просьбы поэта, совершенно сходно съ черновой ея подготовкой, только первое положение ея, гдъ Пушкинъ жалуется на неполучение своевременно

двухъ следовавшихъ ему чиновъ и сопровождаетъ цитату укорязненныхъ заменновъ отъ себя: «Знаменитий, укажаемый всею Русью, поэтъ печалился, что онъ въ служебной ісрархін не более, какъ коллежскій секретарь». Тутъ есть, можетъ быть, и певольное недоразуменіе. Пушкинъ, добиваясь права на посещеніе государственныхъ архивовъ, не могъ забыть, что оно, во-первыхъ, обусловливалось тогда состояніемъ лица на служей по какому-либо ведомству, и часто находилось, по понятіямъ того времени, въ тесной зависямости отъ чина, имъ носимаго. Вотъ какія побужденія управляли имъ, когда онъ напоминаль о служебной несправедливости, ему оказавной, а совсёмъ не мелкое тщеславіс, какъ говорили еще при жизни поэта многочисленные его враги изъ Булгаринскаго лагеря, которые радовались всякому случаю навязать комическую погремущку на простую и очень мало-честолюбивую фигуру поэта. Но вотъ и самый документъ:

«Заботливость истинно отеческая государя инператора глубоко меня трогаеть. Осыпанному уже благодиніями Его В—ва, мей давно было тягостно мое бездийствіе. Я всегда готовь служить ему по мири монхь способностей. Мой настоящій чинь (тоть самый, съ которымь я выпущень быль изь лицея), къ несчастію, будствинь препятствіемь на поприщи службы. Я считался въ иностранной коллегіи оть 1817 до 1824 г. Мий слидовало за выслугу лить еще два чина, т.-е. титулярнаго совитника и коллежскаго ассесора. Бывшіе мон начальники вабывали о моемь представленіи, а я имо о томы не припоминаль. Не знаю, можно ли мий будсть получить то, что мий слидовало.

«Если государю императору угодно будеть употребять перо мое для политических статей, то постараюсь съ точностію и съ усердіемъ исполнить волю его величества. Съ радостію взился бы я за редакцію «политическаго и литературнаго журнала», то-есть такого, въ которомъ печатались бы политическія и заграничния новости, около котораго соединилъ бы инсателей съ дарованіями, и такимъ образомъ приблизилъ бы къ правительству людей полезныхъ, которые все еще дичатся, напрасно полагая его непріязнечнымъ къ просвъщенію. Осмъливаюсь также просить дозволенія заняться историческими изысканіями въ нашихъ государственныхъ архивахъ и библіотекахъ. Не смъю и не хочу взять на себя званіе исторіографа, послѣ незабвеннато Карамзина, по могу со временемъ исполнять дависшнее мое желаніе написать исторію Петра Великаго и его наслѣдниковъ до государя Петра III».

Отвътъ не заставилъ себя ждать и превзошелъ ожиданія Пушкина. 31 іюля 1881 г., ону объщано было разръшеніе на изданіе газеты, и тогда же - съ явной охотой и благорасположениемъ-дано право на посвщение и изучение государственных архивовъ ибиблютевъ, подъ руководствомъ статсъ-секретаря Д. Н. Влудова. Нъсколько поздиве и уже послъ того, какъ были написаны объ патріотическія пьесы (Клеветникамъ Россіи и Вородинская годовщина), т.-е. въ ноябръ мъсяцъ, самымъ неожиданнымъ образомъ устроилось и оффиціальное, служебное положеніе Пушкина. Его причислими къ министерству иностранныхъ дель сверхъ штата, согласно съ отзывомъ начальниковъ въдомства, заявившихъ о неимънін вакантныхъ мість въ своемь распоряженій; но при этомъ Пушкину положено было весьма значительное, по времени, содержаніе, по 5000 р. ас. въ годъ, что отчасти сравнивало его со сверстниками, успъвшими обогнать поэта на јерархическомъ поприщъ. Казалось, всъ спъшили на встръчу желаніямъ и помысламъ Пушкина въ Царскоиъ-Салъ, и самыя распоряженія, которыхъ онъ быль предистоиъ, носили еще явную печать сочувствія къ наифренію поэта связать новый, семейный періодъ своей жизни съ дельнымъ, обширнымъ патріотическимъ трудовъ. Оставалось пользоваться предоставленными ему выгодами и свободой — и довести постепенно оба предпріятія, взятыя ниъ на себя, до блестящихъ результатовъ, какіе они объщали и какихъ онъ быль въ правъ ожидать отъ своего труда. Изв'істно однакоже, что оба предпріятія, на пути своего развитія, встрътили неожиданныя помъхи, прениущественно въ правственномъ, душевномъ, субъективномъ настроении ихъ автора, --- помъхи эти въ короткое сравнительно время успъли остановить ростъ Пушкинскихъ проектовъ, а, наконецъ, и вовсе упразд-HATL HXT.

Главной силой, разрушившей планы Пушкина, были именно политические и общественные идеалы его, которые не унастились въ рамкахъ, оффиціально заготовленныхъ для нихъ.

Исторію паденія замысловъ Пушкина начинаемъ съ проєкта газеты. Не подлежить сомивнію, что новый политическій органъ, задунавный поэтомъ, связывался у него съ воспоминаніями о «Литературной Газеть» барона Дельвига. Еще въ предъидущемъ 1830 году Пушкинъ мечталъ о превращеніи изданія друга въ газету политическую и заготовилъ даже формальную просьбу въ этомъ смыслъ, часть которой уже извъстна публикъ, по выдержкамъ изъ нея, напечатаннымъ прежде, въ нашихъ матеріалахъ для біографіи Пушкина, 1855 года. Побужденія, которыя онъ тогда выставлялъ на видъ, требуя дополненія «Литературной Газеты» политическимъ от-

дёломъ, значительно разнились съ тёми, которыя теперь легли въ основу его новаго прошенія. Тогда онъ говориль о матеріальномъ и правственномъ ущеров, какой терпятъ русскіе писатели отъ монополін «Съверной Пчелы», захратняшей иностранныя извъстія и пользующейся, этой даровой силой для привлеченія, такъ-сказать, невольных подписчивовь и читателей и для распространенія между ними своихъ корыстныхъ, часто клеветническихъ нападковъ на враговъ. На матеріальный ущербъ, наносимый целому и наиболее достойному классу русскихъ писателей, Пушкинъ всего бол в и налегалъ, предполагая, что администрація будетъ особенно чувствительна охраненію интересовъ законнаго труда, честнаго добыванія людьми насущныхъ средствъ къ жизни. Онъ ходатайствоваль о добавленін газеты своего друга подцензурнымъ политическимъ отдівдомъ единственно во имя справединвости, возстановленія нарушенныхъ правъ писателей и доставленія имъ возможности бороться равнымъ оружість съ соперниками, которые теперь занимають привилегированное положение въ обществъ. Внезапное исчезновение «Литературной Газеты» со сцены журнальнаго міра сділало пенужнымъ дальнъйшее ходатайство о расширенів ея программи.

Совствить другія требованія заявлялись теперь Пушквнымъ, и дъйствительно, теперь у него не то стояло на первомъ планъ. Онъ собирался привлечь лучшія, надежнёйшія силы нашего литературнаго міра къ общей работт по выясненію существующихъ порядковъ русской жизни, по толкованію смысла правительственныхъ мъръ и распоряженій, по развитію въ обществъ твердыхъ политическихъ идей—и особенно понятій о своемъ достоинствъ, обязанностяхъ и роли въ государствъ.

Въ разния эпохи нашей жизни и иногими даровитими нашим людьми давно уже сознавалась необходимость выдти изъ тяжелаго положенія, какое всегда выпадаетъ на долю общества и частныхълицъ, которымъ приходится стыдиться тъхъ самыхъ основъ существованія, которымъ они покоряются. Весьма честные и благородные умы, съ самаго начала стольтія, запяты были у насъ постоянно отысканіемъ правственнаго смысла въ коренныхъ учрежденіяхъ государства—думали о реформъ, преобразованіи тъхъ изъ нихъ, которыя почему-либо утеряли прежній смыслъ. Либеральный консерватизиъ не былъ новостію на Руси— и причина попятна: съ осямсленнымъ и поясненнымъ фактомъ современнаго политическаго быта Россіи какъ будто становилось легче для совъсти подчиниться всъмъ его требованіямъ и естественнымъ послідствіямъ. Той же работъ разъясненія, оправданія историческаго положенія государства и дополненія его, по возможности, новыми элементами правственнаго

содержанія, Пушкинъ наифревался посвятить, всябдъ за пркоторыми своими предшественниками, и новую политическую гавету. Здесь не ившаеть заивтить, что имсян, которыя онь собирался проводить въ ней, были ему самому нужны, можетъ быть, еще болве, чвиъ его будущимъ слушателямъ и читателямъ: онъ, эти мысли, возставовляли его морально въ собственныхъ его глазахъ, разрешали те бользни совъсти, которыя сопровождають обыкновенно всякія переивны направленій и убъжденій. Мало того-онъ питаль еще и надежду, что идеальнымъ представленіемъ обязанностей, лежащихъ на твях, которые заненають важивнийн функціи въ государствів, онъ привлечетъ ихъ къ высшену гониманію своего призванія и долга, чтиъ и окажетъ неналоважную услугу современникамъ. Желая испробовать почву, на которой ему придется действовать, Пушкинъ представиль даже разсмотранию ген. Венкендорфа и образчики тона и прісновъ, въ какихъ онъ намеренъ излагать выдающіяся событія внутри имперін, выбравъ для этого нізсколько фактовъ изъ ближайшей современной исторіи <sup>1</sup>). Образчики эти, отчасти взятые ниъ прямо изъ записной своей книжки, не имфютъ ничего общаго ни по языку, ни по наизренію, съ ругиннымъ, приниженнымъ и подобострастныяъ способовъ сообщать полуоффиціальныя извъстія, какой тогда господствоваль въ нашей журналистикъ. Пушкинъ или даетъ картинный разсказь происшествія и оставляеть его говорить тавинъ образонъ самого за себя, или разъясниетъ его сивлынъ словонъ убъжденнаго человъка. Онъ собирался стать русскимъ консервативнымъ публицистомъ на свой образецъ, и его надобно было еще умять понимать, прежде чимъ разлагать и цинить сущность его мивній.

Мисль—доставить русской форм'я политическаго быта такое же почетное місто въ области теорій государственнаго права и политическихъ наукъ вообще, какое въ пихъ занимають наиболюе уважаемия и цівними формы правленій, пришла Пушкину опять какъ отвіть на позорящія обвиненія заграничной интеллигенціи. Онъ сділался очень чувствителенъ къ выходкамъ и диффамаціямъ западнаго либерализма, направленнымъ на есю исторію Россіи и на общество. Ему казалось, что отыскать нравственным начала, на которыхъ зиждется наше государство, значитъ—оградить честь русскаго ума и народнаго характера, участвовавшихъ въ его образованіи. И нітъ сомнівнія, что большинство тогдашнихъ писателей, на содійствіе которыхъ Пушкинъ и різзсчитываль, пошли бы охотно.

<sup>1)</sup> Два-три такихъ образчика, отделениме отъ матеріаловъ и документовъ, которини ми пользовались въ прежнихъ біографическихъ опитахъ о Нушкинѣ, нанечатани были въ "Вибліографическихъ Запискахъ", 1859, № 5, стр. 134, 135 и слѣд-

за никъ. Кону же не било би дорого обръсть идею и моральную основу въ томъ порядкъ дълъ, въ томъ родъ жизни, съ которине свявано безповоротно все существованіе каждаго язъ нихъ; кому не била дорога возможность хотя би діалектически развить и публично высказать затаенныя върованія и надежды своей души? Да и кромъ того, иногіе распознавали въ намъреніяхъ Пушкина еще болье возвышенную цъль, — именно, цъль создать черезъ посредство своего бргана и для обращенія въ публикъ популярное ученіе, содержащее философски высокое пониманіе и опредъленіе вообще государственной власти, — они и не ошвбались въ этомъ.

сударственной власти, — они и не ошибались въ этомъ.

Подъ программой журнала, дъйствительно танлась у Пушкина общественная теорія, имъвшая въ виду доставить государственной власти санкцію мысли и свободнаго анализа, наравить со встав другими санкціями, ею прежде нолученными со стороны церкви, права и народныхъ убъжденій. Не трудно намътить основныя черты самой теоріи, какъ онто оказываются въ статьть Пушкина о Гадищевт, въ разборт книги последняго, озаглавленной: «Мысли на дорогт», и какъ онто отложились во множествть отрывковъ, оставшихся после поэта въ бумагахъ его, какъ просвечнали въ устныхъ его заявленіяхъ, долго сохранявшихся его семействомъ и друзьями.

Теорія Пушкина была опять, въ сущности, не что иное, какъ отраженіе патріотическихъ воззрѣній В. А. Жуковскаго, которий подчиниль инъ своего друга тѣнъ легче, что послѣдній носиль въ себѣ зародышъ такого направленія уже издавна, по свидѣтельству ближайшихъ его друзей, какъ, папр., кн. П. А. Вяземскаго. Вѣроятно, въ Царсконъ-Селѣ оба поэта сошлись ближе въ понинанія сущности доктрины, которую одинъ изъ нихъ уже и прежде наиѣтилъ въ безсмертнихъ словахъ, сказанныхъ имъ въ сноей запискѣ: "Подробный планъ ученія В. К. Насльдинка", недавно опубливованной («Русск. Старина», 1880, февраль): «Уважай общее миѣніе,—говорить въ ней поэтъ-наставникъ,—оно часто бываетъ просвѣтителемъ монарха; оно вѣрнѣйшій помощникъ его... общее миѣніе всегда на сторонѣ правосуднаго государя. Люби свободу, то-есть правосудіе... свобода и порядокъ одно и то же: любовь царя къ свободѣ утверждаетъ любовь къ повиновенію въ подданныхъ» и проч.

Консерватизмъ Пушвина совершенно совпадалъ съ этой исходной точкой политическихъ убъжденій Жуковскаго, и оба они думали совершенно одинавово о важивішихъ явленіяхъ русской жизни. Всв духовныя стремленія общества, думалъ Пушкинъ, — всв его надежды и чаянія, равно какъ и требованія матеріальнаго свойства, собираются въ правительствъ, какъ въ естественномъ своемъ хра-

вилить, данновъ исторіей. Они тщательно берегутся такъ до тъхъ поръ, нока съ наступленіемъ срока, переработанныя долгой мыслью и въ совъть съ лучшеми умами страны, выходять опять на свъть въ образь учрежденій, въ формъ созданія новыхъ и возстановленія старыхъ правъ, — возвращаясь, такимъ образомъ, снова въ народъ, но уже становясь ступенью въ его прогрессивномъ развитіи. Нътъ ни стыда, ни униженія безпрекословно подчиняться такой чуткой власти, какъ бы, впрочемъ, она ни называлась: абсолютной, патріархальной, деспотической и т. д. Вотъ въ краткихъ словахъ сущность консервативной теоріи Пушкина, которая порождала извъстния его заявленія въ томъ же духъ, часто останавливавшія на себъ вничаніе его современниковъ и послъдующихъ его цънителей, и которую онъ собирался развивать въ новомъ своемъ органъ.

Здъсь необходино сказать, что прикъры иногда весьма оживленной критики заведенныхъ порядковъ и оффиціальныхъ м'вропріятій, которая по-часту встричается въ запискахъ и въ корреспонденціи Пушкина отъ этого же времени, писколько не свидітельствуетъ объ его изивив своимъ убъжденіямъ. Напротивъ, онъ чрезвичайно дорожиль новыми нажитыми убъжденіями даже и послів того, какъ принужденъ былъ отказаться отъ публичной ихъ защити. Можно довазать фактами, что всякій разъ, какъ грубые толчки я удары со стороны реальнаго міра нарушали стройность его консервативной теоріи, колебали ся основанія и грозили потрясти въру въ ся положенія, опъ глубоко возмущался и спішиль съ горачинъ обличениемъ вставь ттахъ, которые дтломъ и принтромъ своимъ поднимали на нее руку. Онъ становился въ это время не только раздражителенъ и дерзокъ, но и глубоко несчастливъ, — словно цълость и неприкосновенность теоріи была ему необходима для возможности собственнаго существованія, спасала его самого отъ большой умственной и правственной бъды.

Сложиве представляется на видъ, съ перваго раза, другой вопросъ, неизбъмно идущій вслёдъ за первымъ. Что же сдёлалось теперь у Пушкина съ его тэмами о важности передового сословія въ государстве, о призваніи аристократіи служить надежнинь посредникомъ между народомъ и правительствомъ, и съ другими тэмами подобнаго рода? Какъ помирилъ онъ новую свою консервативную теорію съ прежней, которую никогда не покидалъ совсёмъ, и которой придерживался, какъ известно, еще въ 1835 году, то есть почти накануне смерти? Ответь на вопросъ не такъ затруднителенъ, какъ онъ сначала кажется. Противоречіе между двумя ученіями при ближайшемъ разсмотреніи сводится на простое недоразуменіе между двумя однородными силами, которыя всегда наклон-

вы въ компромессу и приниренію. На теоретической почвъ особенно противорьчіє легко стлаживаєтся. Не трудно было возвести, напринірь, Пушкину, хотя онъ пикогда не занимадся философскими выкладками, оба принципа къ высшему единству, и съ
помощью разныхъ аналогій и діалектики самымъ естественнымъ образомъ представить противоположныя свои начала составными частяим одного и того же цілаго, одного же общественнаго идсала, весьма способными къ совийстной жизни. Такъ именно и случилось съ
Пушкиннымъ. Враждебные по натурів элементы свободно пріютились
въ его мысли и мирно процвітали въ ней рядомъ другь съ другомъ, взаимно ограничивая и уміряя себя и представляя зрівлище
теоретической гармоніи, какое різдко дають ті же элементы, когда
они произрастають на реальной, исторической почвів.

Но какови бы ни были отношенія Пушкина къ обониъ своимъ ученіямъ, — несомивино, что для публичной ихъ защиты въ журналъ требовался изкоторый просторъ инсли, изкотория свобода въ опънкъ явленій и право свободнаго критическаго разбора тъхъ взъ пихъ, которыя могутъ затемнять свётамй ликъ поставляемаго на видъ идеала. Это было, можетъ статься, еще необходимве для позднъйшей копсервативной теоріи, чъмъ для первой, либеральноолигархической, которая, нося на себъ слишкомъ явно фантастическій характеръ, ни въ какихъ особенныхъ заботахъ и предосторожностяхъ не нуждилась. Другое дело-учение о госудирственной власти. Нельзя же было, въ самомъ деле, призывать публику къ лучшему пониманію своего быта, хлопотать о поднятім уровня политическихъ идей въ обществъ, проповъдывать спасительныя, ободряющія и украплиющія истины, употребляя то же самое, полувнятное, пошлое бормотанье, которое служило тогдашней печати передачь ею вругренних и вившних событій. Для успыха распространенія новыхъ философско-политическихъ началь между образованними людьми эпохи все-таки требовалось хотя бы подобіе мужественной рачи, начто похожее на одушевление человака, проникнутаго своимъ предметомъ, и желательно било дъйствіе бодраго слова, сбросившаго съ себя старую, обветшалую и изпошенную оболочку. Но тутъ-то и встрътились затрудненія. Генералъ Венкендорфъ, завъдывавній ходомъ и направленіемъ общественной мысля и нивогда особенио не довърявшій благонадежности писателей и журналистовъ, не нашелъ и теперь достаточнихъ причинъ для какого-либо изминенія цензурныхи обычасви времени ви пользу новаго изданія. Онъ дуналь, что, испробованный и освященный употребленісив, способъ понимать и излагать предметы политическаго характера — совершенно достаточенъ для русскаго общества в отвъчаетъ вполнъ всъиъ уиственнииъ его запросаиъ. Къ этому присоединилось у него закоренълое убъжденіе, что всъ, слишкоиъ возвишенния цъли, поставляемия себъ русскими людьми и всъ круиние ихъ замисли, виходящіе за черту общаго уровня дълъ и понятій, служатъ инъ только удобнияъ способоиъ скрывать тенденціозния наиъренія весьма сомнительнаго свойства. Онъ и не замедлилъ обпаружить вскоръ эту часть споихъ убъжденій самынъ недвуснисленнымъ образомъ.

Въ 1832 г., явился альманахъ «Съверные Цвъты», изданный Пушкинымъ и его друзьями въ пользу семейства покойнаго барона Дельвига. Въ этомъ сборникъ статей, Пушкинъ помъстилъ превосходное свое стихотвореніе: «Анчаръ — древо яда», которое и сделалось поводомъ довольно непріятной для автора исторін. Подъ предлогомъ, что пьеса его, безпрекословно дозволенная къ печати обыкновенной цензурой, не была предварительно послана на обсужденіе верховной цензуры, какъ требовалъ того порядокъ, генералъ Венкендорфъ упрекалъ Пушкина въ изивнъ принятымъ на себя обязательстванъ, въ парушения честнаго слова и въ обианъ. Заивчательно, что надзоръ, молчаливо терпъвшій досель подобныя же, довольно иногочисленныя уклоненія Пушкина отъ правила — возсталь теперь съ горячимъ обличенімъ и притомъ въ такой формів, которая показалась слишкомъ різкой Пушкину, такъ что онъ долго не погъ забыть ея и вспоминаль еще о ней съ горечью, спустя четыре года, въ письмъ къ женъ изъ Москви, въ 1836 г., когда состоялъ уже четыре ивсяца редакторомъ журн. «Современникъ»: «Брюловъ сей часъ отъ меня фдетъ въ П.-В., скрфия сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утъшить и ободрить; а, нежду тънъ, у ченя у самого душа въ пятки уходить, какъ вспомию, что я журвалистъ. Будучи еще порядочнымо человъкомо 1), я получаль ужъ полицейскіе выговоры, и мий говорили: Vous avez trompé, и тому подобное. Что же топерь со мною будетъ? Мордвиновъ будетъ на меня смотръть какъ на Оаддея Булгарина и Николая Полевова, какъ на шпіона; чорть догадаль меня родиться въ Россіи съ душою и съ талантомъ! Восоло — нечего сказать 2)!>

Пушвинъ, разумъется, принялся тогда отписываться, ссылаясь ва прежніе примъры и представляя новые доводы въ свое оправданіе. Онъ-молъ не хотълъ мелкими произведеніями своей музы похищать время сильно занятыхъ государственныхъ людей, а всъ

<sup>1)</sup> То-есть, еще не облеченный формально въ званіе подателя политической газеты, какъ предполагалось сдалать, въ 1832 г. посла опубликованія программы и условій водински.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. "Въсти. Европи", 1878, мартъ, стр. 38.

крупныя произведенія свои неотложно представляль на ихъ разскотрвніе и обсужденье и проч. Но, вивств съ твиъ, онъ очень хорошо поняль, что сущность дела заключается совежнь не въ нарушенія установленныхъ правиль отпосительно появленія въ свъть его стихотвореній, а въ характерів и содержаніи самой пьесы. Сопоставленіе различной участи раба и князя, дійствующих в каждый по законамъ своего положенія и призванія, показалось надвору отдаленнымъ политическимъ намекомъ. Единственное объяснение несоразмірной съ проступкомъ живости и безцеремонности упрековъ приходилось искать въ досадъ надзора на то, что подобные соинительные и опасные мотивы поэзіп могуть еще встрівчаться подъ перомъ автора, послъ всъхъ благодъяній, на него излитыхъ. А, между тамъ, пьеса Пушкина не имъла ничего предпамарениаго и цъликомъ вылилась, безъ всякой примъси, изъ одного его поэтиче-. скаго созерцація людей и природы. Все это заставило крівпко призадуматься Пушкина. Если по поводу небольшого стихотворенія, чуждаго всякихъ намековъ и постороннихъ цълей, могли отродиться такія вспышки гифва и негодованія, чего же ножно было ожидать впредь для будущей газоти отъ подозрительности надзора? Водрость Пушкина не устояла при мисли, что ему предстоить каждодневно садиться на скамью подсудимихъ и разъясиять непонятия надзоромъ слова и фразы. Онъ упаль духомъ. Когда московскіе его друзья, обрадованные извъстіемъ о пріобрътеніи имъ печатнаго бргана въ свое распоряжение, просили его о программъ в виражали самыя сангвиническія надежды на успахъ журпала, Пушкинъ поспътиять охладить ихъ настроение. Насмъшливо и съ досадой писалъ онъ имъ: «Какую программу хотите вы видътъ? часть полктическая — оффиціально ничтожная, часть литературная — существенно ничтожная: извъстія о курсь, о прівзжающихъ и отъъзжающихъ-вотъ вамъ и вся программа... Я хотфлъ уничтожить монополію и успахъ. Остальное нало меня интересуетъ. Газета моя будеть немного похуже «Съверной Пчелы». Угождать публикв я не намфрень, браниться съ журналами хорошо разъ въ пять леть, и то - Косичкину, а не мив. Стихотворскій помещать не памерень, ибо и Христосъ запретиль метать бисерь передъ публикой: на то проза-иякина > ...

Черновой отрывовъ любопытнаго письма, здъсь приводенный, показываетъ, что поэтъ не сразу отказался отъ намъренія редактировать газету, котя ясно прозръваль, какая будущность ей предстоитъ. Но прошло немного времени, и невозможность дать свое имя изданію, которое должно было оказаться, по условіямъ существованія, его ожидавшимъ, немного похуже «Споерной Пчелы»,

накъ онъ выразнися, уяснилась ему вполнъ. Когда пропали изъ вида высокія цъли и намъренія, лежавнія въ основаніи первоначальнаго проекта, какая была надобность еще цъпляться за него и посвящать ему свой трудъ. Пушкинъ приняль намъреніе сдать обузу дальнъйшаго веденія постылаго предпріятія первому человъку, которий согласился бы принять па себя роль подставного издателя. Онъ вскоръ и нашелъ такого человъка, да притомъ такъ обрадовался своей находкъ, что порядочно не разузналь и фамилін замъстителя. Въ перепискъ съ женой онъ постоянно называль его «Отрыжковинъ», а, между тъмъ, это было довольно извъстное и типическое лицо петербургскаго міра: статскій совътникъ, Наркизъ Ивановичъ Тарасенко-Отръшковъ.

Н. И. Отрышковъ успыль составить себы репутацію серьёзнаго ученаго и литератора по салонамъ, гостинымъ и кабинетамъ вліятельныхъ лицъ, не имъя никакого имени и авторитета ни въ ученомъ, ни въ литературномъ міръ. Онъ прослылъ агрономомъ, политико-экономомъ, финансовой способностью, не соприкасаясь съ людьми вауки и не выходя на арену публичности. Вфроятно, въ одномъ изъ петербургскихъ салоновъ Пушкину и указали на Н. И. Отрашкова, какъ на образцовато и дальнаго сотрудника по журналу. Отрашковъ не усумнился взять въ свои руки газету, сдалавшуюся предметомъ мукъ и отвращенія для ея основателя, и вести ее безъ признава редавторской способности, безъ литературныхъ связей въ обществъ и безъ капитала, нужнаго, чтобы поставить на ноги сложное предпріятіе. Пушкинъ не хотель ни во что вившиваться. Вышло то, что должно было видти - переговоры длились и ничвиъ не кончелись. Когдо поздиве, и уже послъ смерти Пушкина — одниъ изъ иногочисленныхъ покровителей Отръшкова-графъ Г. Г. Строгоновъ, назначенный председателенъ въ опекъ по деланъ Пушкинсвой фанилін, ввелъ Отрфшкова, вследъ за собой, и въ опекунскую коминссію, онъ нграль въ ней весьма значительную роль. Подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Отрішкова печаталось поспертное изданіе «Сочиненій Пушкина», удивившее даже и тогдашнюю, не очець взыскательную публику, своей безпорядочностію, и онъ же предлагалъ, для устройства матеріальнаго положенія семьи Пушкина, мъры, которыя, безъ щедротъ государя, выпавшихъ на ея долю, конечно, не обезпечнии он прочно си будущности и существованія, какъ это случилось. По окончаніи ликвидаціи долговъ п ниущества умершаго поэта, Отръшковъ собраль бумаги, прошедшия черезъ его руки, въ теченіи довольно долгаго процесса этого разбирательства, и принесъ ихъ въ даръ Императорской Публичной библіотекъ. Танъ, въ числъ другихъ документовъ, ножно видъть и

схематическое изображение наружнаго вида газети, которую онь брался издавать. Это — пустой листь бумаги, расчерченный перомъ на изсколько отдёловъ съ оглавлениями: — Внутренния извъстия, вибшния извъстия и т. д. Вотъ все, что осталось на свътъ отъ газеты и отъ политической идеи Пушкина:

## СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНІЕ

плана газеты, набросаннаго рукою пушкина

1 Января 1833 г. Подавска приня- мается		дневникъ"		Понедальникь. Контора редаждія открыта съ 9 ч. утра до 9 ч. мочь-
Bryrperria	- V - 7 - 4 - 4 - 2	есқая и литературная	гавета,	br environmen
	·	•		
	•	Повооти заграничеми.	·	
	•			
0 M 3	О Ъ.			٠

Въ дополненіе въ этому плану, присоединимъ небольшое замъчаніе изъ бумать Н. И. Отръшкова, хранящихся въ Публичной Вибліотекъ.

16 сентября 1832 г. Пушкинъ далъ довъренность титуляр. совът. Нарк. Ив. Отръшкову на принятіе званія редактора полятической и литературной газеты, сму дозволенной, съ правомъ за-

готовлять бумагу, завести собственную типографію на два станка, нанять квартиру для редакцій и для этого занять 2000; а 1-го октября ген. Бенкендорфъ изв'ястиль Наталью Ник. Пушкину, что готовъ принять въ редакторы, Отр'яшкова; но 2-го октября д. с. с. Мордвиновъ поставиль въ изв'ястность самого Пушкина, чтоби онъ не приступаль къ изданію до возвращенія Бенкендорфа изъ Ревеля и представленія Государю образцовъ журнала. Іст числу образцовъ, кромф упомянутихъ въ статьф, принадлежаль, по вс'ямъ вфроятіямъ, и листокъ, приведенный нами выше съ схематическимъ изображеніемъ плана газеты.

Нѣсколько болѣе сохранилось документовъ и свидѣтельствъ отъ другого замысла Пушкина — написать исторію Петра I, который тоже не осуществился, какъ и первый, но съ тою разницей, что погасалъ уже медленно и постепенно, съ ходомъ самыхъ работъ историка.

Съ необычайнымъ рвеніемъ принялся Пушкинъ, особенно лістомъ 1832 г., за разборъ и чтеніе документовъ, касающихся царствованія Петра I въ государственномъ архивъ, являясь туда каждодневно пъшкомъ съ Черной ръчки, гдъ жилъ. По первымъ же собраннымъ матеріаламъ, онъ приступиль къ составленію текста, къ спокойному, стройному повъствованію о жизни и эпохъ государя, точно предварительная критическая разработка свидательствъ была уже окончена авторомъ; за то, позабытая вначаль, она явилась после въ середине труда и разстроила его. Пушкинъ самъ почувствоваль, что прямое изготовление исторического текста после быглаго взгляда, брошеннаго на данныя, изъ которыхъ трудъ долженъ виростать — есть дело весьма преждевременное. Почти на каждой строчий своего повиствованія, онь встричался сь сомпиніємь или относительно достовфриости источника, откуда взять быль описываемый фактъ, или относительно правильной постановки и освъщевія его. Всв такія сомевнія онъ обозначаль вопросительными знакачи въ рукописи и — текстъ повъствованія покрыть такими знакани. Они указывали, гдв должна была произойти новая провърка данныхъ и новое изследование ихъ, въ дополнение упущений первовачального поверхностного обзора. Несколько примеровъ Пушкинскаго историческаго разсказа, пересвченнаго во всвхъ направленіяхъ такими предостерегающими знаками, и нарушающими какъ чтеніе его, такъ и внимание и довърие читателя — собраны были нами въ ватеріалахъ для біографін Пушкина въ 1855 г.

Историкъ однако-жъ продолжалъ упорствовать въ наивреніи изготовить сперва текстъ сочиненія для того, чтобы впоследствін разрушить его критической проверкой, и довель свою работу до 1689 года—провозглашенія Петра единодержавник правителень государства. Туть онь остановился, віроятно, потому, что дальше и нельм
было идти въ этомъ направленіи: масса преобразовательныхъ мірь
монарха, требовавшая настоятельно влассификаціи и тщательнаго
разбора, загромождала дорогу. Пушкинь переміннять манеру труда;
онь отвазался отъ эпическаго разсказа и заміннять его саминь
кропотливымъ подборомъ, въ хронологическомъ порядкі фактовь и
указовъ царствованія за каждый годъ, сопровождая выписки своя
примінчаніями для памяти, съ цілью, по всімъ віроятіямъ, воспользоваться тіми и другими, когда достаточное количество собраннаго
матеріала позволить приступить къ составленію уже настоящей
исторіи.

Вотъ, эти именно примъчанія Пушкина въ указамъ и собитіямъ эпохи преобразователя — и тонъ, въ которомъ по-часту излагаются они, и составляютъ единственную существенную часть всего его труда. Въ нихъ обнаруживается тайная мысль историка, — та самая, которая неотступно преслъдовала его и прежде, и которая теперь помъшала ему довести до конца свое предпріятіе и написать задуманную книгу — несмотря на весь его талаптъ и на все его трудолюбіе.

Чънъ яснъе возставала передъ нинъ картина дъятельности Пстра, благодаря самому предпринятому сборнику, твиъ сильне укрфилялось у Пушкина старое представление о геніальномъ ниператоръ, какъ объ олицетворении страшной бури, одинаково систавщей передъ собой, безъ выбора и сожальнія, все, что ей встрычается на пути до тыхъ поръ, пока не истощится сама собой ся природная, феноменальная сила. Завзятому типу людей Александровской эпохи, вакимъ былъ Пупікипъ, казалась тяжелою пошею даже и благодарность за великіе отечественные подвиги, если они совершены съ помощію крутыхъ и нравственно-оскорбительныхъ втръ-Еще менве расположенъ быль Пушкинъ, по личному характеру своему, оправдывать реформы, которыя шли на-перскоръ нъкоторыя 🌤 существеннымъ народнымъ особенностямъ, и возмущался ими, когд они не оставляли въ поков частнаго, безвреднаго убъжденія, 🛍 🎫 грубо затрогивали напвимя, простосердечныя върованія. Вольш разстройство въ сознаніи Пушкина внесено было соображенісяъ, чт не вся правда цёликовъ, и при всяковъ случай, стояла на сторонъ грознаго реформатора, а между тъмъ мъры, какія онъ пр нималь для доставленія торжества своимь ошибкамь и погрыши 🥕 станъ, инчуть не уступали въ энергіи и бозпощадности иврань, 🖘 помощью которыхъ онъ осуществляль и свои великія предначертанія: люди гибли, положенія уничтожились, общество волебилось J≥6

въ пользу явной исторической невозножности, чену свидательствомъ остался законъ о престолонасладін и друг. Сквозь призму своего установившагося воззранія на Петра I, Пушкинъ видаль или думаль, что видить двойное лицо — геніальнаго созидателя государства и старый восточный типъ «бича божія». Рука Пушкина дрогнула. Уже много накопилось матеріаловъ для исторіи въ его сборникъ и ждало только обработки, а опъ все не приступаль къ ней. Онъ искаль способа изобразить ликъ великаго государя, согласно со своимъ собственнымъ пониманіемъ его, и не оскорбляя оффиціальнаго міра, ожидавшаго безусловной апосесзы преобразователя, для чего собственно и были открыты ему государственные архивы. Пушкинъ такъ и умеръ, не отыскавъ способа примирить эти два совершенно противоположныя требованія, и все продолжаль еще собирать матеріалы, какъ будто отъ количества ихъ ожидаль совёта, помощи и вдохновенія въ этомъ далф.

Вольшая часть замътокъ и примъчаній Пушкина, на которыхъ им основываемъ выводы, здёсь изложенные, отличаются чрезвычайно живымъ, критическимъ характеромъ. Извъстно, что посмертное «Собраніе сочиненій Пушкина» издавалось, по воль государя, почти безъ участія цензуры; по, прилагая къ изданію свою обычную поизтку о дозволеніи печатать (най и іюнь 1840 г.), цепзура всетаки заявила мисніе о совершенной невозможности открыть право свободнаго обращенія въ публикъ многимъ циническимъ приговорамъ и заключеніямъ автора. Міста эти и были выпущены по ея настоянію, лишинь остальную часть труда почти всяваго интереса. Для оправданія цензуры того времени въ этомъ случав достаточно сказать, что, по запальчивому тону и крайне ръзкому выражению высли, замътки Пушквна и теперь, по прошествін почти 50 льть со времени ихъ составленія, походять скорфе на ожесточенныя тиради озлобленнаго человъка, чъмъ на вопросы и сомпънія ученаго. Вибираемъ изъ ряда Пушкинскихъ замътокъ наиболъе удобныя для сообщения публикъ понятия объ ихъ общенъ характеръ:

«1711—1714 г. У князя Меньшивова на фейервервъ на щитъ вадпись: «Гдть же правда, тамъ и помощь божія»; однако Бого помогь не намъ. Въ сіе же вреня изданъ тиранскій указъ о запрещеніи во всемъ государствъ каменнаго строенія.— 1715. Петръ опять издаль одинъ изъ своихъ жестокихъ указовъ: онъ повельлъ приготовлять юфть по новымъ способамъ, по обыкновенію своему, угрожая за ослушаніе кнутомъ и каторгою.— 1718. Приказываетъ юфть для обуви дълать не съ дегтемъ, а съ ворваннымъ саломъ, подъ страхомъ конфискаціи и галеръ, какъ обыкновенно кончаются хозяйственные указы Петра.— 1721. Указъ о возвращеніи роди-

телять деревень, принадлежащих имъ и невиннить ихъ дётять, также и о платеже заниодавцамъ. NB. Сей законъ справедливъ и милостивъ, но фактъ изъ коего опъ проистекаетъ — самъ по себъ, несправедливость и жестокость. Отъ гнилаго кория отпрыскъ живой. — 1721. Сенатъ и синодъ подносятъ ему титулъ Отца отечества, Всероссійскаго императора и Петра Великаго. Петръ не долго перемонился и принялъ его. Сенатъ (т.-е., восемь стариковъ) прокричали: vivat! Петръ отвъчалъ рычью гораздо болъе приличной и разсудительной, чъмъ это все торжество. — 1722. Петръ былъ гнъвенъ. Дворяне не явились на смотръ. Издалъ указъ, превосходящій варварствомъ всъ прежніе. — 1722. Манифестъ о правъ паслъдства, т.-е. уничтожилъ всякую законность въ порядкъ наслъдства, и отдалъ престолъ на произволеніе...>

И такъ далве. Наиболье ръзкимъ словомъ отличаются замътки, касающіяся женитьбы Петра на Екатеринъ магдебургской; процесса царевича Алексъя, гдъ встръчается такое утвержденіе: «Петръ хвастался своей жестокостію»; процесса несчастныхъ Монсовъ и обстановки, сопровождавшей смерть реформатора.

Значило-ли все это, что Пушкинъ не обладалъ надлежащивъ брганомъ для пониманія великой государственной стороны въ діятельности Петра I, что онъ лишенъ былъ способности чутья и распознаванія великихъ идей, управляющихъ поступками геніальныхъ людей? Далеко отъ того! Понимание величия задачи, поставленной себъ преобразователемъ, и благоговъніе передъ силой и ясностію, съ которыми онъ проводилъ ее въ народъ, Пушкинъ обнаруживалъ не разъ въ теченіи своей поэтической деятельности. Онъ не выдержаль только восторженнаго настроенія своихъ стихотвореній, посвищевныхъ имени Петра, когда ближе подошелъ къ жизненнымъ подробностямъ его парствованія и услышаль, такъ сказать, вопли жертвъ и шунъ развалинъ, падавшихъ подъ ударами преобразователя, расчищавшаго дорогу новому порядку дель и новымь идеямь. Художническая натура Пушкина мешала ему сделаться трезвымъ историкомъ. Ему недоставало сухости воображенія, необходимой для того, чтоби хладнокровно взвъшивать и опредълять цену роковихъ событій, не чувствуя страшной, раздирающей драмы подъ нами, и не смущаясь ею, когда она выступаеть наружу. Поэтическая способность перепоситься всецило въ дальнія эпохи и жить съ ними, кактбы въ качествъ ихъ современника, мъщала ему исполнять обязакности историка. Онъ слишкомъ любилъ побъжденныхъ и проигравшихъ свое дело, слишкомъ возмущался, когда поседители кичливо предавались торжеству, хотя бы последнее было вынесено самых историческимъ ходомъ дель и необходимостію. Въ числе его заметокъ находится одна, весьма важная, которая показываеть, что онъ радъ быль встратиться на пути своихъ изсладованій съ соображеніями, которыя открывали ему возможность войти въ роль безстрастнаго судьи и резонёра гораздо поливе, чамъ онъ далаль это досела:

«Достойна удивленія разность между государственним учрежденіями Петра Великаго и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости; вторые — неръдко жестоки, своенравны и, кажетея писаны кнутомъ. Первыя были для въчности или, по крайней мъръ, для будущаго; вторые — вырвались у нетерпъливаго, самовластнаго помъщика.

«NB. Это внести въ исторію Петра, обдумавъ».

Итакъ, вотъ та твердо поставленная программа, язъ которой долженъ былъ у Пушкина возникнуть образъ великаго монарка. Самъ собой рождается при этомъ вопросъ — была ли возможность этой программь, по времени, осуществиться на дъль? Прежде всего туть бросается въ глаза песколько искусственное деленіе цельвой фигуры преобразователя на двъ части, имъющія каждая свое особенное выраженіе. Очень много возраженій способно вызвать такое предполагаемое раздвоение политической дъятельности у Петра I, такъ какъ источникъ ея, при всеиъ ея разпообразія, былъ одинъ и тоть же — сознаніе могущества самодержавной власти, въра въ двло, заботливость о будущемъ государства, непреклонная воля. Все это уравнивало передъ лицомъ реформатора всв сферы общества и администраціи и клало одинаковую печать на всв'его распоряженія, великія и малыя, безъ различія. Государственныя учрежденія, несмотря на свое коллегіальное устройство, следили за всякимъ настроеніемъ учредителя и предупреждали его, не въря въ свою самостоятельность; въ частныхъ, хозяйственныхъ предписаніяхъ могущественнаго «помъщнка» легко усмотръть не малую долю благожелательства и мудрости, несмотря на ихъ жестокую форму, которая такъ возмущала Пушкина. Но оставляя въ сторонъ этотъ вопросъ, следуетъ остановиться еще на другомъ. Если бы Пушкину я удалось, силой большого таланта, провести искусно и счастливо параллель своей программы въ историческомъ изложеніи — кого бы она удовлетворила? — Вольшинство публики и весь оффиціальный чірь ждали отъ поэта просто лучезарнаго лика Петра I и, конечно, возмутились бы всякимъ яркимъ пятномъ, которое бы на немъ принатили; съ другой сторони, даже и позволение на саный осторожний и необходимий, по существу дъла, вводъ тъней въ образъ монарха Пушкинъ принужденъ былъ бы покупать цъною едва внатныхъ намековъ, полу-откровеній, недоговоренныхъ мыслей, что дишило бы его трудъ всякаго наукообразнаго значенія въ глазахъ свъдущихъ и компетентныхъ судей. Въ виду разнообразныхъ и одинаково настоятельныхъ требованій, успъхъ исторіи становился сомнительнымъ, какую бы дорогу, впрочемъ, самъ авторъ ни выбралъ. При такихъ условіяхъ труда, естественно, что онъ долженъ былъ остановиться у Пушкина—и остановился дъйствительно.

Какъ-бы предчувствуя свою неудачу, Пушкинъ успълъ открыть для себя въ архивахъ побочное дъло, которое утъшило его отчасти за медленний ходъ главной работы. Часто случается, что изслідователь, свободно и довірчиво допущенный ко всімъ сокровищамъ богатаго книгохранилища, знакомится тамъ съ документами, не васающимися прямо его предмета, но въ высшей степени интересными. Такимъ документомъ, завладфишниъ исфиъ вниманіемъ Пушкина, оказалось дело о Пугачевскомъ бунте: оно сразу пробудило въ немъ производительную эпергію, которая дремала за со-ставленіемъ все разроставшагося сборника петровскихъ указовъ и крупныхъ чертъ его жизни и принфчаній къ нинъ. Правда, что это второстепенное, побочное дело примо перенесло Пушкина въ сферу творчества, въ ту сферу, гдъ онъ былъ полнынъ хозянномъ. и господиномъ своего таланта. Выписывая оффиціальния данния о Пугачевскомъ бунтъ и передълывая ихъ въ простой, чрезвычайно сдержанный и строгій разсказъ — Пушкинъ въ то же вреия воплощаль духь эпохи, и представляль картину событія и жизненцыя его подробности въ настерскомъ романъ, - извъстной «Капитанской дочкъ. Эта образцовия историческая повъсть зачалась въ архивной пыли, выросла на донессніяхъ, промеморіяхъ, следственныхъ процессахъ, снятыхъ ея авторомъ съ молчаливыхъ полокъ, гдъ они такъ долго покоились, а закончилась въ одной изъ уральскихъ станицъ, куда въ следующемъ 1833 году Пушкинъ отправился черезъ Казань, Симбирскъ и Оренбургъ для провърки и осмотра ифста дъйствій, какъ своего романа, такъ и своей исторіи. Эти близнецы назначены были пополнять одинь другого.

Исторію Пулачевскаго бунта, которую озаглавить Пушкинь хотівль первопачально народнымь, генерическимь прозвищемь всей эпохи: «Пулачевщина», нельзя назвать въ пастоящемъ смыслі слова исторіей. Это скоріве дільная, хорошо составленная докладная записки, назначенная для быстраго ознакомленія съ предметомъ читателя, который бы поинтересовался имъ, — чітмъ и обілсинется ея хладнокровный, чисто объективный и невозмутимый тонъ, который

тавъ восхищаль другей поэта, и, между прочить, Н. В. Гогоди, когда она явилась въ печати. Всё краски, бытовыя подробности, вся живость изображения этой русской «жакеріи» выпала на долю «Капитанской дочки». Извъстно — какимъ изиществомъ постройки она отличается, какимъ добродушнымъ юморомъ въетъ отъ описания патріархальныхъ порядковъ того времени и какимъ мастерствомъ въсозданіи типическихъ характеровъ въ духъ эпохи она отличается...

Романъ и историческая записка составили какъ-бы отдыхъ для Пушкина, явились чемъ-то въ роде его междудълія, которое однакоже еще сельные напоминало ему самому и всыть другить о главной задачь, за никь еще числящейся. Первенствующій его трудъ не подвигался впередъ, даже собственно говоря не начинался вовсе, а нетеривніе публики видеть первые его всходы росло съ года на годъ. По разсказамъ приближенимхъ Пушкина, его особенно тревожила мысль, что долгіе сборы его на заложеніе фундамента исторін — будутъ принисаны, пожалуй, отвращенію къ герою ея, могутъ показаться бъгствомъ съ поля сраженія, или, что еще хуже, дадуть новодь подозревать его въ преднамеренномъ обмане... Пушвинъ никогда не терялъ надежды найти выходъ изъ раздвоеннаго исихическиго состоянія, въ вакомъ находился по отношенію въ личности Истра I. Онъ продолжалъ свои работи, и еще въ предпосяфдий годъ своей жизни (1836) убхаль въ Москву и провелъ нъсколько мъсяцевъ въ тамошнемъ архивъ М-на Иностранныхъ Дълъ. Но это было уже только поискомъ дополнительныхъ свёденій, потому что главния подготовительния работы были кончены еще въ прошломъ 1835 г., какъ оказывается изъ подписи на последней страницъ его сборника матеріаловъ: «15 декабря 1835».

Заканчивая нашъ опыть передачи, по неизданных документамъ, политическихъ и общественныхъ идеаловъ Пушкина, не можемъ обойтись безъ последней замътки. Идеалы поэта могутъ показаться теперь несостоятельными въ своей сущности, построенными на данныхъ, чуждыхъ русской жизни; утопическій, мечтательный ихъ характеръ можетъ бить обсуждаемъ и осуждаемъ более или менес строго, а научная сторона ихъ— не выдерживать поверки и проч.; но человекъ, лелъявшій подобные идеалы патидесять лётъ тому назадъ, останется вне приговоровъ и заключеній, какіе-бы ни делали о его ученіяхъ и теоретическихъ взглядахъ. Онъ всегда останется темъ, чемъ быль при жизни — представителемъ типа гуманнаго развитія въ свою эпоху, примеромъ человека, который, при всехъ обстоятельствахъ, сохранялъ живое гражданское чувство, и

всю жизнь обнаруживаль неустанную энергію въ пропов'яди справедливыхъ, честныхъ отношеній между яюдьни, за что и подвергался часто обвиненію въ безпокойномъ либерализив, — который, наконецъ, всею душою постоянно желаль для своей родини умноженія правъ и свободы, въ пред'ялахъ законности и политическаго быта, утвержденнаго всемъ прошлымъ и настоящимъ Россіи...

Mai, 1880 r.

# Н. В. СТАНКЕВИЧЪ

(BIOFPAONTECRIR OTRPES).

T.

#### ВСТУПЛЕНІЕ.

Иня Станкевича прежде всего возбуждаетъ вопросъ: чёмъ заслужилъ человъкъ, его носившій, право на вниманіе общества и на синсходительное любопытство его?

Станкевичъ умеръ двадцати семи лътъ (родился въ 1813 году, скончался въ 1840) отъ роду, оставивъ одну плохую трагедію: «Василій Шуйскій» 1), въ пятистопныхъ стихахъ, написанную виъ

<sup>1)</sup> Трагодія Станкевича: "Васняій Шуйскій" (Москва, 1830 года, 107 стр. іп-8), посвященная председателю общества любителей русской словесности, А. А. Инсареву, исполнена черть, относящихся къ театральнымъ восноминаціямъ молодого автора. Свяданіе Сконина-Шуйскаго съ невізстой его Ольгой (не имізющей другого прозванія), происходить вечеромь, и театрь представляеть садь сь рыметкой, да и при первой эстрвив съ любезной, Скопниъ милует у ней руку и проч. Точно то же восножинаніе руководило автора и въ постройкі пьесы и въ изображеніи какъ злобныхъ, такъ и великихъ романтическихъ характеровъ. Стихъ однако же весьма гладокъ, вногда даже изищенъ, а наоосъ трагедін замінателень по своему благородству и достоянству. Станкевичь началь печатать очень рано свои произведенія, въ чемъ такъ сильно раскаявался потомъ. Первые его опыты были еще помещены въ журнале: "Вабочка"; затвиъ ми находинъ въ "Съверимхъ Цевтахъ", на 1831 годъ, его стихотвореніе: "Филинъ", —весьма мало замічательное, и въ "Телескопіт" 1831 же года другое: "Ночные Духи"-фантазію, не лишенную поэтическаго оттинка. Гораздо менве его въ ньест: "Кремль", напочатанной въ "Литературной Газетт" 1831 года, № 7; но опять признави истипнаго полтического чувства являются въ другой пьесь "Грусть" (Почь темиа, сийгь валить), помъщенной въ той же "Литературной Газетв" 1831 года, № 18. Затімъ Станкевичъ преимущественно печаталь свои стихотворенія въ журналакъ: "Телескопъ" и "Молва". Такъ, въ 1832 году, "Телескопъ" (М. 6 и 9) номъстилъ двв его пьесы: "Мгновеніе", "Къ мъсяцу", а "Мольа" (№ 70) одну: "Пе сожальй". Въ

шестнадцати літь и вскорів потокь нив самнив скупленную в уничтоженную. Опа сдълалась теперь библіографическою ръдкостію. Съ 1831 по 1835 годъ, въ разныхъ, преинущественно московскихъ журналахъ, разбросани были его мелкія стихотворенія, замъчательныя по отношенію къ развитію его идей, но не представляющія въ самихъ себъ достаточной степени глубины и ифткости выраженія, чтобъ остановить вниманіе читателя, хотя основные мотивы почти всёхъ ихъ инфють несомийнный поэтическій характерь. Сверхъ того, въ тъхъ же журналахъ помъщаеми били его переводния и оригинальния статьи философскаго содержанія, большею частію безъ подписи пиени, такъ что найти и указать ихъ теперь нътъ почти никакой возможности. Понятно, что не съ этой стороны можеть быть усмотрино истинное выражение физіономіи Станкенича, и не этимъ можетъ опъ купить сочувствие публики къ своему лицу. Гораздо важиве литературной двятельности Станкевича были его сердце и его мысль. Мы постараемся уловить (на сколько намъ это возможно) поэтическое развитие мысли Станкевича въ кратковременный срокъ, данный судьбой па ен образование, но предупреждаемъ читателя теперь же: пусть не ищеть онъ памятинковъ,

1834 году, Станкевичъ отдаль въ альманахъ "Денинца" стихотвореніе: "На могилв Эмиліп" и другос: "Фантазія" (Люблю я смотріть, какъ почною порою). Всі эти произведенія несомивнию обличають поэтическій элементь вь авторв, но не усиваній сосредоточиться и ясно выразить себя. Въ Моляв 1834 года, № 20, есть еще нисьмо Станкевича въ вздателю, въ которомъ онъ жалуется на произвольную перепечатку журпаломъ "Сыпъ Отечества в Стверный Архивъ" въ 16 № 1834 года одного ранияго своего стихотворенія, послапиаго когда-то въ "Сіверные Цевты". Есля прибавинь къ этому еще повъсть Станкевича: "Иъсколько многовеній изъ жизни Графа Т....», напечатанную въ "Телескопъ" 1834 (часть 21) съ подписью Ф. Зоричъ, о которой упоминасмъ ниже, то представимъ весь итогъ печатной литературной двятельности Станкевича. Можно дополнить этоть перечень еще одною подробностію. Станкевичь, по врожденной ему шутливости, писалъ еще и народін, которыя тогда, какъ и ныпь, были въ ходу. Еврипидинъ (К. С. Ак—ъ), народировавшій въ "Молев" 1832 года романтическія трагедін пьесой: Олего подо Константинополемо, а въ "Телескопф" 1895 года безцвътныя стихотворенія эпохи пьесами: "Воспоминанія", "Скала" (томъ XXVII) имъль даже усифхъ. Станкевичъ, въ сообщестив съ П. А. Мельгуновимъ, папечатызъ пародію на поэмы безталанных подражателей Пушкина и Баратынскаго, въ "Молвін 1832 года № 75, подъ заглавіемь: "Калмыцкій Плінникъ", гді

Этъенъ и блёдный и печальный, Разставшись съ Питеронъ, летить,

а явщикъ его Пострълъ постъ пъсню про синіе глаза и русую косу-

Присушили, изсушили, Загубили, уходили Вы Постръла молодиа, и проч.

О весьма важных в переводах в Станкевича для журнала "Телескопъ" 1835 года ны чоринъ далве въ біографическомъ очеркъ.

произведеній, чего-либо полнаго и законченнаго. Нъсколько философских отрывковъ, несколько прерванных этодовъ, связь и мысль которыхъ еще нуждаются въ поясненіяхъ біографа вотъ все, что им моженъ представить ему. Заране сознаемся им, что Станкевичъ лишенъ техъ правъ, которыя какъ у насъ, такъ и вездѣ, долженъ предъявлять писатель или деятель, если жизнь его разоблачается передъ публикой до самыхъ сокровенныхъ своихъ побужденій. Вопросъ: что же остается после Станкевича, если считать самую переписку его, какъ впрочемъ и следуетъ, не настоящею деятельностію, а только матеріалами для определенія его личности и его характера?— вопросъ этотъ мы деялам самимъ себъ прежде читателя.

Намъ остается именно эта личность и этотъ характеръ, какъ они выразились въ перепискъ его, которую здъсь вкратцъ разбираемъ и передаемъ 1). На высокой степени правственнаго развитія личность и характеръ человъка равияются положительному труду, и последствіями своими ему писколько не уступають. Мы нивемъ тому ивсколько примфровъ въ нашей литературв, проходимыхъ обыкновенно молчаніемъ въ такъ-называемыхъ исторіяхъ русской словесности. Это объясияется формализмомъ вообще нашей исторіи словесности, въ основание которой не было доселъ положено изученіе общества и круговъ, его составляющихъ. Такимъ образомъ им паходимъ въ ней имена людей, болъе или менъе прославившихся своими произведеніями, или (что иногда не все равно) болфе или менъе прославляемыхъ, но жизненнаго источника ихъ дъятельности ны не знаемъ. Случается, что между ними стоитъ совершенно незнакомое лицо, мало высказавшееся, или совствы не высказавшееся передъ публикой, но замъшанное во всъ начинанія эпохи, опредълившее воззрѣніе и духовную дѣятельность цѣлаго ряда производителей и образовавшее наконецъ правственный характеръ ихъ, который потонъ и отражается въ литературныхъ, художественныхъ, жизпенныхъ и служебныхъ дълахъ ихъ; другими словами, отражается на циломъ обществи, на многихъ разнородныхъ слояхъ его. Но какъ подступить къ подобному лицу, стоящему совершенно уединенно, безъ замътки въ книжныхъ росписяхъ, безъ заслугъ въ форнулярномъ своемъ спискъ, безъ критическаго или даже безъ всякаго Аругого аттестата? Разумфется, легче пройти мимо такого лица, благо есть предлогь во всеобщемъ молчанія, чемъ вникнуть въ его значеніе и угадать родъ его д'явтельности. Для последняго еще нужна и нъкоторая зоркость взгляда: не всякій способенъ видъть

Полная переписка Станкевича вышла отдільной кивжкой, вмість съ біографическимъ очеркомъ его въ 1857 г. (Пиколай Владиміровичъ Станкевичъ. Москва, 1857).

работу тамъ, гдъ нътъ матеріальнихъ признаковъ ел. Нивогда формализмъ, выдававшійся у насъ за ученую діятельность, никогда также псевдо-реализиъ, ограничивающійся перечетомъ матеріальныхъ фактовъ, не ръшились бы говорить о подобновъ лицъ, отличенномъ только даровъ упорной мысли, отыскивающій истину безъ отдыха, и даромъ любви, которая всв открытія мысли спішнть удълить близкимъ людямъ и не успоконвается до техъ поръ, нока не сообщить имъ ту въру въ познаніе, ту сладость благихъ ощущеній, какія она сама вкусила. Какъ взяться формализму и исевдореальности за подобное лицо, особливо когда вокругъ него пе скопилось пикакихъ событій, и вся исторія человіна есть только исторія необыкновенно-пытливаго ума, ищущаго гармоническихъ, согласныхъ соотношеній съ необычайно-деликатнымъ и любящимъ сердцемъ? Конечно, задача эта именно есть задача всёхъ современямкъ обществъ, и можетъ быть весьма поучительно было бы видать стремленіе одного мыслителя, надівленняго пылкими чувствами, къ разръшенію ея въ своемъ сознавін; но человъкъ этотъ почти ничъмъ не проявиль впутренней работы своей, почти ни за что печатное или рукописное нельзя ухватиться, чтобъ положить въ основание разсказа... Сколько предлоговъ для молчанія!

И благодаря имъ, исторія лица, имъвшаго сильное вліяніе на развитіе просвъщенія и идей въ обществъ, спокойно отстраняется нами, безъ всякаго упрека самимъ себъ за льность собственной нашей мысли; и всъ послъдующія явленія въ литературъ и жизни, 
имъ навъянныя, или косвенно порожденныя имъ, являются одинокими и разрозненными на глаза наблюдателя, какъ грибы послъ 
дождя, по народной поговоркъ. Сравненіе, впрочемъ, не вполить върно. 
У грибовъ все-таки есть нъчто общее — благотворный дождь, ихъ 
породившій.

Въ лицъ Станкевича мы находимъ одного изъ такихъ замъчательныхъ дъятелей, ничего не оставившихъ послъ себя, и предлагаемъ теперь біографическій очеркъ его на судъ публики.

Станкевичъ жилъ своро, потому что ему не долго было житъ: съ последняго университетскаго курса въ 1833 году, когда ему было только двадцать летъ, уже начинаютъ показиваться въ немъ признаки болезни леткихъ и органическаго истощения, которое возрастало по мере развития мысли, усиления стремлений, важности и сложности задачъ, поставляемыхъ целью жизни. Еще въ университетской аудитории опъ сталъ центромъ кружка товарищей, равнихъ ему по сведениямъ, но подчинившихся охотно (какъ способны только подчиняться люди въ молодые годы свои) влинию светлаго ума, благороднаго сердца и строгихъ правственныхъ требований. Станкс-

вичь действоваль обаятельно всемь своимь существомь на сверстниковъ: это быль живой идеаль правды и чести, который въранною пору жизия страстно и неутомию ищется молодостію, живо чувствующею свое призвание. Извъстно, что онъ открыль Кольцова, не подовръвая, можетъ-быть, всей важности своей находки, указаль на него сперва друзьямъ своимъ, а наконецъ и публикъ. нало предчувствовалъ Станкевичъ, что въ другв, съ которынъ близко сощелся года за три до своей смерти, питаетъ онъ человъка, долженствующаго нифть такую долю вліянія на образованіе въ Россіи, какую до него немногіе имали—незабвеннаго Т. Н. Грановскаго. Грановскій называль себя ученикомъ Станкевича, конечно не въ симсят добытой отъ него эрудицін: въ этомъ, по общему приговору, онъ быль самъ богать и въ помощи товарищей не нуждался; но ученикомъ Станкевича быль онъ въ доблестной наукъ сбереженія души, воспитанія воли, неослабнаго бодретвованія въ благихъ помыслахъ. Еслибъ мы не имъли сознанія самого Грановскаго, то могли бы угадать тесную связь, соединявшую его съ другонъ нолодости. Никто такъ полно не сохранилъ на себъ нравственнаго сходства со Станкевиченъ въ поступкахъ, направленін, отчасти даже въ способъ выраженія своихъ имслей, какъ Грановскій. Стапвевичъ отпечаталь на немь неизгладимо лучшую часть души своей, духовный образъ свой. Иною дорогой шла третья заивчательная личность изъ кружка Станкевича, хорошо знаконая современинкамъ пашимъ: мы говоримъ о В. Г. Бълинскомъ. Она посвятила себя на борьбу со всинь, что ей казалось обнаномъ, лицемъріемъ, косностію и неоправданнымъ самодовольствомъ въ литературь и въ обществъ. Надъленная пылкимъ, огневнымъ характеромъ, она издержала на эту борьбу всю себя до илоти и крови своей и умерла, оставивъ послъ себя столько же преданной любви, сколько и ожесточенной ненависти. Но врожденное отвращение отъ всякой лжи, претензіи и призрака, столь пеобходимое для литературной борьбы, извъстный критикъ нашъ воспиталъ и укръпиль въ сообществъ человъка, который отвергаль ихъ примъромъ собственваго своего существа и не щадиль какь въ себь, такъ и въ самыхъ близкихъ людяхъ. Затъмъ пропускаемъ еще имена многихъ лицъ, болье или менье стремившихся по пути, который начали они вывств съ своимъ товарищемъ; скажемъ однако, что между нашний современниками встречается не жало людей, уже пережившихъ пору молодости, но одушевленныхъ юношескимъ жаромъ къ общей пользъ и преуспавнію: большая часть ихъ далила со Станкевиченъ первую трапезу жизни, первый пыль благородныхъ стремленій. Есть иного такихъ, которые въ тиши, въ незаметномъ, но темъ более почетномъ кругу дъйствія съютъ благодатныя съмена, собранныя общим силами въ эпоху ихъ молодости, при помощи человъка, неутомимо заботившагося, какъ увидимъ, о сборъ и уходъ этихъ съмянъ — будущей пищи покольній. Нельзя сказать, разумьется, чтоби все, прикасавшееся къ Станкевичу, оставалось навсегда подъ вліяніемъ его образа мыслей, или было проникнуто духомъ его строгаго направленія: иные неспособны были вполнъ усвоить примъра его, у другихъ жизнь и нерадъніе заглушили благодатныя зерна; но какъ тъ, такъ и другіе, при жизни Станкевича, были нравственно подняты имъ и были, хоть на мгновеніе, выше себя. А не есть ли это настоящая и важнъйшая задача всякаго дъятеля, не есть ли это признаніе философа и моралиста, и благороднъйшая цъль, на которую человъкъ долженъ употреблять всъ силы и способности, данныя ему природой?

И когда огляненься назадъ, къ ненаписанной еще исторіи на-. тего общества, то съ изумленіемъ видить еще песколько другихъ именъ, принадлежавшихъ молодымъ людямъ, подобно Станкевнчу похищеннымъ преждевременною смертію и бывшимъ, подобно ему, провозвъстниками русскаго образованія. Они завъщали другимь дъло, которое сами только предчувствовали. Такимъ билъ Андрей Тургеневъ, другъ Жуковскаго и Ватюшкова, для поколенія, предшествовавшаго 1812 году; такимъ билъ Воневитиновъ для покольнія, принадлежавшаго 1825 г., и такимъ былъ Станкевичъ для молодыхъ людей между 1835 и 1840 годами. Мы уже слышали еще нъсколько именъ, игравшихъ одинаковую роль съ этими ранними феноменами въ другихъ кругахъ пашего общества и испытавшихъ одинаковую съ ними участь: они бистро потухли, прогоръвъ яркимъ огнемъ на небосклонъ и освътивъ далекое пространство подъ собой. Подвергаясь упреку въ благодушномъ суевърін, можно подумать, изучая ихъ, что юныя силы, живущія въ нашомъ народів, по временамъ выбрасываютъ часть собственнаго, излишняго богатства посредствомъ этихъ пышныхъ и скоропреходящихъ организацій. Какъ бы то ни было, по фактъ имъстъ самъ по себъ важное значение и еще важиващее по той ближайшей правственной пользв, какая пожеть быть извлечена изъ него. Само течение нашей жизни представляеть отъ времени до времени, въ лица избранныхъ людей, готовый и удивительный примірь для подражанія каждому молодому покольнію, начинающему общественную жизнь. Влестящіе идеали стоять у насъ передъ всякою повою отраслію отечественныхъ дфятелей какъ образцы, къ которымъ должна стремиться молодость для того, чтобы найти все, чего ожидаеть оть нея общество в что таится въ ней самой. Станковичъ принадлежалъ къ числу этпхъ

благотворныхъ указателей. Вотъ почену ны желали бы отдать нереписку Станксвича, которую разбираемъ и самую память его подъ покровительство современнаго покольнія, того, которое не утеряло способности распознавать и уважать въ прошлыхъ покольніяхъ людей съ высокими правственными задачами.

I.

## ДЪТСТВО СТАНКЕВИЧА.

Николай Владиніровичъ Станкевичъ, какъ уже связано, родился въ 1813 году, въ деревит своего отца Воронежской губернін, Острогожского узада. По первымъ годамъ его молодости нивакъ нельзя было угадать въ немъ человека съ нежною, хворою организаціей. Это быль мальчивь веселый, здоровый и необычайно ръзвый; доревонскій просторъ и относительная свобода, данная ребонку отцомъ ого, развили въ немъ резвость до того, что онъ сделался для своихъ нянюшекъ, дядекъ и даже для посътителей дома почти твиъ, что французы называють «enfant terrible». Отоцъ Станкевича быль высокаго практическаго ума, здраваго симсла и благородныхъ правилъ. Достаточно сказать, что, несмотря на его 🦠 иногосложныя занятія, преимущественно оспованныя на финансовыхъ оборотахъ, - родительския власть чувствовались въ дому его не кикъ гнетъ, а только какъ ограничение воли, еще необузданной размышленіемъ, и почти всегда какъ ограниченіе разумное и снисходительное. Всиомнимъ виоху, къ которой пришлось дътство нашего Станкевича, и мы поймемъ характоръ и достоинство человъка, такъ понимавшаго въ то время свои обязанности семьянина. За то и молодой Стапкевичъ рось честно, если можно такъ выразиться: — обывновенное следствие честнаго обхождения съ детьми. Мелкихъ пороковъ, скрытности, притворства, лжи и лицемфрія, онъ никогда не зналъ, благодаря своему воспитанію, которое не считало шалости, иногда даже и очень бойкія, тяжкимъ, пеоплатнымъ преступленісмъ. Молодой Станкевичъ часто подвергался какимъ-то пароксизмамъ резвости. Разсказывають, что, стоя однажды на балконъ деревенскаго дона, онъ увидалъ внизу отца, который разговаривалъ на крыльцв съ почтеннымъ купцомъ, обладавшимъ лысиной необыкновеннаю размъра; лысина эта тотчасъ же привлекла вниманіе молодого Станкенича, и опъ никакъ не могь воспротивиться искушенію плюнуть на нее сверху, что и исполниль къ ужасу купца и въ совершенному недоумвнію роднихъ. Въ другой разъ развость Станкевнча была причиной пожара, истребившаго до тла отцовскую деревню, ту Удеревку, которая такъ часто приводится въ его персинскъ. Будучи семи лютъ, онъ досталъ где-то ружье, пробрался на чердакъ дома и выстрънилъ въ кровлю. Кровля загорълась, и вскоръ вътеръ разнесъ пламя по всей деревив. Цълый депь не могли отмскать мальчика: онъ убъжалъ въ сосъднюю рощу и собирался такъ расположиться на житье, какъ дикій человъкъ.

Естественно, что Станкевичъ сделался страстнымъ охотникомъ, какъ только получилъ въ полное свое владение ружье и собаку. Охота была продолжениемъ его прогуловъ и той родственной связи съ природой, которая началась съ младенчества: охота только дала. имъ болъе опредъленную цъль. Съ тъхъ поръ, и до конца жизни, онъ былъ охотниковъ ревпостнымъ, неутомимымъ, упорнымъ. Дня, недъли проводиль онъ на охотъ и возвращался домой съ запасомъ анекдотовъ, разсказовъ о встрфчахъ, и юмористическихъ наблюденій. Лягавыя собаки не отходили отъ него въ деревиъ. Съ одною изъ нихъ опъ жилъ душа въ душу; Діана спала на его постели и часто, свободно раскинувшись, сталкивала съ нея хозянна. По природной веселости и врожденному юмору, сбереженнымъ имъ тоже до конца жизии, Станкевичъ иногда вдругъ отрывался отъ занятій и одинъ съ глазу на глазъ начиналъ бесъду съ люченою собакой. «Что вы задумались, Діана? что за мелонхолія такая? не хотите-ли кушать? чего хотите? шенъ, кашки, хлюбца, или, можетъ, сладенькихъ косточекъ? Да отвъчайте же!» и такъ далъе. Весной это быля предостереженія отъ опасностей любви, в'вроломства кавалеровъ, гибельнаго послъдствія страстей и проч. Ифсколько разъ видъли, какъ, возвращаясь съ охоты, утомленный и распаленный зносмъ, Станкевичъ, во всемъ охотничьемъ костюмъ и въ сапогахъ, бросался въ ръку, бъжавшую подъ горой, на которой стоялъ деревенскій домъ. Верхомъ онъ также вздиль много и хорошо. Молодость его была бодрая, свежая, здоровая — естественное следстве благоразумной свободы, предоставленной ей.

Десяти лѣтъ Станкевичъ поступилъ въ Острогожское увадное училище и безъ всякаго изумленія очутился между дѣтьми всѣхъ сословій, начиная съ бѣднаго чиновничьяго до мѣщанскаго и цехового: онъ и прежде въ деревиѣ, по системѣ, заведенной въ домѣ, былъ только сверстникомъ всѣхъ другихъ мальчиковъ и весьма часто ихъ товарищемъ. Пребываніе въ уѣздномъ училищѣ не осталось безъ послѣдствій: тамъ привыкъ онъ къ общительности, отличавшей его позднѣе, и къ понятію о достоинствѣ и самостоятельности каждаго человѣка. Можетъ-быть, тутъ же получили первую

пищу насившливость, сатирическая подивтка крупной черты въ характеръ другого, силтинвость, способность передразнить товарима и самий юморъ Станкевича—всё тё качества, которыя, будучи поств сиятчены образованісив, очищены и освіщены умною веселостію, составляли прелесть его характера и обаяніе его беседы. Станкевичь бываль въ воронежскомъ театръ, полюбиль его, какъ всъ дъти, и рано открылъ въ себъ замъчательныя актерскія способности. Возвращаясь на зимнія и літнія вакаціи въ деревню, онъ тамъ устроиваль, съ помощью братьевь, сестерь и сосъдей, домаший спектакли, гдъ повторялъ пьесы, случайно видънныя инъ, и гдъ быль всегда главнымь и лучшимь актеромь. Заставляль другихь радоваться, приносить имъ, если не пользу (это было еще раво), то по крайней мъръ забаву и удовольствие -- было его страстию. Куда направляль онъ вногда врожденный свой юморъ, могуть намъ указать две черты изъ его жизни, относящіяся уже къ эпохів его зралой молодости. Встративъ гда-то у сусадей ребенка, иманиаго какой-то недостатовъ въ произношении, Станкевичъ каждий день проводилъ съ нимъ по пъскольку часовъ, посадинъ ого къ себъ на кольни, забавлян его разсказами, показывая даже, какъ можно сообщить движение своему уху, и постоянно исправляя природный порокъ его, въ чемъ подъ конецъ и усиълъ совершенно. Въ 1836 году, Станкевичъ просиживалъ всв ночи у больной сестры, забавляя се неистощимыми шутками, анекдотами и выходками, съ целью развлечь и удалить отъ нея черпыя мысли и грустныя предчувствія. Она обязапа была ему выздоровленіемъ, столько же по крайней мърв, сколько и докторамъ, а между твиъ, въ эту эпоху, Станкевичь быль весьма далекь отъ ровнаго, спокойнаго настроенія духа, такъ нужнаго для искренней веселости.

Дибнадцати лють, именно въ 1825 г., Станкевича перевезли въ Воронежъ и помъстили въ Благородный пансіонъ, основанный Павломъ Копдратьевичемъ Осдоровымъ. Всь преподаватели папсіона были изъ гимназін, гдѣ и самъ основатель его занималъ должность учителя математики; пансіонъ, наравит съ гимпазіей, приготовлялъ молодыхъ людей къ поступленію въ университеты. Говорить ли о четырехлѣтнемъ пребываніи молодого Станкевича подъ надзоромъ весьма умнаго директора, какимъ былъ П. К. Осдоровъ, скончавнійся еще педавно цензоромъ въ Москвъв Директоръ обладалъ искусствомъ управлять дѣтьми безъ насильственныхъ средствъ, облегчающихъ управленіе въ ущербъ характеру и нравственности какъ подчиненныхъ, такъ и начальниковъ. Всего болью поражала воспитанниковъ его стойкость и сильно развитой роіпt d'honneur, не допускавшій придирокъ и легкомысленныхъ замѣчаній, откуда бы они

ни выходили. Затвив, обращение его съ двтыми имвло въ себв что-то торжественное и эффектное, двйствовавшее благотворно на молодые умы. Онъ казался глубоко огорченнымъ, разстроеннымъ и даже больнымъ, когда приходилось разбирать школьническия продвлеки и изрекать осуждение; онъ умвлъ также затрогивать самолюбіе мальчиковъ, стыдить ихъ безъ уничижения, употребляя иропію, къ которой двти, можетъ-быть, еще чувствительные, чымъ взрослие. Все это произвело сильное внечатльные на Станкевича, который у директора своего учился даже и математикъ весьма порядочно. Вообще Станкевичъ бережно сохранялъ намять о наставникъ, смущался впослъдствии при неблагопріятныхъ слухахъ о немъ и всячески старался спасти свое уважение къ бывшему учителю: мы увидимъ далье, что люди, которыхъ онъ считалъ своими образователями, были въ его глазахъ благодътели, не подлежащие личному его суду ни въ какомъ случаъ.

По чему собствение выучился Станкевичъ въ наисіонъ? Онъ прочель встхъ русскихъ классиковъ и, втроятно, вытвердиль на память всв бывшія тогда въ ходу «руководства». Даже по виходв изъ университета, Станкевичъ сознавался еще въ нелостаткъ многихъ свъдъній, входящихъ въ составъ общаго образованія; а по выходъ изъ пансіона, онъ зналъ рышительно только то, что знали его учители. Скудный запась этоть никакь не можеть остановить наше внимание. Мы считаемъ гораздо важиће всего этого три правствен-RMH явленія, возникшія посреди обычнаго теченія пансіонской жизни и получившія впоследствін у Станковича восьма важное развитіе, именно: признави глубокой религіозпости, запавшей въ душу его и уже никогда не покидавшей ся; признаки ифжиаго сердца, рано открывшагося для ощущеній дружбы и любви; наконецъ, признави неуголимой жажди въ поэзін, обнаружившейся страстію къ стихотворству. Разумфется, последнее было въ сущности весьма слабымъ выражениемъ его впечатлений, но самая наклонность определяетъ уже характеръ Станкевича, способъ будущаго пониманія предметовъ и родъ красокъ, подъ которыми должна была ему представиться жизнь съ первой встречи.

Читатель увидить далже степени, по которымъ пло религіознов настроеніе духа въ Станкевичв: первоначальный корень религіозныхъ убъжденій не изсихаль отъ многоразличныхъ вътвей, нущенныхъ имъ впослёдствіи, и някогда не теряль производительной сили вообще. Ограничнися здъсь упоминаніемъ о той потребности симпатів, которая доказываетъ раннюю полноту чувствъ и которая пришла къ Станкевичу еще въ дътствъ. До самаго отъвзда своего за границу, въ 1837 году, онъ сберегаль въ бумагахъ своихъ цвътокъ,

нарисованный нетвердою женскою рукой, съ подписью: «К....» Живописецъ была дъвочва, съ которою Станкевичъ танцовалъ тавъ-называеныхъ актахъ пансіона и которую встрівчаль въ женскоит учебноит заведении Воронежа, посъщая сестру свою, которая танъ воспитывалась. Дфтская привязанность эта была, однако же, такого свойства, что глубоко врезалась въ душу обоихъ и съ трудонъ поддавалась уничтожающему дъйствію времени. Еще въ 1843 году, наканунъ Свътлаго праздника, Станкевичъ вспоминалъ объ этой привизанности, какъ о самомъ чистомъ и дорогомъ подаркъ своей первой молодости. И теперь, въ глуши степной деревни, можетъ-быть, есть женское существо, съ униленіенъ обращающее нысль къ той поръ первыхъ волненій чувства.... Поэтическій элементъ, вложенный природою въ душу Станкевича, бросалъ его отъ стихотворства къ музыкъ, отъ музыки къ театру в отъ театра въ къ охотъ. Станкевичъ учился играть на фортеньяно сперва въ Воронежъ, а потомъ въ Москвъ у навъстнаго въ свое время преподавателя музыки и композитора. Гебеля. Мы убъждены, что одно язь проявленій этого діятельнаго элемента, стихотворство, сблизило Станкевича съ Кольцовымъ. Кольцовъ бралъ книги изъ единственной тогда въ Воронежъ библіотеки, куда часто заходиль и Станкевичъ; да по разнообразнымъ перекупкамъ и поставкамъ своей фамиліи Кольцовъ бывалъ и въ пансіонъ. Не надо обладать больною долей фантазін для предположенія, что ихъ связала тайная страсть къ стихотворству, взаимно открытая другъ у друга. По преннуществанъ образованія, Станкевичъ сділался повровителенъ поэта-торговца, указывалъ ему книги для прочтенія, и нъсколько поздиће, уже будучи въ Москвћ, ввелъ въ кругъ литераторовъ, а паконецъ, въ 1835 году издалъ книжку его стихотвореній, на деньги, собранныя общею подпиской знакомыхъ и пріятелей въ одинъ всчеръ. Въ отношени къ таланту между ними, конечно, была вначительная разница. Кольцовъ обладалъ даромъ чувствовать въ себъ и русскую природу, и русскую жизнь, и, можетъ-быть, еще важивнимъ даромъ—находить образы и звуки для цельнаго вираженія ихъ. Поэтическій элементь у Станкевича быль слиш-KONL общъ, безразличенъ, философствующаго харавтера и, вълобавокъ, еще не обръталь настоящаго выраженія, ястинной формы. Покуда первый распространяль по лицу Россін свою неодолиноувлекательную півснь, второй отказывался (въ 1835 году) отъ ноэтической производительности, понявъ въ себъ отсутствие средствъ, требуеныхъ ею; но поэтическій элементь оть этого не быль потерянъ. Опъ сосредоточился, сивемъ такъ выразиться, внутри его души, проникъ въ характеръ его, осифтилъ его имсли, побужденія,

инстинкты, опредванть самые поступки его и даже вившнюю форму ихъ: Станкевичъ, благодаря ему, обратился самъ въ полное поэтическое существо, какимъ его видъли и знали ещо многіє живущіе люди, свидътельство которыхъ мы только повторяемъ здъсь.

- Пансіонскій курсъ быль однакоже конченъ, и въ 1830 году Станкевичь перевхаль въ Москву, въ домъ и семейство извъстнаго профессора Михаила Григорьевича Павлова, откуда и держалъ экзамент на поступленіе въ университеть. М. Г. Павловъ, который тогда еще не содержалъ нансіона, столь извъстнаго потовъ всей Москвћ, и къ которому Станкевичъ былъ рекомендованъ бывшимъ своимъ наставникомъ, П. К. Осдоровымъ, имълъ большую долю вліянія на направленіе и развитіе Станкевича. Выдержавъ экзамень и поступивъ въ словесное (какъ тогда называлось) отделение университета, Станкевичъ продолжалъ жить у профессора, пользуясь небольшою комнатой въ его домф и общимъ столомъ съ его семействоиъ. Все это устройство было нарушено полвленіемъ холеры въ Москвъ въ 1830 году. Упиверситетъ билъ на время закрытъ, студенты распущены по домамъ, исключая тъхъ, которые приняля дъятельное участіе въ мърахъ для прекращенія бользии, и только въ январъ 1831 года возобновились лекціи; въ октябръ 1831 листокъ «Молви» (Ж 40, 1831) извъщаль объ открытіи пансіона М. Г. Павлова на основаніяхъ строго обдуманной системи воспитанія. Обладавшій многостороннимь зпанісмь, профессорь уже быль општень въ этомъ деле; онь несколько леть сряду нивль подъ надзоромъ своимъ «Благородный пансіонъ», учрежденный при Московскомъ университетъ. Объ экзаменахъ въ его новомъ и скоро прославившенся учебновъ заведенін, Сергій Тимоосевичъ Аксаковъ присылалъ нѣсколько разъ въ редакцію «Молвы» саные лестице отзывы. Станкевичь продолжаль почти до конца курса жить въ дом'в Павлова и состоять подъ его правственнымъ вліянісмъ.

Первые два года пребыванія Станкевича въ Москвъ (1830—
1831) можно отмътить только одникь обстоятельствомъ: Станкевичь основательно выучился по-нъмецки и коротко ознакомился съ поэтами Германіи. Обстоятельство, какъ увидимъ сейчасъ, не маловажное по своимъ послъдствіямъ. Съ какою жаждою приналъ опъ къ этому источнику высокихъ впечатлѣній, свидътельствуетъ его перепцска; опъ не отходилъ отъ него, если можно такъ выразиться, и образы, созданные великими и даже второстепенными пъвцами Германіи, носилъ съ собою на лекціи университета, на дружескія бесъды и въ шумъ свъта, который начивалъ привлекать его. Уже на второмъ университетскомъ курсъ мысль юнаго Станкевича была

въ полной зависимости отъ вскуъ труб дюдей, которые и у себя въ отечествъ подчинили умы и стремленія цълаго покольнія. Отсюда рождается особенный взглядь на окружающій міръ: Станкевичъ суднать его съ высоты поэтического представленія любивыхъ своихъ творцовъ; отсюда также вытекало и строгое понимание жизненной ціли: онъ раздівлять съ образдами своими благоговійное уваженіе къ достоинству человінка и его призванію. Для Станкевича німецкая повзія не была только родинковъ эстетическихъ впечатлівній; она сдълалась, виъстъ съ тъмъ, мъриломъ, на которое прикидываль онь всю жизнь и собственное свое нравственное достоинство. Онъ по ней выучился распознавать признаки ничтожества и смерти въ явленіяхъ, принимаемыхъ за существенное и необходимое условіе жизии; онъ по ней выучился требовать отъ себя моральнаго усовершенствованія. Теперь трудно и повфрить, сколько обновляющихъ и исправительныхъ началъ принесла ивмецкая поязія полодынъ людянь 30-хъ годовъ, когда открылось у насъ двятельное сближевіс съ нею. Мечты юности были здісь воспитателями сердца и души; любой поэтическій образъ — правственнымъ представленіемъ; вдохновенный афоризмъ — обязательнымъ правиломъ Иламенный стихъ Шиллера или Г'ёте хранился, какъ оружіе на борьбу съ своими и чужнии эгоистическими страстими и передавался такъ другимъ. Позна, романъ, трагедія и лирическое произведеніе служили кодексами для разумнаго устройства своего внутренняго ніра. Безъ преувеличенія можно сказать въ отношеніи къ Станкевичу и ого кругу, что поэзія сдівлалась учительницей ихъ, тівмъ, чтит она была съ первиго ноявленія своего на свътъ.

110 этимъ сще не ограничивалось вліяніе намецкой поэтической литературы: она расширила также пониманіе Станкевича и возбудила къ дъятельности всъ умственныя его силы. Въ произведеніяхъ этой литературы свободная фантазія півца безпрестанно касается философскихъ положеній, часто даже и зарождается она въ области чистой мысли. Иногда также, по требованіямъ своей природы, она уступаетъ дорогу мысли и, подъ конецъ, сама пропадаетъ въ философской идев, какъ песчинка въ полномъ блескъ солица. Легко представить себь, какъ должны были дъйствовать на молодой, пытливый умъ безпрестанные намски поэзіп, которую онъ изучаль съ такою жадностію, и вакъ пораженъ быль онъ особеннымъ родомъ величія, заимствуемаго ею отъ непосредственнаго соучастія мысли. . По итъръ чтенія, которое все болье и болье расширялось, Стапкевичъ начиналъ предчувствовать существование одного общаго на- . строенія въ литературныхъ двятеляхъ Германіи и одного великаго элемента въ ихъ произведениять, пробъгающаго невидимою, живи-

тельною струей по всей области творчества. Переписка Станкевича отражаетъ ту нучительную работу искапія общаго начала нежду наиболье яркими, наиболье потрясающими мыслями ньмецкой поэзін, -- работу, которая началась для него со студенческой скамы. Прибавинъ, что ею же были заняты иногіе изъ его товарищейсверстниковъ. Чемъ сивлее выдавалась мысль изъ среды повтическаго образа, тъмъ напряженнъе становились усилія отыскать ея полное значение и возвести до общаго положения, которое могло бы сдфлать ее независимою пояснительницей всфхъ случаевъ жизни. Попытки эти обыкновенно выражались лирическимъ языкомъ, исполненнымъ страстнаго увлеченія, и много было еще въ нихъ неопредвленнаго, смутнаго и произвольнаго, какъ легко можно убъдиться изъ образцовъ, находящихся въ перепискъ, но это былъ нивств съ твиъ и ранній искусь въ философскомъ иншленін. Поэтическое слово родины Шпллера и Гёте, возвысивъ правственныя требованія, наполнило самый умъ молодыхъ людей множествомъ вопросовъ, привело его въ неизъяснимое напряжение и въ глубинъ ихъ сознания зажело первый слабый свъточъ, который долженъ былъ отъ размышленія, чтенія и науки развиться впоследствін до силы и степени върнаго правственнаго свътила.

Мы не опибаемся и не преувеличиваемъ, приписывая такъ много въ начальномъ образованіи Станкевича действію немецкой поззів и литературы. Впечатявнія, испытанныя имъ тогда, были ему общи со многими изъ его друзей; воспоминанія последнихъ служили намъ свидетельствомъ и указаніемъ того, что онъ самъ переживаль въ первые годы своей студенческой эпохи. Еще многіе помнять ту почти непрерывную цень эстетических потрясеній, которыя почерпалъ кругъ Станковича ежечасно изъ свойствъ и сущности германскаго міросозерцанія, отражаемаго литературой народа. Общій характеръ, лежащій въ основаніи намецкой поззін, постоявно держалъ людей этихъ среди одухотворенной, прояспенной и возвеличенной имъ природи. Вийсто одной скромной студенческой жизни своей, они окружены были тысячью жизней, движеніемь, такъ-сказать, многоразличныхъ существованій, кажущихся мертвыми и бездушными простому глазу. Они присутствовали при обязательномъ зрълицъ, симслъ и происхождение котораго еще не вполиъ уразумъвали, по время пониманія было уже не далеко. Наслаждаться безъ изследованія, безъ вопроса о причине наслажденія, они уже не могли, даже по глубинь и силь полученныхъ впечатльній. Надобно было имъть иного старческой наклонности къ бездушному сибаритизму, чтобы въ виду обильнаго, почти неистощимаго творчества Германіи, не спросить ничего о силь, рождающей его, довольствуясь только одною удовлетноренною потребностію наслажденія. Какъ им великолъпно было еще эрълище само по събъ, но остановиться на одной вижшией красотъ его, на богатствъ, пышности и разнообразів его явленій— не представлялось возможности. Эстетическое наслаждение обязываеть, какъ и всякое другое. Да еслибы и ножно было подозръвять у нолодого, свътлаго и неиспорчениаго чувства ивчто подобное эгоистическому исканію однихъ раздражительнихъ впечатленій, то сущность немецкой поэзіи возвратила бы его въ болье строгому и серьёзному направленію. Весь необъятный хороводъ жизни, представляемый ею, все-таки зарождался въ человъкъ, и первый аккордъ, дававшій ему сигналь, выходить изъ души человъческой. Въ какой бы пензивриный кругъ потомъ ви развился онъ на глазахъ зрителя, какую бы огромную часть міра ни захватиль въ своемъ развитін, онъ пеизбъжно возвращался къ своему источнику, къ человъку, и пропадаль въ дупів его, видимо составляя съ ней и съ природой, такимъ образомъ, одно неразрывное цълзе. Единство поэзін и философскаго воззрънія, свойственваго вароду, или последовательно выработаннаго имъ, выражалось при этомъ очевидно. Много однако-жъ протекло времени для Станкевича въ одномъ предчувствіи этой родственной свяви поэзін и философія Германін, но онъ наконецъ пришелъ путемъ искусства къ вопросу: «въ ченъ же состоить само ученіе, рождающее созданія такой глубины и такого могущества?» Въ этомъ вопросъ заключалось все будущее развитие Станкевича; вопросъ установиль его навлонности и стремленія и ввель его въ германскую науку философіи, которой Станкевичъ уже не измънялъ до конца жизни. Разумъется, что съ той поры, какъ представилась ему необходимость изученія системы, или системъ, опредълившихъ поэтическое настроение намцевъ, кончилось отрочество его. Онъ вступалъ въ юномескій возрастъ, принося съ собой страстную жажду познанія и твердо въруя въ возможность безусловной полноты его.

II.

### (СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ).

Давно было сказано, что цель всякаго университетского преподаванія не есть созданіе ученых людей, а только возножно полное сообщеніе средствъ высшаго образованія, конечно, вифстф съ необдодинию нравственным направленіемъ. Это арсеналь, гдф всякій

вооружиется по силанъ; но употребление оружия и вся добыча, какая инъ ножетъ быть пріобретена, оставляются усиліянъ человевы, поглощающемъ, кавъ извъстно, иногда цълую жизнь его. Надо свазать, что москонскій университеть 1831—1833 годовъ еще далево отстояль отъ последующаго своего развитія, вогда благодательная міра, принятая въ 1828 году (посылка молодыхъ русскихъ ученыхъ за границу для образованія себя къ профессорскому званію), стала приносить первые свои плоды. Впрочемъ, не мъщветь заивтить, что университеть, во всемь своемь составв, я особенно въ студенческой части, какъ будто предчувствоваль эпоху обновленія, совершившуюся между 1833 - 35 годами, по мысли просвъщеннаго министра и натріотическаго понечителя московскиго учебнаго округа, графовъ: С. С. Уварова и С. Г. Строгонова. Съ 1831 оказываются въ учащихся признаки пробужденія высших в интересовъ и повой жизни. Правда, поколъніе буйныхъ студентовъ вийств съ покольніемъ преподавателей, занимавшихся построеніемъ жріеко и каждогоднымъ повтореніемъ одной отсталой теорія, еще не совсвиъ виновало, но уже не ему принадлежить большинство. Въ противоноложность малочисленному кругу слушателей, одушевленныхъ одною мыслію-высидеть себе, такъ или иначе, аттестать и степень, образуется другой кругъ, проникнутый любовью и уваженіемъ къ самому познанію. Не довольствуясь однимъ формальнымъ исполненіемъ своихъ обязанностой, онъ поставляеть себи задачей — дополнение оффиціальнаго преподаванія, бодро продолжая развитіе основаній, полученныхъ съ каоедры, и вводя въ сферу своихъ занятій преднеты, еще не тронутые въ аудиторін. Віра въ науку, тоск по ней и молодое предчувствое истины помогали тутъ неопытности. Въ извъстные годы и въ извъстныхъ обстоятельствахъ, люди, при возбужденной страсти къ познанію, столько же учатся другь отъ друга, сколько и отъ учителя. Тогда-то образуется особенный родъ взаимнаго и весьма широкаго воспитанія, гдв одушевлениая передача открытій, сделанных одникь, толки о результатахъ, къ которыкъ пришель другой, открывають новые пути и новыя соображенія для всвять. Правда, при такомъ общемъ трудв, систематическое образованіе проигрываетъ именно настолько, насколько выигрываютъ и изощряются личныя способности каждаго къ занятіямъ, къ догадкъ и къ обсуждению предмета; но не надо забывать, что тутъ не могло быть выбора. Этимъ бодрымъ характеромъ, идущимъ на встрвчу всвять вопросовъ и отыскивающимъ ихъ вездъ, гдъ есть случай, отличался именно кругъ Станкевича въ студенческую эпоху 1832 --1834 годовъ. Онъ отражается и въ его перепискъ.

Мы веська далеки оть наифренія писать исторію университета,

по поводу одного изъ его иногочисленныхъ воспитанняковъ, но не ножень не сказать, что въ словеснонь отделение его, куди поступилъ Станкевичъ съ самаго начала, находились още люди, поддерживавшіе достоинство своихъ клоедръ съ честію. Таковъ быль М. Т. Каченовскій, преподававній въ словесновъ отділенія рус-скую исторію (1832 по 1834), М. П. Погодинъ, читавній тамъ же всеобщую исторію (съ 1833 года), С. П. Шевыревъ, открывшій въ 1834 лекціи исторіи повзіи и русской словесности и т. д. Каждый изъ нихъ или опирался на мысль для защиты своего ученія, или вводиль се, какъ дополнение къ сообщаемымъ свъдъниямъ, или даже какъ окраску данныхъ въ извъстный цвътъ. По мысль, какого бы свойства она ни была, составляеть именно ту приправу, которой особенно ищеть нытливый умъ молодости и съ помощью которой онъ легко обращаеть въ свое достояние иногочисленные и разпообразные факты. Особенно это было варно по отношенію къ свъжену, бодрому кругу юношей, образовавшемуся въ средъ словеснаго отделения университета. Вотъ почему люди, перечисленные нами, ямъли въ ту эпоху свою долю влінція, и вліннія весьма сильнаго на умы слушателей, что также, вивств со многими другими дробностими студенческой жизий, отражается въ перепискъ Станкевича.

Но им знаемъ, что у Станкевича, кроив общихъ вопросовъ науки, были еще свои тайные любимые вопросы эстетическаго рода, разрфшенія которыхъ онъ искаль всеми силами и где только могь. Первый человъкъ, прямо отвътившій на нихъ, былъ Н. И. Надеждинъ, которому поэтому и принадлежить весьма значительная роль въ первопачальномъ развитіи Станкевича. Въ 1832 году Н. И. Надеждинъ, тогда еще молодой профессоръ, открылъ свои лекція въ университеть теоріей изящныхъ искусствъ, въ 1833 перешелъ къ исторін искусствъ, излагаемой по памятникамъ, а въ 1834 году окончиль логикой, почувствовавь, по собственному сознанію, невозможность правильнаго изложенія законовъ искусства, безъ предварительного ознакомленія слушателей съ законами самой мысли. Обширная начитанность профессора и замічательный даръ краснорічія дълали его почти неистощимымъ. Онъ проводилъ со своими слушателями вивсто одного часа, положеннаго для каждой лекція, часа по два, и долго еще после обичнаго звоика текла его умная и плодовитая рфчь, никогда не утомлившая аудиторіи. Вообще, онъ нивлъ сходство съ преподавателями извъстнаго парижскаго Collége de France (французской воллегін), гдв пренмущественно царствуеть импровизація и ніжоторый дилеттантизить, допускаемые какть противодъйствие строгости и сухости Сорбонискаго препедавания. Къ сожалънію, намъ ничего не осталось отъ его курса. Но здісь Станкевичъ впервые встрітнися съ отголоскомъ Післлингова ученія о высшей психической способности, сознающей въ себъ единство съ общинъ міровымъ разумомъ и открывающей степени проявленія его въ природів и искусствів.

Намъ извастно изъ воспоминаній тогдащинихъ воспитанниковъ университета, что студенты словесного отділенія двухъ курсовъ 1833 и 1834 годовъ, слушали лекціи всв вибств, въ одной обширной залъ. Левців сибияли одна другую безъ всяваго промежутка, что продолжалось иногда часовъ по писти сряду. Внимание слушателей, естественно, было утомлено, но никогда не изивняло Падеждину, какъ только наступала его очередь. Онъ могъ даже насиловать внимание своихъ слушателей, какъ мы видели. Очень натурально также, что это долгое пребывание студентовъ вибств, и на одномъ ивств, давало нищу и просторъ наблюдательности, остроумію, а иногда и забавнымъ выходкамъ, служившимъ какъ-бы разсфинісмъ для этого многочисленнаго собранія молодыхъ людей. Случалось притомъ, и довольно часто, что значительная часть аудиторіи словеснаго отделенія спускалась однивь этажень ниже, въ скромную залу физико-математическаго, и наполняла ее биткомъ. Это было ири лекціяхъ М. Г. Павлова, читавшаго сперва физику, потомъ теорію сельскаго хозяйства, и въ обоихъ случаяхъ распространявовато границы своихъ предметовъ до включения въ нихъ цфлаго философскаго созерцанія. Здісь однакожь ни пибень свидітельство о сущности преподаванія, благодаря книгв, изданной профессоромъ въ 1833 году, «Оспованія Физики» (Москва), хотя учебная книга, въ обязанность которой вибняется сжатость и строгая система, разумвется, не можетъ передать всвуъ развитій и пояспеній, къ какимъ способно вообще живое слово человъка. Конецъ первой ся части съ заглавіемъ: «О веществъ» и, преимущественно, глава II: «Вещество само въ себъ (стр. 281-302), заключаютъ космогоническую теорію, основанную на гипотез в чисто философскаго свойства и развитую съ заивчательною последовательностію, съ высокинъ діалектическимъ талантомъ. Гипотеза вытекаетъ изъ философскаго положенія о сходствів или тождествів безграничной свободы съ хаосомь, небытіемъ, -- этомъ тождествів, которов было разорвано благинь, всемогущимъ: «да будетъ». Отвлеченное понятіе, силлогизмы и посылки котораго образуются изъ силъ и стихій природы, преобладаетъ надъ всею теоріею, а объясненіе самаго вещества, какъ взаимнаге дъйствія свъта и тяжести, тоже превращенныхъ въ понятія, ясно указывають профессору місто между европейскими ∢Natur-Philosophen > — философани природы, которых в породила система молодости

Шеллиега. Такимъ образомъ, Станкевичъ инвъть уже наискъ на значене искусства, какъ части общей, міровой жизни; теперь онъ получилъ понятіе и о блестящей роли, какую современное ему философское ученіе предоставляло природѣ въ царствъ духа или идеи, что било все равно.

Прежде сказале мы, что Станкевичъ жилъ въ квартиръ Павлова, часто раздъляя съ нимъ скромную транезу; онъ не ръдко имълъ случай бесъдовать у него и съ Надеждинниъ; но сколько послъдній былъ сообщителенъ и готовъ на отвътъ при всякомъ запросъ, столько первый не любилъ дълиться своею мыслію и сообщалъ ее только въ ученой формъ лекціи, хотя оба сходились по разнымъ путямъ въ одному возарънію. Павловъ не охотно отвъчалъ на имтливые разспросы Станкевича и старался скоръе уклониться етъ нихъ, чъмъ дать имъ посильное удовлетвореніе. Станкевичъ, какъ всъ другіе, долженъ былъ ограничиться его преподаваніемъ и объясненіемъ прочитаннаго; но первый толчевъ молодому соображенію былъ уже данъ, любознательность возбуждена, и весьма скоро Станкевичъ добралси до самыхъ источенковъ, откуда истекли слова, поразивнія его воображеніе у обоихъ профессоровъ.

Передъ Станкевичемъ открылся новый мірь, и, конечно, выраженіе это не покажется преувеличеннымъ, если вспомнимъ, изъ какого ряда идей и смутныхъ представленій выходилъ Станкевичъ на свътъ въ ученію знаменитаго германскаго философа. Нътъ соинънія, что онъ познакомился съ нимъ еще весьма поверхностно и по большей части не въ санонъ источникъ, а въ толкахъ объ немъ, изъ вторыхъ и третьихъ рукъ; но какъ бы ни было получено понятіс, оно изміняло все существованіе Станкевича. Какимъ-то торжествомъ, сибтлымъ, радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы теме же самыми законями, какимъ подчиняется духъ человіческій своемъ развитін, закрыть, повидиному навсегда, пропасть, раздівляющую два міра, и сдівлать изъ нихъ единый сосудъ для вивщенія въчной иден и въчнаго разума. Съ какою юношескою и благородною гордостію понималась тогда часть, предоставлення человіну въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ео въ нъдрахъ собственнаго сознанія, словомъ, становился ся центромъ, судьею и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и одухотвореннаго существованія. Какъ УДовлетворялось высокое нравственное чувство сознавісять, право на такую роль во вселенной не давилось человъку по наслъдству, какъ имъніе, утвержденное давнимъ владъніемъ! Чъмъ свътлъе

отражался въ ненъ самонъ въчный духъ, всеобщая идея, твыъ полнъе понималь онъ ея присутствие во всъхъ другихъ сферахъ жизни. На концъ всего воззръния стояли правственния обязанности, и одна изъ необходимъйшихъ обязанностей — высвобождать въ се бъ самонъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго, для того, чтобъ имъть право на блаженство дъйствительнаго, разумнаго существования.

Не далве 1834 года, человъкъ, понимавшій философскія ученія преимущественно съ ихъ моральной стороны, В. Г. Вълинскій, выразвать возгрвніе всего круга Станкевича въ статьв, оставивше 🗷 по себъ сильное впечативніс. Она была папечатана въ «Молвъ» въ 1834 году (съ Ж 38 по Ж 52) подъ заглавіемъ: «Литературныя мечтанія. Элегія въ прозъ. Пусть читатель обратить вниманіе на начало этой статьи, гдф вось міръ, а стало-быть и искусство. опредълнются, какъ отраженіе одной безконечной идеи, равно живущей и въ бътъ кометы, и въ слезъ ребенка, и въ произведении художника; пусть прочтеть онъ правственныя требованія критика, изложенныя въ ярковъ описаніи двухъ дорогь, світлой и позорной, и различныхъ целей, къ которымъ оне приводить; пусть остановится онъ на опредълении способовъ соединения съ безконочною идеей посредствомъ отречения отъ своего я, борьбы со всемъ, что затемняеть ликъ иден и неограниченный любви... Туть высказана сущность убъжденій, царствовавших д въ кругъ Станкевича, и высказана съ тою твердой постановкой правиль, которая отличала всегда автора статьи. Не вдаваясь въ разборъ критической ея части, можно сказать, что изъ воззрвнія, общаго автору со Станковичемъ, родились всв строгія правственным требованія статьи отъ литературныхъ двятелей, развитыя ещо болью впоследствии. Она со-ставляеть въ нашей исторіи словесности грань, съ которой начинается разборъ и оцвика направленій и возникаетъ побужденіе спотръть на произведенія искусства, какъ на провозвъстниковъ высшаго аравственнаго порядва 1).

<sup>1)</sup> Учеціє, занившее весь умъ Станкевича и оконавшее самую совъсть его, сообщено имъ было многимъ изъ своихъ друзеи, какъ напримъръ Кольцову, который восвятиль этому предмету одну изъ своихъ думъ. Самъ Станкевичъ произвель стихотвореніе, навълнное тамъ же кругомъ идей. Оно относится къ 1838 году, и мы приводимъ его здѣсь, какъ поясиеніе тогдашнихъ его мыслей и представленій:

<sup>&</sup>quot;Подвигъ живин".

Когда любовь и жажда знаній Еще горять въ душт твоей, Біти отъ сустныхъ желаній, Отъ убивающихъ людей.

Еще иногіє поинять, какъ Станкевичь, въ эту эпоху своего развитія, сустливо отыскиваль книги философскаго содержанія, старался учредить порядокъ въ чтенін и обращался за совътани въ опытнымъ людямъ, знакомымъ съ историческимъ ходомъ германскаго иншленія. Все это было, конечно, необходимо для уясненія теорів, открывшей съ перваго раза далекія перспективи во всю сторовы, но неизследованной въ самомъ механизме ся. Опъ судилъ о дватель по великольнію его произведеній, но самого двятеля еще не зналъ. Вило, однакожъ, и другое побуждение въ страстному, неутопиному изучению философскихъ истинъ, кроив того рода наслажденія и поученія, которыя въ нихъ почерпаются. Станкевичъ искалъ еще въ философіи оноры своему живому религіозному чувству. Несмотря на отвъти, уже полученные въ теоріи и способные удовлетворить требованіямъ поэтически-настроеннаго сердца, онъ еще думаль обрасть въ ней полный миръ и спокойствие совасти, вивств съ полнымъ познаніемъ. Тогда же набросаль онъ статью: «Моя Метафизика», гдъ вводиль въ положенія любинаго своего ученія — особенное понятіе: «чувство всеобщей идеи», и посредствомъ его старался узаконить всв надежды сердца, которыми такъ дорожиль, стремленія, предчувствія в радости его. Надо сказать, что это настроеніе, жаждавшее утвердить на мысли и разум'в всв самыя топкія исихическія ощущенія человівка, было у Станкевича въ ту пору общее со всвии членами его круга, безъ исвлюченія. Когда, въ 1835 году, вошолъ въ этотъ кругъ человъкъ, надълепный въ высшей степени способностими къ философскимъ занятіниъ, то стремление это получило еще большее развитие.

Что касается до Станкевича, то можно сказать съ достовфрио-

Себѣ всегда продъ всёми вёревъ, Пди, любя и не страшись! Пускай твой путь зевной извъревъ — Съ менозибающимъ дружись!

Пускай гоненье свёта взыдеть Звёздой влосчастья надъ тобой, И мірь тебя возненавидить. Отринь, попри его стопой!

Онъ для тебя погибнетъ дольный, Но спасена душа твоя! Ты притечень самодовольный Къ предфламъ страннимъ бытія.

Тогда свершится подвигь трудный: Перешагиемь продъль земной — И станемь жизнію повсюдной — И все наполнится тобой.

стію о всегдашнемъ присутствік этой двойной ціли во всіхъ его изысканіяхъ. Почувствовавь вскорів недостатокь свідівній о саныхь завонахъ, какинъ следуетъ имслящая способность человева, онъ обратился въ Канту, и въ томъ, что знаменитый философъ относить въ практической философіи, видель оправданіе и узаконеніе всехъ порывовъ и стремленій сердца, которые такъ знакомы были молодому изследователю. Когда наступила очередь Фихте, Станкевичь, какъ увидимъ далъе, въ самомъ ученім о чистомо мышленіи, принятомъ за единую достовърпую истину и за единую сущность міра, подозръвалъ черты, способныя отвъчать требованіямъ его духовной и поэтической природы. Даже гораздо поздиве, когда въ 1838-39 годахъ, находясь въ Берлинъ, Станкевичъ приступилъ, подъ руководствомъ извъстнаго Вердера, къ изученію логики Гегеля, которая заявила памфреніе установить непреложную форму для разума в вивств съ твиъ показать непреложное содержание, живущее въ этой форм'в, даже и тогда не покидало его тайное стремлене, сопровождавите весь философскій путь его съ самаго пачала. Объ участи этихъ юношески-теплыхъ и благородныхъ ожиданій и надеждъ, мы еще будемъ говорить, а теперь замътимъ, что искра, вароненная соображеніями чисто эстетическаго свойства, равгоралась, видимъ, до поглощенія въ неусынномъ изслідованін цівлаго и существенный шаго періода нымецкой философін.

Изъ всего сказаннаго легко угадать, что строгость жизненной задачи, такъ рано понятой, и высота правственныхъ требсваній должны были, еще въ студенческую эпоху жизни, положить огобенную печать на самого Станкевича и сообщить физіономіи его выслящее и поэтическое выраженіе. Такъ дъйствительно и было.

Въ перепискъ Станкевича нъсколько разъ встръчается завъреніс, что онъ живетъ для дружби и искусства, и не видитъ возможности какой-либо другой жизни для себя. Подъ именемъ дружби слъдуетъ понимать у него, какъ онъ самъ потрудился объяснить, столько же чувство привязанности къ людямъ, надъленнимъ высокими душевними качествами и привлекательнымъ по характеру, сколько и вообще чувство, жаждущее симпатіи и ласковаго участія. Потребность передать другому все богатство собственнаго сердца, всю собственную способность къ любви и доброжелательству, — не оставляла его нивогда. Часто и часто ожидаетъ онъ въ это время появленія незнакомаго существа, которое отгадаетъ присутствіе этого обильнаго источника симпатіи и придетъ утолить въ немъ потребность взаимности и счастія. Часто также, не находя вокругъ себя ни малъйшихъ слъдовъ, возвъщающихъ приближеніе подобнаго существа, опъ

недостойнымъ принять дорогого гостя. Онъ думаетъ, что судьба не даровъ отназываеть ему въ этомъ благъ... Въ одновъ письмъ онъ чрезвычайно добродушно сознается, что съ самаго дътства, каждый разъ, какъ ему случалось вхать на балъ или въ собраніе, онъ ожидалъ какой-инбудь важной катастрофы въ жизни, всего болве случайной встрвии съ существомъ, которое наполнить собою всю душу его. Иногда, по извъстному обману чувства, онъ насильно создаеть себв желанный образь, навязываеть на человека роль, не совсимъ сходную съ его характеромъ, и въ жаркомъ диопрамов изливаетъ передъ созданіемъ собственной фантазіи излишекъ ощущеній, которымъ было исполнено его необычайно любящее, нъжноеи благородное сердце. Накоторыя изъ знакомыхъ сму женщинъ, угадывая инстинктовъ своего пола одну сторону въ характеръ Станкевича, называли его небесныма. Онъ сивялся безпощадно надъ прозвищемъ, которое могло бы быть даже оскорбительно, еслибы не било крайне добродушно. Подвиги жизни, труды и наслажденія ея, Станкевичъ считалъ настоящимъ удфиомъ, земною долей человъка, а тайную игру ого страстей и ощущеній — только скрытнымъ даятелемъ, который сообщаетъ цвътъ и форму его явному, земному существопанію. Этимъ унфряль онъ и въ самомъ себъ расположеніе къ исчтательному представленію жизни.

О важивищихъ лицахъ, составлявшихъ кругъ Станкевича, им упомянемъ далбе съ ибкоторою подробностію, а теперь рфшаемся представить общую характеристику ого знакомыхъ и пріятелей, сохраняя то разпообразіе, какое отличало ихъ самихъ относительно понятій и правственныхъ требованій.

Здесь, съ самаго начала останавливають насъ слова, сказанныя Стапкевичемъ по поводу одного изъ университетскихъ товарищей, ваправленіе котораго впосл'ядствін заслужило осужденіе прежде бывшихъ его друзей: «Холодный человъкъ не можетъ быть хорошинь человъкомъ; холодный человъкъ долженъ быть стоивъ: иначе опъ будетъ подлецъ. Въ этихъ словахъ заключается настоящее опредъление характера, господствовавшаго въ кругв Станкевича. Падо, однакожъ, сказать, что основная мысль вруга, центромъ котораго быль Станкевичь, росла вифств сь личнымь развитісиъ главы его и вивств съ жизнію, до техъ поръ, какъ достигла полнаго разумнаго выраженія. Чувство, соединявшее разнородныя личности нежду собою, подъ конецъ уже имъло исходнымъ пунктомъ своимъ единство стремленій къ правственнымъ цалямъ, одушевленіе въ истинъ и добру и общее искание путей къ пимъ. Особенно это последнее качество составило важное отличіе круга въ последній періодъ его развитія отъ того времени, когда Станкевичъ собиралъ

за часиъ, въ маленькой своей компать, въ нижнемъ этажь доча, занимаемаго пансіономъ Павлова, своихъ товарищей по университету, и вечера летвли въ предчувствій явленій, какими исполнена еще незнакомая, вдали свётлёвшая жизнь, въ разсказахъ о попиткахі открыть ту или другую сторону ел, въ фантастическихъ представленіяхъ ся принадлежностей и въ наслажденін другъ другомъ, не разбирая хорошенько правственной сущности, какая заключена была въ каждомъ. Давно замъчено, что до эпохи нъкоторой возмужалости чувства, оно не распознаетъ относительнаго достоинства предметовъ и только старается возвысить ихъ до себя, даже наперекоръ ихъ природъ. Станкевичъ, напримъръ, былъ какъ-то неутоминъ въ привязанности къ одному изъ своихъ пріятелей, который занимался изобратеніемъ вычурныхъ нарядовъ и причесокъ, и возражаль на упреки въ безисчиости словами: «Эхъ, братецъ, ты не знасшь, чго значить жить въ семействъ, сваливая бъду на пріятности и развлеченія, находимыя въ большомъ сомейномъ вругу. Онъ иногда прикидывался мрачнымъ п отчаяннымъ по части сердечныхъ дель и быль добрый малый; но Станкевичь лельяль въ немъ вакое-то представление своей собственной фантазін, что въ ту эпоху случалось съ пинъ довольно часто. Истинимиъ добрынъ малымъ, въ хо-рошемъ смислъ слова, билъ также другой товарищъ Станкевича. о которомъ перъдко упомпнается въ перепискъ, - покойный поэтъ В. П. Красовъ. Жизнь этого человъка могла бы составить содержание весьма поучительнаго разсказа. Онъ весь билъ воодущевление, не, къ сожальнію, часто безъ дъйствительныхъ, серьёзныхъ поводовъ къ тому. Восторженное состояние, въ которомъ онъ находился постоянно, принималось тогда за коренное свойство его поэтической патуры, хотя скорфе это было дфломъ фантазін, болфзисипо развитой на счетъ всъхъ другихъ душенныхъ силъ. Онъ поминутно встрфчалъ необикновенныя созданія. Не останавливансь долго на разборф, въ каждомъ переулкъ, гдъ поселялся, встръчалъ онъ чудныя существа и необычайныя происшествія, о которыха потома и разсказывалъ со всвии невольными прикрасами возбужденнаго воображенія. Самъ онъ объясиялся съ находками своими чрезвычайно восторженно, н одна изъ тъхг глубокихг натург, которыя все понимают, послъ поэтическаго монолога Красова, съ недоумъніемъ справинвала Станкевича: почему нельзя понять ни одного слова въ разговорѣ его друга? Ко всему этому присоединялись у нашего поэта юношеская горячность въ привизанностяхъ, совершенивашая безпечность въ жизни и неизивники доброта сердца 1). По выходъ изъ уни-

О пріничивости его сердца, какъ и объ отсутствім всякаго соображенія при полученім висчатлівній, можеть служить слідующій анекдоть. Станкевича позвали въ

верситета онъ жилъ бъдно, ничего не дълалъ для поправленія своего положенія, примі день пребиваль въ мечталь и зимой спасался отъ холода подъ одфиломъ своей постели, гдф снова фантазировалъ и писаль стихи. Подобныя искреннія, дівтски-открытыя натуры всегда визивають симпатію окружающихь, и Станкевичь, часто дававшій волю юмору своему насчеть пріятеля, любиль его, однакожь, какъ любять существо, живущее по своимь особеннымь, почти исключительнымъ законамъ. Одно время онъ бралъ у него урови въ латинскомъ и греческомъ языкахъ, такъ какъ Красовъ поступилъ въ университетъ изъ семинарін и зналь языки эти довольно основательно. Нъсколько поздиъс, тщетныя усилія Станкевича вызвать пріятеля изъ праздности и обратить къ какому-либо труду ослабили ивсколько чувство, связывавшее ихъ, особенно когда Станкевить замітиль еще и признаки ніжоторой претензін въ фантазіяхъ Красова, что неминуемо должно было случиться рано или поздно. Воодушевленіе, какъ и все другое на свете, имеетъ свои пределы, за которыми уже является насилование его и ложная, непріятная подставка придуманнаго ощущенія. Чувство Станковича однакожъ но истребилось совствиъ, и мы знасиъ, что онъ еще съ любовью вспоминалъ о старомъ своемъ другв въ Берлинъ.

И вся жизнь того времени, можно сказать, была окрашена особыль цивтомъ, проникнута твиъ направленіемъ, которое трудно и передать безъ участія поэтическаго таланта. Въ составъ его входило мпого безграничной довфренности къ людямъ, много юношеской

правленіе университета для сообщенія чего-то. Случилось, что въ то время онъ сидель дома и занимался съ Красовинъ. Станкевичь тотчась же оделся и отправился. На воздорота она слышита, что кто-то посившно его догоилета. Она оборачавается и видить Красова въ полномъ студенческомъ мундиря, со шнагою. "Ты куда?" справиваеть его Станкевичь.-,За тобою, за тобою, отвичаеть Красовь со слезани на глазахъ. И буду защищать тебя до последней капли крович. — Станкевичъ съ трудомъ вразумиль его, что едва ли потребно будеть такое развитіе силь и храбрости. Красовъ въ последній періодъ литературной деятельности, кончившейся очень рано, еще при жизни Станкевича, произвель итсколько чрезвичайно теплихъ и милихъ стихотвореній. Особенно замічительни они бойкостью стиха и эффектомъ прісмовъ, не лименныхъ грацін. Началь онъ лирическими стихотвореніями, въ которыхъ, несмотря на благородство чувствъ, заметенъ ийсколько узкій взглядъ на предмети. Такови ватріотическія вьеси: "Къ Уралу" ("Молва" 1835 года, № 27), "Булатъ" (ib. № 36), инстическая: "Еврей" (ib. № 39) и т. д. Любонытно, что въ томъ же 1835 году "Молва" нанечатала "Silentium" О. Тютчева,—произведение глубокаго поэтически-фивософскаго характера, не обратившее однакожъ на себя должнаго винманія. По отъ**б**одъ Станкевича въ Верлинъ, Красовъ получилъ мъсто въ Кіевъ, не ужился тамъ' и возврателся въ Москву съ какимъ-то обозомъ, въ одной шаохой шинельки и питансь чернима хавбома. Здвсь получиль она место преподавателя, безпрестанно отгадывая иножество будущих в талантовъ и геніевъ въ своих в ученикахъ, наконецъ женился,--в недавно умеръ въ больницъ, оставивъ послъ себя довольно многочисленное семейство.

способности привязывать мечти собственнаго сердца въ самому обивновенному, пустому событю жизни. Въ письмахъ Станвевича, принадлежащихъ въ этой эпохъ, есть разсказъ о неожиданной смерти какой-то чудной дъвушки, владъвшей, по смислу повъствована, чуть ли не даромъ прозръпія и угасшей въ семействъ, гдъ происхожденіе ея было источникомъ грубой, тяжелой драмы. Мы не знасы подробностей исторін, но не надо быть чрезвычайно прозорливних для того, чтобъ убъдиться въ нъкоторомъ преувеличеніи событія со стороны тъхъ, для которыхъ такое преувеличеніе было необходимою потребностію духа: такъ настроенъ онъ былъ къ отысканію глубокаго поэтическаго смисла въ каждомъ явленіи 1). Товарищъ Стан-

"На погиль Эмилін",

Помонидо вкигом стванції! Печальный похъ ее покрыяв Съ техъ поръ, какъ сперти сонъ глубокой Отъ насъ ел жилицу скрылъ. Оконченъ рано подвигъ трудный, Загадка жизии рфшена! Любовь почила безпробудно И радость тавнью предвив. Какіе тайные законы Тебя бъ въ сей жизин ни вели, Но участь горькую Миньйоны Ты испытала на земли; Ты съ горенъ свыклась съ колыбели, Тебя не видель отчій кровь, Звіздой надучей пролетіли II жизнь, и иладость, и любовь. Но надъ печальною могилой Не смолкнулъ голосъ клеветы, Она терваетъ призрамъ милый И жжеть надгробные цвиты. Пусть аюди ждуть судьбы со страковь, И чень бы им быль сынь всиной, Повсюдной жизнью, или прахоиъ-Влагословение съ тобой! Но если утро вискресенья Придеть на систянкъ облакахъ, Выястань съ дучокъ преображеныя Въ твоихъ лазоревыхъ очахъ. Лети, лети въ края отчиващ, Оковы тавиья разорви-Нудь съ нимъ один иъ единой жизии, Въ одиной виждущей любви,

<sup>1)</sup> Станкевичъ посвятиль намяти этой давушки одушевленное и довольно выдержанное стихотвореніе. Приводимъ его эдась. Оно было напечатано въ альманала "Денянца" на 1834 годъ, подъ заглавіемъ:

вевича ... ка, почитавшій себя особенно связаннымъ съ судьбой и участью покойницы, быль въ сущности добродушнійшій молодой человівкь, съ ніжоторымъ оттінкомъ неподдівльной малороссійской наивности, съ наклонностію къ чувствительности и лінивому созерцанію жизни, какое часто встріччается у его земляковъ. Онъ не кончиль университетскаго курса и постоянно возбуждаль участіє Станкевича, который поддерживаль въ немъ искры умственной энергін до тівхъ поръ, пока товарищь совсімь не пропаль у него изъ вида.

Надо сказать вообще, что какое-то чутье истины и врожденный даръ юмора спасали Станкевича отъ упорства въ ложныхъ увлечевіяхъ. Даже въ эту раннюю эпоху жизни, овъ былъ наделенъ обыкновеннымъ свойствомъ благодатныхъ натуръ: ложь надобдала ему прежде, чфиъ опъ успъвалъ открыть ее. Свойство это служило ему какъ-бы оградой, воспрещавшей переступить последнія грани романтическаго настроснія и потеряться въ мір'в призраковъ. Въ инсьмахъ его отъ этой эпохи безпрестанно встрачаются порывы сердца безъ ясной цели или съ целью, выдуманною произвольно; но съ первыхъ шаговъ къ ней, онъ тотчасъ же возвращается, поправляеть себя съ усменикой и становится на прежнее место. Можно подукать, что ему изминяеть ночва тотчась, какъ пошель онь не въ надлежащую сторону, или что невыразимая тоска програждаетъ ему путь съ перваго шага по ложной тропъ. Ясиве обозначится это качество при описаніи его молодых в привизанностей. Но и кром'в того есть въ перепискъ Станкевича много свидътельствъ, подтверждающихъ слова наши. Такъ, читатель встретить между письмами довольно большую фантазію, навъянную оперой и минутнымъ думевинить состояність, и консчио, будеть удивленть, замітивть, что черезъ почту, Станкевичъ ценитъ по достоинству какъ то, такъ и другое, и въ полной трезвости уна свободно отталкиваетъ отъ себя вгру ощущеній, подъ вліянісиъ которой находился еще такъ недавно. Онъ говориять тогда: «Все, что я писалъ къ тебъ... было инсапо въ припадкъ какого-то правственнаго фанатизна, который подымаеть насъ на ходули, возлагаеть на насъ очки, увеличивающія въ 1,000 разъ и пр.> (письмо 1-го декабря 1833 года). Иногда даже игновенная вспышка заканчивается улыбкой и пропадаетъ въ добродушной туткъ, уничтожающей на половину все значение невольнаго порыва. Эта способность поправляться и зорко оглядывать себя въ минуты самыхъ сильныхъ увлеченій не покинула его, какъ скоро увидимъ, и впоследствіи, когда, судя по наружности, можно было бы предполагать, что одно чувство любви нераздівльно владівсть всімь существомь его. Отступленіе было туть

гораздо трудеће: истина ощущенія и обианчивая фантазія сившались такъ крвико въ сердцв, что разобрать ихъ било дело не легкое. Не всякій быль бы способень даже заподозрить вфристь и правду своего чувства, но изъ прилежнаго наблюденія характера Станкевича им извлекли убъждение, что на див души его жилъ какой-то таинственный, вычно бдящій сторожь, который возвишаль свой голось при мальйшемъ прикосповении невърнаго или даже сомнительнаго чувства и не давалъ покоя Станкевичу, покуда впечатлъніе не было очищено отъ случайной принъси ложнаго элемента. Станкевичъ остановился въ самомъ нылу страсти, столько же удивленный и правственно-потрясонный своимъ поступкомъ, сколько могля быть близкіе или сторонніе свидетели его; но действовать иначе было уже не въ его власти. Мы видимъ постоянно эту строгую повърку своего существа въ перепискъ Станкевича, и она-то, кажется намъ, возвела образъ его до того типа, который невольно останавливаеть внимание и вызываеть къ себъ наше уважение.

Станкевичъ любилъ въ первое время общество, тапци, новия знакомства и людской говоръ, который, между прочимъ, есть тоже своего рода воспитатель, если унать разбирать его и пользоваться имъ. Станкевичу всегда было необходичо видеть много людей, также какъ необходимо било много мислить про себя. Изъ переписки его видно, что онъ имълъ частыя бесьды съ дамами, занимавшимися русскою литературой и искусствомъ вообще; по не опъ составляли настоящую принапку, увлекавшую его въ свътъ. Онъ просто искалъ жизни и потому, что опа была пезнакома ему, и по требованію природы своей, неспособной заключиться только въ себф самой в тамъ ограничиться. Онъ быль чисть отъ самолюбія и гордости, обыкновенно мешающихъ сближенію между людьми, и думалъ, что общество и частное лицо равно нуждаются другь въ другв и равно ищуть другь друга. Правда, впоследствии, когда жизнь для Станкевича сосредоточилась на небольшомъ числъ искреннихъ привязанностей, онъ осуждалъ свою прежнюю страсть къ связямъ и знакомствамъ, но сохранилъ уже навсегда свободный взглядъ на общество и способность становиться съ перваго раза въ прямыя, откровенныя и благородныя отношенія къ людямъ. Для всего этого мы имвемъ свидътельство Н. А. Мельгунова, въ домъ котораго студентъ Станкевичъ часто. бывалъ, и запросто, и на семенныхъ вечерахъ: простота и изящество его обращенія уже и тогда были замівчены. Станкевичъ обязанъ былъ Н. А. Мельгунову, кроит наслажденія музыкой, составлявшей любимое занятіе хозянна, еще знакомствомъ со многими извастными людьми. Туть же, кажется, онъ впервис встретимъ и Л. М. Неверова, этого друга своей молодости, пере-

писва съ которымъ занимаеть чуть-ли не третью часть всего нашего сборника. Я. М. Невъровъ былъ старше Станкевича и кончиль курсь въ 1832 году, когда тоть еще прошель одну половину его, и не самую важную, какъ знаемъ. Въ 1833 Невъровъ убхалъ въ Петербургъ на службу, участвовалъ тамъ въ изданіи «Журнала Министерства Народнаго Просвъщенія», въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», въ «Энциклопедическомъ Лексиковъ и пр. Весьма часто случается, что благородная и даровитал нолодость ищеть руководителя въ болве вознужалонъ и опытнонъ человъкъ и, выбравъ его, откровенно ему подчиняется. Такъ было и здісь. Станкевичь создаль себі въ лиці Невірова нічто похожее па «директора совъсти». На Я. М. Невъровъ истощилъ онъ потребность сердечной испонади и принималь его приговоры, какъ необходиную поправку своихъ побужденій и наклонностей. Таков правственное саноограничение тоже норфдво встрфчается у пылкихъ, иногообъщающихъ натуръ, и даже чъмъ независимъе онъ по природъ, тъпъ покориъе слъдуютъ, на первыхъ порахъ, за выбраннымъ наставникомъ. Станкевичъ былъ пораженъ въ другъ своемъ соединеніемъ ръдкой доброты съ глубочайшею религіозностію и неподкупною стойкостью правиль. Эти качества долго держали Станкевича подъ безграпичнымъ вліянісмъ, и въ первое время ничего другого сму и не приходило въ голову требовать отъ дружбы. Когда, впоследствии, духовныя потребности Станкевича усложнились до того, что не могли получить удовлетворительнаго ответа от посторонняго лица, и надо било искать отвъта въ себъ самомъ, --- вліяніе начало уменьшаться сано собою; но связь, образуемая благородствомъ помысловъ и цфпью дорогихъ воспоминаній, осталась между ними навсегда.

Таковъ быль первый кругь, въ воторомъ сначала призвано было дъйствовать чувство, называвшееся у Станкевича дружбой. Мы сообщили, по пеобходимости, одинъ только поверхностный очеркъ его, по полагаемъ — сказапнаго уже будеть достаточно для уразумънія сущности и отличительныхъ его свойствъ. Можно прибавить еще одну черту, маловажную по себъ, но имъющую нъкоторое значеніе по отношенію къ нашему обществу. Въ характеръ Станкевича не было нисколько элементовъ удали, которая такъ поэтически выражается у русскаго народа, а въ образованныхъ классахъ ограничивается трактирными и домашними кутежами, грубымъ посягательствоть на права личности, иногда дикимъ произволомъ. Черта эта пріобрътаетъ важность, разумъется, только съ той минуты, когда общество смотрить на нее равнодушно, или даже съ примъсью благосклонности, радуясь ей, какъ безвредному истоку юношескаго пыла. Мало того, что кругомъ Станкевича жизнь шла трезво и бодро, но

она, благодаря ему, носила рёдкій отгінокъ скромности. Несмотря на его природную веселость, было что-то умфренное и деликатное въ его шуткъ, подобно тому, вакъ мысль его отличалась истинениъ дъломудріемъ, несмотря на страсти и увлеченія молодости. Все это, конечно, держало разнороденя личности, изъ которыхъ состояль вругъ его, въ одномъ общемъ настроеніи и на одной правственной высоть. Читатель легко пойметь, что философско-поэтический элементь, присутствовавшій въ Стапковичь, быль именю тыпь двителемъ, который волновалъ сердца и выводилъ ихъ изъ летаргіи. Куда бы животворный элементъ этотъ ни обращался въ теченіи своемъ, онъ увлекалъ за собою даже самыя упорныя, самыя ленивыя натуры. Въ сборникъ писемъ Станкевича есть одно (отъ 24 апръля 1835), гдъ опъ сосредоточиваетъ имсли на собственномъ религіозномъ чувствъ-и какія теплыя, любящія слова находить онъ тогда, слова, которыя должны были вызвать сочувствіе окружающихъ. Проникнутый важностію предмета, Станкевичъ перебирастъ всю свою жизнь до нельчайшихъ движеній сердца, до самыхъ тайныхъ своихъ наклонностей, и съ упоснісиъ говорить о блажевства чувствовать въ себа потребность живой вары. Обаты исправленія сыплются изъ груди, взволнованной сладкою любовью и радостію религіознаго одушевленія, цаполняющаго ее. Описаніе капуна Свътлаго Воскресенія соотвътствуеть предшествовавшему изложенію впечатлиній. Ночь идеть тихо и серьёзно для людей, собраншихся вокругъ Станковича; каждый язъ собеседниковъ старается наполнить минуты ея лучшими своими помыслами, избразиващими своиви воспоминаніями. Станкевичъ думаеть о первой, святой любви своей. Какинъ-то тихинъ восторгонъ звучатъ слова: «Въ полозияв 12 го ны вышли на дворъ.... Погода была тихан, прекрасная; небо ясно и усъяно звъздами.... За нъсколько часовъ шелъ дождь.... Вдругъ ударили колокола... Къ намъ пришелъ Вълинскій и увлекъ насъвъ Кремль! Мы подходили къ Иверской и услышали пушки: Василій Влаженный вдругъ озарился ихъ молнією, и ударъ разсыпался по Кремлю. Пока дошли мы до мъста, стрълить уже перестали, но мы издали слышали музыку и пальбу... возвратились къ заутренъ къ Ковьив и Дамьяну». Исихическое настроение подобнаго рода, даже вызванное предметомъ меньшей важности, само по себъ способно всегда поднять душу выше обыкновеннаго ся уровня. Такъ и было съ пріятелями Станкевича во мпогихъ случаяхъ.

Переходя къ искусству, мы видимъ изъ переписки Станкевича, что работа, заданная всвиъ уиственнымъ способностимъ его измецкою поэзіей и литературой, продолжается безостановочно. Онъ попрежнему живетъ въ міръ, созданномъ Гете и Шиллеромъ, еще не за-

ботясь объ опредъления границъ каждаго в уяснения существенныхъ отличій любиныхъ своихъ поэтовъ. Потребность определить ихъ относительное значеніе явилась гораздо поздиже, когда разграничены были области ихъ деятельности на основаніи понятій о поэтахъ личныхъ впечатлъній и поэтахъ всего окружающаго ніра (субъективныхъ и объективныхъ). Станкевичъ переходиль отъ одного къ другому, не замъчая скачка и не чувствуя ни малъйшаго потрясенія въ эстотическомъ наслажденій, да къ тому же онъ читаль въ одно время и тогдашнихъ французскихъ романистовъ: Гюго, Бальзаки, Жакоба Вибліофили, и даже, какъ видинъ, находилъ въ нихъ отзвукъ на ифкоторыя струны своего сердца. Поэзія была для него безразлична, но степени ся понималь онь съ зам'вчательною ясностію. Вся критическая способность его, напримфръ, несмотря на разнообразіе предпетовъ, вызывающихъ ес, занята была въ эту эпоху преимущественно объяснениемъ образовъ германской поззін. Онъ былъ прикованъ къ ней и, можно сказать, почти страдалъ неутолниою жаждой измърить всю ея глубину, завладъть всьмъ ея симсломъ. Чувство это сказывается, по нашему мишлю, въ техъ воодушевленнихъ строкахъ его переписки, гдф онъ излагаетъ свои впечатлънія при чтеніи Оберона, свой взглядъ на знаменитую пъснь Миньйоны, на баллады Гёте, между прочимъ, на «Кориноскую Неввсту». Вотъ что иншетъ онъ, напримъръ, по поводу «Певъсты»:---«Нельзя не пасть передъ 1'сте, прочитавъ его созданіе! Грозный союзь любви и смерти, бладныя уста, пьющія кровавое вино, мертвая грудь, согравающаяся сладострастнымъ пламенемъ, - и сила юности, испарявшаяся въ одинъ мигь наслаждения, овладаваютъ душою, потрясають всв первы, такъ что, по окончаніи чтенія, чувствуещь странний покой, подобний тому, который господствуеть въ природф после почной грозы, когда туча перешла на другую половину неба, и звъзды едва начинають блистать, освобождансь изъ-подъ ен покрова»... Другое произведение Гете, которое ин позволяемъ себъ назвать, по примівру Станкевича, «Ваядерой», породило у него мысль написать драму. Въ ней хотвлъ онъ представить судьбу одного чувства любви, показавъ его сперва на визшей ступени физическаго влеченія, и возводи рядомъ очищеній до той минуты, когда, просвътленное и облагороженное, оно роднится съ небоит и въ нешъ исчезаетъ. Созданіе Гёте, казалось Станкевичу, заключаетъ тысячу драмъ, которыя могли би служить ему пояспеніемъ, по объяснять Гете его собственнымъ элементомъ-поззісю, конечно, было деломъ вношеской сивлости. Въроятно, по этой причинъ исполнение плана откладывалось недаля за недалей и наконець совсамь было оставлево; во самый иланъ служить для насъ указаніемъ, какъ пред-

ставлялась любовь духовнымъ очамъ Станкенича. Съ неменьшею силой владель всеми правственными способностями его и Шиллерь. Извъстное стихотворение Шиллера: «Resignation» било у него на умъ и на язывъ почти безпрерывно. Онъ находилъ постоянно случан принфиять основную мысль его въ самому себф. Каждый разъ, какъ излишие-пылкія надежди Станкевича встрачали отпоръ въ обстоятельствахъ и въ людяхъ и разбивались объ эти преграды, онъ вспоминалъ любимое свое стихотворение и вивств съ нимъ повторяль: «Кто тоскуеть по другомь мірв, тоть не должень знать зенныхъ наслажденій. Кто вкусиль оть зенного наслажденія, тотъ не надъйся на награду другого міра, гдф иншно разцвфтають только тернін и скорби нашего дольнаго существованія». Затряв еще писька Станкевича украшены многочисленными цитатами изъ этого поэта, или лучше, этого неизмънцаго друга всъхъ избранныхъ людей, которые въ немъ отыскивають опору для благороднаго чувства, разгадку неясныхъ стремленій своей возвышенной природы. Цитаты изъ Шиллера-это воиль самой души Станкевича, обращенной къ силь, зиждущей на землъ благо, любовь, и дающей успокосије сордцу. Воиль обыкновенно затихаеть у него въ одножь помисль, всеразрышающемъ и цълебно-дъйствующемъ. «Христосъ да будетъ съ тобою и съ ними», пишеть опъ обыкновенно другу своему въ заключение, а иногда прибавляетъ свою любимую тогдашнюю поговорку, не сходившую съ устъ ero Es herrscht eine allweise Güte über die Wielt (Падъ міромъ царствуетъ премудрая благость).

По самому устройству нашего общества и началамъ воспитанія, кром'в литературы, только два вида искусства остаются у васъ для эстетическихъ потребностей публики: музыка и театръ. За навыкоиъ къ оценке другихъ отраслей изящнаго, даже за первыми понятіями о нихъ, приходится, по большей части, переселяться на чужую почву, и этотъ недостатокъ воспитанія отражается, кажется намъ, на самомъ обществъ относительною бъдностію его разговора в нъкоторою узкостію взгляда при эстетическихъ сужденіяхъ вообще. Какъ би то ни било, но изъ переписки Станкевича им узнасиъ, какое важное значение нивлъ для него театръ. Вотъ что говоритъ онъ, между прочинъ: «Театръ становится для меня атмосферою; прекрасное моей жизни не отъ міра сего; излить свои чувства некому: тамъ, въ храмъ искусства, какъ-то вольнее душв. Множество народа не ственяеть ен, ибо падъ этимъ множествомъ паритъ какая-то мысль. Наше искусство не высоко, но театръ и музыка располагають душу нечтать о немь, объ его соверженствъ, о прелестяхъ изищнаго, делать планы эфемерные, скоропроходящіе .... Чаже эти слова еще не вполив передають силу того очарованія,

которымъ обладалъ театръ, въ высокомъ своемъ вначенія, для всего круга Станвевича. Полное выражение его должно опять искать у Бълинскаго, въ одной изъ превосходивншихъ страницъ статьи, уже разъ упомянутой нами («Литературныя Мечтанія», Молва № 51, стр. 419), Сказавъ, что въ театръ вы радуетесь и страдаете не за свою жизнь, и что, напротивъ, ваше холодное я исчезаетъ танъ в пламенном зопри любои, критикъ продолжаеть: «Если вась мучитъ тягостива мысль о трудномъ подвигъ ващей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здёсь забудете ее; если душа ваша искала когда-нибудь любви и упоснія, если въ вашемъ воображеніи мелькаль когда-нибудь, подобно легкому виденью ночи, такой-то илевительный образь, давно вами забытый, какъ мечта несбыточная,здісь эта жажда всимхноть въ вась съ новою, неукротимою силой, здъсь этотъ образъ спова явится вамъ, и вы увидите его очи, устремлениия на васъ съ тоской и любовью.... Невозможно описать всь очарованія театра, всю его магическую силу надъ душой человъческою.... О, какъ было бы хорошо, еслибы у насъ былъ свой народный русскій театръ! Въ самонъ дель, видеть на сцень всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высовимъ и смешнымъ, слышать говорящими ел доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазін, видъть біеніе пульса ея могучей жизни.... о, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете»... Эти восторженныя слова выражали истинное чувство Станкевича и Бълинскаго: переступая за порогъ театра, они входили въ святилище и никакъ не могли настроить себя подъ ладъ болъе чъмъ обыкновенныхъ вещей, тамъ процвътавшихъ. Послъдній почти всегда оставляль театры или глубоко потрясенный, или раздраженный до крайности. Относительно музыки, Станкевичъ сознавался въ одной слабости. Онъ былъ подвержденъ скорой усталости, следовавшей тотчась за первымъ, сильнымъ раздражениемъ нервной системы. Съ половины длиннаго концерта онъ уже ничего не понииаль и темъ более, чемъ настойчивее старался возбудить въ себе силу воспріничивости. Вотъ почему громадныя оперы, появившіяся въ то время, «Жидовка», «Робертъ» и проч., давили и уничтожали его до техъ поръ, пока онъ не успевалъ разобрать ихъмногоразличныя составныя части. Въ-замвиъ, все, что действовало прямо на душу, что могло быть поглощено ею безъ помощи соображеній и уиственнаго папряженія, начиная съ оперы «1'ерольда» до геніальныхъ симфоній німецкаго искусства, приводило Станкевича въ упосніс. Чудния вещи произошли съ нимъ, когда онъ нечаянно встратился съ композиторомъ, наиболее отвечающимъ тоске, грусти и фантазінив усдиненнаго и сосредоточеннаго чувства, именно

съ Шубертомъ. Станкевнчъ чуть" съ ума не сомелъ. Вотъ какъ разсказываетъ онъ случай втотъ: «Во-первыхъ, я очень радъ, и мив досадно, что ты первый написалъ мив о Шубертв. Какъ ми услышали его въ одно время? Я нашелъ эту піесу 1) нечаянно у нашего острогожскаго помвідика С\*, въ музыкальномъ журналв «Филомела», котораго нивто у нихъ никогда не разыгрывалъ. Это было послв объда, послв веселья, любезничанья. Я попробовалъ—и чуть пе сошелъ съ ума! Иначе, кажется, нельзя было выразить это фаптастическое прекрасное чувство, которое охватываетъ душу, какъ самъ дарь младенца, при чтеніи этой баллады. Уже пачало переносять тебя въ этотъ темиый, таниственный кіръ, мчитъ тебя durch Nacht und Wind»... и проч.

Настроеніе какъ Станкевича, такъ и Бълинскаго, частію происходило и отъ того, что они избрали эстетическимъ учителемъ своимъ человъка, не дълавшаго никогда ни малъйшихъ уступокъ слабости, современному вкусу или модъ, изъ своей возвышенной теорін изящнаго, именно Гофмана, автора Seltsame Leiden eines Theater-Directors (пеобычайныя страданія ніжовго директора театра), Fantasie-Stücke in Callots Manier (фантастическіе отрывки въ нанеръ Калло) и мпожества фантастическихъ сказокъ и романовъ, извъстныхъ нашей публикъ по переводамъ. Иламенная, почти горячечная любовь къ искусству, отличавшая Гофмана, приходилась въ уровень съ необычайно-возбужденною критическою пытливостью его русскихъ поклонниковъ. Въ немъ обрътали они страстную, почти идеальную привязанность въ делу, которое сами счетали чуть-ле не единственнымъ диломъ въ міръ, достойнымъ этого имени. Гофманъ почти никогда не ошибался въ значении предмета, принадлежащаго искусству: но онъ не иначе изображаль его, какъ въ огненномъ, нестерпимомъ блескъ, въ сперхъ-естественныхъ, фантастическихъ размфрахъ. Исполнивъ задачу, онъ самъ падалъ ницъ передъ собственнымъ представленіемъ, въ благоговфиномъ ужасв. Нъкоторыя мъста первыхъ двухъ выписанныхъ нами сочиненій (особенно музыкальныя новеллы Fantasie-Stücke) свидътельствують ясно, что геніальное созданіе приводило его въ трепеть, какъ человъка, застигнутаго явленіемъ неземного міра, но онъ сберегалъ способность передавать свой тренеть въ восторженной, а иногда сильной и саркастической рачи. Электрически дайствоваль онь на молодые, серьёзные умы, считавшіе слово его поэтическимъ прозрівніемъ въ самую глубь творчества. Несмотря на то, что большая часть сужденій Гофмана о театръ в музыкъ производить то же самое внечативніе, какое испыталь извъстний эстетикь Гото, при

<sup>1)</sup> Erlkönig, Шуберта.

его описанін характера Донъ-Жукна <sup>1</sup>), Гофианъ нивлъ весьма благотворное вліяніе на развитіе нашей критики. Необычайныя художевческія требованія Гофмана возвысили пониманіе цъли и задачи искусства и, конечно, были источникомъ того обилія идей, какое вскоръ выказала она въ самонъ дълъ. Мы разумъемъ статьи Бълинскаго объ вгръ Мочалова въ роли Гаилета, напечатанныя въ «Московскомъ Наблюдателъ», 1838 года, часть XVI (марть и апръль), подъ заглавіемъ: «Гамлетъ, драма Шекспира». Тутъ строгость всехъ требованій отъ актера и идеальное представленіе его признанія находятся въ близкомъ родствів со способомъ возврівнія Гофиана, только развиты онв въ формъ критической статьи, вивсто живыхъ, лирическихъ изображеній Гофиана. Самыя повъсти и фантастическія сказки последняго находили симпатическій отголосокъ въ кругв Станкевича: онв такъ хорошо соответствовали господствовавшей философской системъ своимъ могущественнымъ олицетвореніемъ безжизненной природы. Туть еще была своего рода ястина, попятная сердцамъ, поэтически или мечтательно пастроеннымъ. Юморъ Гофиана и его картины будничной, помловатой ивмецкой жизин тоже правились людимъ, не имъвшимъ понятія о ея тупой правильности и чисто внашней серьёзности. Неудивительно поэтому, что еще въ 1839 году, Бълинскій выражаль между разговорами свое педоунфніе: отчего западная критика не ставить Рофициа наравић со встан великими поэтами Европы, между тъмъ какъ онъ обладаетъ тою же сущностью, тънъ же разнообразіенъ н тою же глубиной проникновенія въ жизнь? 3)

Впроченъ, строгое пониваніе, какъ задачи искусства, такъ и вообще человіческаго призванія, было въ природії Станкевича и лучшихъ людей его круга. Ісачество это только развилось отъ чтенія и общихъ размышленій, ичъ порожденныхъ. Такъ или иначе, опо проявилось бы неизбіжно и при другихъ условіяхъ, чімъ ті, которыя мы здібсь излагаемъ. Для Станкевича и избранныхъ друзей его не было въ правственномъ мірів пустыхъ или маловажныхъ

<sup>1) &</sup>quot;Огненное объясненіе Донъ-Жуана, предложенное Гофиановъ, способно взволвовать, а не удовлетворить человъка". (Vorstudien für Leben und Kunst 1835, см. стр. 11 и 24).

<sup>2)</sup> Многія подробности для біографическаго нашего очерка взяги нами изъ перечиски Станкевича съ Я. М. Певъровинъ, по далеко не всъ. Станкевичь въ первую звоху своей жизни (съ 1831 по 1835) многаго не высказиваеть своему другу, какъби боясь его здраваго, порядочнаю, какъ санъ виражается, взгляда на преднети. Онз вногда уменьшаеть передъ нимъ силу внечататий своихъ, а вногда открываеть ихъ съ одной, самой обикновенной сторони. Примъровъ множество. Прямой и положительнии, Я. М. Невъровъ не довъряль философій и не жаловаль вообще предчувствій, стречленій, порывовъ. Только съ 1885 слогь перепискя становится у Станкевича ръщительное; ученикъ и наставивкъ моняются родями.

вещей. Къ важдону явленію этого ніра они подступали серьёзно. Шутка ихъ надъ безсильными или безобразными порожденіями человівческой діятельности не мивла вичего легкомыслевнаго и точно такъ же отражала тогдашнія уб'яжденія ихъ, какъ и строгое, одушевленное слово. Каждый предметъ литературы казался инъ стоящимъ того, чтобъ изследовать его генеалогію, причину и обстоятельства его происхожденія; часто умъ, серьёзно настроенный, заходиль слишкомъ далеко въ этихъ поискахъ и не ближайшей, ограничениой и начтожной причины, породившей явленіе. Они гръшили доблестными педостатками, свойственными всякой благородной молодости. Никогда не могло прійдти въ голову Станкевичу и его друзьямъ, напримъръ, что новая русская трагедія не есть илодъ стремленія выразить свой взглядъ на ту нли другую сторону жизни, а толькой первый опыть человъка, якбивающаго себъ руку вообще на трагедін. Все било для нихъ событіемъ, порождавшимъ пренія, надежды, заключенія, а иногда длипную, серьёзную переписку. Полемика, которая возгорилась въ Москви, по случаю дебютовъ прибывшаго сюда нетербургскаго артиста Каратыгина, и которая породила везьма жамбчательный обмонъ мыслей между партіями 1), отразилась также и въ корреспонденція Станкевича; по отъ изследованія качествъ актера и сравненія ихъ съ родомъ таланта его московскаго соцерника, Мочалова, кружокъ Станкевича восходиль до опредъленія характера публики въ объихъ столицахъ, различія художественныхъ и общественныхъ ихъ требованій и проч. Такъ велико било побужденіе отыскать непреивнио мысль каждаго случая—побужденіе, составляющее отличятельную, симиатическую сторону переписки самого Станкевича.

П'втъ сомивнія, что прилежный, кропотливый библіографъ могъ бы доставить себ'в удовольствіе, разобравъ, какому эстетическому и философскому ученію и какому именно лицу припадлежать теорія

<sup>1)</sup> Листки "Молви" 1303 года, гдв происходила борьба приверженцевъ артиста и его супруги, тоже деботировавией въ Москвв,—съ единствениямъ ихъ критикомънсевдонимомъ П. Щ., пріобръм необыкновенную извістность. Многіе помнять живое внечатлівніе, произведенное ими на нублику. Полемика длилась весьма долго, съ 44 по 61 №, хоти уже съ 56 № П. Щ. добровольно отступаеть оть нея, не нообъжденныя, во какъ-будто усталый. Этотъ П. Щ., кромі остроумія и діалектической способности, виказаль еще глубокое пониманіе сценическаго искусства и сообщиль публикі нісколько мыслей о немъ, которыя были би замістни и въ устахъ первихъ европейскихъ знатоковъ діла. Станкевичь почти разділяль его виглядъ на павнего знаменнаго артиста, по изъ уваженія къ другу Я. М. Певірову, состоявнему въ числі белусловнихъ поклопниковъ В. А. Каратыгина, опреділявшихъ даже достоинство его игры мітрой приличія и світскости, въ ней находимихъ, долго тайть свою настоящую мисль и только подъ койсцъ обнаруживаеть се вполив. Черта тойкой деликатности, эмітсть в свидітельство сильнаго вліниія Я. М. Певітрова на умъ его.

и положенія, которыя стала висказывать критика Вилинскаго съ 1835 года (въ «Телескопъ» этого года); но онъ погръщилъ бы значительно, еслибы, на основаніи своихъ изысканій, вздумаль умоньшить заслугу самого автора статей. Въ кругъ Станкевича иден германскихъ мыслителей были въ постоянномъ обращении: друзья его сходились для обсужденія ихъ и взанинаго обивна соображеній, порожденных в неугоминымъ чтеніемъ; изъ этого первоначальнаго родника своей литературно-критической деятельности, Велинскій выносиль строго-обдуманныя статьи. Валинскій можеть назваться по превиуществу обобщителень идей. Любопытивищую часть переписки Станкевича въ 1833-35 годахъ, безъ сометнія, составляютъ первыя напряженныя усилія обратить ивкоторыя эстетическія соображенія, возникавшія какъ у него самого, такъ и вокругь него, въ безусловныя и доказанныя истины. Туть вы видите, такъ-сказать, внутренность той настерской, въ которой выработываль Вфлинскій свои возарвнія на искусство и жизнь вообще, а изъ возэрвнів-приговоры и сужденія о двятеляхь обвихь сферь. Читатель найдеть въ письмахъ Станкевича пеопредвленные намеки на всв вопросы, занимавшие потомъ Вълинскаго и болве или менве приближенные ниъ къ разръшенію. Такова была участь попытокъ Станкевича опредълить вначение художественности въ произведенияхъ, показать различіе между чистою мыслію и мыслію, доступною предметамъ искусства, и переходи въ частностямъ, попытки опредълить значение романовъ Полеваго, Загоскина и проч., поэтической деятельности гг. Венедиктова, Тимоесева, Шевырева и проч., и проч. Все это было досказано Вълинскимъ. На долю Вълинскаго выпалъ талантъ быстро усматривать всё результаты данной мисля, талантъ чутко примънять ее къ современности, отвъчая новымъ потребностямъ общественнаго развитія, или даже вызывая ихъ на світь, н, наконецъ, талантъ псутомимо проводить между повседневными явленіями словесности иногда на лету, но крфико схваченное эстетическо-философское положение. На эту работу употребилъ онъ и всю свою жизнь; плодомъ этой работы, понимаемой весьма строго, было то, что со времени Вълинскаго роль писателя сдълалась чрезвычайно трудна, а покольніе писателей-сибаритовъ, добивавшихся репутацін, потінная игрой своего таланта себя и пріятелей, миновалось безвозвратно. Вообще никто у насъ до Вълинскаго не давалъ столько мъста въ своей жизни искусству и эстетическимъ соображеніямъ; оттого и самыя отибки его въ оценке произведений, и излишняя взыскательность при накоторыхъ случаняхъ еще нивють въ себв гораздо большую долю правды и поученія, чёмъ иные приговоры, вполив непограшительные, потому что они вполив поверхностии.

Ошибки накоторыхъ людей бывають почти такъ же плодотворны, какъ ихъ положительныя заслуги, и наоборотъ, непогращительность другихъ и истины, ими высказываемыя, часто поражаются безплодіемъ. Счастливъ человакъ, который можетъ ошибаться, сохраняя достоинство инслящаго, глубоко правственнаго и полезнаго человака въ своихъ ошибкахъ!

Станкевичь до конца своего поприща постоянно наслаждался Пушкинымъ. Онъ присоединилъ его въ тому кругу завътныхъ писателей, къ которымъ относился во всёхъ важнихъ случаяхъ своей жизни. Правда, было время, когда потокъ общаго инфиія увлекъ и его съ Бълинскимъ: они думали, что съ 1831 года талантъ любимаго поэта погасъ и возстанетъ съ трудомъ изъ новой обстановки, окружившей его существованіе, но это было не продолжительно у обоихъ. Они скоро дов'врились поэту. Поздиве Станкевичъ писалъ эти замвчательныя строки, исполненныя высли и столь проникнутыя умонъ, что им не моженъ отказать себъ въ удовольствін ихъ привести: «. . . Переведу Вердеру «зимнюю дорогу» прозою, какъ ногу, и прочту стихи по-русски. Туть такая пелость чувства грустнаго, истиннаго, русскаго, удалаго! У Гете есть ивсколько такихъ стихотвореній, какъ напримъръ: «Da droben auf jenem Berge». У Мура, сволько я знаю, особенно много; только у Пушкина меньше фантастическаго, больше Fleisch und Blut (то-есть плоти и врови): тутъ перазвитое, простое чувство. Но у Гёте, кроми того, иного такихъ вещей, гдъ видно его міровое развитіє, котораго, разумъется, Пушкинъ не имълъ и котораго им ему не принисываемъ; но въ этихъ простыхъ, коротенькихъ исповедяхъ цельной, живой и умной натуры — истинная поэзія! Мало ли у него такихъ вещей!... (отъ 27-го августа 1838). Эти лаконические афоризин Станкевича могли бы быть развиты въ большую и дельную статью.

Вскоръ къ имени Пушкина присоединилось другое дорогое имя, раздълявшее съ первыиъ горячую привязанность Станкевича и друзей его, имя Гоголя. Почтенный біографъ Н. В. Гоголя, оказавшій такую важную услугу публикъ сообщеніемъ драгоцънныхъ матеріаловъ, касающихся жизни этого писателя, Н. М\*. (псевдонимъ, какъ извъстно), къ сожальнію, пропустилъ безъ вниманія правственную поддержку, данную Москвою автору «Мертвыхъ душъ», поддержку, на которую онъ оперся при самомъ началь своего авторскаго поприща. Несмотря на одобренія Пушкина, Жуковскаго и ихъ друзей, петербургская публика относилась къ Гоголю, съ тъхъ поръ, какъ онъ перешель изъ малороссійской повъсти къ русскому современному быту, если не враждебно, то по крайней мъръ весьма осторожно. Пріемъ «Ревизора» доказаль ея нерасположеніе и ея подо-

зрительность. Неизвистно, что сталось бы съ авторомъ, впечатантельнымъ до крайности, еслибы Москва раздёлила сомитнія и холодность петербургской публики, но здёсь онъ встретиль участіе, поднявшее, какъ намъ хорошо извъстно, нравственную бодрость ого и сообщившее ему увъренность въ своихъ силахъ. Послъдняя болфе и болфе росла съ твхъ поръ.... Нфтъ сомифиія, что Бфлинскій первый положиль твердый камень въ оспованіи всей послівдующей его извъстности, начавъ первый объяснять симслъ и значеніе его произведеній. Можно думать, что Бізлинскій уясниль саному Гоголю его призваніе и открыль ему глаза на самого себя: для этого есть несколько доказательствъ несомивинаго, историческаго характера. Но какъ бы то ни было, Станкевичъ и весь кругъ его поняли съ перваго раза смъхъ, производимый созданіями Гоголя, весьма сорьёзно, почти такъ, какъ понималъ его впослъдствін самъ авторъ. Что касается до поэзін, то людямъ, искущеннымъ въ этомъ дъль, легко было угадать ся отгънокъ на лицахъ и описаніяхъ Гоголевской фантазін. Станкевичъ, сивпіливий отъ природи, уже не погъ пикогда вспоминать некоторыхъ подробностей въ его картинахъ безъ того, чтобъ не потерять совершенно хладнокровія. Такое дъйствіе производило на него, напримъръ, воспоминаніе о жидъ (въ Тарасъ Бульбъ), который, снявъ верхнюю одежду, сталъ вдругъ похожъ на цыпленка. Да и въ первое знакомство съ Гого- лемъ одно предчувствіе юмористическаго элемента, которымъ такъ обильны его творенія, повергало Станкевича въ припадокъ неудержимаго сивха. При первомъ чтенін пов'всти Гоголя: «Коляска», на которое собранись и вкоторые друзья Станкевича, една произнесены били слова, открывающія пов'ясть и еще не заключающія въ себ'я вичего особеннаго, раздался общій дружный хохоть, съ трудомъ побъжденный. Такъ встръчали молодые люди будущаго знаменитаго писателя нашего, угадывая въ его веселости и въ смехе, имъ порождаемовь, первые симптомы литературной возмужалости, вмёстё съ признавани пробуждающагося народнаго сознанія.

Именемъ Гоголя мы и могли бы заключить описаніе студенческой эпохи Станкевича. Оно составляеть естественный переходъ въслъдующему періоду, гдъ какъ значеніе, такъ и пониманіе этого писателя особенно выказались, по мы ръшаемся еще остановиться на нъсколько мгновеній. Въ перепискъ Станкевича, тамъ и сямъ, мелькають намеки на его сердечныя привязанности, которыя иногда служать причиною особеннаго и довольно-продолжительнаго душевнаго состоянія. Можно было бы оставить безъ вниманія эту обыкновенную повъсть волненій молодого сердца, еслибы въ ней не отражался, какъ въ зеркалъ, весь характеръ Станкевича, сложившійся

изъ тахъ многоразличныхъ элементовъ, описаніемъ которыхъ мы занимались доселъ.

Стараніе выработать изъ себя нравственное лицо, человыка, въ благороднійшемъ смыслів слова, получаетъ особенную ціну, когда оно кладется въ основаніе самой жизни, не слабієть при напорів живыхъ, естественныхъ епечатильній молодости, и когда даетъ тонъ и краску тімъ чувствамъ, которыя въ извістныя эпохи нераздільно господствують надъ всіми нашими способностями.

Мы соберень въ хронологическомъ порядки подробности, какія сообщаеть намъ переписка Станкевича о возникшихъ тогда привязанностяхъ его. Конечно, въ первой упоминаемой тамъ встрвиъ съ молодою женщиной, имвишею совершенно простой взглядъ на предметы и опиравшеюся только на весьма поверхностное наисіонское воспитаніе, не могло заключаться важныхъ поводовъ къ размышленію и повіркі своихъ чувствъ. Станкевичъ, какъ видимъ, принималъ живое участіе въ особепностяхъ ея положенія; его благоразуміе и сдержанность были тутъ въ порядкъ вещей. Однакожъ, Станкевичъ тотчасъ же подвергаетъ строгому кригическому осмотру и ту долю вниманія, на которое имбеть право всякое женское лицо, да въ-добавокъ еще отыскиваетъ въ себв признаки кокетства. Онъ спъшитъ очистить свою совъсть откровеннымъ признаніемъ передъ другомъ. Въ 1833 году, въ то время, когда Станкевичъ былъ на вакацін въ деревит (августь місяць), въ одно изъ общихъ путешествій куда-то въ гости, завязывается снова прежпес зпакомство, и съ этихъ поръ начинается тотъ деревенскій романъ, который такъ удивительно описанъ Пушкинымъ въ стихотворенія «Зима»:

## «Что делать намъ въ деревие?»

Несмотря, однако же, на совершенную невинность отношеній между молодыми людьми, поводъ къ нимъ и самое выраженіе ихъ кажутся Станкевичу не безукоризненными, да отъ разбора этого опъ переходить къ разбору предмета, ихъ вызвавшаго, и открываеть, что предметь не заслуживаль расположенія и въ сущности никогда имъ не пользовался. Но тогда игра въ лицемърное чувство, которой онъ поддался, порождаеть цъпь горькихъ упрековъ душт его и угрызенія совъсти. Станкевичъ запутывается въ ощущеніяхъ свочихъ и проситъ помощи друга. «Когда бы ты, добрый геній, былъ со мною!» восклицаетъ онъ. Зная основанія его, мы внолить втришт его жалобамъ, какъ втримъ безпокойству человъка, поторявшаго прямую дорогу, и убъждены въ искрепности его восклицанія: «Кто бы сказалъ, что эта ничтожная связь можетъ разрушить блаженство человъка!»

Между тамъ деревенскій романъ кончился отъйздомъ Станкевича въ Москву, но онъ, спусти нъсколько времени, возобновился здась 17-го сентября 1833. Станкевичь пишеть къ другу письмо, въ которомъ находимъ следующія слова: «Другъ, другъ! какая сцена! Цілый день быль я у Бр. . . . , въ театръ дуналь тхать съ прівзжини, знаконини, ходиль, усталь, изидеальничался, во Прівзжаю, она одна сидить и гадаеть на Вду въ нимъ. тахъ.... Подробностей объясненія, при такомъ запутанномъ душевномъ состоянія, въ какомъ находился опъ, мы не знаемъ, а знаемъ только результать объясненія. Станкевичь удалился съ твердостію отъ искупнений собственнаго сердца еще болже, чжиъ отъ постороннихъ искупеній. Казалось бы, правственное требованіе, вполив удовлетворенное его поступковъ, должно было наградить его душевнымъ миромъ; но это сдълалось только наполовину. Въ сердцв его рождается новый упрекъ самону себъ, упрекъ въ невозвратной потеръ игновенія любви и сочувствія. Сожальніе о потерянномъ благь еще не своро уступаетъ имсли, начинающей мало-по-малу пріобрътать всю свою твердость. Для того, чтобъ оправдать себя въ собственныхъ глазахъ (онъ считалъ себя виновнымъ!), Станкевичъ то прибъгаеть къ извъстной любиной имъ пьесъ изъ Шиллера: «Resignation», стараясь почеринуть въ ней убъждение, что изъ двухъ цвътковъ, падежды и паслажденія, ему достался въ уділь только первый, то спасается за объявленіемъ, что въ минуту свиданія онъ быль болень и разстроень, то съ гордостію упоминаеть о блаженствъ потерять существо, съ которынъ разлучила тебя твоя мысль. Скорый отъездъ молодой особы свенявь съ души Станкевича последніе остатки этой игновенной бури, а новая возникающая привязанность вскоръ стала наполнять тъ скоро исправимыя разрушевія, которыя прежняя оставила по себъ.

Нътъ пичего легче, какъ посмъяться надъ подобными противорачіями съ самимъ собою, назвать ихъ романтизмомъ, идеальничаньемъ, рефлексіей и пожать плечами, сожальи о времени, которое утрачено человъкомъ на подобные вздоры. Дъйствительно, можно гораздо проще понимать отношенія между людьми. Два существа сошлись лицомъ къ лицу въ жизни — чего же болье? вотъ уже и пара. Такое очевидное, и какъ говорятъ обыкновенно, здоровое представленіе жизни, къ сожальнію, сдълалось чуть ли не общимъ, благодаря исключительнымъ теоріямъ простоты и естественности. Есть запутанность болье почетная и нравственная, чъмъ иная здоровая простота, поклонниковъ которой мы нынъ встръчаемъ такъ много, даже въ молодыхъ людяхъ. Естественность ихъ требованій, ясность ихъ поводовъ, прямое направленіе ихъ воли и душевное

спокойствіе ихъ—все это только признави ихъ испорченности. Человійнь, сходящій съ уна отъ призрака, конечно, достоинъ сожалівнія; но человійнь, викогда не знавшій ничего, кромі ближайшихъ, положительныхъ цілей, врядъ ли не боліве заслуживаеть его. Страданія Станкевича, его тяжелые переходы отъ одной иден къ другой и наклонность исчерпывать все, что въ нихъ заключается—кажутся нашъ явленіями избранной натуры. Въ такихъ страданіяхъ выработывается глубокое нравственное чувство, и изъ такихъ страданій выходить наконецъ мужъ долга и чести,

Побъдивъ наконецъ игру физическихъ силъ и покоривъ ихъ своей волъ, Станкевичъ обрътаетъ новую пріязнь, которая тоже сама идетъ навстръчу ему — но какая разница въ направленіяхъ! Уже наученый опытомъ, онъ принимаетъ благоразумныя мъры противъ опасной короткости сношеній и собирается кръпко стоять насторожь противъ того, что самъ называетъ братскою любовью 1). Всъ эти предосторожности оказались вскоръ ненужными, мысль его скоро получила свободу, но дальнъйшій опытъ показалъ ему возможность драмы и для подобныхъ отношеній. Мы видимъ изъ переписки Станкевича, что сближеніе и отдаленіе равно постанлялись ему въ вину, равно возбуждали подозрительность и даже горькім обвиненія... И тутъ то отрадно дъйствуетъ на читателя примъръ человъка, ни на минуту не забывавшаго во всъхъ этихъ, конечно, тяжелыхъ волвеніяхъ того уваженія, которымъ обязанъ опъ благородному женскому лицу, а еще болъе того уваженія даже къ не-

Два жизии.

Я. М. Н-у

Was ist das Leben ohne Liebesglauz?
Schillen.

Печально идуть дни нои, Душа свой подвигь совершила: Она любила—и въ любви Небесный пламень истощила.

И два созданья въ мірѣ зналъ, Миѣ вь двухъ созданьихъ міръ явился; Одно я пламенно лобзалъ, Другому пламенно молился.

Двѣ дѣвы чтить душа ноя, По имиъ тоскуеть грудь илидая, Одна роскошна какъ зечля, Какъ небеси свити другая.

<sup>1)</sup> Песколько поздиве Станкевичь изложиль из стихихь внечатавийе, оставленное объеми его наклонностими. Онь пославь стихи из "Молву", проси напечатать ихъ подъ именемъ: Гирченко. Вотъ они:

раздъляеному чувству, которое составляеть именно честь мужчины. Синсхождение из нравственнымъ страданиямъ женскаго сердца было заколдованною чертой для Станкевича, которую онъ не могъ переступить. И такинъ образомъ, история первыхъ его наилонностей становится историей его моральнаго развития, и молодыя страсти, явившияси съ годами, дълаются орудиями его усовершенствования и приготовляютъ изъ него, наравить съ другими дъятелями, полный благородный и поэтический характеръ, какой мы и постараемся нередать читателю въ дальнъйшемъ описании нашемъ.

## III.

## НРАВСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТЬ ВЪ СТАНКЕВИЧ**Ъ И** ВЫХОДЪ ИЗЪНЕГО.

Въ 1834 году, Станкевичъ покидаетъ университетъ, окончивъ курсъ и получивъ степень кандидата. Онъ тотчасъ же отправляется въ Петербургъ, какъ видно это по значительному перерыву въ его корреспонденціи съ другомъ (съ 11 марта по 27 апръля). Онъ и прежде собирался къ нему потолковать о иногомъ, что не укладивается на бумагу и лучше передается одимиъ полусловомъ, чъмъ цълыми страницами письма. Давнишнее желаніе его было теперь исполнено, и полтора мъсяца, проведенные съ Л. М. Невъровымъ въ Петербургъ, принадлежать, по своимъ послъдствіямъ, къ весьма важнымъ эпохамъ жизни Станкевича.

Въ Петербургъ, въроятно, ръчь шла объ отыскания какого-нибудь существеннаго занятия, о значения службы, какъ дъятельностя, правильно и точно опредъленной, о приготовления себя къ экзамену на магистра и о наблюдения за своею наклонностию къ фантазиять, къ воображаемымъ задачамъ, которыя всъ уже ръшены историческимъ и другими путями. Все это сяльно подъйствовало на

> Н нит-ль любить, какт и любиль? Я-ль иламень счастія разрушу? Мой другь! двт живни и отжиль И затвориль для міра душу.

1834 r.

Въ этой поэтической призив, настоящія, жизненныя черти собитій до того сгладились, что последній стихъ уже совершенно противорічнть истині, какъ скоро увидимъ.

умъ Станкевича, да иначе и не могло быть: время мечтаній и предчувствій должно било прекратиться съ окончаність университетскаго курса. Онъ понималь, что стоить на окранив жизни, и глазъ его охватываль необозримое поле существования, которое разстилалось передъ нимъ. Надо было отискать мъсто въ этомъ пространствъ, а слова его опытнаго друга указывали ему на одно существенное условіе, которымъ пріобритается тамъ осидлость и права гражданства. Сабдовало ограничить свои интливие запросы, избрать родъ деятельности, пришисаться, такъ-сказать, къ почвъ, усиприть бродичую фантазію и навсегда отстчь у мысли своей поползновеніе къ философскимъ странствованіямъ по світу. Свобода представленія предметовъ еще могла быть допущена на студенческой скамъв, но въ человъкъ она должна уступить мъсто благоразумной подчиненности общему пониманію ихъ. Провивнутый этими мыслями, Станкевичь возвращается къ себъ въ деревню, въ Удеревку, и приступастъкъ труду образованія изъ себя скромнаго работника по какой-либо наукъ. Выборъ его падаетъ на исторію, хотя дотоль никогда пе приходило ему въ голову посвятить себя исключительно этому предмету. Правда и то, что насильственное избрание рода двительности, по приговору случайной нужды, сопровождается у Станкевича уже постоянно признаками душевнаго безпокойства и разлада съ собою, которыхъ онъ ни устранить, ни одольть не можетъ.

По прибытіи въ деревию, онъ устроиваеть свои занятія, открывая ихъ общирнымъ, многостороннимъ чтеніемъ. Опъ начинаетъ съ Геродота, переходить отъ него къ Оукидиду, перечитываетъ Иліаду, Одиссею и старается дать систему своимъ упражненіямъ. Плодомъ этого неутомимаго чтенія остаются нікоторыя замітки о писателяхъ, а въ томъ числъ превосходная характеристика Оукидида и его исторіи, которая, по нашему мисьнію, въ 20-летнемъчитатель обличаетъ весьма развитой историческій симслъ. Указываемъ на письмо Станкевича отъ 20 ноября 1835 г., гдф содержится взглядъ его на несправедливых з Авинянъ, которымъ, однакожъ, цълые города, какъ Платея, приносили себя въ жертву, на доблестныхъ Спартанцевъ, качества которыхъ менъе трогательны, чъмъ пороки Лониянъ, на длинныя рычи, влагаемыя Оукидидомъ въ уста своихъ героевъ, н на ихъ историческую достовърность-все это носить нечать не совствъ обыкновенной даровитости. Такъ около полугода проводитъ свое время Станкевичъ въ двухъ небольшихъ компаткахъ, не оштуватуренныхъ, а только вымазанныхъ. Два зеркальца въ одной изъ нихъ, со шкафчиками, набитыми книгами чодъ ними; постель въ другой, украшенной еще портретомъ отца Станкевича, ружьемъ и помбернымъ столомъ, составляли всю мебель; но видъ изъ объяхъ

открывался прямо на луга, поля и на главное строеніе. Изъ убъжища своего Станкевичъ выходилъ только въ часы, посвященные общинъ семейнымъ собраніямъ, и на охоту.

Во все продолжение этой тихой, сельской жизни, Станвевичъ, видимо, старается съузить для себя, если сивемъ такъ выразиться, горизонтъ деятельности и остановить естественный ходъ своего развитія, чтобъ какъ-нибудь попасть въ правтическую сферу существованія, которая такъ поразила его въ Петербургв. «Я много обязанъ тебъ и Петербургу, говорить онъ: я началь дорожит временемъ; теперь инъ совъстно прошляться цълый день на охотъ .... Мысль объ экзаменъ на степень магистра стоитъ на первомъ планъ, а нежду тамъ его выбирають почетнымъ смотрителемъ Острогожскаго убзднаго училища и, какъ кажется, по собственнойч его просьбъ. «Если министръ меня утвердитъ, прибавляеть онъ, то у меня будетъ прекрасный мундиръ, а вицъ-мундиръ такой, какъ у тебя. Ho дело туть было не въ мундире, а върешимости отыскать себе занятіе, полезное въ общемъ, простомъ и обыкновенномъ смыслъ; къ тому еще побуждялъ его, кромъ всъхъ другихъ поводовъ, и примъръ, который находился въ собственномъ его семействъ: отецъ Станкевича быль одинь изъ числа саныхъ свътлыхъ практическихъ умовъ своего времени. Съ обязанностями почетнаго смотрителя соединялась въ мысли нашего Станкевича вся та ограниченная, во плодотворная сфера деятельности, которая остается человеку после того, какъ слишкомъ смёлый полетъ мысли оказался пустою несостоятельною претензіей. Онъ собирается вывести изъ употребленія навазаніе *палими* въ школахъ, водворить ланкастерскую методу обученія въ приходскихъ училищахъ, написать первоначальный курсъ исторіи для низшаго преподаванія и проч. Онъ пробоваль даже давать уроки, въ видъ собственнаго испытанія, братьямъ одного изъ друзей своихъ и т. д. Следуя все далее по тому же пути безпрерывнаго обузданія своихъ фантазій и стремленій, что уже само по себъ доказывало ненориальное состояние его души, онъ восклицаетъ, и весьма пскренно въ эту эпоху: «Честолюбіе мое насытилогь бы вполнъ, еслибъ я со временемъ могъ сдълаться инспекторомъ казенвыхъ училищъ въ какоиъ-нибудь округв». Но природа вообще пе скоро поддается усиліямъ и вол'я нашей, хотя бы мы возставали на нее съ большимъ запасомъ ръшимости и терифиія. Пламенное воображеніе не скоро тухпеть, а иногда горить даже твиъ сильнве, чвиъ больше стараешься тушить его. Оно напоминало о себъ Станкевичу поминутно. «Иногда почью, пишеть Станкевичъ, когда потушена свъча, когда воетъ вътеръ, чортъ знаетъ, чего не лъзетъ въ го-10Ву: жилнь кажется скучною церемоніею, будущность безотрад-

на; вспоиннаешь нечтожныя слова, сны; начинаешь хоронить друзей, чувствуеть тяжесть въ груди и засыпаеть безпокойно.... разсвътетъ, и вси тоска пропала, и первое движение-политва»... Упорнъе самого воображенія держится жажда полноты знанія и полноты жизин, разъ возбужденная въ душъ нашей: противъ этой жажды безсильны всв доводы разсудка. Ее нельзя сиприть ни увещаніями, ни преследованіями. Станкевичь хорошо выражаль присутствіе этого двятеля въ себъ, когда говорияъ: «одна инсль объ односторонности, связанная съ мыслію о правственномъ усыпленіи, въ состоянін все отравить для меня. Но когда воображеніе и потребность обширной дъятельности совокупно возставали противъ ига, возложеннаго на нихъ, Станкевичъ встръчалъ ихъ съ удвоенною энергіей сопротивленія, испытывая себя до конца. Истощивъ всв свои средства на эту борьбу, онъ прибъгаетъ обыкновенно къ молитвъ. «Я не молюсь о своемъ счастін, говорить онъ въ одномъ письмів, съ меня довольно быть человъкомъ. Я говорю: Господи! буди въ сердцв моемъ и дай мив совершить подвигь на землв; и если слезящій взоръ обратится къ нему съ другою, невольною молитвою, я говорю-но да будеть, не яко же азъ хощу, но яко же ты хощеши». Навонецъ, съ теплою надеждой на успъхъ обращается Станкевичъ къ одному еще остающемуся истоку для безпокойной ого мысли, когда всв другіе выходы были у нея отняты или закрыги имъ саминъ: овъ собирается посвятить вебя на воспитаніе молодого покольнія. Въ этомъ плань видить опъ обрытеніе того цылительнаго средства, которое должно окончательно примирить его съ собою. «Если у меня теперь есть, говорить онь, какая-нибудь іdeа fixa, то это о воспитании въ духъ правственности и религии, о возножности поддержать ее и о ускореніи всвии силями человъчества на пути его въ царствію Вожію, къ чести, къ въръ. 110 и этоть плань, такъ рашительно и смало принятый, свидательствоваль, по самой необъятности своей задачи, что онь есть произведеніе иной силы, чамъ твердой и скроиной готовности служить ближнему на всякомъ поприщъ. Онъ былъ, какъ и все прочес, болізненнымъ крикомъ души, обузданной въ своихъ стромленіяхъ, но нисколько не направленной къ истиннымъ своимъ потребностимъ. Такъ переживалъ Станкевичъ последній искусь, предшествующій возрасту нужества и крвпости, и еслибы намъ ничего не осталось отъ Станкевича, кром'в формы, въ которой выражались его страданія, то одна эта форма могла бы служить свидівтельствомъ его теплой, истинно-человъческой и богатой натуры.

Мы видели, какъ часто Станкевичъ ищетъ прибежища и уте-

его туда важдый разъ, какъ омраченное сознаніе требовало світа и помощи; но въ эту эпоху онъ съ удвоенною энергіей держится за обычнаго своего руководителя. Дело въ томъ, что и доверіе къ любиной наукъ, еще не изслъдованной вполиъ, тоже потрясено было вибств съ другими началами. Впрочемъ, поверхностное знакоиство съ отдъльными мыслями философскихъ системъ должно было освътить душу его тёмъ слабымъ, мерцающимъ светомъ, который не есть полная ночь, но такъ же далекъ и отъ отраднаго сіянія дня: нерфинительность, томпеніе и грусть бывають вообще неразлучными спутниками этихъ сумерекъ мысли. Болфзиенное состояніе мыслящей способности, необходимое для украпленія и дальнайшаго роста вя, виражалось у Станкевича общинь сомивність въ силь разуна, сомевніемъ въ возможности соглашенія протявоположныхъ ученій. Такъ продолжалось до начала 1836 года. Въ течени полутора года, этотъ свътлый и въ высшей степени совъстливый умъ, какъ, по справедливости, выразился одинъ изъ друзей Станкевича о пемъ, лишенъ быль основаній и опирался только на Монтаньевское скечтическое: «можеть-быть». Дъйствительно, оно служило ему какъ-бы временнымъ прибъжищемъ, откуда, не переставая трудиться, искать и мыслить, ожидаль онъ появленія дня и минуты выхода на твердую почву. Въ продолжение этого срока, Станкевичъ отказался отъ всвую претензій на творчество, сдівлаль строгую правственную повърку существа своего, приготовляя въ себъ мужа и будущаго дъятеля, хотя въ 1835 году ему быль только 22-й годъ. Когда же минуты грусти и сомивній слишкомъ отигощали его сердце, онъ погружался въ самого себя, въ религіозное свое чувство и тамъ уже находилъ спокойствіе, свободу и безопасность 1).

Задумчивый оттоннокъ, который лежитъ на всей перепискъ Станкевича, принадлежащей къ этому времени, еще усиливается, когда роковая болъзнь, носимая имъ въ груди, начиваетъ возвышать свой голосъ. Еще и прежде исповъдь Станкевича прерывалась жалобами на бъдность и немощи своего организма; теперь, словно

<sup>1)</sup> Существуеть новъсть Станкевича "Нѣсколько мгновеній изъ жизни графа Т\*..." (см. "Телескопъ" 1834 г., часть 21) съ подписью Ф. Зоричъ, въ которой находятся черты, соотивтствующія психическому состоянію Станкевича около 1834 г. Въ ней сказались дума или предчувствіе автора относительно будущей судьбы своей. Тонъ повъсти торжественный, лирическій, и авторъ ел рисуетъ молодого человъка, который преждевременно погибъ отъ полноты внутренней жизни, оставивъ послѣ себя любимую женщину и друга. Пачало повъсти особенно замѣчательно тъмъ, что представляетъ картину развитія юной, благородной натуры, искавшей въ наукѣ дополненія пеумолькающих требованіямъ чувства и въ страстномъ, религіозномъ чувствъ послѣдняго слова науки. Черты эти, какъ мы видѣли и еще увидимъ, дъйствительно составляли отличительную принадлежность глубоко-правственной природы Станкевича.

въ уровень съ духовнымъ состояніемъ, физическая его оболочка поминутно лепытываеть глубовія потрясенія, которымь не суждено было миноваться, вакъ первому. Въ теченіи трехъ годовъ его переписки, обнимающей время пребыванія на службъ, перетадовъ изъ Москвы въ деревню и обратно, большого вояжа на Кавказъ въ 1836 и отправленія за границу въ следующемъ 1837 году, —лицо Станкевича безпрестанно сопровождается въ умъ читателя призракомъ смерти, который, кажется, следить за нимъ неотступно. Но странное дело! болезнь вносить еще одну привлекательную черту въ его физіономію, надъленную множествомъ обаятельныхъ подробностей. Изищество всего существа Станкевича нигдъ не выразилось съ такою пелнотой и силой, какъ въ способъ говорить о своихъ страданіяхъ. То, что безобразить, раздражаеть и лишаеть человъка его настоящаго характера, является у Станкевича въ видъ грустной, тихой жалобы, освіщаєть лицо его удивительно кроткимъ, нъжнымъ свътомъ, способствуетъ къ уразумънію его души. Онъ пишетъ о своихъ страданінхъ, какъ-будто рисуетъ картину съ художническою целью, и поэтическій элементь является туть безь ведома его, только какъ естественная принадлежность его природы. Вотъ, напримъръ, одно мъсто этого рода изъ трогательнаго и превосходнаго письма отъ 11 декабря 1834: «Что досадиће всего, — я не могу, какъ прежде, надолго предаться одной, постоянной мысли, которая бы совершенно меня наполнила; не могу жить, какъ думаль, а всякая другая жизнь для меня прозябение. Часто я Богь знасть какъ разфантазируюсь о своихъ подвигахъ, потребность дъятельности не даеть инв покоя - и что же? прочту несколько строкъ въ головф туманъ и опять отчание... Я почти пересталъ заниматься... Знаешь ли ты стихотвореніе Пушкина: «Второе поября»? -вотъ върное изображение моей деревенской, вимией жизни. Теперь я пишу къ тебъ вечеромъ, на дворъ востъ истель, севыс темно горить, от грусти сердце ность. Головъ ненножко отлегло, и я могу предаться сладкому раздумью: ты не можень себв представить, вавъ отрадны бывають инв рфдкія минуты облегченія, — будь я музыканть, кажется, сталь бы импровизировать; слова, слова, какъ выражение опредъленныхъ понятий, бъгуть меня, я боюсь всего определеннаго, всего точнаго: это производить головную боль. Моцартовъ Донъ Жуанъ подврвиляетъ и утвищетъ испя больше всего». Иногда, впроченъ, молодая жизнь, какъ-будто возмущенная жестокимъ приговоромъ судьбы, вступаеть во всв права свои и дней на пять, на шесть обратаеть снова энергію, бодрость я веселіе, какія должны бы всегда сопутствовать ей. Тогда (особенно, если эта реакція организна совиадала сь днемъ праздника и съвздомъ знавомых въ одно мъсто, какъ случилось въ новый 1835-й годъ) Станкевичъ предлется жевой натуръ своей съ неописаннымъ увлеченіемъ; комическій тальнтъ его, способность перениманія чужихъ прісновъ, даръ забавныхъ разсказовъ и шутокъ развертываются шумно и свободно, онъ устранваетъ гаданья, переряживанья, пъсни, пляски, театръ, гдъ самъ играетъ (и по обыкновенію очень хорошо). Какъ-будто желая забыться отъ физическихъ страданій и духовныхъ безпокойствъ, онъ встръчаетъ 1835-й годъ пъсенкой Гюго:

La tombe est noire, Les jours sont courts, Il faut, sans croire Aux faux discours, Très souvent boire — Aimer toujours.

и сравниваетъ инпутное свое увлечение съ чуднымъ ибстомъ Монартовскаго Донъ-Жуана: treibt der Champagner. Но энергія испарается, какъ півна шашпанскаго; напряженное веселіе ясчезаетъ въ усталости, и болізнь, посліз краткаго отдыха, снова даетъ чувствовать свою горькую отраву, свое ничівнъ непритупимое жало. Надо читать у Станкевича описаніе этихъ переходовъ и испытать на себіз драматическое свойство ихъ: тогда только становится понятна борьба молодыхъ силъ въ возрастающимъ недугомъ.

## .... Огни погашены, Гирэлиды спаты со ствны",

говорить Станкевичь въ одномъ маста, «и мив стало грустиве прежняго! какъ-будто судьба издали, на игновеніе, показала инв радости жизни, чтобъ я зналъ, чего она меня лишаетъ». Снова текутъ его жалобы, по обыкновенію исполненныя такой граціи и скромности, что невольно удивляеться человъку, способному такъ-смотръть на свои страданія. Впечатлъніе удноивается, когда видишь вивств съ твиъ, что требованія правственнаго рода не покидаютъ Станковича ни на минуту, и что онъ ужасается своей бользии не столько за дъйствіе ся на тіло, сколько за дъйствіе ся на душу. -Убійственна для меня мысль: бользнь похищаеть у тебя душевную энергію; ты ничего не сдълаешь для людей. Природа, пожетьбыть, дала тебъ средства стать, если не выше толпы, то въ передвихъ рядахъ ея, а бользнь забиваетъ въ середину». Неиного далве, опъ уже возвращается къ личному своему характеру, ужасаясь возможности его порчи вследствіе долгаго гнета физической немощи. «Послфдисе письмо твое утвшило меня, наставило. Да, я буду мужемъ, я притерилюсь въ боли, но жаль, если я сделаюсь холоднынъ стопкомъ: я отъ себя этого не надвидел.» Стопкомъ онъ не сдъдался и до кончины сохранилъ въ цълости всю правственную основу свою.

Въ концъ января 1835 г., Станксвичъ отрывается отъ деревни и увяжаетъ въ Москву, встръчая съ обыкновенною радостію знакомый городъ, къ которому онъ всегда чувствоваль непреодоляную любовь. Радость была на этотъ разъ, можетъ-статься, слъдствіемъ предчувствія. Въ Москвъ нашелъ онъ, во-первыхъ, опору для мысли, разръщеніе своихъ колебаній въ твердой рішниюсти продолжать прежде начатое діло философскаго образованія, а во-вторыхъ, неожиданную любовь, потребность которой была у него равносильна со всіви другими потребностями.

Оставляемъ некоторыя подробности, касающіяся последняго обстоятельства, которыя, какъзувидинь, не лишены своего рода поученія, до следующей славы, а тенерь займемся преимущественно исторісй возстановленія умственныхъ наклонностей Станкевяча и утвержденія ихъ на почав, уже болве не начанницей ему никогда. Тотчасъ по прибытіи въ Москву, Станкевичь, по собственнымъ его словань, нечанию напаль на Шеллинга. Въ этой случайности есть однако жъ, что бы опъ ни говорилъ, изкоторая последовательность. Нечаниность туть должна пониматься не въ симсле перваго слухв о системъ, а въ смыслъ перваго дъльпаго изученія ея: Станковичъ попалъ только на прилежное изучение источниковъ науки, которою занимался и прежде. Онъ предался изученю темъ съ большимъ рвеність, чать сильнае сдерживаль его во все время пребыванія въ деревив. Со вевмъ твиъ какое-то опасение еще мъщаетъ ему открыть тайну петербургскому товарищу; но какъ дружба ниветъ своего рода обязательства и законы, то Станковичъ рфивается сообщить ему въ формъ шутки о новомъ, или лучие возобновлениомъ своемъ направления. «Съ Ключинсковымъ, говоритъ онъ, мы читаемъ однев разь въ педелю Шеллинга: это прісме самый умиренный. Мы хотимь непременно вполив понять его, яспо увидеть ту точку, до которой могъ дойти умъ человъческій въ свою долговременную жизнь...> и проч. Эти уклончивыя строки, въ которыхъ цфлью изученія философіи становится не сама она, а постороннія соображенія— написаны въ марть 1835 г., когда изученіе Шеллинга сдълало у Станкевича значительные успъхи. Между тънъ, въ томъ же году, Станкевичъ близко сходится съ молодимъ офицеромъ, только что вышедшимъ въ отставку и прочитывавшимъ отъ скуки французскіе трактаты о сенсуализив, какъ началів всякаго познанія. Станкевичъ засаживаетъ его прямо съ Кондильяка за Гегеля, потому что и самъ уже перешелъ, втайнъ отъ петербургскаго друга,

къ системв этого мислителя, производившей тогда сильное волнение въ Германін. Молодой офицеръ оказался человівсовъ необычайнаго логическиго уна, отличавшагося строгою, сматою діалектикой, и съ врожденными способностями въ философскимъ занятіямъ, способностями, которыя помогали ему легко открывать живой симсать въ саныхъ сухнуъ отвлеченностяхъ. Усиленный морально этою помощью, еще болъе поддерживаемый сущностію санаго ученія Гегеля, въ которомъ онъ искалъ вибств со всвии товарищами примирительныхъ отвътовъ на всъ свои вопросы, Станкевичъ перемъпяетъ тонъ в возвышаеть голось при заглазной бесбай съ отсутствующимъ петербургскимъ другомъ. Какъ и следовало ожидать отъ его гуманной природы, прежде всего старается онъ передать убъжденія, почерпнутыя въ наукъ, сдълать товарища причастникомъ общаго ея достоянія, и слова его исполнены достоинства, теплоты, а въ нівкоторыхъ ивстахъ свътлой, неотразимой истины. Мы не можемъ располагать письмами Станкевича въ нашемъ біографическомъ очеркв и должны ограничиться пемпогими выдержками. Вотъ одна изъ нихъ, писанная Станкевичемъ въ концъ этого замъчательнаго года (20 декабря 1835): «Я знаю твои старыя замашки. Ты всегда быль противъ философіи, и ты правъ въ отношеніи къ себъ. Душа у тебя переполичник убъждением. Я сань ниво убъждения, но сообщить ихъ людянь въ нашъ въкъ иначе нельзя, какъ доведши ихъ до нъкоторой степени знанія. Кромъ этого, признаюсь тебъ, другь мой, ходъ человъческаго ума, его стройное развитие и приращение, въчная истина, облекающаяся въ разныя одежды, соотвётственно въку и народу, и все болъе и болъе явлиющая свою сущность -- какое явленіе можеть быть занимательніве?... Ты говоришь, что я всегда ошебался въ призваніи. Иногда. Это участь всёхъ. Но философію я не считаю мониъ призванісиъ; она, можетъ-быть, ступень, черезъ которую я перейду къ другимъ занятіямъ; но прежде всего я долженъ удовлетворить этой потребности. И не столько манитъ меня ръшение вопросовъ, которые болъе или менъе ръшаетъ въра, сколько саный методъ, какъ выражение посябднихъ успфховъ ума. Я еще болъе хочу убъдиться въ достоинствъ человъка и, признаюсь, таль бы убъдеть потомъ другихъ и пробудеть въ нихъ высшіе интересы». Есть еще инкотораго рода осторожность въ этихъ словахъ, но въ нихъ уже заивтно, что имсль Станкевича начинаетъ освобождаться отъ предубъжденій относительно любинаго предмета. Годъ времени прошелъ не даромъ для Станкевича. Между прочимъ, Вфлинскій, съ обывновенною своею живостію и последовательностію доведшій схваченныя имъ пден новой системы, извъстно, до крайняго ихъ симсла, передъ которымъ самъ остановился, занился въ это же время редакціею журнала «Телескопъ», перешединго въ нему съ № 7 (1835), по случаю отъезда редактора Н. И. Надеждина за границу. Рядомъ статей, следовавшихъ одна за другою <sup>1</sup>), онъ тотчасъ же превратилъ «Телескопъ» изъ эклектическаго, поверхностнаго и какъ-то беззаботно-умпаго. Журнала въ критическій журналь, съ эстетический характеромь, съ ясною и строгою целью-определить отношенія литературных деятелей въ повзін, мысли, обществу и правственности. Малая опитность Бълинскаго въ хозяйственной части помешала сму вести журналъ одинаково ровно; но время его завъдыванія (по декабрь 1835) 2) все-таки отличило «Телескопъ» отъ предшествовавшей и последующей родакцій. Въ журналь его (ж. 13, 14 и 15, 1835 г.) Станкевичъ помъстилъ большую переводную статью»: Опыть о философін Гегеля», соч. Вильма, да Станкевичу же, какъ намъ кажется, иринадлежить и переводъ статьи Минье: «Лютеръ на Ворискоиъ сеймъ», напечатанной въ № 8 журнала того же года. Между твиъ переписка его съ Я. М. Невъровымъ продолжается безостановочно. Въ половинъ слъдующаго 1836 года опъ уже выступаетъ передъ нимъ съ откровенною защитой ума, какъ первенствующей душевной способности. Это уже быль полный выходь къ наукъ, и Станкевичь становится въ ней съ этого времени въ спицатическія отношенія, исполненныя довфренности и надежди... Не нало способствовалъ установленію этого гармоническаго союза и предметь его изученій, германския философія, объяснявшая участіе разума во всей въковой жизни человъческаго рода. Опираясь на нее и па собственныя убъхденія, українським ею, Станкевича уже пишеть сладующія строви оть 21 сентября 1836 года: «Человань, который ниветь душу, любитъ искусство и сознаетъ что-то похожее на разумъ и гармонію въ кучв разныхъ разностей, которую онъ называетъ природой, человъкъ, который върптъ иногда уму, папримъръ, хоть въ томъ, что  $5 \! imes \! 5 \! = \! 25$ , не долженъ бояться свободнаго хода мисли ни въ какомъ отношении. Ты никакъ не можень сказать: умомъ не разръшить сомнъній... Ты, который признаеть разумъ и любовь міра, ты отрицаень совершенство, ты находинь явную неленость въ организацін ума, который есть вінецъ созданія.... Каждое созданіе есть совершенство; одинъ умъ имфетъ потребности, которыхъ опъ удовлетворить не можетъ, одинъ овъ уродъ въ Вожьсиъ создани, из-

Вотъ перечень ихъ: статья "О Русской повфети и повфетихъ г. Гоголи"; подробные разборы: "Стихотвореній г. Баратынскаго", "Стихотвореній Владиміра Бенедиктова" и "Стихотвореній Кольцова".

<sup>2)</sup> Вблинскій усибль до января 1836 года издать всего шесть внижевъ, именно съ № 7-го по 14-й. Остальныя додины были въ теченіи 1836 г. самимъ Надеждивникъ.

гевниявъ изъ общей гарионін, и это оторванное звено вселенной вазывается частицею Божества. Такое убъжденіе—нелічность. Да и чвиъ передается тебъ убъжденіе? не уконъ ли? Развъ убъжденіе не есть имсль, имсль, одобряеная цельив разунения, которое невольно и безотчетно сознаеть свое единство съ нею?...> Какъ бы желая отвъчать на самыя затаенныя сомнънія друга, Станкевичъ пишетъ еще пълую оригинальную статью: «О возможности философін, какъ науки», которая не нашлась въ его бумагахъ и участь которой, къ сожалвнію, намъ неизвізства. Повитво послів того, что овъ не могь удовольствоваться уступкою, которую Я. М. Невфровъ волого и неволего долженъ былъ сдълать для философіи, признавая въ занятін ею своего рода пользу, какъ и во всякомъ другомъ занятін. Станкевичъ возражаль полу-шутливо и полу-серьёзно, но твердо, говоря, что подобнаго рода уважение въ философии куже вражды въ ней и не заслуживаетъ никакой благодарности съ ея стороны. Вивств съ твиъ, Станкевичъ объясняетъ, что путь его язбранъ навсегда, и во избъжание будущихъ недоразумъний, туть же предлагаеть новое правило для взаимныхъ отношеній: не смотрить на разность инвній другь у друга и поменть, что связь ихъ основана не на мивніяхъ, а на сочувствін, какое всегда бываетъ у людей, одинаково полюбившихъ добро (письмо 1836 г. октября). Конечно, другъ его быль встревожень этинь изложениемъ оснований, этинъ profession de foi, разграничивающинь область дружбы и правъ ея отъ области имшленія, гдф всф ся права безсильны. Новымъ письможь оть 25-го января 1837 года Станковичь успоконваеть его, но удерживаетъ дъленіе свое и спотрить на него, какъ на дъло, совершенио порвшенное и неизбъжное. Ему представляется одна только связь - основаниля на единствъ стремленій къ добру, поэзін, любви. «Бозъ нея, прибавляетъ Станкевичъ, сходныя понятія такъ же нало упрочать дружбу, какъ одна привычка, которая инветъ силу только при другихъ важивищихъ условіяхъ. Ивтъ, ны никогда не разойдемся: отчего я такъ убъжденъ въ этомъ?» Такимъ образонь, вліяніе друга, невчаль столь благодытельное для Станкевича. было теперь пережито. Станкевичъ шелъ своимъ путемъ, а отъ невольнаго предчувствія, что можеть идти далоко, -- самая переписка его въ последнее время мало-по-малу принимаетъ твердый, поучающій характеръ. Станкевичь начинаеть говорить, какъ человъкъ власть имкрощій, достигній уже извізстной высоты и поджидающій къ себъ другого... Онъ становится учителемъ.

Около того же времени возникаетъ у Станкевича другая, не менъе замъчательная переписка съ лицомъ, столь извъстнымъ въ нашемъ ученомъ и литературномъ міръ, съ Т. Н. Грановскимъ.

Трановскаго Станкевичъ узналъ только въ февралъ 1836 года, когда тотъ пробажалъ черезъ Москву на пути въ деревню къ роднинъ своимъ. Грановскій вхалъ проститься съ ними, собираясь въ путешествіе за границу, куда посылаемъ былъ для приготовленія себя къ занятію каеедры исторіи. 4-го мая 1836 года состоялось, дъйствительно, въ Петербургъ опредъленіе объ отправленіи его, и вслёдъ за тымъ онъ увхалъ. Въ Москвъ пробыль онъ весьма короткое время, можно сказать, насколько меновеній, но этихъ меновеній уже достаточно было, чтобъ затянуть между двумя людьмя, тотчасъ же понявшими другъ друга, самую близкую и крфикую связь.

По прибытін въ Верлинъ и, какъ извъстно, съ запасомъ довольно скудных сведеній, Грановскій, можно сказать, быль приведень въ ужасъ необъятнымъ полемъ немецкихъ историческихъ разысканій, которое открылось передъ нимъ. На него папалъ страхъ и унине. Сомивніе въ своихъ силахъ и въ возножности одольть всю эту массу ученыхъ изследованій, сомивніе, хорошо изв'ястное всякому, вто добросовъстно начинаетъ вакое-либо дёло, отразилось въ его письмахъ. Должно-быть, онъ слишкомъ много даль въ нихъ масти отчанню и грусти, потому что Станкевичъ, по прочтения ихъ, сказалъ: «Сухое страданіе-нехорошій признакъ... Обстоятельствамъ не вадо давать воли вадъ собою; есть отрада въ чувстве свободы, которая въ самой скорби сознастъ свое могущество. > Вообще природа Станкевича не могла выносить страданія безъ облегчительной примъси поэзін, и въ сухомъ страданін, какъ онъ виражается, онъ всегда наклоненъ быль подозравать грубо-эгонстическое основание. Онъ поспъшилъ на помощь новому другу письмомъ изъ Пятигорска, гдъ тогда находился (отъ 14 іюня 1836 года). Въ этомъ замъчательномъ письмъ, которое мы особенно рекомендуемъ читателю, онъ уможнеть Грановскаго положить въ основу своихъ трудовъ-идею, добыть міросозерцаніе, на которомъ правильно и легко расположатся сухів факты, весь матеріаль науки. «Мужество, твердость, Грановскій! восклицаеть опъ, не бойся этихъ формуль, этихъ костей, которыя облекутся плотію и возродятся духомъ по глаголу Божію, по глаголу души твоей. Твой предметь — жизнь человъчества: ищи же въ этомъ человъчествъ образа Божін; но прежде приготовься трудными испытаніями---займись философіею! Занимайся тымь и другимь: эти переходы изъ отвлеченной къ конкретной жизни и снова углубленіе въ себя-наслажденіе! Тысячу разъ бросишь ты книги, тысячу разъ отчаешься и спова исполняшься падежды; во вфрь, вфрь-и иди путемъ своимъ. Но не все еще было сказано имъ. Граповскій, какъ видно, приведенъ быль даже къ сомивнію въ своемъ

призванія: профессорская каседра казалась ему предметомъ, находящимся вив его силь, средствь, способностей. Станкевичь пишеть второе письмо, уже по возвращении своемъ въ деревию съ Кавказа, оть 29 октября 1836 года. Соглашаясь съ имслію, что не такъто легко угадать свое призваніе, Станкевичъ строго возбраняетъ себв совъты въ родъ: «прислушайся къ душъ твоей и ступай на зовъ ел», потому что въ извъстиме годы многое влечеть человъка съ одинаковою силой, да и иногое есть въ воспитаніи, что ибпласть душв произнести върный приговоръ. Призвание часто опредвляется случаемъ, внезапнымъ чувствомъ, неожиданнымъ обстоятельствомъ. Станкевичъ выбираетъ лучшую форму совъта: онъ разсказываетъ Грановскому собственную свою жизнь, со всеми ся неопределенными стремленіями в съ долгимъ колебаніемъ. Исповедь Станкевича рішаемся им привести здёсь целикомъ, потому что она кратко, но вполнё перечисляеть все то, о чень им до сихъ поръ говорили въ нашемъ біографическом очеркт. Этою драгоцтиною исповедью, такъ живо рисующею передъ нами благородное лицо самого автора ся, заключаемъ ни и исторію послідней его борьби съ своинъ призваніенъ. обрълъ спова старое направление, но въ лучшемъ и просвътленномъ видъ. Съ тъхъ поръ онъ слъдовалъ ему до конца жизни, расширяя и совершенствуя его наукой, но не измъняя ему пикогда.

«Чтобъ намъ лучше понимать другъ-друга, начинаетъ Станкевичь, я разскажу тебв въ немногихъ словахъ исторію моей душевной жизни, исключивъ изъ пся все, что отпосится въ домашнему быту ноей души: это дело постороннее. Эта исторія, ножеть-быть, похожа на китайскую; но пусть будеть такъ. Мальчишка четырнадцати леть, я примимъ стихами, по верному выражению одного чудака. Я не безъ души, если она во мнъ и не имъетъ большихъ достоинствъ. Марая бунагу и вытягивая истафоры и пышныя фразы, ногдат что небудь и чувствоваль, особенно въ последнюю эпоху чоего стихотворства, когда я вышель изъ-подъ опеки учителя поэзіи я началь понемножку лучше понимать сущность искусства и некоторыя стороны жизни. Лекцін Надеждина, какъ ни были онъ педостаточны, развили во мив (сколько могло во мив развиться) чувство изящиаго, которое одно было мониъ наслажденияъ, однопониъ достоинствомъ и, ножетъ-быть, ноимъ спасеніемъ! Со всемъ этимъ, Грановскій, я не понималь жизни, я не имъль цъли, я быль такъ мелокъ и пичтоженъ, что стыжусь вспоминть! Я увлекался мивніями педалеких в людей, я дорожиль мивніемь светской черня, инт казалось стидно не интть знакомихъ, казалось необходимо бить въ свътъ и стараться играть въ немъ какую-нибудь роль. Я говорю тебъ все это, не запинаясь. Вышедши изъ университета, я

не зналь, за что приняться—и выбраль исторію. «Давай займусь» воть каковь быль этоть выборь. Что я въ ней видель? Ничего. Просто это было подражание всемъ, вліяниемъ людей, которые не върили теорія, привычка въ недъятельности, которая дълала страшнымъ занятіе философіей и изр'ядка обдавала какпиъ-то холодомъ невърія къ достопиству ума. Шеллингъ, на котораго я попалъ почти нечаянно, опять обратиль меня на прежий путь, къ которому привела-было эстетика — и съ тъхъ поръ болье и болье, при всей моей педінтельности, я началь сознавать себя. Грановскій, вірншь ли? Оковы спали съ души, когда и увидълъ, что виъ одной всеобъемлющей иден — нътъ знанія; что жизнь есть санопаслажденіе любви, и что все другое-призравъ. Да, это мое твердое убъждение. Теперь есть цвль передо мнсю: я хочу полнаго единства въ міръ моего знанія, хочу дать себ'в отчоть въ каждонь явленін, хочу видъть связь его съ жизнію цълаго міра, ого необходимость, его роль въ развитіи одной иден. Что-бъ ни вышло, одного этого я буду искать...> 1).

Спашимъ сдалать одно замвчаніе. — Легкій отзывъ Станкевича о польза, принесенной ему изученісять исторіи, вызванъ его скромностію и потомъ неоднократно опровергается имъ самимъ въ дальнайшемъ хода переписки.

Остановнися здась на минуту. Воспитание Станкевича, начатое намецкою повзіей, завершается, какъ видимъ, философіей. Что это было настоящее правственное воспитаніе, доказывается замачательнимъ восклицаніемъ Станкевича: «искусство, можетъ-статься, было момиъ спасеніемъ!» Дайствительно, оно, какъ старались мы показать прежде, оторвало съ неудержимою силой воображеніе, идеи и наклонности его отъ того уровия, гда, при отсутствіи сильнаго дви-

<sup>1)</sup> Приводимъ еще ифсколько отрывковъ изъ окончанія этого во встях отношеніяхъ замічательнаго письма, особенно какъ примірь твердости и полной эрізости, какія наступили для мысли Станкевича въ эту эпоху. "Теперь ты запимаеться исторіей: дюби ее какт поззію,-прежде нежели ти свижень ее съ идеоп,-какт картину разнообразной и причудливой жизни человичества, какъ задачу, которой ришение не въ пей, а въ тебъ... Ты скорбишь о томъ, что едва знаешь имена тъхъ явдей, которыхъ Миллеръ называлъ великими. Не говоря о томъ, что насчетъ величія можно нябть разныя понятія съ Миллеромъ, я скажу одно: что за потробность узнать и того, и другого, и третьяго? Ти узнаешь ихъ тогда, когда въ тебф будетъ вопросъ, котораго рівненію они могуть способствовать. Всякое чтеніе полезно только тогда, когда къ нему приступаень съ определенною целію, съ вопросомъ. Работий, усиливай свою дъятельность, но не отчаявайся въ томъ, что ты не узилень тысячи фактовъ, которые зналь другой. Конечно, твое будущее назначение обязываеть тебя имать понитие обо всемъ, что сдълано для твоей науки до тебя; но это пріобрътается легко, когда ти ноложень главное основание своему знанию, а это основание скреповы идеею. Тогда, повтрь, бъглое чтеніе больше сдъласть пользы, нежели теперь изученіе".

гателя, она легко и своро мельчають и вырождаются. Роль философія была еще значительные у насъ. Извыстно, что нигды ныть недостатка въ искушениять; но искушения тамъ опасиве, гдв не носять признаковъ своего мутнаго происхожденія и гдф потеряли силу безпоконть совъсть человъка. Противъ такихъ-то опасностей, противъ нечистыхъ движеній сердца, какъ бы тонки и иниолетны они не были, противъ порочнаго синскожденія къ самому себъ, стояла у насъ философія. Кто не былъ исполненъ философскимъ содержаніемъ весь, до мыслей, опредвляющихъ волю и поступки, тотъ еще, въ эту горячую эпоху молодости, не считался последователень философія. Задача, конечно, во многихъ случанхъ ненсполничая: но важно то, что она была поставлена. Никогда не заслоняя собой ни математическихъ, ни естественныхъ, ни всякаго другого рода наукъ, она была у насъ домашнимъ дъломъ, пріучавшимъ умъ искать нравственные законы для каждаго явленія въ мірів и обращавшимъ все вокругъ себя въ разунное существо, наделенное словомъ, поученіемъ и мыслію. По, скажутъ, надежды Станкевича были песбыточны, и опыть последующихъ годовъ не подтвердиль техъ ожиданій оть философів, какими исполнены были, вивств съ нимъ, многіе светлые умы въ Европъ. Намъ замътять, что наблюдение фактовъ породило цепь изунительнейшихъ и благодетельнейшихъ для человечества открытій, которая еще далеко не кончилась, а философскія мечтанія почти уже оставлены и въ первоначальной родинъ ихъ, Германін. Позволительно усомниться, чтобъ какая-либо образованность рышилась отвазаться навсегда отъ потребности вопрошать разумъ въ его независимой дъятельности, опирающейся на собственныя свлы, но мы принимаемъ и это замъчаніе. Такъ же точно легко согласиться и съ теми, которые заметять, что Стапкевичъ многимъ увлекался, хотя слёдуетъ прибавить, что онъ именно увлекался всёмъ тёмъ, чёмъ хорошо увлекаться въ его годы: только изъ подобной довфрчивой и страстной молодости образуется жизнь, которая—какъ бы потомъ ни сложилась и на что бы ни была посвящена-всегда будетъ добрымъ служеніемъ людямъ, добрымъ служенісиъ обществу. Всв эти оговорки ничего не стоять для біографа, занятаго преинущественно изображеніень характера и върною передачей лица. Для него достаточно, если онъ можеть показать элементы, входившіе въ развитіе того и другого въ ихъ настоящемъ зпаченін. Искусство и философія сдфлали Станкевича человфкомъ, котораго одно присутствие настроивало окружающихъ на правду, на презраніе къ темнымъ даяніямъ грубости и произвола, на сохранение въ моральной целости души своей и на созерцание всего

міра, какъ единой жизни, исполненной симсла, поэзія и глубоваго поученія.

Теперь, когда онъ нашель сферу дъйствія, и когда жизнь его какъ-бы приняла одинъ основной цвъть измъ уже легко намътить внашнія событія ея, весьма несложныя, но занимательность которыхъ окажется въ подробномъ изложеній, составляющемъ содержаніе слъдующихъ главъ.

Вользнь не позволила ему заняться обязанностями почетнаго смотрителя съ тою строгостію, какую положиль опъ для себя въ началь. Это, какъ и многое другое, отошло къ числу несбывшихся плановъ. Необходимость и особенныя причины, заключавшіяся въ его сердив, о которыхъ буденъ говорить скоро, заставили его прожить въ Москвъ, почте безвыъздно, съ налиме отлучками въ деревню, двъ зимы 1835 — 36 г. Должность при этомъ, разумъется, вышла изъ головы. Точно то же, и по тъпъ же причинамъ, случилось и съ проектомъ экзамена на степень магистра: занятія его безпрестанно нарушаются досаднимъ вившательствомъ бользин, отнимавшей прежде всего правственных силы, и мыслями, развлекавшими его умъ, когда онъ становился способенъ къ запятіямъ. Экзаменъ откладивался постепенео, сперва къ концу 1835 года, потомъ въ эпохъ возвращения съ Кавказа; а по возвращения съ Кавваза, въ августъ 1836 года, Стапкевичъ уже запятъ проектомъ отъбида ва-границу для окончанія, во-первыхъ, своего образованія. во-вторыхъ, для возможной помощи недугу, и скажемъ, для успокоенія страданій своего сердца. Экзаменъ уже отлагается ко времени возвращенія изъ-за границы. Недугь одоліваль Стапкевича. «Я никуда не выхожу, говорить онъ въ одномъ письмв, и ничего почти не тяк: аппетету вовсе неть; за то пель бы, пиль бы, а пить тоже ничего нельзя — все вредно. Вылъ у него еще планъ оволо 1836 года-посвтить въ Истербургъ стараго друга; но виъсто того бользнь и другія обстоятельства погнали его, какъ ин видъли, на кавказскія води. Въ марть 1837 г. Станкевичъ, уже окончательно разстроенный, слегь въ постель и быль близокъ къ смерти. Посившно начинаеть онъ хлопотать объ отставкъ и паспорть, не зная, съ чего и какъ начать. Онъ убъдительно воветь друга, собравшагося тоже за-границу, отправиться въ путешествіе вывств, и томится въ неизвъстности объ успъхъ своихъ просыбъ. Съ одра бользии посылаетъ онъ письмо за письмомъ въ Петербургъ, требуя извъстій, въ какомъ положенія дъла его. Обстоятельства в туть изменили все планы его: Я. М. Неверовь отвезжаеть весной 1837 г. за-границу одинъ, прямо изъ Петербурга, на пароходъ, а Станкевичъ получаетъ наспортъ въ августв того же года. Изнуренвый бользнію и нравственных безпокойством, съ трудомъ добирастся онъ, по сухому пути, до Кракова (въ сентябрь ивсяцв); но чамъ далье подвигается внутрь Германіи, тымъ становится бодрые, и довърчивые смотрить впередъ. Шутка и юмористическое состояніе духа къ нему возвращаются. Дорога и трехнедыльное пребываніе въ Карлсбады возстановили его, если не физически, то правственно, но это было главное. Въ Берлинь, куда онъ прибыль въ октябры мысяць, им паходимъ уже Станкевича въ новомъ и чрезвычайно вамычательномъ состояніи духа, съ котораго и начинаемъ третій, послыдній періодъ ого жизни.

## IV.

## ХАРАКТЕРЪ СТАНКЕВИЧА И ЕГО КРУГА.

Поэзія и мысль раскрыли въ характерів Станкевича, уже счастливо образованномъ самою природой, такія стороны, которыя, составивъ отличительное его спойство, были вийстй съ тимъ отрадой и поученість для иногихь людей. Эти двів силы, образовавшія Станкевичи, такъ срослись со всемъ его существомъ, что развитие его характера дълается похожниъ на развитіе ихъ самихъ въ формъ личности, въ живомъ человъческомъ образъ. Поэзія и мысль чувствуются поперемённо или въ одно и то же время, какъ основной мотивъ, почти во всехъ его поступкахъ, словахъ и начинаніяхъ. Сила этихъ неразлучныхъ спутпиковъ Станкевича действовала такъ же просто и такъ же неотразино на другихъ, какъ любое естественное явленіе: стоило подойти къ нему, чтобъ ихъ почувствовать. Мы не даромъ сказали, что одно его присутствие сообщало окружающить итчто похожее на теплое, радостное чувство: его можно било и тогда сравнить съ подземнымъ ключомъ, существование котораго узнается по одной роскоши зелени, распространяемой имъ въ кругь своего влівнія. Взапиное действіе двухъ основнихъ элементовъ, жившихъ въ Станкевичь, поставило его на какомъ-то особенно широкомъ основания. Онъ никогда не былъ исключительно философъ, занимающійся отвлеченість и логическими постройками безъ устали, также какъ не быль обожатель искусства до забвенія природы, или любитель природы, который принадлежить обществу только за невозножностію его набъгнуть. Онъ быль какъ-то дона во всёхъ этихъ сферахъ и обращался въ нихъ съравною свободой; способность сосредоточиваться въ ндей не лишала его способности постигать явленія жизни во всей ихъ индивидуальности, серьёзныя цёли иншленія не притупляли его живой воспріничивости; онъ также легко всходиль на высоту отвлеченія, какъ и спускался съ нея; душа его находила себё столько же пищи въ произведеніи искусства, сколько в зъ уединенныхъ поляхъ и рощахъ его Удеревки. Созерцаніе пдеала и живая красота женщины отражались въ немъ съ равною сплой, потрясая всё струны его сердца и внушая тё глубокія соображенія, которыя находиль онъ въ родинкъ своей души. Даже и тогда, какъ основныя начала его существованія, мысль и поззія, раздѣлясь на время, были предоставлены только самиль себь, мысль никогда не клонилась къ сухости и педантизму, не перерождалась никогда въ резоперство, пустую потѣху ума, а поззія не терялась въ пристрастіе къ фразѣ, въ исканіе призраковъ. Мѣра и гармонія был и въ пряродѣ Станкевича.

Мы уже знасив, какую строгую школу находиль Станкевичь въ своей наклонпости анализировать свой домашній душевный быть, употребляя его выражение. Топкія черты анализа проходять черезъ всю его переписку; но всв обыкновенныя последствия такого анализа--- вилость ощущения, неспособность просто наслаждаться жизнію и встрфчать ся явленія прямо сь лица, а но сь заднихъ или боковыхъ сторовъ, - вев эти последствія били чужди Станкевичу. Самый предубъжденный глазъ не отыскаль бы въ его анализъ дурныхъ примътъ себялюбія, нищеты характера, или тупого занятія, которымъ любитъ твинться праздный умъ. О певыносимыхъ претензіяхъ или о смфиныхъ попыткахъ мфрить собой всю вселенную нечего и говорить. Напротивъ, работа анализа всегда почти оканчивается у Станкевича тихою жалобой на далекое разстояніе, отдълнющее его отъ идеально-разумнаго существованія, и также часто разращается великодушными укороми самому себа, вы котороми постороний наблюдатель не видить иногда и тыпи справедливости, но который быль нужень Стапкевичу, какъ благотворный двигатель его души. Анализъ Станкевича, по времонамъ, обращается па укроценія излишнихъ ожиданій и невфрицхъ требованій мисли. Такъ Петербургъ и Кавказъ, при первомъ посъщении, не отвъчають его представленію; онъ примиряется съ ними помощью анализа, называя эту внутреннюю работу мысли «эмансинаціей своего чувства». Въ одномъ письмъ 1835 года мы встръчаемъ, при изложении причинъ о необходимости путеществія за границу, еще слідующій поводъ: сосвежить чувство тоскою по родинь, ожинить эту любонь къ Россін, гибнущую отъ тысячи обстоятельствъ. Упорное размышленіе или, говоря языкомъ ибмецкой логики, рефлексія, опредълили здфсь еще не существующее, не родившееся чувство, перескочивъ черезъ

долгій промежутокъ времени и забъжавъ впередъ; но какого свойства. это чувство — предоставляемъ судеть читателю. Такъ точно, живи въ деревив (1834 г.) и напавъ на мысль о необходимости нъкотораго устраненія предмета, даже полнаго отсутствія его для того, чтобъ поэтъ могъ потомъ творчески воспроизвести его въ фантазія. Станковичь посвящаеть этой мысли несколько горячихь, воодушевленныхъ строкъ, которыя вдругъ прерываются замъчаніемъ: «Слава Богу! наконецъ я набрелъ на чувство и хоть немного взволнованъ, бесъдуя съ тобой, а это такъ ръдко въ гладкой жизни, которую я веду, не имъя съ къмъ поговорить». Недремлющая оглядка на собя, или рефлексія, тотчась подметила настроеніе души въ самую минуту его развитія, но не ослабила, не прервала, не исказила. его. Иногда рефлексія выводить у Станкевича чувство совершенно неопредвленное, но замъчательно граціозное и поэтическое. Когда Я. М. Невъровъ, отъъзжая за границу, просто сказалъ, что его манитъ синее море и даль, Станкевичъ отвъчаетъ: «Другь! все манитъ насъ, что сине! море прекрасно, потому что его нельзя обозрать; даль хороша, потому что въ ней всв предметы сливаются съ небомъ и воздухомъ», и проч. Такъ, можно сказать, на последней, крайней ступени мысли, на анализъ и рефлексін, которыя иногда такъ грубо виражаются въ людяхъ, менъе надъленныхъ природою, и такъ извращають всю жизнь ихъ, Станкевичъ былъ невредимъ и даже извлекаль, посредствомь этихь деятелей, новыя и существенныя достоинства, только возвышавшія его характеръ.

То же самое можно сказать и о поэтическомъ его элементъ. Въ самомъ сильномъ напряженій чувства, въ порывів своемъ въ вись и пространство, Станкевичъ никогда не терялъ изъ вида земли и возвращался къ ней обыкновенно съ живою, по временамъ шумною радостію. Тотъ весьма ошибется, кто заключить, что романтическое пастроспіс сдівлало его брезгливымь къ обыкновенному ходу жизни и въ большей части ея явленій. Никто здравіве не понималь всіхъ условій человическаго существованія, какъ онь, да врядь ли кто и болве пользовался нассою наслажденій, заключающейся въ повседневномъ существованіи. Болізнь при этомъ случай была чімъ-то въ родъ спасительнаго ограниченія, еще увеличивающаго цъну и прелесть жизни. И начиная съ тихихъ семейныхъ радостей до того удовольствія, вакое испытываеть человінь, слідуя необходинынь в законпывъ требованіявъ своей природы, --- все было понятно его необычайно-просторному, здоровому, хотя и поэтически настроенному уму. Въ одномъ изъ своихъ писемъ, онъ ивсколькими словами превосходно пзобразиль весь свой характерь, со всёми тёми разнообразными пачалами, которыя въ немъ примирялись, дополняя собою другъ

друга. Говоря о любви въ преврасному, безъ самаго предмета, на которомъ могла бы она остановиться, Станкевичъ прибавилъ: «такая общая, отвлеченияя поэзія давно уже начала терять для меня цвну. точно какъ положительное не имъло для меня никогда цвны вив своего идеальнаго значенія.»

Веселость чистаго, яснаго сердца отражалась во всехъ шуткахъ Станкевича и сопровождала его въ общество друзей; но иногда она уступала изсто пронін и строгому слову. Станкевичь не могь выносить двухъ пороковъ: лжи и претензін; они дъйствовали на него почти болъзненно. Насмъшка и укоръ его въ такихъ случаяхъ не имъли вида праздной потъхи надъ человъкомъ, а скоръе обличали внутрениее страданіе, которое чувствовалось и въ звукѣ его изиѣнившагося голоса, и въ горькомъ выражении его обыкновенно кроткаго лица. Вообще Станкевичь не понималь легкаго, такъ-сказать, поверхностнаго обращенія съ людьми. Никогда но говориль онъ съ человъкомъ для того, чтобъ сдълать намекъ или отвътъ третьему, посторони ту лицу; относился всегда прямо, откровенно въ собесъднику, и з ность, сивемъ выразиться, всвхъ его целей и памереній составляла одну изъ многихъ причинъ его сильнаго вліянія на уми. Онъ не имълъ понятія о грубомъ наслажденін, которому иногда поддаются и люди съ благородным в характеромъ, —наслажденін пробовать свои силы на другомъ, менфе развитомъ человфив, и испытивать мфру своихъ способностей по сравнению съ слабостию ихъ въ ближиемъ. Стапкевичу, напротивъ необходимо было прежде всего установить и жкотораго рода правственное равенство съ собеседникомъ, и вогда этого равенства въ разговоръ не доставало, опъ принимался создавать его. По высокой стидливости ума, отличающей изящныя натуры, чувствовать себя господиномъ значило для него унижать себя. Разговоръ его въ сущности быль не что иное, какъ исканіе той благодатной искры, которая способна озарить душу человъка. Онъ такъ навыкъ въ этомъ, что, по замъчанію его знакомыхъ, сдълался несравненнымъ мастеромъ дъла: общее свидътельство о сильномъ, иногосторониемъ его умъ преимущественно зиждется на этой способности разбирать душу собесединка, при слабомъ мерцанів, которое она издаеть вокругь себя. Дъйствительно, падо много ума, и притомъ не книжнаго, для подобной задачи, да сверхъ того надо еще участіе поэзін, вдохновенной отгадки. На этомъ пути Станкевичь не останавливался даже передъ самымъ ограниченнымъ уиственнымъ или правственнымъ развитісять, потому что опъ вършла въ дуту человъка и въ необъятность ея силъ вообще. Послъ всего сказаннаго, уже легво принять единодушное свидетельство его близкихъ знакомыхъ, что разговоръ со Станкевичемъ всегда быль довлома,

о чемъ бы онъ не шелъ, что бесъда его обывновенно поднивала иножество вопросовъ въ глубинъ сознанія, и что послъ каждой такой бесъды слушатель чувствовалъ какъ-бы прибытовъ новыхъ нравственныхъ силъ. Въ дополненіе слъдуетъ сказать, что Станкевичъ не зналъ за собой того рода творчества, какое постоянно обпаруживалъ: онъ только жилъ, какъ ему суждено было жить, и не инълъ понятія о томъ, какъ отражается его жизпь на другихъ. Если совокупить всъ эти разбросанныя черты въ одно цілое, то памъ легко объяснится степень и сила его вліянія на самые проницательные и энергическіе умы, находившіеся, между другими, въ обывновенномъ его кружкъ, куда приносилъ онъ мысль и чувство свое безъ всякой утайки.

Кругъ Станкевича получилъ весьма важное развитіе, какъ въ матеріальномъ отношеніи, вслідствіе прибытія новыхъ членовъ, такъ въ правственномъ—вслідствіе того, чго прежнее трепетное и радостное предчувствіе жизни уступило місто обсужденію и разбору ся явленій.

Мы не будемъ говорить о литературныхъ заслугахъ Бълпискаго, оставляя трудъ этотъ его біографу; но насколько словъ объ отношеніяхь его къ Станковичу приходятся здісь къ місту. Білинскій, въ многоразличныхъ видоизмъненіяхъ своей мысли, оставался постоянно энтугіастомъ, чъмъ и объясняется страстная увлекательность его статей, даже самыхъ отвлеченныхъ, какія писаны имъ были въ 1838-40 годахъ. Крайности, которыя встрачаются у него, совершенно незпакомы людямъ, нифющимъ еще много другихъ занятій, кромф предмета, выбрапнаго ими, такъ сказать, оффиціально для своихъ упражненій. Зато Вълинскій уже не способень быль въ вътреннымъ словамъ: кавъ статън, тавъ и самый разговоръ его носили следы тъхъ глубокихъ бороздъ, по воторымъ узнается невидимая, напряженная работа головы. Каждое изъ литературныхъ убъжденій своихъ онъ исчернывалъ вполив, не утанвая ничего, что въ немъ заключалось, и не входя ни въ какія сдфлки съ своею совфстію и съ мифніями противниковъ.

Мы имъемъ свидътельство, напримъръ, что Станкевичъ первый открылъ въ стихотвореніяхъ одного нашего ученаго, именно С. Шевырева, недостатокъ поэзін, а въ критическихъ его статьяхъ недостатокъ логики. Открытіе это поразило и огорчило Бълинскаго, который имълъ другія убъжденія. Можно сказать, оно подъйствовало на него бользненно: такъ тяжело было ему разставаться съ своимъ понятіемъ о человъкъ. Онъ тотчасъ принялся за повърку догадокъ Станкевича и убъдившись въ истинъ ихъ, уже вышель открыто съ своимъ сужденіемъ, принявъ и всю отвътственность за

него на себя. Авторитеть противника быль тогда очень великь, и кто знасть, какъ тяжела бываеть вногда у нась ответственность за нарушение литературнаго спокойствия въ какомъ-либо самодовольномъ кружка, тотъ пойметъ важность подвига. Далтельность человъка, подобнаго Бълинскому, конечно, цънима била Станкевичемъ по достоинству, но онъ не любилъ слишкомъ разкаго слова, воторое, по его мевнію, не вполив передаеть и ту часть истипы, какая вызвала его на свътъ. Станкевичъ противодъйствовалъ туткой и совътонъ врожденной горячности Бълинскаво, изъ желанія открить ему по возможности обшириватиее поприще двиствованія, чему излимняя энергія, по его мевнію, полагала препятствія. Станкевичь не любиль вообще всего, что порывисто, что носить печать одной воли человъка, хотя бы и энергически настроенной къ истипъ и добру. Такъ же точно Станкевичъ не понималь гитва въ борьбъ съ ложнинъ: -- невольное раздражение, которое оно обикновенно производить въ человъкъ, разръшалось для него все безъ остатка обсужденіемъ предмета. Этихъ словъ довольно, чтобъ угадать характеристическія отличія двухъ замъчательныхъ людей. Станкевичъ быль служителемъ истины въ чистой, отвлеченной мысли, въ примъръ своей жизни, и нивогда не могь бы служить ей на буйной приаркъ современности: различіе характеровъ послужило однакожъ къ закръпленію связи между пими. Мы знасиъ, что Бълинскій съ благоговъніемъ вспоминалъ о Станкевичъ въ послъдній періодъ своей дъятельности. Его пылкая душа, въ которой было иного нъжности, много даже тонкой деликатности, прошла сквозь тяжелий гисть обстоятельствъ, почти неизвъстный его товарищамъ и друзьямъ. Овъ получиль совствив другое воспитание, чтив они, и это суровое, усдиненное воспитаніе закрыло душу его твердымъ панцыремъ. Первый, пробившійся сквозь эту кору, отыскавшій душу его, угадавшій ея способность къ симпатін и жажду сочувствія, первый успоконвшій ее своимъ млгкимъ, благороднимъ и теплимъ участіемъ-билъ Станкевичъ. Свътлый ликъ Стапкевича жилъ съ Вълипскимъ до конца, и конечно иного способствоваль къ устройству безукоризненно-чистаго его характера, которому отдають справедливость и самые литературные врави его  $^1$ ).

По прекращение «Телескопа» въ 1836 г., Вълпискій оставался безъ постояннаго занятія. Однажды онъ даже собирался такть заграницу, въ вачествъ домашняго учителя, съ вакимъ-пибудь семействомъ. Осенью 1836 года, когда Бълпискій находился въ деревит

<sup>1)</sup> Единственный порядочный портретъ Станкевича, акварелью, принадлежаль Вълинскому и пензишню находился въ его кабинеть, составляя и лучшее украшеніе, в Чкость трудовой его комнаты.

одного изъ своихъ пріятелей, наслаждаясь въ донашесяв кругу его, нивышень значительную долю вліянія и на многих другихъ, Станковичъ совътоваль ему до поъздки за-границу заняться итмецкичъ языкомъ. Письмо его исполнено выраженій самой въжной дружбы. Представивъ всв обывновенные доводы въ пользу изученія философскихъ, системъ нъ самыхъ источникахъ, Станкевичъ заключаетъ его словани: «...Потонъ воротимься въ Русь — и тогда будь чёнъ хочеть, хоть журналистомъ, хоть альманашинсомъ-все будеть хорошо, только будь посмирние. > Можеть-быть, еще сильные выражаются глубовое сочувствие въ Бълинскому и трогательное участие въ судьбъ его другинъ письмомъ, принадлежащимъ той же эпохъ (21 сентября 1836) и писаппымъ уже не къ нему самому, а о немъ. Прилагаемъ его здъсь. «Вълинскій отдыхаеть у Вакуниныхъ отъ своей скучной, одиновой... жизни. Я увъренъ, что эта поездка будетъ ниеть на него благодътельное вліяніе. Полний благородныхъ чувствъ, съ здравымъ, свободнымъ умомъ, добросовъстный, онъ нуждается въ одномъ только: на опитв, не по одпинъ понятіянъ, увидъть жизнь въ гармонін внутренняго міра съ висшиниъ, — гармонін, которая казалась для него педоступною до сихъ поръ, но которой онъ теперь въритъ. Какъ смягчаетъ душу эта чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизии! Глубоко понималь Шиллеръ все лучшее въ Вожьемъ творенія. Мужчина грубъ въ своей добродівтели, всів благородные порывы души его носять какую-то печать цинизма, какую-то жесткость; въ немъ больше стоицизма, нежели христіанства, нежели человичества. Только вліяність женщины, вліяність семейных отношеній — это благородное, сильное, но все немного деспотическое чувство долга обращается въ отрадное чувство любви; сознаніе добравъ непосредственное его ощущение...> Впрочемъ, планы, составленные Вълинскияъ для своей жизни и вызвавшіе такое горячее участіе Станкевича, всв почти рушились. Съ 1834 г. опъ нашелъ занятіе, соотвітствовавшее его наклонностянь: онъ приняль редакцію журнала «Московскій Наблюдатель», где гегеліянское воззреніе, подготовленное промежуткомъ трехъ латъ, съ 1835 по 1838, получило весьма большое мъсто. Станкевичъ находился уже тогда въ Берлиић.

Авторъ стихотвореній, поміченных буквою— в—И. П. Ключенковъ представляль совершенную противоположность съ Візлискимъ, относительно характера. Наділенный въ замічательной степени остроуміємъ, опъ игралъ между друзьями почти ту же самую роль, какую одно время занималъ Меркъ въ кругу Гёте. Онъ былъ Мефистофелемъ небольшого московскаго кружка, весьма зло и вдво подсмінавлясь надъ идеальными стремленіями своихъ пріятелей. Онъ былъ, кажется.

старже вску своих товарищей, часто страдаль ипохондріей, но жертвы его насившливаго расположенія любили его и за веселость, вавую распространяль онъ вокругь себя, и за то, что въ его причудивыхъ выходкахъ видели не сухость сердца, а только живость ума, замъчательнаго во многихъ другихъ отношеніяхъ, и иногда истипный юморъ. Какъ бы то ни было, но нъкоторыя эпиграмин Кл., направленныя на педантство и низость побужденій, могутъ считаться образцовыми въ своемъ роде по меткости и соли, въ нихъ заключенной. До сихъ поръ сохранились въ павяти тогдашнихъ знакомыхъ нъсколько словъ Кл., имъвшихъ большой успъхъ въ кругу друзей, и действительно остроумныхъ, какъ напримеръ, то, которое относилось въ Станкевичу. Станкевичъ, часто восхищавшійся тою или другою чертою въ характер'я своихъ знакомыхъ и добродушно завидовавшій ихъ достоинствамь, вызваль у него замізчаніе: «Это серебряный рубль, завидующій величинь выднаго посеребреннаго пятака». Кл. написаль также въ стихахъ: «Обозръніе всемірной исторін», въ которомъ, по увфренію слышившихъ, далъ полную волю своему остроумію. Извфетно, что Станкевичъ читалъ вивств съ нимъ сперва Шеллипга, потомъ Канта, но вскорв бросиль это запятів сообща, потому что, вифсто обсужденія, Кл. останавливался въ серединъ параграфа, предлагалъ свои замъчанія и морилъ со смъху вообще смъшливато Станкевича. Лирическія произведенія Кл., помъченим буквою-е-, начали появляться въ журналахъ позднёе, съ 1838 года, уже по отъёздё Станкевича за-границу. Въ нихъ и слёда нётъ того юмора, которымъ авторъ ихъ оживляль прежде прінтельскія бесбум. Нелишенныя накоторыхъ своего рода достоинствъ, эти пьески запечатлены характеромъ отвлеченности, туманности и иногда какой-то слезливой сентиментальности. Въ нихъ чувствуется ипохондрическое расположение и бользиенияя экзальтація, къ которой привилось развившееся, подъ вліяніемъ тогдашивхъ изученій Гегелевой системы, направленіе примирять противоположности и разръшать диссонансы. Стихотворенія — в — именно отличаются какою-то наприженною и искусственною примирительностію. Болье ми не считаемъ себя въ правъ говорить объ ихъ авторъ, къ сожальнію, слишкомъ рано отказавшемся отъ литературы и общества, которыя, по убъжденію людей, близко внавшихъ его, еще могли многаго ожидать отъ него. .

Мы упомянули разъ о топъ дилеттантъ философіи, извъстномъ В., который перешелъ мало-по-малу въ одного изъ самыхъ жаркихъ ся поклонниковъ. Положенія и истины ся, какъ и самыя разысканія въ этой сферъ, сдълались его жизнью, между тъмъ какъ Станкевичъ былъ поминутно развлеченъ всъми явленіями общества, искусства,

природы и проч. Дилеттантъ, обратившійся въ ревностнаго изсліждователя, вскоръ пріобръль дарь блестящаго изложенія, который сообщаль ему нічто похожее на роль провозвістника философскихь истивъ. Къ нему прибъгали при всякомъ подоуманіи, затруднительномъ вопросф, случайномъ нерерывф идей, и пояснительная рфчь его тевла блестящею випровизаціей. Разумвется, туть не могло быть вакого-либо самобитнаго ученія, да и никто не дуналь о томъ; но онъ обладалъ особеннымъ даромъ, похожимъ на творчество, именно даромъ переработывать все вичитанное и узнанное въ собственную инсль, такъ что онъ самъ казался почти изобретателемъ и родоначальниковъ поясияемаго имъ метода. Роль водчаго, которую человъкъ этотъ игралъ въ отношеніи каждаго, такъ или иначе накопившаго сирой, необдъланный матеріаль, имъла своего рода неизбъжныя и тяжкія условія. Вся жизнь являлась передъ нимъ сквозь призму отвлеченія, и только тогда говориль онь о ней сь поразительнымь увлеченісять, когда она была переведена въ идею. Все случайное, игновенное, самобытное жизни было ему гораздо менъе доступно, хотя усиліями обширнаго, действительно необывновеннаго ума онъ успъвалъ возводить до понятія убъгающія поэтическія черты жизип н такимъ образомъ овладъвать ими, но при этомъ они уже многое теряли, и иногда то самое, что составляеть ихъ существенную особенность. Станкевичу оказаль онъ важную услугу: онъ оковаль и охолодилъ его живую, подвижную фантазію, на сколько могь и на сколько нужно было для правильного труда подъ наукой мышленія; опъ пріучиль его къ самообладанію въ кінятіяхъ и, такъсказать, въ искусству соблюдать порядокъ нежду идеяни 1). Оба онп находились тогда подъ властію світлаго романтическаго настроенія, но первый наслаждался полнотой и сущностію мысли, между тынъ какъ для второго съ мысли только еще начиналась возможность счастливаго состоянія, а само счастів находилось въ жизни, въ отвошеніяхъ въ правственнымъ предметамъ ся. Немаловажное отличіс между ними состояло и въ томъ, что никакое отвлеченное понятіе не могло потревожить и огорчить перваго: оно у него ложилось на умъ, между твиъ какъ второй весьма часто страдалъ понятіями: они ложились на всю основу его нравственнаго существа. Мы имвемъ подтверждение этому въ одномъ любопытномъ письмъ Станкевича, отъ 21 априля 1836 года. Прошлый годъ, какъ уже знаемъ, на-

<sup>1)</sup> Пріятели иногда живали (1935—1837) вийстй, и часто Станкевичь прерываль долгія утреннія занятія друга, влетая въ нему въ комнату съ кочергой и представляя старуху съ метлой, которою овладіваеть невольная пляска подъ звуки волшебной флейти. Онь передаваль фигуру изъ пантомими "Волшебная Флейта", неріздко являв-мейся на сцені московскаго театра.

чался для Станкевича полнымъ сознавіемъ своего призванія и дівла, предстоящаго ему въ жизни. Следующій за темъ быль посвящень непрерывнымъ философскимъ занятіямъ; но до весны этого года Станкевичь еще стояль на изучени Канта, какъ родоначальника современнаго движенія германской философіи вообще. Тогда наступила очередь Фихте. Послъ тревожной зимы въ Москвъ, Станкевичъ, собираясь на Кавказъ, завзжаеть къ себъ въ деревию, а на дорогу беретъ впервые книгу Фихте: «Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen». Мысли и впечатленія, возбужденныя этихь серьёзнымъ чтенісмъ на почтовомъ трактів и въ дорожной бричків, передаеть онь пріятелю своему следующимь письмомь: «Мценсвъ, 21 априля 1836 года. Другь! Гди я? — ты знаешь изъ верхней строки. Что яз право не знаю, съ тъхъ поръ, какъ прочелъ о назначения человъка; можетъ-быть, болье узнаю, когда прочту последнія странички; а до тъхъ поръ числюсь подъ именемъ средняго между Перинные и Кругомъ. Не знаю, что будетъ со иною. Wissen произвело мит такой сумбуръ въ головъ, возможность котораго я и не подозръвалъ; оно повергло меня въ такое странное, болъзпепное состояние неръщительности... сомнъния, что я мучился и не находилъ средствъ вийдти изъ него. Теперь уже нельзя остановиться, теперьвпередъ! Ифтъ! Знанія! Возможно отчетливаго знанія! Такъ топко, такъ удовлетворительно превратить весь міръ въ модификацію мисли, самую мысль сделать модификаціей накого-то неизвестнаго субъекта, а мысль объ этомъ субъекть опять чынкъ-то созданиемъ; построить изъ законовъ ума цълый міръ призравовъ и изъ ума сдълать привракъ — и все такъ отчетливо.... Гдв же теперь спасение для ума? Это сомнъние можетъ быть спасение.>

«Мало-по малу улегся хаосъ въ головъ моей, и въ немъ я вижу снова зародишъ созданія. Читая Кантово доказательство существованія вившихъ вещей, я подозръваль его несправедливость: какивъ-то страннымъ движеніемъ эгоизма подавлялъ возраженіе ума, — и здъсь нашель, что думаль. Изъ Фихте я уже провижу возможность другой системи; но эта подвинула меня из утпышительной мысли безсмертія. Впрочемъ это сочиненіе весьма недостаточно для узнанія его системи: оно только наменаеть на нее.>

«Дорогою въ бричев окончилъ я Wissen и сталъ читать Glauben. Вечеръ былъ прекрасный, но тяжкое состояние совершенной неизвъстности—не давало инв имъ пользоваться. Мив какъ-то чужда, какъ-то мертва казалась эта природа, призракъ меня самого; все было об-манчиво, враждебно. Напрасно старался я убъдить себя, что во

всень этомъ должна быть своя сообразность съ цвлію, свое доброэти инсли были для меня слишкомь убидительны и слишкомъ
новы, чтобъ я могь овладить ими по-своему. Теперь только я
мярюсь съ неми. Всв утвинтельныя мысли жизни — подвигь, искусство, знаніе, любовь — все теряло для меня значеніе, самъ не знаю
почену. Это состояніе прошло, но тінь его еще лежить на минь.
Уже я вірю успіху мысли и успіху знанія; но все, что касается
до меня, вся будущность моя представляется минь въ какомъ-то
холодномъ, непріязненномъ світі. Это бывало со мной и пройдеть!
Только скоріве въ деревню, въ поле, за діло и за гульбу 1).>

Не даромъ Станкевичъ сообщалъ другу такъ подробно и такъ красноръчиво картину душевнаго своего разстройства. Именно въ подобныхъ случаяхъ не было человъка, болъе способнаго разогнать мракъ, опустившійся на сознаніе, поднять силы человъка и облегчить гнетъ идей, еще не потерявшихъ матеріальной доли тяжести отъ объясненія ихъ. Здъсь дилеттантъ философіи былъ на своемъ мъстъ, и тотъ родъ творчества, который былъ ему свойственъ, проявлялся въ подобныхъ случаяхъ блистательнымъ образомъ. Вотъ почему съ такою охотой и съ такимъ рвеніемъ отвъчалъ онъ на всякій призывъ недоумфнія.

Принявъ за правило говорить въ нашемъ біографическомъ очеркъ единственно о твхъ лицахъ, которыя уже завершили свою двятельность и сошли съ поприща, им руководствовались важимиъ сообратолько такія лица представляють собою полноту женіемъ, что правственнаго выраженія, необходиную для приблизительной оцфики человъческаго существованія. Въ этомъ смыслѣ заслуживаеть упо-меновенія еще одно имя—имя поэта Кольцова. Жизнь и отношенія этого человъка къ кругу Станкевича изложены въ мастерской біографін, украшающей старов и новов изданів его стихотвореній. Приведень въ дополнение къ ней только одну черту: Кольцовъ обыкновенно останавливался въ квартиръ Станкевича, когда случалось ему пріважать въ Москву. Изв'ястень его практическій смысль и глубокая наблюдательность, танвшанся подъ покровомъ скромности и наружной простоты; но гораздо менъе извъстно вліяніе на него со стороны людей, съ которыми познакомился онъ въ домъ Станкевича. Несомившио, что опо ослабило всв тв привычки, которыя и вкрамон инканти стородной и общемъ народномъ понимании ремесла и торговли. Онв уже перестали составлять необходимую принадлежность его жизни и дали возножность смотрёть на нихъ пронически, отдъльно отъ себя, чъмъ объясняется и расположение Кольцова часто затрогивать этотъ предметь въ своихъ разговорахъ. По нашему,

<sup>1)</sup> То-есть за долгія охогинчы прогулки.

это последнее обстоятельство свидетельствуеть уже о свободе, накую онъ пріобрадь въ отношенія къ правильной ихъ оцінка и вравственному пониманію. Изъ переписки Кольцова, которая, къ сожальнію, еще не скоро пожеть быть обнародована, открывается и другой, весьиа заивчательный психическій факть. Впечативніе, произведенное на него философическими опредвленіями жизни, природы и понятій, сильно потрясло творческую способность его и на время остановило ея двательность. Долго не могъ онъ обрасти того непосредственнаго взгляда на міръ, который составляеть сущность его поозін в открываеть тайны народнаго представленія образовь и поэтическихъ идей. Размышленіе заступило мъсто созерцанія, спутало н затмило его. Но природа Кольцова, сильная во встать своихъ проявленияхъ, побъдила новые элементы, которые на время остановили ея правильную діятельность. Онъ обратиль въ свое добро вопросы, возникшие тогда передъ нимъ, чему свидътелями остаются нъкотория изъ его дунъ 1). Онъ овладълъ разнишленіенъ, какъ художнивъ, в послъ игновенняго перерыва, вышелъ со стихотвореніями, которыя уже далеко оставляли за собой тв восьмиадцать пьесь, какія отобраны были въ 1835 г. Станкевиченъ и тогда же изданы имъ особою внижвой 3). Знавоиство съ философскими началани, даже отрывистое, случайное и неполное, задержавъ на время фантазію его, потомъ возвысняю ее, и действіе этихъ попытокъ философскаго образованія походить, въ приложеніи въ Кольцову, на обильний дождь, клонящій къ вемлю растительность для того, чтобъ

<sup>3)</sup> Думы Кольцова, особенно 1836 года, когда онъ ихъ особенно иного произвель, могутъ подтвердить сказанное нами, хотя въ ифкоторыхъ, наиболфе удачнихъ, онъ показалъ необминовенную силу, разрфшивъ довольно счастливо трудифшую задачу искусства: выразить поэтически отвлеченную мысль. Вообще же 1836 годъ быль для него тфиъ годомъ колебанія таланта, о которомъ мы говорили, и это проявляется, кромф думъ, и въ стихотвореніяхъ другого рода. Только съ последнинъ изъ никъ по времени, именно съ пьесою: "Косарь", поэтъ опять становится саминъ собою, но уже съ удвоенною силой таланта, и чфиъ далфе идетъ, тфиъ растетъ все болфе, до 1842 года, когда геній его, подъ ударами болфзин и обстоятельствъ, ослабфваетъ сновъ. Кстати сказать, что задушевный другъ молодости Кольцова, Серебрянскій, первый его цфинтель, кризикъ и восинтатель его эстетическаго чувства, быль тоже шеллятисть, какъ оказывается изъ статьи его: "Мысли о музыкъ".

<sup>2)</sup> Въ "Литературной Газеть" 1831 года, томъ 13, № 34, им находинъ одно стихотнореніе Кольцова "Перстень", посланное Станксвиченъ въ редакцію тогда же, и при немъ слідующую выписку, свидітельствующую о томъ, какъ рано сталь онъ заботиться о распространеніи извістности нашего позга. Воть выписка: "Півсию сію издатель получиль изъ Москви при слідующей запискі: "Воть стихотвореніе самороднаго позта, г. Кольцова. Онъ воронежскій ийщанинъ и сму не боліе дваддати літь отъ роду; нигді не учился и, запитий торговими ділами по порученію отца, вишеть часто дорогою, ночью, сиди верхомъ на лошади... Познакомьто читателей "Литературной Газети" съ его талантомъ. Н. С—чъ".

она бодрће випрямилась и свћиће цвћиа. Вообще эта впоха представляеть любопитећешую и не тронутую часть въ исторіи образованія Кольцова и его творчества.

Мы не станенъ излагать сущности того ученія, которое связывало всехъ этихъ людей нежду собою. Для этого, какъ и для болье полнаго изображенія ихъ характеровъ и взаниныхъ отношеній, надо нивть въ виду другую цель, а не простой біографическій очеркъ, и самый трудъ долженъ имъть иныя условія. Станковичъ и другья его жили въ блаженныхъ Елисейскихъ поляхъ упозрвина. гдв всв предметы земного міра вращались просветленные, въ безплотной оболочив мысли, и юные мыслители выходили оттуда за твиъ только, чтобъ бороться съ грубниъ, илтеріальнинъ понинанісмъ вещей. Довольно замічательно, что въ 1838 году, когда начала Гогеловой философіи стали прилагаться у насъ къ искусству и вообще въ способу воззрънія на жизнь (см. «Московскій Наблюдатель» 1838), Станкевичъ, въ Берлинъ, и нъкоторые товарищи его, у себя въ отечествъ, принимались только за азбуку всей системы, за первое звено ея - логику. Но такова была судьба всёхъ наукъ въ Россіи. Прежде источниковъ необходино было вообще познакомиться съ духомъ науки, требовалось пробудить въ массф публики мыслительное любопытство и уже потомъ направлять его къ санынъ источниканъ.

У насъ много сивялись надъ туманностію отвлеченныхъ теорій взящнаго и надъ изложеніемъ философскихъ ученій, какія стали появляться съ 1838 года 1). Сивхъ этотъ былъ и несправедливъ, и легкомисленъ. Не маловажны были попытки указать законы творчества въ свътъ непогръщительнаго отвлеченія, и тъмъ самымъ по-дорвать, или по крайней мъръ ослабить довъренность въ мизніямъ, основаннымъ на одной прихоти человъка. Не маловажно было усилить требованія публики отъ литературныхъ произведеній и вообще отъ предметовъ, подлежащихъ ея обсужденію, познакомивъ читателя

<sup>1)</sup> Можно указать на четыре переводимя статьи, составляющія, такъ-сказать, жилы, по которымъ иймецкія метафизическія возорднія притекли въ нашу литературу. Двъ взъ вихъ напечатаны были въ "Телескопъ" 1835 и двъ остальныя въ "Московскомъ Паблюдатель" 1836 года. Къ числу первыхъ принадлежить статья о Гегель, помъщенная Станковичемъ и уже чами упомянутая. За ней следоваль переводъ лекців Фихте "О пазначенів ученыхъ" ("Телескопъ" 1835, часть 29, № 17). Далье въ "Московскомъ Наблюдатель" были статьи: "Гимпазическія рычи Гегеля", съ предисловіемъ переводчика (1838, мартъ, кинжка І, часть XVI) и "О философской критикъ художественнаго произведенія", тоже съ объясненіемъ отъ переводчика (май, книжка ІІ, часть XVII). Винмательный читатель найдеть въ выборъ и содержанія статей последовательность, соотвытствовавшую степеннять развитія щей въ кругь Станкевича. Вълнискій издаль въ 1838 году ісего 12 книжевъ "Наблюдателя", съ 1-го марта во 1-е сентября.

съ ихъ ндеальникъ представлениемъ и показавъ, какъ они могутъ бить поняти отвлеченною мислію. Да и самий процессъ мишленія, на который тогда же обращено било вниманіе публики, есть, что би на говорили, первая ступень къ самонезнанію, и, можетъ-бить, знакомству съ нимъ ми обязани невидимою преградой, къшающею успъху мелкихъ мислей и мелкихъ страстей на поприщъ современной намъ литератури.

Въ эту эпоху господства философскихъ опредвленій, они отразились, какъ и следовало ожидать, не на одной только уиственной дъятельности Станкевича, но захватили въ кругъ свой и такія стороны жизни, которыя всего менье способны подчиняться имъ. Такъ было, напримиръ, съ послиднею любовью Станкевича, начало которой относится къ этому времени. Прежнее восторженное отношение къ жизни миновалось. Тогда онъ еще не вналъ, чего хотелъ, и потому хотель небывалаго и неизмеримаго. Теперь порывы къ какому-то необъятно-полному существованию улеглись; душевныя стремленія и фантазія обрали свои граници, а съ грапицами — разумность и положительныя цели; но съ первымъ земпымъ существомъ, которое явилось, какъ отвътъ на тайние призыви сердца, у Станкевича начинается работа философской повърки и опредъленія страсти. Мы остановнися на этой подробности, такъ какъ она служитъ дополненісмъ къ картинь его жизненной діятельности, и по формы, принятой ею въ своемъ развитів, показываеть еще любопытный приифръ сочетанія чувства и поэзін съ разлагающинъ анализонъ и размышленіемъ.

Възянваръ 1835 г. Станкевичъ послъ деревенской жизии, описанной въ предшествующей главъ, прівзжаеть въ Москву, и здівсь, съ нарта мъсяца того же года, начинается завязка довольно длинной сердечной исторіи, прошедшей черезъ самыя разнообразныя перипетін. Предметь, выбранный ниь тогда, быль достоннь его. Нравственная красота дівнушки не выражались бойко и осліпительно, а, напротивъ, теплилась ровно и тихо подъ покровомъ дътской ясности сердца и безсознательной женской граціи. Вийсти съ типь ей не были чужды особениныя требованія отъ жизни, разділисныя всіми молодыми членами того семейства, къ которому она принадлежала. Требованія эти пельзя иначе пояснить, какъ сказавъ, что въ сущности они были нереводомъ всвуъ обыкновенныхъ условій человівческой природы на мистическій языкъ сердца и воображенія. Такое истолкование вовсе не есть что-нибудь исключительное; оно, напротивъ, явленіе замъчаемое въ каждомъ образованномъ кругу; особенности оказываются только въ формахъ подобнаго истоякованія жизни, и всего болье въ той мъръ, какая при этомъ соблюдается. Но иные члени этого семейства предавались двлу инстическаго и полуфилософскаго изъясненія жизненныхъ явленій съ неутомимою энергіей,
съ изумительною двятельностію: довъренность къ своимъ представленіямъ міра была туть безграничная; убъжденіе въ ихъ двйствительности сліно, непоколебимо и часто въ словів, нечаянно вырвавменся у человівка, въ звукі мелодія, въ мимолетномъ явленіи природы, открывался для молодыхъ энтузіастовъ міръ необъятний, недоступный выраженію, но сильно чувствуємый. Жажда открыть духовное начало всего сущаго и погрузиться въ него была истиннонеутолимая. Надо, однако, сказать, что въ такомъ общемъ направленіи близкихъ ей мицъ, дівнушка, избранная сердцемъ Станкевича,
отличалась своріве переничивостію, чімъ изобрізтательностію въ этомъотношеніи. Она жила съ изящною простотой въ разноцвітной оболочкі догадокъ и предчувствій, которая создана была окружающими
для вакрытія грубой, матеріальной стороны земного міра.

Въ томъ самомъ домъ, гдъ незадолго еще происходили сцены ревности и недоразумъній нежду Станковиченъ и восторженною посвоему девушкой, преследовавшею въ немъ свой идеалъ, о чемъ мы говорили въ прошломъ отдёле, сблизился онъ съ другою особою, которая стройные воплощала романтическія побужденія сердца при зарождающейся привязанности. Въ началъ марта 1835 г., онъ, кажется, уже нивав причины предполагать сочувствое къ себв, потоку что въ письмъ отъ 13-го числа говоритъ съ восторгомъ и радостію, обличающими смутную надежду... «И четыре эти дня могли бы быть эпохою жизни, еслибъ все то, что я услышалъ въ это время, было правда. Не скажу ни слова — горестно будеть разувъриться, а я почти разувърился. Но, другь мой, еслибъ это была правда, еслибъ это была правда, еслибъ это было возможно—новая жизнь началась бы для меня. О, какъ созналъ я Провидение въ ту минуту, когда мив сказали это!> Неожиданный поступовъ молодой энтузіастки, бывшей его поклонници, приходится въ этому времени. Она рашилась именно подарить новой соперинцъ своей то счастіе, котораго сама искала, указала ей возможность сближения съ непокорнымъ своимъ идеаломъ и подкрапила ен начинающуюся любовь; но такъ какъ все это было даловъ насилія своей природы и воспаленной голови, то вскор'я все и рушилось. Не прошло и ивсяца, какъ она лежала въ постели въ полномъ нервическомъ разстройствъ. Вилоть до новаго отъезда въ деревню (въ іюль 1835), Станкевичь, больной и присужденный, вежду прочинь, пить минеральныя воды, остается подъ обаяніемъ этого великодушнаго поступка. Онъ выдумываетъ для себя обязап-ности, налагаетъ цъпи на всъ постороннія побужденія, движний однямъ высовниъ чувствомъ своего долга. Эта тяжелая служба поиятію о чести и достоинствъ человъка — заслоняетъ на время даже образъ новой привязанности: Станкевичъ боится жхать въ Петербургъ, гдв тогда, кажется, находилось семейство последней, изъ опасенія разбудить чуткую подозрительность сопериицы и подать новый поводъ къ самоотреченію и страданіямъ. Переписка его до отъезда въ деревню представляетъ непрерывную цепь намековъ, въ которыхъ хорошо отражается эта борьба съ обътомъ, принятымъ на себи по чувству великодушім и столь же мало удовлетворявшимъ его самого, какъ и то лицо, въ чью пользу онъ былъ сдъланъ. Только въ декабръ 1835 переполияется для Станкевича мъра спискожденія и уступчивости. Онъ начинаетъ понимать все, что есть оскорбительнаго въ непрошениихъ жертвахъ, неделикатность ихъ и посягательство на самостоятельность человъка. «Я не могу слышать какого-инбудь памека равнодушно, пишетъ окъ отъ 2-го декабря, какого-цибудь великодушнаго упрека... Ты представить себв не можешь, какъ инв надовли всв эти пустяки: запутать себя въ пихъ такъ обидно, такъ унизительно. > Правда и то, что къ этому вренени относится и рашительный повороть его къ другому лицу драмы, хотя потреблость здравой простоты и трезвости въ людскихъ свошеніяхъ способствовала не мало къ прекращенію этой опасной игри тончайшими чувствами человъческого сердца.

Итакъ, въ іюлъ 1835 г. Станкевичъ увзжаеть въ деренню; но туть образь новой привязанности вступаеть во всв права свои, забытыя на меновеніе, и является ему во всей свіжести, какую сообщаетъ предметамъ уединенное воспоминание. Напрасно Станкевичъ, върный правилу строгаго присмотра за собой, подвергаетъ допросу чувство свое, - оно преследуеть его и гонить изъ деревии. Высеятябръ того же года онъ уже является опять въ Москву, увъряя какъ петербургскаго друга своего, такъ и самого себя, что будетъ продолжать путь до сфверной столицы, но вийсто того онь неожиданно переміннеть наміреніе и увзжаеть въ деревию, гдів жило семейство молодой особы, оковавшей его мысль. Въ нисьмів въ И. М. Невърову, извъщая объ этомъ ръшеніи, опъ прибавляеть, какъ-бы оправдываясь передъ строгинъ, взыскательнинъ своинъ другонъ: «Можетъ-быть; я возвращусь даятельное и какую-пибудь потеряпную неделю вознагражу въ три дия. Но уже дело шло совсемъ не о потеръ премени, а объ отвътъ на требования души, успъвшей воспитать новую любовь.

Что происходило въ деревенской жизни, принявшей этого, впрочемъ, ожиданнаго гостя, — им не знаемъ. Знаемъ только, что 26-го октября Станкевичъ возвращается въ Москву, но уже со всъме признаками утраченныхъ надеждъ и мечтаній. «Да... пишетъ онъ

сь дороги, чизъ Торжка, петербургскому пругу, и похоронивъ свою последнюю надежду въ жизни и съ этихъ поръ принадлежу долгу и дружбъ: вътъ для меня другихъ чувствъ». По прибыти въ Москву, онъ развиваетъ ту же самую мысль (письмо 10-го ноября) еще полвъе: «Грустно сознать, что тебъ нечего ждать отъ живни, что лучмая, любиная мечта твоя, съ которою ты сжился, погибла навсегда. Сначала я быль вит себя, ропталь, но это продолжалось не болте трехъ дней; я истощился въ борьбъ, и теперь душа моя въ летаргическомъ сив. > Онъ сравниваетъ потерю надежды на любовь съ потерей близкаго человъка, оставляющею душу въ какой-то страшной серединъ между привычкой върить въ его существование и безотрадною дъйствительностію. Та же бользнь сомньнія слышится въ его письмахъ и черезъ два ивсяца, хотя выраженія Станкевича уже гораздо спокойнье и умъреннье. Въ декабръ 1835 Станкевичъ пиметъ изъ Москви: «Это била фантазія, а не чувство во всей его силь, которое неистребино. Нельзя было разстаться съ этою фантазіей бевъ сожальнія, безъ муки. Я прожидь нысколько тяжелихъ дней, нізсколько мучительных в ночей. Пока я убіждался-мий было больные, нежели какъ я убъдился. Теперь змыя отъ сердца отпала...> Само собою разумфется, что естественный спутникъ всякаго сомивнія — правственная пустота пришла тотчась за предполагаеною утратой чувства. Станкевичь почувствоваль себя духовио-одиновимь, несмотря на важное значение, какое придаваль онъ дружов въжизни своей. Чтобъ избавить себя отъ апатіи, приближеніе которой опъ какъ будто слишитъ, Станкевичъ погружается съ необычайною энергіей въ науку и преимущестенно въ философскія изслібдованія. Къ этому времени припадлежать всв его живыя, превосходныя письмавъ Я. М. Невърову и Т. Н. Грановскому о философіи и исторіи. Можно подумать, что чемъ менев находиль онъ съ одной стороны твердой опоры въ жизни, тамъ сильнае искалъ ее съ другой — въ запятіяхъ. Въ таконъ состоянін духа онъ увзжаеть въ деревию, гдт и встрачаетъ новый 1836 годъ, вспоминая при этомъ одну подробность ребяческого своего возраста. Какой-то прикащикъ, начитавшійся нізмецких мистиковь, увібряль его тогда, что въ 1836 году свершится светопреставление. Станкевичъ утемалъ себя выслію, что это еще очень далеко, и что тогда ему будеть ужъ очень иного-зъть—двадцать два года. И вотъ этотъ 1836 годъ наступилъ, исполнилось двадцать два года: свътопреставление не пришло, и жизнь еще была впереди.

Вфроятно, уже многіе изъ читателей нашихъ замітили, что всів обіты одиночества и другія завібренія Станкевича свидітельствуютъ скоріве о мниутной задержків, такъ сказать, чувства, чіти о без-

возвратной потеръ его. Случайныя обстоятельства, которыхъ ин не знаемъ, отбросния любовь во глубь души, и Станкевичъ принялъ это за ел сперть, какъ иногда случается. Едва успъль онъ поселиться въ деревий, какъ тотчасъ же и покидлеть ес. 24 января 1836 г. онъ уже въ Москвъ в пишетъ воротепькую записочку Я. М. Невфрову, извъщая его о прибытів туда же и семейства, съ которымъ онъ уже теперь связанъ былъ своимъ сердцемъ. Онъ проводить въ Москвъ всю зиму и часть весны до мая мъсяца, и во все это время пишетъ не болве трехъ писемъ въ другу, изъ которыхъ въ последневъ воветь его уже съ собою на Кавказъ. Въ этихъ письмахъ Станкевичъ уже обходить всв подробности, касавщіяся настоящаго вопроса, весьма мало говорить о себь, какъ-би стыдясь опровергнуть такъ скоро прежнія свои завфренія, какъ будто робъя передъ откровеннымъ словомъ, чомъ должна также объясняться и несвойственная ему явность въ корреспонденція. Легко догадаться, что внутренній міръ его спова озарець и согреть любовью, которал никогда и не умирала въ его сердцъ. Дъйствительно, тутъ произошло сближение нежду нинъ и предметомъ его намыхъ удивлений, сближеніе, показавшее обониъ настоящее состояніе ихъ сердецъ. Послі: того путь, который имъ предстояль, повидимому, быль намвченъ ужъ очень ясно, начиная съ перваго слова любии и до последней цели взаниных откровеній брака по чувству. Самъ Станвевичь видель этоть бракь вдали какь необходимое следствіе новаго своего положенія, но опъ остановился именно передъ этипъ следствіемъ. Въ сущности оказалось, что страсть его еще не выросла до той міры, чтобъ подчинить совершенно его волю, подсказать твердое, непреодолиное рашение. Можетъ-быть, для этого не доставало ей очень немногаго, одной капли, по недостатовъ этой последней переполияющей капли уже заранве поражаль безсилість всякую рвшимость. Въ самой страсти Станкевича видинъ необыкновеннур добросовъстность. Находясь подъ вліяніемъ любимаго существа, исполненныго кроткой прелести, онъ, однако же, ворко проникаетъ умственнымъ окомъ слабыя сторовы собственнаго чувства и не хочетъ вступать съ нивъ въ мировую сдёлку, какъ поступиль бы всякій другой на его изств — и можеть быть съ большимъ благоразуміемъ. Но Станкевичъ руководствуется въ жизни не столько благоразуміемъ, сколько правдою. Избъгая самомальйшаго признака неискренности, Станкевичь начинаеть помышлять объ отъезде за-грапицу. Причинь для отъезда было, действительно, очень иного, начиная съ разстроеннаго здоровья и до необходимости окончить свое образованіе. Ини легко было прикрыть необходиность другого рода – необходямость положить конецъ отношеніямъ, которыя ему кажутся уже пе

совсить правдивини. Планъ отъйзда за-границу, по сенейныть обстоятельстванъ, не могъ осуществиться рание слидующаго года. Оставался Кавказъ, куда посийшно и отъйзжаетъ Станкевичъ въ най 1836 г., приводя въ исполнение мысль, если не о разрывъ, то по крайней мири о временной разлукъ.

Есля уже и сказанное нами носить признаки тонкихъ метафизическихъ определеній, то после свидетельства самого Станкевича, которое сейчасъ приведемъ, философское происхождение всихъ его водебаній становится несомивинымъ. Документь нашь интересень еще и твиъ, что заключаеть въ себъ воззрвнія и правственныя основавія большей части его московскихъ друзей. Это исповъдь не одного Станкевича, но и целаго круга въ тотъ періодъ, которымъ заниивенся. 31-го мая, передъ самымъ отправленіемъ своимъ на Кавказъ, въ одной изъ деревень отда, Стапкевичъ чертитъ следующія строки, адресуя ихъ тому дилеттанту-философу, который, какъ видели, жилъ. съ немъ иногда визств на одной квартира въ Москвв. Другъ этотъ хорошо зналъ тайны его сердца и тайны семейства, къ которому оно было обращено. Надо прибавить еще, что существенная часть письма написана по-нъмецки; но мы предлагаемъ здъсь читателю вървый переводъ его, хотя л съ нъкоторыми необходимыми пропус-Kann.

«Я не знаю, какъ назвать мою душу-совершенно пустою или только опустошенною. Опустошенною — но что же было въ ней прежде? Пустою — но пустая душа есть достояніе глупцовъ, а я не считаю себя глупцовъ, ни ты, свъю надъяться. Въ ней дъйствительно было что-то, но это что-то, любезный другъ, такъ нало, такъ ничтожно! . . А я хотълъ быть богачомъ, — и въ этомъ моя ошибка, моя вина. Я надъялся сдълиться счастливымъ, счастливымъ безгранично, — в думаль получить это счастіе вившнимь образомь. Любовь — в'ядь это родъ религія, которая должна наполнять каждое игновеніе, каждую точку жизни. Иначе нельзя понимать любовь челов'вку, уже приведенному къ какой-либо стецени сознанія. Но для того, чтобъ испытывать подобную любовь, надо быть болье развитымь... Не дано было мив творческой жизни, образуеной такою любовью: правда, я нивлъ объ ней понятие, но въ свою собственность превратить ее не ногъ. Моя мысль не обнимала такой жизни во всемъ ея пространствъ: въ послъднее время, чувство уже начинало объяснять миъ ее, но съ другой стороны я все еще продолжалъ искать среднихъ, обыкновенныхъ путей, къ которымъ мы всв привыкли болье или невъе издътства... Это было несчастіе, и послъдняя страшная катастрофа 1) ножетъ-быть была необходина, чтобъ исцілить меня отъ

<sup>1)</sup> Сомивийе въ чувства и разрывь съ предметомъ, его возбуждавлиниъ.

романтических стремленій (Schönseeligkeit), отъ сонянвости души, чтобъ разрушеть выдунанныя, фантастическія представленія жизня, чтобъ выбросить меня въ свътъ, гдъ могъ бы дъйствовать какъ человък, какъ разумное существо, или вполив выказать все свое ничтожество. Тогда оставалось бы самоубійство; но нивогда не рашусь я на подобную низость и до последняго моего часа не потеряю надежды сделаться вогда-либо человъкома. Чтобъ поделиться съ кънъ-нибудь добромъ своимъ, надо еще обладать чемъ-нибудь. Потребность любви должна быть вызвана не бъдностію души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищетъ вругомъ себя помощи; итъ, любовь должия выходить изъ богатства нашего духа, исполненнаго силы и двятельности и отыскивающаго въ самой любви только вовую, высшую, политаную жизнь... И вотъ какого рода соображенія пересткали путь Станкевичу, и вотъ на какого рода требованія должна была отвічать любовь! Онъ быль правъ, сознавая трудность задачи, поставленной самому себв. И какъ на жалка участь существа, замъшаннаго въ подобную распрю между сердцемъ и отвлеченными требованізми, Станксвичъ быль правъ в передъ нинъ, вогда для достижения своихъ цълей долженъ былъ пройдти мино его и оставить его одинокимъ на землъ. Въ жизни бивають случайния неизбъжныя жестокости, въ которыхъ ифтъ виновныхъ, и въ которыхъ жертва и приноситель жертвы одинаково заслуживають уваженіе.

Суровая природа Кавказа произвела пепріятное впечатленіе на Станкевича: онъ и вообще не расположенъ быль ко всему, что представляетъ видъ матеріальной силы, хаотическаго безпоридка и борьби элементовъ. Ему нужно быль сперва подумать, чтобъ оценить красоты Кавказа въ ихъ величавой дикости, и только посредствоиъ обсужденія дошель опъ до возможности принять вцечатлівніе и отдать въ немъ отчетъ. «Здъсь, говоритъ онъ, природа дика и нечальна; здесь начинается обширная колибель человечества; властительницей является здівсь природа; передъ ней сипрается бізднов человичество, чувствуеть свое дитское безгилие и не счисть мечтать о своемъ первенствъ... Огромность и дикость давятъ душу, и постепенно, но скоро равняется она съ этими утесами и безпредвлыными равиннами. > Впрочемъ, минеральныя воды Канказа еще болъс разстроили его здоровье, и въ августв 1836 года онъ возвращается въ Удеревку, гдв предается планамъ будущаго своего отъвада за границу и однажды восклицаеть, припоминая всегдащиюю склониость свою — пскать счастія въ семейной жизин: «мив надо большо твердости, больше жесткости!>

Посяф двухъ мъсяцевъ отдыха онъ опать является въ Москву

(въ октябръ 1836) и остается тамъ до весни 1837 года, нокончивъ въ это время, какъ ми знаемъ, вев разногласія съ петербургскимъ другомъ Невъровимъ, касательно философскихъ занятій и изложивъ ему замъчательныя мысли по поводу полученнаго извъстія о смерти Пушкина.

Не такъ легко было ръшить вопрось о любви. Въ началъ зним 1836-1837 года семейство его избранной прибыло въ Москву. Тутъ же находился и пріятель, философъ-дилеттанть, который быль посвящень во вст тайны этой исторіи. Къ нему следовало прибегнуть теперь за совътомъ и помощью. Можно угадать, вакого рода было то и другое. Въроятно, другь Станкевича, весьма сильный въ разръшении всъхъ противоръчий диалектическимъ способомъ, старался устранить препоны, полагаемыя размышленіемъ в осторожностію ума, указавъ на выходъ, который предстояль ему всябдствіе логической пеобходиности. Вфроятно также, что Станкевичъ, следун за силлогиямами друга, полагалъ, что и жизнь следуетъ непременно за пими. Но когда онъ обращался прямо въ своему чувству, оно, несмотря на всв вызовы, оставалось какъ-то бездейственно, слабо и болезненно, хотя и не потеряло еще последнихъ признаковъ жизни. Нетъ соинвнія, что у Станкевича были минуты, когда онъ не зналъ самълюбить ли онъ, или сердце его уже свободно отъ волненій страсти. Мы видинь изъ переписки, что по внушеніямь того или другого признака, открытаго въ себъ, онъ поперемънно или стремится въ цвин, которою должна была уввичаться его любовь, или въ изнеможенів и отчанній останавливается посреди пути и съ томленіемъ ждетъ какого-то откровенія, которое бросило бы ему світь на собственное его сердце. Онъ не могь однако же виносить долго этихъ потемовъ сознанія, если смъемъ выразиться такъ, даже и по природъ своей, искавшей яспости и тамъ, гдъ опа трудно обрътается. Нътъ сомивнія, что Станкевичь скоро приняль бы опреділенное рівшеніе для своихъ отношеній къ молодой особѣ и не скрывалъ бы отъ нея перемвиы, происшедшей въ его сердцъ, еслибъ бользиенное состояние этой дъвушки не требовало въ этомъ дълъ величайшей осторожности, необходимость которой ясно видели близкіе ся друзья, указывавніе эту необходимость и Станкевичу. Столько же изнуренвый бользнію, сколько и всыми этими событіями внутренняго своего піра, Станкевичъ отодвигаеть последнее решеніе на далекое, предъленное время, следуя въ этомъ еще более советамъ разстроенной души, чемъ близкихъ людей и своихъ родныхъ. Последнія письма больного и страдающаго Станкевича наполнены единственно распоряжениями о паспортъ за границу, объ отставкъ, о ходъ этого дъла въ Петербургъ, страхомъ за успъхъ его и ожиданіемъ извътастическіе корридоры и блещущія залы копей. Въ одной изъ разноцватных пропастей ихъ, внезапно озаренной синивъ фейерверочномъ огнемъ, Станкевичъ не могъ удержаться отъ чувства страха. «Нельзя не струсить, говорить онъ, видя надъ собой страшния глыбы. > Впечатлительность Станкевича была неимовърна. Во время пребыванія въ Римъ (1840), при осмотръ какой-то развилини, лежавшей на пути изъ Альбано, одному изъ товарищей его вздумадось закричать громкимъ голосомъ: Divus Caius Julius Caesar. Эхо развалены отозвалось на голосъ какъ будто со стопомъ. Веселый и разговорчивый дотоль, Станкевичь пдругь поблюдивль, уполкъ и, посл'в песколькихъ секундъ молчанія, словно переживъ сильное внутреннее потрясеніе, сказаль сь упрекомь товарищу: «Зачвиь вы это сдълали?> Организація Станкевича, нъжная по природъ, въ послъднів годы его жизни сдфладась чутка и воспріничива до изунительной степени. Воображение его всегда бодрствовало, иссмотря на слабость физическихъ силъ, а можетъ-быть и по причинъ этой слабости.

Возвращаясь къ путешествію Стапкенича, ны видинъ изъ дневнива его, что 9-го септября, ст, ст., быль онъ въ Ольмюда, а 14-го въ Прагв Въ Ольнюцъ пробуеть опъ высказать личное впечатлъніе отъ первой готической церкви, встраченной имъ на пути, и отъ порваго могущественнаго органа, который загремълъ для него подъ ея сводами. И то и другое ему давно было знакомо въ понятін, но здесь онъ начинаетъ чувствовать предметы и спешить разложить и опредълять свое ощущение. Въ Прагъ онъ всгръчается съ видерландскою натуралистическою школой живописи XV стольтія, съ чуднымъ Гемлингомъ, который выбств събратьями Вапъ Эйками быль родоначальникомъ внаменитой школы, породившей Рубенсовъ, Ванъ-**Пейковъ. Рембрандтовъ и проч. Первые образци искусства, встра**ченные имъ, вызывають на свъть природное эстетическое чувствоего и способность непосредственной, личной оценки из»щилго. Диевнивъ его въ городахъ, упонявутыхъ нами, есть просто указатель предметовъ, но указатель, по нашему митию, необычайно тонкій я умный. Видно съ пернаго раза малое знакомство съ сущностію того и другого рода искусства и недостатокъ навыка въ оцфикф ихъ, но есть возвышенное, свътлое и оригипальное понимание ихъ въ общей идев, чвиъ Станкевичъ отличался и виослъдствін своихъ сужденіяхъ о пластическихъ искусствахъ вообще. Слово его всегда затрогивало и шевелило душу. Отъ подобныхъ ему профановъ въ образовательныхъ искусствахъ и можно услышать матков сужденіе, открывающее новую сторону предмета, часто неуловниую для глаза, уже свыкшагося съ нимъ. Замъчаліе это могли бы подтвердить художники наши, Пименовъ и Завьяловъ, встратившісся

съ нимъ въ Прагв на пути своемъ въ Римъ 1). Какъ образецъ свъжести и несомивной возвышенности его образа мыслей можно представить читателю иден его объ отношеніи музыки и живописи къ храму и служенію, находищіяся въ его перепискъ. Весьма замвчательное предчувствіе истипы показалъ Станкевичъ и при первомъ, почти нечалиномъ столкповеніи съ картиной художника XV въка, содержаніе которой передаеть онъ мастерски въ нъсколькихъ словахъ,

Въ Прагв Станковичъ видълъ у Палацкаго и у Шафарива чешскихъ литераторовъ и быль тронутъ до слезъ ихъ дътскою, сыновиею привизапностію къ родинф, си преданіямъ и пъснямъ, и только резжое, исключительное превозцесение одной славянской націопальности пізсколько нарушало гармонію въ задушевныхъ сношеніяхъ съ ними. Станкевичъ, только-что выфхавшій изъ Россін, весь обращенъ быль лицомъ къ Европф и по могъ раздфлять ихъ презранія къ европейской цивилизаціи, весьма объяснимаго особеннымъ положеніемъ тамошняго края. Воть насколько строкь о народности, написанныхъ имъ въ Прагъ и какъ будто отвъчающихъ на споръ, педавно возникшій объ этомъ предметв. «Чего хлопочуть люди о народности? Надобно стремиться въ человъческому, свое будетъ по неволь. На исякомъ искрепнемъ и непроизвольномъ актъ духа невольно отпечатывается свое, и чемъ ближе это свое къ общему, твиъ лучше. Гемлингъ върно не хотълъ написать Нънку (въ картивъ, представляющей встръчу Елизаветы и Маріи и находящейся въ Прагъ въ церкви Св. Вита), по его лицо по неволъ вышло такъ, хотя на немъ святое выражение; а эта индивидуальность и составляетъ красоту. Это все равно, если бы я, заивтивши, что у иногихъ людей, являющихся въ обществъ, есть свои особенныя нанеры, старался бы непременно сделаться оригинальнымъ въ этомъ отнощении и сталъ бы подражать отцовскимъ и дедовскимъ манерамъ. Кто имъетъ свой характеръ, тотъ отпечатываетъ его на всъхъ своихъ дъйствіяхъ; создать характеръ, воснитать себя — можно только человическими пачалами. Выдумывать или сочинять характеръ народа изъ его старыхъ обычасвъ, старыхъ дъйствій значитъ хотъть продлить для него время дътства: давайте ему общее человъческое и смотрите, что онъ способенъ принять, чего недостаетъ ену? Вотъ это угадайте, а поддерживать старое натяжками -- это никуда по годится.>

<sup>1)</sup> Станкевичь довольно оригинально разсказываеть о встрвчв своей съ Пименовимъ, котораго вналь и прежде. Опъ освъдомился по газетемъ о пребывани художника въ Прагі: "Па другой день рано поутру надіваю поскорте теплий сюртукъ и бъгу... Постучавнись раза два въ дверь, и отвориль ее и спросиль: ist Herr Pimenoff hier?—Ich habe kein Geld, отвъчаеть онъ, думая, что въ двери яблеть капущинъ. Опъ не узнаваль меня до тъхъ поръ, пока я не подомель къ самой его постелъ".

Наконецъ 16-го сентября добирается онъ до Карасбада в шутя пишеть въ Я. М. Невфрову и Т. Н. Грановскому, ожидавшимъ его въ Берлинъ: «Вы дунаете, что вы важные люди, потому что стоите въ Friedrichstrasse... да миъ что за надобность! Знаю я ваши шашин... дайте мий пріфхать въ Берлинь; я вась отпотчую... будетъ вашему брату гонка. > Правда и то, что оба пріятеля, получивъ наконецъ извъстіе, что Станкевичъ благополучно добхалъ до Карлебада и намфровается виновать въ Верлинф, пустились выплясивать pas de deux, какъ гоголевскій маіоръ Королевъ, по замъчанію Стапкевича. Нельзя сказать, чтобы Карясбадъ нявлъ снявное вліяніе на здоровье его, хотя онъ и пробыль такь до 5-го октября, то-есть почти три недели. Тому мешало и частое уклопение отъ строгой, однообразной, монашеской жизни, необходимой при лачении водами, но мало соответствовавшей природе его, а также и неспокойнов состоянів души -- остатокъ тахъ воливній, которыя пережилъ онъ въ Россіи. Горько жалуется онъ на свою врожденную способность къ нечтательности, на скорую довфренность къ первону, ноясному чувству сердца, что тогда называлось прекраснодущиемь (съ нвиецкаго Schönseeligkeit). Глаза его обращаются совсвив въ другую сторопу; онъ помышляеть о женщинъ, связанной формальными узами и потерявшей чувство, которое даетъ имъ смыслъ в значеніе. Твердо защищаеть опъ передъ другомъ естественния права ел, во имя духа, который должень оживлять каждый человическій актъ, каждое человъческое спошение- и защиту эту, по справедливости, называеть повымъ періодомъ своего развитія. Какъ бы то ня было, но Карлебадъ остался одникъ изъ дорогихъ его воспоминаній. Въ путешествіяхъ случается часто, что первий городъ съ ясною національною физіономіей оставляеть неизгладимое впечатленіе у человъна, несмотря на множество другихъ посъщенныхъ имъ городовъ, и ярче и поливе выражающихъ тотъ же характеръ. Въ Карлсбадъ Станкеничь обраль тоть наменкій мірь, о которомь думаль съ детства, съ которинъ познакомплся сперва, какъ самъ говоритъ, посредствомъ рыцарскихъ романовъ, затамъ посредствомъ фантастическихъ повъстей, про который и за который говорили ему издавна всь любинфиніе писатели его. Поправились ему и простота ифмецкой жизня, отсутствіе празднаго барства, легкость сношеній между людьми, и признави старой цивилизаціи, видимие на самыхъ мелкихъ вещахъ и повсюду умягчившіе не только прави, но самое слово и выраженіе мысли. Затомъ явились типы, характеры, физіономіи, которые были только живымъ воплощениемъ того, что уже давно забавляло, трогало и сифшило его за кингами. Онъ пріобратасть себъ большого друга въ часовыхъ дель мастере Гофиане и еще двухъ

такихъ же искрениихъ друвей при полядки въ Зедлицъ, именю: молотыхъ даль настера изъ Эгера и органияго мастера оттуда же. Онъ присутствуетъ на всъхъ балахъ ихъ, на стръльбъ въ цъль, на вечервихъ собраніяхъ за пивомъ подъ руководствомъ неутомимаго Гофиана: «Дымъ столбомъ, гозоритъ Станкевичъ, пиво ръкою, одинъ музыкантъ играетъ на скрипкъ, иногда припъвая для большей выразительности: трара, трара, причемъ гражданство хохочетъ.> Услужливость неимовърная. Хозяинъ кабинета для чтенія, куда Станкевичъ зашель отъ скуки, тотчасъ узнаеть въ немъ, хотя и не совствъ впопадъ, страстнаго любителя политики, предлагаетъ ему два Ж.У. Journal des Débats на домъ и учтиво замъчаетъ: «Оппе Politik zu lesen ist man doch todt> (не читать о политики все равно, что быть мертвымъ). Тутъ же встрвчаетъ Станкевичъ и німецких гелертеровь, и студентовь, и тіхь дівушекь, которыя, весело проработавъ целую неделю, идуть, въ праздникъ, въ церковь съ внижками въ рукахъ и съ серьёзнимъ виражениемъ на лицф, а вечеромъ также серьёзно, но только безъ книжекъ — на вальсъ. Не пропускаеть Станкевичъ безъ особаго вниманія и шаловливыхъ пансіоперокъ, которыя, узнавъ въ немъ иностранца, всѣ въ одинъ голосъ закричали при встръчъ съ нимъ: «Guten Morgen». Затъмъ еще театръ: оперы, исполняеныя второстепенными пъвцами съ добросовъстными и неимовърными усиліями, комедін, которыя, по замъчанію Станксьича, суть не что инос, какъ дътскія правоучительныя пьесы, но съ такими уморительными выходками и комическими сценами, что едва усидишь на стулю отъ смеха, наконецъ драмы и трагедін, гдф мимика, декламація и позы артистовъ достигають последнихъ пределовъ возможнаго... Какъ будто въ соответствіе съ вившиею жизнію, Станкевичъ читаеть въ Карлобадів романъ Тика: «Der junge Tischlermeister» (полодой столяръ), гдв умный графъ, любитель театра и построекъ, фдеть съ другомъ своимъ, умнымъ столяромъ, въ свой замокъ, и оба на дорогв поминутно встрвчаютъ избранныя происшествія и событія, которыя подають ниъ поводъ къ длинимиъ разсужденіямъ объ искусствъ, обществъ и отношеніяхъ, существующихъ между людьин. Эстетическія сужденія, высказываемыя степеннымъ столяромъ, уже гораздо трезвъе, проще Гофиановскихъ мизній и во многихъ случаяхъ мізтки и візрны, собитія нногда действительно интересны и забавны, основная мысль романа — о невозможности натянутыхъ связей — тоже имфетъ долю правды; но механическая постройка романа, до крайности нехудожественная, и самъ онъ, пропитанный страстію къ средневъковому порядку вещей, обличаеть уже слишкомъ наклонность къ сентиментальному пониманію будничной пізмецкой жизни, которая въ немъ п

отражается очень полно. Станкевичь останся чуть ин не последниять и единственных паціентомъ Карисбада: девушки при источникахъ дрожать и жмутся отъ холода по утрамъ, когда онъ подходить къ нимъ за стаканомъ, но разстройство груди мешаеть ему выехать рапес.

22-го октября Станкевичь прибыль въ Дрездень и разумъется прямо въгаллерею къзнаменитой Мадоннъ. «Я тотчась узналъ се, говорить онь, сердце упало у меня, я почувствоваль въ туже минуту, что эта картина по для веня существуеть. У Черта замачательная, яменю томъ, что проникнута искреняюстію. Станкевичъ встрачаль туть опить впервые отвлеченную красоту и идеализацію итальянскаго искусства, какъ прежде встрачалъ натурализиъ намецвой школы съ примъсью религіознаго созерцанія. Но последнее легчо было уразумьть съ перваго раза, а для пониманія Рафаэлевой эпохи живописи необходимъ уже ифкоторый опытъ, ифкотораго рода подготовка, запась сведеній и понятій. Станкевичь оставиль маленькое письмо, образцовое (Дрездепъ, 22-го октября) по маткости, съ которою выражены въ немъ усилія нисли овладіть предметомъ, какъ будто закрывшимся для него въ своемъ величія и не поддававшимся сознанію. Безотчетно бродиль глазь Станкевича по нолотну, не различая ничего, или усматривая однъ подробности. Съ какимъ-то отчаяність напрягаеть опъ вниманіс,-что-то мелькисть въ его ум'в и исчезнетъ... Опъ отводитъ глаза отъ картины и обращаетъ ихъ сперва на Корреджіо, потомъ на Карла Дольче, и Карлъ Дольче кажется ему граціозиве, предестиве... Устыдившись собственнаго виечативнія, онъ ближе вснатривается и находить что-то наперное въ Св. Цециліи последняго... Поднимаеть опять глаза на Мадонну: она вакъ будто шевельпулась... и часть ея величія, именно: благородное выражение материнской любви ярко бросается ему въ глаза. Сближеніе съ Мадонной делается возможнымъ. Душевный процессъ, разложенный Станкевиченъ, — ость просто исторія развитій понятій въ каждомъ даровитомъ человъкъ, но у Станкевича опа прошла бистро, въ пъсколько игиовеній, свидътельствуи о благодатномъ свойствъ его природы. Письмомъ изъ Дрездена заключается вся переписка Инколая Владиніровича съ друзьями въ 1837 году; она возобновляется только въ августъ слъдующаго года, спустя шесть ивсяцевъ, потому что все это время онъ уже жилъ вибств съ ними въ Бер-линв. 13-го октября прибылъ Станкевичъ въ Потедамъ и еще изъ окиа дилижанса видель подходящую къ почте фигуру мужчини, въ длинномъ, тепломъ сюртукъ. Ему вообразилось, что самъ Фридрихъ II, о которомъ онъ только что думаль, приходить встрачать его 🗝 своень городь, но то быль Я. М. Невъровь. Виаста отправимись они тотчась же въ Берлинъ на общую квартиру, и утомленный Станкевичъ пишетъ къ роднымъ, что после длинной и долгой взды больше чувствуещь цвиу стулу, постели и печки, передъ которою можно сидеть и болтать съ Неверовымъ и Грановскимъ. Такимъ образомъ, Станкевичъ добрался наконецъ до цели путешествія и расположился на долгое житье въ сообществе своихъ друзей, подъсенью знамевитаго тогда Берлинскаго университета.

Онъ тотчасъ познакомплся съ адъюнктомъ университета Вердеромъ, у котораго сталъ брать приватные уроки логики въ свободное его время (около 11 часовъ утра). Вердеръ, хорошо знакомый тогдашней образованной молодежи русской, учившейся въ Берлина, быль типомь добродьтельный шаго, довырчиваго, дытски - чистаго нъмецкаго ученаго. Ему тогда было не болве тридцати лътъ, и сблизившись съ Станкевичемъ онъ подпалъ, какъ и другіе, вліянію его личности. Вердеръ просто влюбился въ своего ученика, отъ котораго, по его признанию, столько же получаль самъ, сколько и даваль ему. Къ великой забавъ Станкевича, профессоръ объяснялъ свое расположение къ нему мыслию, что у русскаго друга его душа совершенно ивмецкая. Высоко цвнить и Станковичь расположение этого заявчательного человвка, который старался отвлеченнымъ формуламъ Гегелевой логики сообщить жизпь и поэзію, возводя ихъ до правственныхъ правилъ, связывая съ ними достоинство человъка п эстетическое воспитание его. Воть что говорить объ этома нашь путешественникъ: «Профессоръ Вердеръ радкій молодой человакъ, наивный какъ ребенокъ. Кажется, на цфлый міръ смотрить онъ какъ на свое помъстье, въ которомъ добрые люди безпрестапно готовять ему сюрпризы. Его беседы имеють спасительное вліяніе, все предметы невольно принимають тоть свёть, въ которомъ опъ пхъ видитъ, и становится самому лучше, и самъ становишься лучше.> Такое дъйствіе производиль молодой ученый, и одна чрезвычайно умпая русская жепщина Елизавета Павловна Фролова (урожденная Галахова) ивтко и полно выразила характеръ его, сказавъ: «Это замъчательный человъкъ; жаль только, что онъ съ однимъ собою знакомъ.» Но можетъ-быть въ этомъ единствъ съ самимъ собою заключалась и его сила. Кроми Вердера, Станкевичъ слушалъ курсъ исторін у Ранке, философію права у Ганса, пеще курсъ сельскаго хозяйства, такъ какъ онъ не считалъ себя освобожденнымъ высшими запятіями отъ запятій, прямо соотвътствующихъ его званію и положенію въ русской жизни. Впрочень, курсонь сельскиго хозяйства онъ не совствъ былъ доволенъ: въ два прослушанные имъ семестра дъло все шло объ историческомъ развитіи сельскаго хозяйства. Въ концъ 1837 года прітхало въ Берлинъ семейство Фроловыхъ, н хозяйка, та замвиательная женщина, о которой упоминали мы сейчась и о которой будемь мы еще упоминать неоднократно, вскорв привлекла къ себв Станкевича и друзей его. Въ течени двухъ зимъ, 1838 и 1839 годовъ, почти каждый день проводили они вечера у г-жи Фроловой, толкуя за часмъ обо всемъ, что можетъ занимать умъ челопфиа; по коеечно не въ этомъ еще заключалась прелесть, приковывавшая ихъ къ дому Фроловихъ, а въ томъ свободномъ и сдержанномъ, веселомъ и благородномъ настроении, которое хозяйка его умфла сообщать своимъ посътителямъ.

Станкевичъ совскиъ не осматривалъ города, по на общественную жизнь, на публичния собранія и на людей обращаль сильное вниманіе. Театръ опъ постоянно посвіщаль и даже по королевской оперъ принадлежалъ къ партів принадонны Фассманъ (блондинки собой), между тъмъ, какъ нъкоторые изъ его пріятелей стояли за Лёве, высокую и красивую брюнетку. Ссориться, впрочемъ, было не изъ чего, потому что, несмотря на восторги публики, объ пъвиди были-таки довольно плоховати. Знаменитаго Зейдельмана Станкевичъ считалъ геніальнымъ актеромъ, но очень скоро подмітиль въ немъ излишнюю заботливость о вибшией отделки ролей. Любимцами его сдълались комики Гериъ и Векманъ, дъйствительно превосходиме, одинь по неисчериаемой веселости и илодовитому изобратенію въ каррикатурф, другой по спокойному, неподдільному юмору. Мы уже знаемъ наклонность Станкевича къ сифху. Онъ ходилъ въ Кёпигштадтскій театръ Берлина, гдф давались прениущественно фарсы, такъ часто, какъ только могъ, и разсказываль самъ, что чуть не обезумаль отъ хохота при первомъ представлении, на какое попаль. На сцену выведенъ былъ смотритель рынка, который, подм'ятивъ воровъ, следуетъ за ничи и подвергается нападенію всехъ собакъ рынка, между тъмъ какъ мошенники благополучно исполняють свое дъло. За сценой послышался совершенно собачій лай, производиный десяткомъ мастеровъ въ этомъ дёлё, и когда Станковичъ услыхаль ату добродушно-колоссальную глупость, то уже почти лишился чувства. Далве спотритель тонеть въ реке и, после спасения своего, находить, что карманы его набиты рыбой. Гериъ сдълалъ при этомъ такую мину, что главная актриса, расхохотавшись, просто убъжала со сцены при всеобщихъ рукоплесканіяхъ. Еще менюе можно передать знаменитые въ то время фарсы, на которые стекался весь Берлинъ: «Путемествіе на общій счеть» в «1739, 1839 и 1939 годы». Эти фарсы и особенно берлинскіе вицы (разсчитывающіе болбе на сміхь, чімь на пораженіе ума) составляли тогда отличительную, народную характеристику города. Они собирались въ отдъльныя книжки: Buntes Berlin, Berliner Dummzeug и проч., гдф берлинскій

типъ экснитеера (Eckensteher: такъ называются поденщики или коминссіонеры, обывновенно поджидающіе работы на углахъ улицъ) являнся, какъ изобрътатель всъхъ уморительныхъ глупостей, придуманныхъ степеннымъ воображениемъ сввернаго германца. Читатель можеть ознакомиться съ этого рода выходками, и на природномъ діалектъ ихъ, въ издаваеновъ нынъ журнальцъ: «Dorfbarbier». Станкевичь съ наслаждением следиль за этимъ выражениемъ народности, не упуская впрочемъ изъ виду и другихъ ся проявленій. Онъ посъщаль кнейны, публичныя гулянья, катанья на саняхъ, маскарады, гдф при появленіи новой маски дфло ограничивается общимъ крикомъ: э, э! гдф въ полночь реветь осель въ какой-нибудь ложф, возбуждая смехъ и вопли: da саро! где находчивость наски ограничивается обыкновенно тряг, что она береть вашу руку и чертитъ пальцомъ на ладони ваше прозвище. Прпродный юморъ Станкевича развился необыкновенно въ Берлинъ. Въ немъ самомъ жила еще какан-то непреодолимая наклонность къ веселости, какое-то побужденіе отдаваться ей, иногда даже наеднив съ собою и безъ видимой причипы.

Въ Верлинъ Станкевичъ познакомился съ веселою и умною дъвушкой, которую всв знали подъ именемъ Верты и которая жила съ дядей, добрымъ, ограпиченнымъ старикомъ, выдававшимъ себя за барона. Берта не лишена была остроумія, а жажда удовольствій была ей общая со всеми немками. Это мимолетное знакомство не прошло даромъ для Стапкевича: оно оставило следы въ его душе. Когда Грановскій въ апреле месяце 1838 г. выехаль изъ Берлина съ цълью посьтить библіотски и ученыя заведенія Дрездена, Праги и Въны, и когда съ первою же почтой написалъ къ оставшенуся другу о тяжеломъ чувствъ видъть себя совершенно одинокимъ, то Станкевичъ насмешливо отвечалъ ему: «Э, Иванъ Ивановичь! Воть то-то же! Только что вибхали, ужъ сейчась нельзя ли поговорить съ Иваномъ Никифоровичемъ Однакожь когда онъ самъ всявдъ за Грановскимъ покинулъ Берлинъ въ май мисяци, то дило было еще хуже. Онъ даже плакаль, а потомъ писаль въ Грановскому изъ Дрездена, выражая свое сожальніе объ отъезде изъ прусской столици: «Поздравьте! Лёве опять въ Берлинв. Сегодня дають танъ Порму, а она будетъ пъть: Keusche Göttin, и публика будеть въ восторгв, и всв маста будуть заняты, и мы съ вами скоты...> Онъ чуть-чуть не воротился въ Берлинъ, а на следующій годъ и дъйствительно выкинулъ подобную штуку. Пріжхавъ въ Дрезденъ, онъ подумаль, подумаль, да на другой день свяъ въ дилижансь и прискакаль обратно въ Берлинъ-посмотреть, что такъ делается. Черевъ несколько сутокъ онъ уже снова былъ въ дороге. Можно

предполагать, что знакомство съ Бертой было первою причиной всехъ этихъ нарушеній порядка и установленнаго плана действій. Вообще Станкевичъ смотрелъ на знаконство это не совсемъ просто и легко, хотя и зналь настоящую цвну ему. Въ одну изъ иннутъ недовольства, порожденнаго налымъ правственнымъ основаниемъ своей знакомби, онъ говоритъ про себя съ досидой: «Зачвиъ же ожидать было большаго! Въдь не любилъ же п я! Ахъ, какая мерзкая, капризная натура!» Даже по отъъздъ изъ Берлица въ Италію, Станкеничь еще осведомляется о ветренной девушке и незадолго до смерти говорить объ ней въ письмъ къ одному изъ своихъ пріятелей русскихъ. Вообще Станкевичь иногда не даваль роста своимь наклонпостямь, какь въ настоящемъ случав, но корни ихъ всв сохранялъ въ душв. Надобло замътить еще, что сближение съ Вертой возникло въ исходъ душевной разладицы, когда, утомленный повъркой своихъ чувствъ и отыскиваність истины въ собственных ощущеніяхъ, Станкевичь старается предаться простой, безотчетной жизни, насколько было ему возможно это. Но «такого рода язычество» — употребляя его же выраженіе - совствъ не лежало въ основъ его характера.

Къ той же эпохъ пребиванія въ Берлинъ относятся нъсколью юмористическихъ стиховъ Станкевича, касавшихся преимущественно его другей и постояннихъ собесьдниковъ въ Берлинъ. Остатки старой наклонности къ стихотворству вышли другимъ путемъ, веселой народіей и юморомъ. Тутъ есть даже пъмецкіе стихи, какъ, напримъръ, хоръ духовъ надъ спящимъ Грановскимъ, возивщающій сму скорое пришествіе бутеръ-брода и горькія жалобы героя, при пробужденіи, на отлетввшее блаженство, къ которому опъ уже биль такъ близокъ. Затъмъ въ этой, такъ сказать, домашней литературт есть: «Посланіе къ Невѣрову, по случаю печальныхъ звуковъ, которые онъ извлекалъ изъ мусикійскаго струмента»; «Возвращеніе въ Берлинъ»; «Поясненіе Гегелевой логики» и проч.

Но вскоръ это добродушное веселіе пачинаеть пріобрътать оттъновъ такой насмышки и глубокой пропіи, такъ мало свойственнихъ природъ Станкевича; и съ этими качествами Станкевичъ является съ самаго начала переписки 1838 года. Причины такого настроенія, развившагося въ Берлинъ вмъстъ съ юморомъ и, такъ сказать, о-бокъ съ нимъ, уже до такой степени важни, что заслуживаютъ особаго упоминовенія.

Дьло въ томъ, что Станкевичъ усматривалъ на концъ своихъ любимихъ запятій въчто такое, что еще било скрито для пріятелей. Съ Берлиномъ кончилось для Станкевича наслажденіе философіей и всякая возможность обращаться съ нею запросто, дълать изъ нея чодножіе поэтическому вдохновенію и привлекательной мечтъ, оправ-

дывать ею превязанности и воззранія, съ которыми свыкся. Онъ встрвчался съ чистою мыслію во всей ся наготь и сухости, и неизбъжныя последствія этой встрычи мало-по-малу открывались его умственному взору, между тамъ какъ товарищи его думали, что все идетъ, какъ слъдуетъ, къ знакомому благополучному концу. Отсюда ръзко-насившливое, ироническое обращеніе его. Удивительно, что Станкевичъ никогда прямо не высказалъ новаго своего настроенія и даль ему испариться въ однихъ намекахъ, отрывкахъ и замъткахъ, какъ будто боясь привлечь другихъ въ ту болфзиенную работу ума, которой самъ подвергся: замівчательная и весьма трогательная черта деликатности! Отъ берлинской эпохи остались у Станкевича випы тетрадей, записокъ съ разборомъ логическихъ категорій, отвлеченнихъ понятій, всёхъ этихъ звеньевъ философской науки, какъ опа была составлена Гегелемъ. Здъсь сбережены необыкновенно острыя опредъленія разнихъ представленій ума, понятій о качествъ, иъръ, тождествъ и проч., понятій, которыя ежечасно рождаются въ головъ каждаго человъка; по будучи переведены въ чистое мышленіе, кажутся существами какого-то другого, недвижнаго и холоднаго міра. Усилія Вердера — опоэтизировать эти отвлеченности только выказывали ихъ суровую природу. Передъ Станкевиченъ открывалось уединенное царство мысли, и онъ начиналъ распознавать свойства и характеръ жизни, которая предстоитъ человеку, обретающемуся въ границахъ этой области. Отсюда раздраженное состояние Станкевича и какая-то игра съ теми, которые еще не вполит видели, где они находятся. Діломъ первой важности становилось сміло переміннть точку зрвнія и въ-замінь нівкоторых в пожертвованій, требуемых в новыми обязательствами, обрасть, даже съ лихвой, все прежде потерянное. Стапкевичъ принялся искать опоры для сердца и лучшихъ человъческихъ стреиленій въ тъхъ самыхъ предълахъ, которые, казалось, сначала лишены были возможности дать ее. Два года пребыванія своего въ Берлина употребиль Станкевичь на эту работу, и въ 1840 году, совершенно умиренный, спокойный, съ многочисленными планами трудовъ въ головъ, слегъ преждевременно въ могилу, далеко отъ друзей и отъ роднихъ, въ Италіи.

Въ перепискъ Станкевича сохранились ясные слъды этой работы съ тъмъ пензбъмнымъ вліяніемъ, какое она имъла на характеръ п душу его. Еще въ январъ 1839 пишеть опъ, что доселъ былъ не въ состояніи прямо приступить къ пространной логикъ Гегеля (въ 3 частяхъ), и познакомился съ ней по частянъ энциклопедіи, въ философіи права и въ лекціяхъ. Опъ не чувствуеть въ себъ довольно жизни, единства, полноты, чтобъ броситься въ этотъ міръ скелетовъ, по собственному его выраженію, и признается въ одномъ

нравстенномъ порокъ, - и какомъ порокъ! - именно для сохраненія всей своей свежести, имсль его постоянно должна набираться силъ въ наслаждении искусствомъ, въ дъйствительномъ міръ. «Какъ сухи и безполезны, говорить онь, нельшия, безпокойныя, отвлеченныя завятія! > Однакожъ, овъ насяльно принуждаетъ себя къ инчъ, и дъйствіемъ сосредоточенной воли подчиняеть себя напряженному труду до техъ поръ, пока вопль сердца, не выпосищаго более сухости, на которую его обрекли, не отрываеть его снова отъ работи. И кто бы подумаль — мягкій, веселый, остроумный Станкевичь впадаеть тогда въ состояніе, близвое къ отчаннію, и восклицаетъ: «А одно спасеніе противъ сумаществія - исторія (письмо изъ Дрездена отъ 20 мая 1838), та исторія, которую такъ мало цівниль опъ нівсколько лъть тому назадъ. Однакожъ, запятіе исторіей не было спеціальностью Станкевича, главнымъ предметомъ всвуъ его думъ, а скорбе, какъ мы видъли, облегчающимъ средствомъ противъ усталости и истощенія ума. Станкевичъ находить и еще много другихъ, не менъе върнихъ пособій, служащихъ какъ-бы возбудительними агентами для мысли, утомленной долгимъ пребываніемъ въмірф отвлеченностей. «Не рефлектируй, брать, много, иншеть онь (25 іюля 1838 изъ Ахена) Грановскому. Какъ начинаень путаться въ антиноміяхъ, давай себъ скоръе отдыхъ. Помии, что созерцаніе необходимо для развитія мышленія», — и преколько поздире (27 августа) прибавляеть, относясь къ нему же: «Вообще, если трудпо становится решить что-нибудь, переставай думать и живи. Въ сравненияхъ и выводахъ будетъ кой-что истинное, но върно внолив схватишь вещь только изъ общаго живого чувства. У Тлубокая в мътко выраженная истина, -- но, но особенному состоянію духа, онъ самъ не часто могъ пользоваться ею въ то время и прилагать ее въ себъ. Въ одномъ изъ задушевныхъ инсемъ его къ Е. И. Фроловой, той умной женщинъ, о которой выше было упомянуто, Станкевичъ пишетъ (15 іюня 1838, Эмсь):... «Моя голова получила такое несчастное устройство, что ее опасно оставлять безъ запятія. Она начинаетъ свою работу въ такомъ случав, очень бользненную...> Далье опъ опредъляеть даже, въ чемъ состоять обыкновенно этя тяжелия упражнения головы, предоставленной себъ самой. Какъ и следовало ожидать отъ всегданней искренности Станкевича въ отношенін къ самону себъ, ны видинъ, что сущность бользненной работы ума заключалась въ постоянномъ стремленіи согласить всю свою жизнь, свои побужденія, свой образъ действій съ выводами науки. которые призналь онъ истинными. Какъ трудно установить подобныя гармопическія отношенія между своею личностію и общими опредъленіями истини-пойметь легко всякій; по добросовъстный Ставчевичь возводиль, это требование въ строгий законь, безъ соблюде-

вія котораго челов'яку нельзя сохранить понятіе о себ'я, какъ о правственномъ существъ. Разладица между двумя мірами, едва заивченная, уже лишала его покоя. Необходимость какого-либо раз-рашенія живнепныхъ противорвчій, которыя впрочень и разрашаются обывновенно самою жизнью, составляло особенно мучительный симптомъ этой бользии. Станкевичъ принималь въ невоторыхъ случаяхъ рашеніе рубить узды, находя, что это все же лучше, чамъ запутывать ихъ; но не у всяваго найдется довольно връпкая или довольно грубая рука, чтобъ, не дрогнувъ, произвести подобную операцію. «И въ каждомъ решенія. говорить опъ, невольно заподозришь частичку самолюбія... частичку лівни пли какой-то грівшной любви къ спокойствію и предацію, котораго не хочется лочать безъ слишковъ явной причины. > Вообще очень интересно это трогательное, задумчивое письмо, въ которомъ заключена душевная исповъдь его съ тыть тонкимь, чрезвычайно осторожимых изложениемь собственныхъ идей, какимъ онъ всегда отличался при бесёдё съ женщипой. Не такъ поступаетъ онъ въ отношени къ друзьямъ, способнымъ вынести болве рышительный тонъ. Здысь являются рызкій намекь и пропія, эпергическая инсль выходить наружу безъ предварительнаго осмотра и безъ всякаго ослабленія ся. Вотъ, наприміръ, какъ нишетъ онъ (инсьмо изъ Дрездена, отъ 8 мая 1838): «Мы въ Дрезденъ: вакія чувства велнують твою, морю подобную, душу? спросишь ты. Гиъ! Душа—что такое душа?—Reflexion in sich! Что море? Reflexion in Anderes. Солице соединило атомы на радость и горе, и это соединеніе называется: рабъ Вожій Николай, и этотъ Николай, по милосердію Господнему, вышель жинымь изъ миогихъ бользней и напастей... и, по неисповъдимымъ судьбамъ, таскается изъ Берлина въ Дрезденъ, изъ Дрездена въ Берлинъ... Жизнь съ ея непогодами и яснимъ небомъ, дорога съ рожкомъ почтальона, каждий городишво съ картофельною девчонкой и каждый переулокъ въ Дрездепь-все это можеть похвалиться своимь могуществомъ надъ тымъ созданіемъ, которое, будучи возведено на степень всеобщности, называется царенъ природы, а на степени своей единичности—Николасяъ Владиніровичемъ. Каковъ же длинной ръчи краткій симслъ? На что тебъ... симслъ? Если въ томъ, что сказано, пътъ симсла, то зачимь ждать, что онь будеть въ комментаріяхъ? Но если ты всю рфчь принималь за предисловіе, то ошибся. Это просто голось съ того свъта. > Не много найдется въ памяти человъка, знакомаго съ европейскими литературами, отрывковъ, которые, за сътью проническихъ и шутливыхъ выраженій, яснье бы выдавали душевное состояніе человъка 1).

<sup>1)</sup> Здесь следуеть сказать, что никакой важности и никакого значения не пред-

Только иламенная любовь къ наукф могла такъ волновать душу человъка. Простое любонитство или поверхностная любознательность не знають этихъ волненій. Въроятно, Вердеръ уже замітиль порывистно переходы отъ предмета къ предмету и вообще душевное безнокойство своего друга, потому что говориль ему: nur ruhig; nicht so und nicht so (опъ дълаль при этихъ словахъ сильные жесты руками), sondern immer so (причемъ сопровождалъ слова илавнимъ опускающимся жестомъ). Этотъ мимическій эпизодъ часто приходиль на умъ Станкевича, когда разнородныя мисли толной возставали передъ нимъ, и воспоминаніе о немъ часто способствовало къ водворенію порядка въ его мысляхъ. Мы уже сказали, что томительную, начальную работу Станкевичъ нережилъ въ два года пребыванія своего въ Берлинъ. Люди, видъвшіе его потомъ въ Римъ, за изсколько мъсицевъ до смерти, нашли его близкимъ къ физаческому разрушенію, но яснимъ и спокойнимъ въ духъ.

Возвращаемся къ описанію вибшнихъ обстоятельствъ его жизня. Въ мав мъсяцъ Станкевичъ въ первый разъ покинулъ Берлинъ, вибств съ Я. М. Невъровимъ, и снабженний рекомендацією Фарпгагена къ Тику, тотчасъ же явился въ Дрезденъ къ знаменитому романисту. Тикъ выслалъ дъвушку сказать, что у него тенерь болить горло (изъ чего Станкевичъ заключилъ, что онъ намъревался при встрача съ гостями произпести рачь) и просилъ приходить въ четвергъ, надъясь, можетъ-быть, и на скорый отърадъ путешественниковъ. Однако же Стапкевичъ и Неверовъ били упорпи, какъ Англичане, явились въ четвергъ по приглашенію, и познакомились съ извъстною, прославленною манерой Тика читать Шекспира, будучи рекомендованы предварительно всему обществу, подъ именемъ бароновъ. Въ Дрезденъ же Станкевичъ впервие услыхалъ извъстную тогда півнцу Шредеръ-Девріенть, и быль отъ неи въ восторгь. «Это нашъ братъ-огромная субстанція», писаль онь къ Грановскому, пасмъхалсь падъ фразой, которую Велинскій разъ употребиль, разсуждан о саномъ Станкевичь. Надо сказать, что Грановскій опередиль своого друга: опь еще въ началь апрыля выбхаль изъ Берлипа въ Въну. Это обстоятельство породило замъчательную переписку между пими, которой мы теперь и пользуемся. Затемъ съ оставшимся прінтелемъ Станкевичъ обозріль Саксопскую Швейцарію и посътилъ Веймаръ, чтобъ посмотръть танъ на домы Шиллера в

ставляеть письмо это относительно того, из кому оно писано. Также точно могло оно быть адресовано Станкевичень и другому близкому лицу. Если Станкевичь иногла поясняль Грановскому смысль философскихъ отвлеченностей, то, съ другой стороны, Грановскій помогь ему, и весьма спльно, вы уразуманіи сущности общественныхь в историческихъ вопросовь, которая не всегда открывалась Станкевичу съ перваго рым.

Между прочинь въ Вейнаръ познакомился онъ со вдовой Гётева сына, которая сама имъла взрослаго сына, страстнаго музыканта, учившагося у Мендельсова. Frau von Goethe приняла друзей очень любезно и ласково; въ домъ ся Станкевичъ познакомился, вопервыхъ, съ романистомъ ИНтернборгомъ, курляндцемъ по происхожденію, рослымъ мужчиной, щегольски одітнить и съ претензіей на щегольство языка, и потому, между прочимъ, произносившимъ букву а почти какъ e; а во вторыхъ-съ Кёнигомъ, известнымъ у насъ по книгь о русской литературъ, заключающей въ себъ нъсколько дальных сужденій. Кенигь, въ противоположность Штернбергу. нивлъ довольно простую мъщанскую физіономію. 30-го мая Станкевичъ прибыль въ Эмсъ и цфлый мъсяцъ употребилъ 🤭 гитье его водъ, которыя только раздражали его нервы и мало ли. Провздонь черезь Франкфурть онь познакомился съ умнинь "плософонь, католикомъ Карове, а въ Эмев, кромв одного добраго ивмецкаго семейства, гдъ проводиль время въ запятіяхъ музыкой, въ общихъ прогулкахъ и въ шуткахъ съ молодыми особами, составлявшими его, Станкевичъ сошелся еще съ изкоторыми русскими путешественниками, прибывшими въ Германію на несчастномъ пароходъ, сгоръвшемъ у Мекленбургскихъ береговъ. Въ началъ іюля Станкевичъ отправляется по Рейну въ Воннъ, посоявтоваться съ знаменитымъ докторомъ Нассе, который, при взглядъ на него поднялъ глаза въ небу и воскликнулъ: «Armer Mann!» Эмсь дъйствительно утомилъ Станкевича. «Дътки мои! пишетъ онъ къ роднимъ своимъ, которые били озабочены его долгинъ молчанісмъ. Въдь если я иншу ръдко-на это есть всегда причины. Повърште ли, что въ Эмсв написать нъсколько строкъ было для меня величайшимъ трудомъ? > Однако же Нассе совътуетъ ему попробовать ахенскіе источники и купанья. Возвратись спова въ Эксъ въ оставшемуся тапъ Я. М. Невърову, Станкевичъ беретъ его съ собою, и вместе подничаются они опять по великольному Рейну до Кёльна, Станкевичь перевзжаеть затычь въ Ахенъ, гдъ остается безвывздно до начала септября, выполняя предписанный ему курсъ. Одинъ только разъ во все это время покидаетъ онъ городъ; но къ этому нарушенію курса была уже достаточная причина. Т. Н. Грановскій, соскучившійся безъ друзей своихъ, пріфхаль къ нинъ повидаться. Станкевичъ провожаль его до Вонпа, на возвратномъ пути его въ Берлинъ, и воспользовался пребываниемъ споимъ въ Воннъ, чтобъ познакомиться съ Фихте, фи-4000фомъ, какъ и знаменитый отецъ его. Станкевичъ разсказываетъ довольно забавно свой разговоръ съ профессоромъ; ночь наканунъ онъ провель безъ сна, на разспросы профессора о системъ преподаванія логики въ Берлинф отвфиаль вяло, и наконець самъ рфшился

сдалать вопросъ: не племянникъ ли онъ знаменитому Фихте? «А парень-то вышель родной сынь его > - замечаеть Стапкевичь, прибавляя, что профессоръ быль насколько удивлень этимъ невъдъпісмъ», и выводя изъ того заключеніе, «что сь ифкоторыми людьми надо говорить выснавшись. > Наконецъ скука одолька его въ Ахень, куда онъ снова возвратился, и 1-го сентября Станкевичъ поспъшно отправляется въ Бельгію разстять тоску, наведенную уединенныхъ городомъ и личенісмъ. Онъ постщаетъ Брюссель, Ватерлоо, Антвериенъ, Гентъ, Остенде, присматривается къ великолъпиниъ намятинкамъ искусства въ этой страив, обильной ими, и паблюдаеть политическую жизнь ся, но впечатяфнія ложатся тяжело на слабий организить его, и усталая душа жаждетъ покоя. Въжурналъ шутешествія по Вельгіи, который будеть приложень къ переписки его, есть восклицаніе, вырвавшееся у него при видъ моря въ Остенде: «Мић было скучно съ утра, море прилъпило къ скукъ грусть. Мић хотелось опрометью бежать опять въ Германію, въ Берлинъ, приияться за какое-инбудь дело; освободиться отъ этой тяжелой игры висчатлиній, отъ вліянія неба и погоди.» 17-го септября опъ уже быль во Франкфурть вижеть съ Невъровимъ, которий въ Волев поджидаль его возвращенія изъ Вельгіи, и вибств иншуть они оттуда письмо въ Грановскому: «голубиикъ Грановскій, говорить Я.М. Невъронъ, мы во Фравкфуртъ, и завтра вызажаемъ въ Кассель во дорогъ къ Берлину, такъ что, подвигаясь мало-по-малу, дией въ семь или въ восемь прівдемъ на місто. > Смінсь надъ эпитетомъ, даннымъ пріятелю. Станкевичъ приписываетъ съ своей сторопы: «Ворона Грановскій! Мы во Франкфурт'в и завтра выззжаемь вы Кассель по дорогв къ Верлину, такъ что, подвигаясь мало-по-малу, дней въ семь или восемь прівдемъ на місто. Какъ я радъ, что им встретились въ идеяхъ съ почтениейшимъ и глубокомысленнымъ другомъ нашимъ... в т. д. Во Франкфуртъ, пли лучие въ Гапау, Станкевичъ не преминулъ сходить еще къ доктору Коппу и отобрать его предписація... Наконецъ, оба пріятеля возвратились въ давножеланный Верлинъ, откуда разъфхались посль въ разныя сторовы, и прибавинъ, чтобъ уже болье пе встръчаться. Опи, какъ и Грановскій, жили уже тогда на разныхъ квартирахъ, неподалеку другъ отъ друга.

Промъ своихъ занятій и сношеній съ людьми, болье или менье замьчательными въ Германіи, Станкевичь еще ведеть весьма діятельную переписку съ семействомъ, съ сестрами и малолівтными братьями, оставленными имъ въ Россіи. Она, разумьстся, не можеть войдти въ составъ нашего изданія, но мы обязаны сказать о ней нісколько словъ. Топъ этихъ писемъ Станкевича постоянно игривъ и шуточенъ,

по онъ бестдуетъ въ нихъ съ дътъми чрезвичайно серьёзно, разсказиваеть ниъ подробно свое путешествіе, представляеть картину Рейна со всеми его замками и легендами до мелочей, наконецъ не считаетъ лишний говорить о чувствахъ, испытанныхъ имъ при видъ такого-то произведенія искусства, при встрівчів съ такимъ-то явленіемъ природы. Онъ отдаетъ ниъ себя безъ утайки и презрительнаго сомивнія въ уму и понятіямъ ихъ, а въ этомъ и вся сущность хорошаго воспитапія. Есть міста въ его письмахъ, которыя могли бы быть ціликомъ перенесены въ заочную беседу съ возмужалими и развитими друзьями, и даже съ публикой. Таково, напримъръ, описание шестикратнаго эха на горъ Индервальдъ, близъ Рейна, которое очень музыкально делалось все тише и тише, каждый разъ разносясь по горамъ, и котором повърилъ онъ любезифинія имена, сберегаемыя ниъ въ сердив. Таково еще описаніе многихъ памятниковъ и въ томъ числъ Майнцскаго собора, перестроеннаго, какъ извъстно, въ эпоху рококо: «Колокольня его точно зрительная трубочка: такъ би взяль ее за шейку, да и вытянуль.> Въ самомъ Берлинъ онъ находить еще поэтическое слово для полодыхъ своихъ слушателей: «Наступила осень. Сфрыя тучи въ раздумы ходять по цёлымъ дилиъ по небу... Я выхожу въ такое вреил гулять Unter den Linden—это главный берлинскій бульваръ... засв'ятло пачинають зажигать фонари, и длипиля перспектива блёдныхъ огней въ сизомъ туманъ имъстъ что-то волшебное. Въ это время изъ университета виходять студенты въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ, большею частію въ коротепькихъ полукафтаньяхъ и въ картузв съ крошечничь козырькомъ; прасолки возвращаются домой, сопровождаемыя собаками, запраженными въ телегу съ разною поклажею, и наконецъ я торжественно возвращаюсь домой, очень довольный этимъ повседневнымъ зрълищемъ, и т. д.> Не надо забывать, что основной мотивъ встхъ этихъ бестяв есть вегелая тутка, забавное изложение какого-нибудь случая, иногда каламбуръ. На этотъ свътлый грунтъ дожатся драгоциные совиты его, когда опъ считаетъ пужнымъ обратиться съ совътами въ своимъ друзьямъ: «Не забывайте, что въ этоми мірів велики круги вашей любви, гдів каждый изи васи состав-. ляеть лучшую часть жизни другого: однив въ другонъ ищите опоры, утьшенія, твердости; пусть каждий живеть для другого — и всь будуть покойны, веселы счастливы...> Къ тому же, каждый изъ этихъ совътовъ исполненъ еще, кромъ братской нъжности, удивительнаго здравомислія. Любимой сестрів своей объясняеть онъ разницу нежду истиннымъ здоровымъ чувствомъ и тъмъ обманчивымъ впечатлъпісиъ, которое производить иногда лътній вечеръ, свъчи, музыка, духи и усталость после бала. «Они сообщають такое настроеніе

уму, что всякій предметь хорошь: но смотри на предметь при солнечномь світів—въ его истинів— и счастіє само придеть. Надо стараться только быть достойною счастія, а жизненния непрінтности разводить поэзіей сердца. Жизнь хороша—и только одна жизнь хороша. Плохо памъ, если мы будемъ принимать сонъ и мечту за жизнь. Если увидишь, что какой-пибудь вздыхаеть—плюнь, дуракъ навірное. Любить можеть только сильний человікь. Съ первой и до послідней строки письма эти запечатлівны чувствомъ и умомъ...

Вторая зима, проведенная Станкевичемъ въ Берлинъ, ничъмъ не отличалась съ вижиней стороны отъ первой, но она принесла съ собой тв окончательные матеріалы, которыхъ недостанало ему для полноты характера. Вскоръ все собранное его мыслію начало устроиваться во внутрениемъ его мірф съ удивительною гармоніей и соотвътствиемъ всъхъ частей между собою. Вторан зима заифчательна еще и темъ, что мало-по-малу отходили отъ Станкевича всь близкіе сму люди: при ся ковць Я. М. Невъровъ отправился на пароходъ въ Петербургъ; Грановскій спінилъ тоже домой, но, страдая въ то время слабостію груди, отправился съ раниею веспой въ Зальцбруннъ (въ Силезіи), извъстный своею сивороткой и водами противъ бользией лёгкихъ. Семейство Фроловихъ въ то же времи увхало въ Петербургъ, хоти и не надолго. Въ іюнъ 1839 года оно снова было уже за границей, и събхалось съ Станкевичемъ во Флоренцін. Передъ отъвадомъ наъ Берлина, Е. И. Фролова ввела Станкевича въ домъ сестры своей, М. И. Кени, удъляя такимъ образомъ близкимъ людямъ часть той дружбы, которую сама питала къ нему. Всявдъ за ними и Станкевичъ покинулъ Берлинъ, по ми уже знасиъ, что опъ оторвался отъ него съ пъкоторымъ трудомъ, даже вернулся назадъ съ дороги. Затвиъ, разрезавъ ножомъ, какъ самъ говоритъ. всь дела свои въ городе, онъ спешить въ Зальцбруниъ. Тамъ застаетъ онъ еще Грановскаго, и висств живутъ они две недели въ скучномъ, хотя и многолюдномъ городкф (въ немъ было до семисотъ больныхъ), посъщая иногда почтеннаго русскаго копсула, г. Вюцо, единственную сносную ресторацію и бали въ ней, причемъ случалось, что зала было освъщена, музыка гремъла, а хозяннъ стоялъ у дверей и говориль любопытнымь: «Ich warte Menschen» людей). Грановскій убхаль изъ Зальцбрунна прямо къ себф въ деревию. Станкевичъ остался одинъ доканчивать курсъ, и вифхалъ изъ города только въ августи мисяци, по пути въ Италію.

Мы полагаемъ, что около этого времени Станкевичъ получилъ горькое извъстіе о смерти особы, занимавшей ибкогда такое большое мъсто въ его сердцъ. Это билъ послъдній узелъ, который развязивала судьба, высвобождая душу Станкевича изъ-подъ тяжелаго прав-

ственнаго гнета. М'ясто его заняло свътлое и грустное восноминаніе, тавъ хорошо высказанное саминъ Станкевиченъ, когда, на Тунскомъ озеръ (нъ Швейцарін), получивъ ближайшія свъдънія о покойпицъ черезъ А. П. Ефремова, только-что прибывшаго изъ Россіи, продается онъ весь міру прошедшаго и окружаеть себя тихнии, драгоцвинин твиями. Съ этой минуты Станкевичъ становится духовно свободенъ: путы, которыя приковывали его къ прошлому, не давая полнаго движенія его вол'я и приводя въ закізнательство его совість, пугливую и пріничивую въ высшей степени, пали сами собою. Онъ снова предоставленъ былъ себъ и могъ начать новое свое развитіе твердо и сповойно, не влача за собой но стопамъ мертвато факта, итшающаго каждому шагу. Дъйствительно, съ эпохи усдиненнаго пребыванія въ Зальцбруннів, Станкевичь совершенно изміняется и весь обращень лицомь къ новимь требованіямь, понятіямь и новой жизни, возникшимъ для него изъ новаго воззрвнія на міръ. Любовь, цин которой еще лежали на немъ, когда самой ея не было, онъ уже замвидаетъ вскоръ нъжною дружбой, усладивиею его последние часы. Вибств съ твиъ, прекращаются синбви идей съ чувствомъ, волиованиия его молодость и доказывании неполноту объяхъ сторонъ; пропадають также и резкія проявленія мысли: онь становится тихъ, свътель, какъ-то целостенъ. Въ конце 1838 года овъ еще писалъ: «Мон надежды, если не богаче, то опредълениве, впрочемъ и теперь не безъ того, чтобы за ними не било туманиаго. Въ концъ 1839 г. все туманное отделяется отъ существа Станкевича, и надежды его принимають ту изящную опреділенность, въ какой представляются напъ, напримъръ, явленія природы. Самая природа возстаетъ передъ пимъ какъ великая крамина, къ которой, послъ долгаго обхода, опять приведенъ двухъ-лфтинии любимыми своими запятіями. Накопецъ, какъ чудно и илодотворно разръшились вообще философскія запятія Стапкевича, ножно видіть по превосходнимъ строкамъ, писаннинь имь изъ зальцбрупискаго своего уединенія въ М. П. Кени (письмо отъ 15-го августа 1839): «Есть люди съ сильною и богатою натурою, которые переселяются во всъ характеры, унфютъ перечувствовать всф положенія и найдти въ каждомъ человівсь что-нибудь для себя, насладиться въ немъ каждыйъ чуть замітнымъ проблесконь хорошаго. Это счастиници. Въ нихъ самихъ все полно, окончено, всв стремленія удовлетворены; поэтому они терпвливы, синсходительны, весело смотрять по сторонамъ и скоро во всемъ открываютъ свътлия сторони.>

Очеркъ этотъ есть върный портретъ самого Станкевича, какъ онъ сложился къ началу 1840 года, по окончании берлинскихъ занятій, хотя авторъ и не предполагалъ заключать въ этихъ стро-

кахъ ничего похожаго на автобіографію, да и не согласился би никогда, по глубокому чувству скромпости, узнать въ нихъ самого себя. Та же скромность заставляетъ его говорить о себъ далее чрезвычайно уклончиво, во мы нисколько не обязаны въ подобнаго рода осторожности. Продолжаемъ выниску.

«Есть и такіе, которымъ всв люди пріятны, потому что они во всему равнодушны. Но я не принадлежу ни къ тому, ни къ другому классу; и не довольно совершенъ, чтобъ со вскии найдти удовольствіе; я его нахожу съ людьми, которыхъ уважаю отъ всей души... Для непя это рашительно открытів Поваго Свала. Прожить нъсколько времени съ такими людьми, значить для меня прожить по-человычески, удовлетворить необходимой и лучшей потреблости души. Вотъ отчего я такъ радуюсь этимъ свътлымъ пунктамъ въ ноей будущиости. Природа и искусство только намени, смыслъ ихълюди, и лучшіе люди. Кто лишень наслажденія людьми, на того природа и искусство должни дълать тяжелов впечатавніе, должни возбуждать въ немъ чувство пеудовлетворенной потребности...> Такъ искусство и природа становятся ядісь вы подножіе человіку, который собпраеть всв ихъ намени и открываеть настоящій смысль ихъ. Высокое, гуманное пониманіе жизни было послѣднею степенью въ развитін Станкевича, результатомъ, окончательно даннимъ сму философскими запятіями. Мы ничего не можемъ прибавить къ драгоцвинымъ строкамъ, выписаннымъ сейчасъ: намъ остается, увы! последиля, педолгая работа -- проследить жизнь, настроенную на такой ладъ, во Флоренціи, въ Римъ и въ Съверной Италіи, гдъ она потухла.

## VI.

## ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ИГАЛІЮ СТАНКЕВИЧА И СМЕРТЬ ЕГО.

Въ концъ 1839 года мы паходимъ Станкевича во Флоренцін. Послъ отъъзда Грановскаго изъ Зальцбрунна (11 іюля 1839), Николай Владиміровичь прожиль еще цълый мъсяцъ на водахъ, и только въ половинъ августа виъхалъ оттуда. Черезъ Прагу, Пюрнбергъ, Штутгартъ, и Карлсруз прибылъ онъ въ Базель, гдъ съъхался съ однимъ изъ старыхъ своихъ товарищей, А. П. Ефремовимъ, и виъстъ съ пимъ совершили они трудный путь по Симплонской дорогъ, испорченной внезапими дождями, и очутились въ Домо д'Оссола, въ Италіи. Изъ Милапа направились они въ Геную, и съли тамъ на пароходъ, на которомъ прибыли въ Ливорпо. До-

роги по сухому пути, чрезвычайно утомлявшія б'яднаго Станкевича, видино слабъвшаго день ото дия, заставили предпочесть плавание перевзду. Въ началъ ноября измученный больной явился во Флоренцію. Тамъ уже ожидало его знакомое семейство Кени, къ которому скоро присоединились и Фроловы, остановившіеся въ одномъ дом'в съ первыми. Неподалеку отъ нихъ, на Piazza S-ta Maria Novella, поселился и Станкевичъ, которому дружба и расположение Е. П. Фроловой сдфлались уже необходимостію. Первый взглядъ на Италію не произвель на Стапкевича того радостнаго чувства, которое произведено было болъе знакомымъ ему міромъ, Германіей. Родовыя черты Италіи гораздо строже, а приготовленія къ принятію и разуминію ихъ у насъ гораздо мение. Италія требуеть пикоторой уступнивости, ифкоторой довфривости въ себф, особенно устраненія укоронившихся привычекъ въ жизни и даже въ сужденія; затвиъ уже открываетъ она себя въ величін своей простоты или отсталости, если хотите. Станкевичъ долго всматривался въ ея вседпевную жизнь, въ эту сифсь классическихъ и средневфковыхъ обычаевъ, заключенныхъ въ строго-изящную раму, образуемую неизмъпною природой. Это было его единственное занятие во Флоренции, если исключимъ усиленное историческое чтеніе и упражценія въ музикъ. Послъднее запятіе развилось у него почти до страсти... Вся дъятельность его обращена была на три предмета, какъ онъ самъ пишеть къ роднымъ: читать, играть на фортеньяно и топить каминь. «Три важныя занитія, которыя всь ившають одно другому», прибавляеть онь съ той изящною улибкой, которая въ нашемъ воображенін уже неразлучна съ его физіономіей. Весьма осв'яжительно дъйствовало на него общество Е. П. Фроловой: онъ свыкся съ пимъ, и съ трудомъ могъ представить себъ необходимость лишиться его. Разъ только онъ разсердился, именно тогда, когда услыхалъ, что въ Россін начинають считать Шиллера идеалистомь безъ значенія для двиствительности... «Они не понимають, что такое двиствительность... действительность въ синсле непосредственности, внешпяго битія — есть случайность... двиствительность, въ ея истинъ, Разунъ, Духъ 1). Но вследъ за вспышкой, Стапкевичъ требусть

<sup>1)</sup> Кстати будеть упоминуть здёсь, что въ отсутствіи Станкевича изученіе философіи продолжалось у насъ по прежнему и образовало два направленія. Оба они были
вітви одмого и того же кория, только разошедшіяся въ противоположния стороны.
Разногласіе вышло изъ различнихъ способовь пониманія и опреділенія дійствительпости. Друзья Станкевича не сомитвались въ обратномъ дійствіи всякой науки на
жизнь, и вст безъ исключенія искали его въ общемъ развитіи сознанія, которое подиннастся и растеть отъ цільнаго вліннія извістнаго ученія на вст способности в
представленія человіка. Противники думали, что, кроміт того, существують еще обязапности для человіка, независимыя отъ науки и отъ дійствительности, съ которой

отъ друга, чтобъ онъ осторожно высказалъ эти аргументы ошибающих прінтелянъ. «Они люди хорошіс, и я съ ними ссориться не хочу», говорить онъ. Между тімь пятимісячное наблюденіе новей страны во Флоренцін, съ тою способностію къ наблюденію, какою онъ обладаль, не прошло даромъ, и когда, 6-го марта 1840, Станкевичь выйхаль въ Римъ, то письма его оттуда къ Е. И. Фроловой уже показывають совершенное родство мысли съ краемъ, представшимъ ей: наблюдатель поставиль себя въ уровень съ наблюдаейымъ предметомъ.

Здесь им остановиися, чтобъ сказать несколько словъ о замечательной русской женщинь, которой посвящена была последияв переписка Станкевича, и которая представляеть лицо, противоподожное женскимъ лицамъ, какія мы видили до сихъ поръ. Получивъ весьма блестящее, французское воспитаніе, Елизавета Павловна соединяла съ нимъ оригипальный умъ, необыкновенную способность угадивать людей, и другую, не менфе важную способность видьть въ каждомъ предметв ту живую, самобитную черту, которою опъ разнится отъ всехъ другихъ. Выстрая догадка, такъ свойственная вообще русской природф, составляла второе качество этой замычательной женщины: опа открывала ей мгновенио длинную перспективу ндей, даже въ незнакомой сферф изследованія, и установляла ифкоторый родъ равномфримхъ отношеній между ученымъ спеціалистомъ и слушательницей его. По роду своего воспитанія, прениущественю французскаго, съ оттъпкомъ англійской аристократической строгости въ началахъ, она ръдко восходила до первыхъ основаній, до сущности всякаго вопроса. Опъ дълался достояніемъ ея только тогда, когда уже сопринасался съ жизнію накою-либо стороной, и когда выразились его отношенія въ другимъ однороднымъ вопросамъ. Такихъ предметовъ было уже тогда много подготовлено въ Европф, начиная съ метафизическихъ преній до толковъ о различномъ пониманін нравственныхъ законовъ въ обществъ. Въ приложеніи остроумія и женской проницательности къ текущимъ, такъ сказать, дъ-

могуть быть и въ противоръчи. Представителемъ якъ сдълался извъстний Ч-нъ. Оба направленія сталкивались почти всегда враждебно на одномъ этомъ спорномъ пунктъ, будучи согласни на всёхъ другихъ. Кругъ Станкевича держался упорно за свои основанія. Противники упрекали его въ рабольшномъ поклоненіи уситху и въ невинманіи къ слабой сторонь, котя би требованія ея и имфли вядъ истили. Кругъ бывшихъ друзей Станкевича возражаль, что трудъ разбирать, на члей сторонь истина, предоставляется общему сознанію, совершенствувищемуся посредствоять пауки и что личное, капризное, ограниченное разбирательство всегда ниже приговора целимъ міромъ в потому всегда биваеть по справедливости въ числь побъжденнихъ. Висшее поняманіе дъйствительности въ "Разумъ и Духъ", какъ говоритъ Сталкевичъ, притрило обф враждующія стороны около 1840 года.

данъ современности отвривалась сила Елизавети Павловии; но она ногла назваться также идеплисткой, хотя совстяль въ инопъ значепін, чамъ та, которыя обыкновенно носять это прозвище. Она канъ-то высоко понимала общественныя сношенія и унівла возвести тонъ, господствовавшій въ ся кругь, до идеальнаго выраженія благородства. Она имъла удивительный даръ распознавать людей. У пей была вігра въ людей, вмістів съ способностію угадывать ихъ тайныя наклонпости. Съ первыхъ сношеній опа ставила человівка въ возможность повазать себя, и сама поучалась въ этой книгь, ею же и раскрытой. Весьма слабая здоровьейъ и страждущая тимъ же недугомъ, какъ и Станкевичъ, положившимъ на бледномъ, не совстит правильномъ лицъ особенную печать, Елизавета Павловна почти никуда по выбажала, по постоянно видбла у себя людей изъ высшихъ европейскихъ круговъ. Гунбольдтъ, эта живая эвциклопедія познаній, столько же неутомимый въ трудахъ своихъ, сколько и чувствительный къ каждому замъчательному явленію жизни, быль въ числъ ея посътителей, когда она находилась въ Берлинъ. Фаригагенъ фонъ-Эпсе, извъстный своими біографіями, любиль проводить время у Фроловыхъ, и, случалось, занимался тъмъ, что дразнилъ знаменитую Веттину, которая его терпъть не могла и называла Giftesel. Въ Веттинъ дъйствительно было много наивнаго воодушевленія, но иногда мъсто его занимала ложная, придунанная и пустая восторженность. Она часто бывала у Фроловой, но, говорять, побанвалась ея въ душь, да и сана Елизавета Павловна считала необходимымъ обращаться съ ней немножко свисока. Станкевичь сохраниль намь, въ одночь изъ свонкъ писемъ, превосходную замътку Елизаветы Павловим о характеръ Беттины: «Elle sait le bien et le beau dans leur essence et leur luxe, mais elle n'en sait pas les détails positifs> (преврасное и доброе знакомо ей въ ихъ сущности и въ ихъ блескъ, но положительныхъ подробностей того и другого она не знаетъ). Станкевичь испыталь при этихъ словахъ такое же чувство, какое испытываетъ человъкъ при видъ отличнаго портрета, оригиналъ котораго ему совершенно неизвъстенъ, но который истиной своего изображенія невольно вырываеть слова: какъ върно! Мы раздъляемъ мятьніе Станкевича. Одинъ изъ молодыхъ Русскихъ, такъ радушно принятыхъ зю въ Берлинъ, разсказывалъ намъ сцену, которой былъ очевидцемъ. Разъ явился въ Фроловой какой-то забажій французскій наркизъ или графъ, весь пропитанный тэмъ блестящимъ салоннымъ умомъ, который, между прочимъ, во Франція становится ръже, чъмъ гдъ-нибудь. Елизавета Павловна часа два вела съ нимъ діалогъ, похожій на фейерверкъ, и годный въ любую пословицу Альфреда де-Мюссе, а по уходъ его обратилась снова къ своей

простой, сдержанной рачи, въ которой всегда было скорйе заматно желаніе вызвать бесёду и слушать, чамъ говорить.

Елизавета. Павловна поняла Стапкевича съ перваго раза, да в угадать его было немудрено. Его благодушное расположение къ людянь, мягкость обращенія, подчиняющая сердце, ваботливость, съ которою онъ искалъ лучшихъ струнъ въ душв человъка, и неподдъльное наслажденіе, съ которимъ прислушивался къ пимъ, - все это бросалось въ глаза. Въ способъ обращенія и во всемъ существъ Станкевича было столько изящества, что, по увфренію его пріятелей, онъ становился всегда заметнымъ, какъ бы пи было велико общество, или кавъ бы разборчиво ни било оно составлено. Свътлая, гархоническия душа Станкевича отражалась во всемъ вившномъ его обликъ и по образу своему устранвала его наружный видъ, рачь его и пріены: вотъ почену присутствие его невольно чуостобовлюсь окружающими, да этимъ же объясияется и то обантельное действие, которое онъ всегда производилъ особенно на молодихъ людей обоего пола. Въ жизни его, можно сказать, видишь, какъ эти высказанния и невысказанныя привязанности сопровождають его до гроба... Дружба Е. И. Фроловой въ Станкевичу основивалась еще и на важнихъ правственных потреблостяхъ. Можно безъ особенной сиблости предполагать, что своимъ пониманиемъ каждаго предмета въ идев Станкевичъ возвышалъ уровень ея мислей, какъ это онъ дълалъ во вевхъ своихъ знакомыхъ, не сознавая самъ, по обыкновенію, своей работы. Какъ бы то на было, Станкевичъ находится въ постоянной перепискв изг. Рама съ Фроловой, отправляя по письму каждую недфлю, ипогда болве, на имя супруга ся, Инколая Григорьевича Фролова, сдвлавшагося впоследствии известнымъ у насъ своими изданіями по частя естествовъдънія. Переписка эта и будеть служить намъ питью, воторая поведеть насъ за Инколасиъ Владиніровичень въ последнее на земли мисто, гди онъ остановился на никоторое премя.

Станкевичъ, какъ знаемъ, выбхалъ 6-го марта изъ Флоренців и 8-го прибыль въ Римъ. Онъ поселился на Корсо. Николай Владиміровичъ не принадлежалъ къ числу тбхъ упорныхъ туристовъ, которымъ скука одиночества въ неизвъстномъ городъ ни почемъ, в
которые, послъ безпрерывныхъ бъганій по улицамъ и осмотровъ,
способны довольствоваться бесъдой съ проводникомъ. Станкевичъ
испытывалъ чепреодолимую тоску, если въ городъ не было у него
вакого-либо центра, образуемаго другомъ, семействотъ, умною женщиной, и старался тотчасъ отыскать его. Отъ этого центра в велъ
онъ потомъ радіусы въ замъчательнъйшимъ точкамъ новой мъствости, да и тутъ многія изъ нихъ, прославленныя дорожниками, считалъ онъ просто наказаніемъ путешествосничковъ. Не видать—

стидно, а смотреть — не стоять, говориль онь. Освободясь отъ этого принужденія, налагаемаго «указателями» и «вожатыми», онъ нашель пріють столь необходимый для его общежительной природы въ семействъ Х\*\*, съ которииъ познакомился во Флоренцін, и въ средъ котораго цвели молодость, красота и вравственныя достоянства въ весьма счастливомъ соединении. Около этого семейства собирался общій кругь знакомыхь: немецкій живописець Рунде, русскіе художники и въ томъчислъ профессоръ Марковъ, наконецъ полякъ Брык...ій, страданшій чахоткой, но зам'вчательный фортепьянисть, другь Листа, и притомъ съ весьма красивымъ, эпергическимъ лицомъ, соотвътствовавшинъ эпергін характера. Онь зналь, что бользнь его неизлічния, и нало заботился о томъ. Станкевичъ, также страстно предавшійся ијзыкъ и больной одною съ нимъ болъзнію, чрезвычайно полюбилъ его. Нъсколько русскихъ путешественняковъ, въ числъ которыхъ биль тогда и И. С. Тургеневъ, еще не начинавшій литературнаго поприща своего, находились между обычными постантелями семейства Х\*. Они дълали всв вивств тв продолжительные набыти на разныя части города, указываеныя дорожникомъ, отъ конхъ вноследствін Станкевичъ весьма часто устранялся. Впрочемъ, единственная идея, которою жиль тогда весь Ринь, --- наслаждение искусствомъ, привилась въ иностранцамъ какъ болфзиь и одолфвала ихъ, не смотря на внезапность своего появленія. Они захватывали ее, казалось, вместе сь воздухомъ Тибра, и она нивла свойства вытъснять изъ обращенія понислы о другихъ ближайщихъ и болве знакомыхъ имъ интересахъ. Только и разговоровъ было, что объ искусствъ; все остальное было обречено на смерти и намоту, ради согласія въ общемъ хори; это вивло своего рода комическую сторону, не ускользнувшую отъ наблюдательности Станкевича. И. С. Тургеневъ, между прочинъ, собирался не шутя посвятить себя живописи, сталь брать уроки у живописца Рунде, а покамъстъ занимался рисованьемъ каррикатуръ, по тэнань саного Станкевича, которыя весьма забавляли последняго. Отъ этого движенія, имъвшаго и свою серьёзную сторону, Станксвичь не могь устраниться вполив. Онь набросаль тогда ивсколько заивтовъ для статьи объ искусствв, изъ которыхъ видно, что искусство было для него, какъ и все другое, вопросомъ философскаго и правственнаго свойства. Отрывки эти весьма мало обделани, состоять преимущественно изъ однихъ намековъ и потому затрудни тельны для пониманія, но тамъ, которые привыкли въ философскому языку вообще и къ теченію имслей у Станкевича въ особенности, инсль этихъ отривковъ ясна. Станкевичъ намфревался разработать побъяснить настоящій симсять навітстних те словь Гегеля: «искусство есть прошедшее для насъ. Ему хотвлось указать на возможность

новаго искусства, соотвътствующаго тому представлению жезни, кавое должна дать новая философская идея, когда она достигнеть всей своей зрилости и перейдеть въ сознание цилаго общества. Онъ выбраль систему доводовь по аналогіи и прежде всего обратился въ исторін за примірами и указаніями. Выходя изъ положенія, что духъ, породившій искусство, единъ, Станкевичъ отвергаетъ схоластическія дъленія искусства на многіе роды и видить въ немъ только эпохи развитія самаго духа. Виды искусства ділаются только формани, въ которыхъ преображается единий, пераздальный духъ. Такъ архитектура была необходимымъ видомъ искусства, когда человъкъ старался выразить целость и необъятность духа, посредствоиъ сичвола; скульптура, когда духъ быль понять, какъ сущность человаческой природы и ограниченъ человъческою формой; живопись, когда человъческому проявленію духа следовало возвратить его новещественное, безилотное свойство. Здось кончаются отрывки Станкевича, но уже можно догадываться, что въ основание новому виду искусства онъ полагалъ философскую идею, окончательно поясняющую и украплисиж кінеляк кывон окуполяджаς амітає а кінапорів окуполи. новые обычаи и даже новыя понятія о красотів...

Но это было теоретическое, отвлеченное представление искусства: любопытно видыть, какъ проявлялось у Станкевича его личное, непосредственное эстетическое чувство?

Въ этомъ отношени можно сказать, что у Станкевича попадаются слова, останавливающія вась невольно... Всячески соблюдая истивное представленіе разм'вровъ и пропорцій, позволено будеть сказать, что замътки Станкевича отчасти напоминаютъ геніальныя замътки Гегеля объ итальянскомъ испусствъ. Тутъ дъло не въ техническихъ познаніяхъ и даже не въ знакомствъ съ историческими данными, 2 въ соображеніяхъ, которыя возникають при отраженіи предчета въ человической души. Слова Станкевича проливають тихій, кроткій свътъ, который воличется на предметъ, какъ поэтическое облако, сообщая ему особенное выражение. Уже при саной первой встрычь съ жителями Рамской Кампаньи, при видъ людей въ синихъ плащахъ, съ длининии посохани въ рукахъ, съ недлениою, важною походкой, Станкевичъ вспоминаетъ о Титв-Ливіи и собпрается перечитать его. Успоконышись отъ волисній дороги, онъ, черезъ два дня по пріфадів въ Римъ, идеть гулять по Корсо, минусть Капитолій, спускиется въ форуму и черезъ рядъ влассическихъ развалинъ достигаеть арки Тита и Колизея. Онъ пе заглядиваеть въ книжку, отдаваясь вполив одинив своимв впечатлиніямв, я встрича св Колезеемъ вырываетъ у пего восклицание: «Не знаю каковъ онъ быль въ своемъ цвъту, въ первобытномъ видъ, но върно не лучше, чтиъ теперь. Я не дунять иного о его назначения... я видъть только огромную, гармоническую развалину и темносинее мебо, просвъчивавшее во всв ся окна... Точно также спотрель и Гоголь на Колизей. Общій характеръ свободы, простора, даннаго собственной воспрівичнисти, не стисняемой чужних представленісях предметовъ, лежить уже на всехъ изследованіяхъ Стапкевича въ Рине. Онъ какъ будто приводить въ исполнение слова, сказанныя имъ однажды по поводу отношеній между наукой объ искусствів и пониманіемъ его: «отдадинъ весарю кесарево, в Вожье душа узнаетъ». Входитъ ли онъ въ соборъ Петра-стройная громада эта, въ которой, по словамъ его, дышищь вольные и высоко поднимаешь голову, раждаеть у него мисль: «Я никогда пе могь ждать оть архитектуры чегонибудь охватывающаго душу; душа выше ся, но она довольна, когда находить себь такое жилище». Посъщаеть ли онъ Пантеонъ-оконченность, миръ и спокойствіе, которые царствують въ зданіи, действують благотворно на все существо Станкевича, но онь зам'вчаеть, что древніе слишкомъ рано успоконлись, удовлетворились преждевременно, и потому не надобно хотъть постоянно, долго, исключительно наслаждаться ими; современныя требованія тотчась обратять умъ на другое и нарушатъ гармонію наслажденія (25-го марта, 1840). Аполловъ Бельведерскій привель Станковича въ восторгь: по онисанію его видно, что нашъ путешественникъ уразуміваль превосходный греческій типъ, который світился въ этой позднівнисй копіп. Когда впосавдствін говорили ему, что статун не носить на себъ признаковъ греческаго резца, что, вероятно, вышла она изъ риискихъ мастерскихъ временъ Адріана и проч., Станкевичъ, словно влюбленный въ первоначальный типъ статуи, просто замъчалъ: «это для меня ничего, я упримъ и имато свои понятия объ этомъ». Съ такою же откровенностію говорить онь при вида Моисся Микель-Анджело, что художникъ попималь въ представлении божественнаго одно только свойство - силу. Кисть Гвидо-Рени пришлась Станкевичу по сердцу, и онъ прекрасно опредъляетъ этого художника словами, вызванными наблюденіемъ какой-то головки: «зд'ясь уже н'ять твлаодна душа и музыка. > Станкевичъ осуществляетъ въ Римъ намъреніе довфрять самому себъ принятое имъ съ первыхъ шаговъ по улицамъ города: «Всякій человъкъ живеть и должень быть снисходителенъ въ своей индивидуальности, върить ей-не то, она еще болье будеть обманывать его! У мы убъждены, что при болье долгой жизни, при возножности дальпейшаго обсужденія впечатленій, на одпомъ этомъ основание родились бы самобытныя, оригинальныя занатки объ искусства, которыя произвели бы то же самое дайствіе

на читателей, какое производели и вкоторые проблески ихъ на весь пругъ его знакомыхъ!

Нельзя забыть при этомъ, что, отдаваясь самому себъ, Станкевичь опирался на одну изъ самыхъ превосходныхъ личностей, которая достигала тогда окончательного своего развитія. Юморъ Станкевича улегси и пріобраль сватлое вираженіе, виаста съ граціей въ форм'я и логкимъ оттрикомъ задумчивости. То же самов ножно сказать почти о всехъ другихъ его качествахъ. Въ Рий, напримъръ, происходили иногда споры объ искусствъ; особенно быль одинъ о значени преданія въ живописи. Станкевичь допускаль участіе преданія, какъ аттрибута, съ которымъ уже свыклось наше представление ибкоторыхъ лицъ, но отвергалъ его, когда оно становилось на изстъ живого пониманія явленій и характеровъ. Овъ видълъ въ немъ тогда или матеріализацію искусства, или уничтоженіе его въ неясныхъ стремленіяхъ, чуждыхъ всякой формы. По этому предмету высказано было имъ нъсколько превосходнихъ мыслей въ письм'я отъ 25-го марта, да вопросъ этотъ быль, въроятно, и первынь поводомъ къ статью объ искусствю, о которой им упоминали. Но какъ былъ веденъ самый споръ? Никто не возражалъ и не спориль благородиве, гуманиве, прибанивь — великодушиве Станковича. Въ столкновеніяхъ инфий и въ способь доставлять нобъду своимъ убъжденіямь обыкновенно открывается грубая или свътлая природа человъка. У Станкевича не било и признака хитрой изворотливости мысли, желанія захватить другого врасплохъ, жажды поразить и унизить противника — всёхъ этихъ темнихъ качествъ, делающихъ изъ каждаго спора какую-то печальную арену, гдъ сталкиваются на глазахъ вашихъ черныя страсти и побужденія, безобразно замішанныя въ самий вопросъ. Онъ принималъ мибије противника всегда съ лучшей, выгодивишей стороны его, и не могъ представить себв возможности обойдти его сзади или подкрасться къ нему тайкомъ. Кромъ споровъ объ искусствъ, были еще тогда преція и о философін, особенно съ однимъ изъ русскихъ профессоровъ словесности, объезжавшихъ Италію. Какъ онъ, такъ и другіе оппоненты Станкевича, даже самые упорные, отдавали справедливость его уваженію въ дъльному спору, которое они называли списходительностію. «Я, въ самомъ дълъ, говоритъ Станкевичъ, взялъ за правило самообладаніе въ разговорахъ такого рода, я оно гораздо выгодиве я для меня и для чести науки, можеть бить... Оно оковываеть порыви самолюбія въ другомъ или заставляетъ его обдумать мивнія, возникшія par dépit.» Пренія о философіи, между прочинь, побудили Станкевича къ составленію, можетъ-быть, последнихъ его заметовъ о наукъ, которую защищаль онъ всегда съ жаромъ и съ успъхомъ

искренняго убъяденія. Мы не ножень выписать ихъ сполна, вопервыхъ, по отрывочности ихъ, требующей довольно обширныхъ объясненій, не совсімъ умістнихъ въ нашемъ очеркі; а во-вторихъ. по глубовому отвлеченному характеру ихъ, къ которому читающая публика наша весьма мало расположена. Скажемъ только, что въ этомъ последнемъ труде Станкевичъ имель въ виду исторію философін Рейнгольда, обвинившую впервые Гегеля въ скептицизмъ: обвинение, прянятое съ ея голоса и многими людьми, незнакомыми съ системами берлинскаго философа. Мы только приведемъ окончаніе статьи. Предварительно Станкевичь замітиль, что у Гегеля ніть не предложений, не доказательствъ, и все порождается передъ глазани мыслителя, исключая «Духа», который не подверженъ этому закопу. Начавъ чувственныть бытіемъ, Гегель, по словамъ Станкевича, приводить его къ «Духу»; начавъ уединенною мыслію, Гегель приводять ее въ «Духу»; начавъ природой, Гегель приводитъ не къ человъку, а человъку указываетъ истипу въ «Духъ». Идея, по объяснению Станкевича, есть то блаженство, гдв человъвъ наслаждается осуществленіемъ въ себъ воля Висшаго Духа. Затьиъ Станкевичь идеть далые. Онь снимаеть весь логическій процессь, предпествующій появленію иден, называя его не самою истиной, а только приготовленіємъ къ ней, и остается съ последнимъ результатомъ науки — идеей. Приводимъ затемъ выписку изъ трактата, для повазанія, что скрывалось въ этой вдев для самого Станкевича. «Въ самомъ делъ, говоритъ опъ, въ ходе науки умъ постепенио очищается отъ чувственной коры. Онъ прозраваетъ. Отдальныя мертвыя существованія постепенно сдвигаются съ мість своихъ, чтобъ исчезнуть въ общемъ, веселомъ хороводъ жизни. Туманъ ръдветь, почине призраки бъгуть — и вдругь полный свыта любои изливается на созданіе и довершаеть дело преображенія. Вотъ жизнь, говорить философъ, попятая умонь, которая сначала являлась нашему глазу въ грубой непосредственности. Хорошо. Не заботься же болье объ этихъ призракахъ, которые прогнало солице 1). Это не истина, не абсолютное — и твой трудъ былъ только ходъ къ абсолютному. Теперь ты въ немъ забудь прошедшее. Разверни намъ новую жизпь. Подъ лучаме этого солнца построй намъ міръ, пропикнутый этою любовью!

Но здесь кончается наука.

Къ этой-то духовно-разумной постройкъ жизни для себя, кото-

<sup>«</sup>Да. Философія есть ходъ въ абсолютному. Результать ея есть эксизнь идеи въ самой себъ. Наука кончилась. Далье нельзя строить науки и начинается постройка жизни...»

<sup>1)</sup> То-есть о логических вотвлечениях, предшествовавших в последнему слову науки.

рая была бы практическою повёркой самаго учения, и приступаль теперь Станкевичъ; но смерть застигла его на первыхъ шагахъ въцёли.

Спертельный недугь, который Станкевичь носиль въ груди, поизмаль ему даже устроить внутренній міръ свой вполив нодъ-ладъ къ тому міру классическихъ чудесъ, тишины и величаваго спокойствія, его окружавшаго. Вліяніе этого міра чувствовалось, но Станкевичь хотвль родства съ никъ. «Кромв перемвичивой погоды, говорить онъ, которая мвшаеть покойно и въ порядкъ видъть сокровища Рима, меня ственяеть короткій срокъ моего пребыванія въ Римв: я не могу хорошенько расположиться, не могу устроить своихъ занятій такъ, чтобъ они сообразны были и съ ввчною, главною потребностію духа, и съ мвстностію. Это мвшаеть найдти центръ, изъ котораго весело и спокойно можно смотръть на весь міръ... но двлать нечего. Распорядиться такимъ образомъ не совсвиъ зависить отъ моей воли. Этого ствененія требуеть мое здоровье и другія причины...»

Римъ въ его время носиль особенный характеръ и какъ будто созданъ былъ для того, чтобъ образовать душу художника или философа. Онъ походиль па академію, разростуюся въ большой городъ. У великольныхъ вороть его замолкаль весь шумъ Европы, и человъкъ невольно обращался или къ прошедшему, которое встръчало его на каждомъ шагу, или подъ танью его сосредоточивался въ себъ самонъ, въ собственной мысли. Современная жизнь показывалась въ тогдашнемъ Римъ одною стороной своей - стороной, обращенною въ искусству. По улицамъ его ходили великольниныя процессін, окрестности его безпрестапно наполнялись шумомъ техъ религіозю-художественнихъ торжествъ, въ которихъ народъ виказиваеть такъ могущественно свою изобратательность и врожденное чувство изящнаго. Эти проявленія народнаго творчества, вибств съ отсутствиемъ пустой роскоши, бъготии за новостями и съ чертами врожденной веселости, счастливо соединенной въ національновъ характеръ съ какою-то степенностію, дълали изъ обиходной жизни Рима пъчто весьма по похожее на жизнь въ другихъ городахъ. Одно отсутствие маторіальных стремленій и горделивов довольство самимъ собой каждаго его гражданина заставили приоторихъ мыслителей предрекать великую будущиость повому Риму. Затемъ, если въ оградъ Рима скривались и словно пропадали для всего свъта многія личности, прошумъвшія въ Европъ, то не менъе било и такихъ, которыя въ немъ искали необходимаго приготовленія къ подвигань жизни и къ деятельности. Въ развити каждой серьёзной чысли есть минуты, вогда она требуеть накотораго молчанія и нажоторой степени уединенія, подъ прикрытісяв которыхв и созраваеть окончательно. Место, где совершается процессь этоть, разумеется, значить мало, но надобно сказать, что тогда во всей Европ'в не было города способиве Рима собрать всв правственныя силы человъва въ однеъ центръ и, такъ сказать, въ одну нассу. Именно то м происходило со Станкевичемъ. Развитие его достигало конца, и мудрос, симпатическое, но спокойное созерцаніе міра все болѣе и больр росло и укрыплялось въ немъ. Каждому извыстно, что достиженіе извіствой правственной висоти есть, вийсті съ тімь, и право на обладаніе всімъ, что лежить подъ нею; другими словами, полнота развитія скоро усвоиваеть себь и ть явленія, которыми человъкъ никогда не зачинался, или на которыя бросилъ только бъглый, поверхностный взглядъ. Незнакоиство съ предметомъ, ошибка въ его оцънкъ-тутъ дъло временное и случайное. Стоитъ только человику ближе поднести предметь къ умственнымъ очамъ своимъ, и предметъ легко вводится въ ту богатую сокровищенцу мысли, гдв каждая изъ нихъ занимаетъ свое опредвленное место. Вотъ почему нужды нътъ, если, занимаясь преимущественно философскимъ представлениемъ жизни, Станкевичъ выпустилъ изъ вида ту или другую подробность современнаго быта, не оцвииль по достоинству той или другой практической его работы, не угадаль въ вакомъ-либо писатель, какъ напримъръ въ Жоржъ-Сандь, суще-ственнаго качества его — борьбы съ мертвыми формами жизни. Все это быль только недосмотръ; все это, прибавинь, ждало только минуты внимательнаго взгляда, чтобъ получить признаніе своихъ существенныхъ качествъ. При полнотъ развитія не можеть быть затворенныхъ дверей ни для какого явленія, посящаго признаки правственныхъ стремленій; не долго также остаются отверженцами не понятыя или еще не изследованныя начинанія людей, я скоро изъ блуждающихъ, осиротълыхъ существъ они поступають въ широкую область духа, обращаются въ органические члени нашего собственнаго сознанія и дійствують въ немъ наравив со всіми другими, расширяя все болъе и болъе кругъ его. Такъ было бы и со Станкевиченъ, потому что полнота духа, какой онъ достигъ въ Римъ, дълала его способнымъ къ богатому гостепріниству идей, въ чемъ препиущественно и состоить эта полнота; что въ настоящемъ случав мы но предасися фантазіп и но пишемъ идеальнаго лица, можетъ памъ служить доказательствомъ покойный Грановскій, принадлежавшій къ школь Станковича. Въ силу развитаго человыческаго, общественнаго и исторического спысла, какое явление въ духовномъ мір'я ускользало отъ его сочувственнаго вниманія и въ какой разумной сторонъ человъческой жизни вообще быль онъ глухъ или несправедливъ когда либо?...

Между томъ, Станкевичъ видимо и посполно бливился, по выраженію поэта, из своему пачалу. Болізнь его шла не по двянь, а по часамъ. Уже не было опредъленныхъ сроковъ для недуга: опъ заставаль его во всякое время. Разъ Станкевичъ поднимался въ четвертый этажь дома, гдѣ жили X\*, и читаль своимъ обыкновен-нымь тихимъ голосомъ стихотвореніе Пушкина: «Спова тучи надо мною. Пріятель, сопровождавшій его, следоваль за нимь и видель, - какъ на половинъ лъствици онъ вдругъ остановился, капілятуль и поднесь платокъ къ губамъ: на платкъ осталась вровь. Свидътель этой сцены певольно содрогнулся, а Станкевичь только улыбнулся и дочелъ стихотворение до конца. Множество системъ и докторовъ было перепробовано, и не принесло пользы: ножетъ-быть это даже ускорило ходъ неизбъжной развизки. Замфчательно, что Станкевичъ вообще никогда не говориль о своей бользии, и если упоминаль о ней, то не иначе какъ въ шуточномъ тонъ. Отсутствующимъ друзьямъ онъ даетъ во всехъ видахъ убъдительния заверения въ возможность если не скораго, то радикальнаго своего выздоровленія; роднихъ сообщаеть один только намени на свое физическое состояню. Опасеніе возмутить чью либо душу адкинь чувствомъ — превозмогаеть ту нужду въ откровенности, которан такъ свойственна больныхъ вообще. Самъ онъ не могь не видеть близости сперти, по какъ-то не хочеть върить ей: противорфчіе, часто встрычающееся у полодыхъ людей, осужденныхъ на преждевременный конецъ. Притояъ же въ смерти боялся онъ прекращенія мысли... Ни на минуту пе даетъ онъ побъды матеріальному факту надъ собой: по свидътельству очевидцевъ, никогда не надаль онъ духовъ и всякій новий признакъ физическаго разрушения встрфчалъ съ новою надеждой сбросить его и высвободить себя изъ-подъ гиста слопого случая. Станкевнчъ въ концъ апръля собирается въ Неаполь для свиданія съ В. А. Д\*\*, которую отыскивалъ съ самаго вивзда изъ Берлина. Онъ думалъ застать ее еще въ Базелъ, но разъъхался съ нею. На В. А. Д\*\* перенесъ онъ остатокъ той привизанности, которую питаль ивкогда къ семейству, такъ много участвовавшему въ собитіяхъ его внутренией жизин. Какъ нарочно всъ знакомые Станкевича, начиная съ Х\*\*, выбхали тогда въ Исаноль, а самъ Станкевичъ посланъ быль докторомъ въ Альбано, одно изъ очаровательнихъ мъсть въ окрестностихъ Рима, такъ богатаго ими. Но прелесть этого уголка, оканчивающаго пустынную Римскую Кампанью, уже на половину была потеряна Станкевиченъ. Онъ бъется на страдальческомъсвоемъ ложф, томимый и желанісмъ последовать за своими знакомыми въ Неаполь, и невозможностію правести въ исполненіе планъ свой, онъ уже не въ состояніи писать: ѣдкая боль въ боку одолівваеть его, и каждий день, на нівсколько минуть, онъ горить, какъ въ огнів, по собственнымъ словамъ его. Тогда-то, получивъ извівстіе отъ Мар—ва объ опасномъ положеніи Станкевича, В. А. Д\*\* сама покидаеть Неаполь и неожиданно является въ Римъ (въ конців мая 1840).

Радостна для Станкевича была эта встреча и эта последняя жертва дружбы! Онъ подничается съ постели и вивств вдуть они изъ Альбано въ Ринъ. Танъ Станкевичъ бросаетъ прощальный, предсиертный взглядъ на въчный городъ и въ трогательныхъ словахъ благодарить небо, еще сохранившее для него это наслаждение: «Вчера и третьяго дня ваглянули на Петра, Пантеонъ и Колизей, и я благословиль небо, которое хочеть, чтобъ образь Рима дружески покоплся въ душъ моей... Колизей заросъ еще болъе; зелень на немъ очаровательная, а небо, которое стало еще тепле, украсило его такъ, что трудно выйдти оттуда; я былъ радъ видъть все это вивств съ Д\*\*. Все дъйствуетъ на нее прямо, просто и живо... (письмо 21 мая). Цълый мъсяцъ живеть онъ еще въ Римъ. Надежда начинаетъ снова оживать въ его сердцъ, успокоенномъ дружбой и тамъ разборчивниъ вниманісиъ, на какое способна только женщина. Планы будущихъ работъ теснятся въ голове его; нъсколько статей уже обдуманы в совствъ готовы въ изложению, но падо сказать, что уже издавия любимою мыслію Станкевича было написать для русской публики простую, добросовъстную «исторію философіи». Мисль эта уже не повидала его въ Ринв, и ей посвящены были всв минуты уединенія и спокойствія. Она и теперь возвибств съ лучомъ надежди, живительнымъ присутствіемъ дружественнаго существа и съ прощальныхъ напутствіемъ чуднаго города, покидаемаго навсегда... Станкевичь не потеряль въ болвзии своей ни одного изъ правственныхъ основаній, на которыя опиралось его существование.

Затемъ, въ начале іюня онъ повидаетъ Римъ, сопровождаемый В. А. Д\*\* и однимъ изъ пріятелей, А. П. Ефремовымъ, прибывшимъ вмісті съ нею. Они медленно подвигались въ Флоренціи. Послів многихъ изміненій, Станкевичъ окончательно остановился на одномъ иланів жизни—все лісто провести у Комскаго озера, а зиму въ Ницців. Во Флоренціи онъ вспоминаетъ о Вердерів, берлинскомъ своемъ другів, и какъ будто движимый какимъ-то горькимъ предчувствіемъ, спінштъ разсчитатся съ нимъ—заявить ему тотъ долгъ любви и благодарности, который наложиль онъ на него въ двухлістнее знакомство: «Скажите ему мое почтеніе, пишетъ онъ къ пріятелю,

скажите, что его дружба будеть инв вычно свята и дорога, и что все, что во инв есть норядочнаго, неразривно съ нею связано. > Влагодарность въ людянъ, способствовавшинъ уиственному или нравственному его развитю, была у Станкевича особеннинъ родонъ душевной потребности, обращенной точно также на учителя Острогожскаго училища, какъ и на профессора Верлинскаго университета. Тотъ же знакомый, спустя малое время, исполнялъ другое, печальное поручение въ Вердеру— извъщалъ его запиской о смерти Станкевича, не будучи въ состоянии лично передать извъстія. Когда потомъ встрътняся онъ съ Вердеромъ и, вспоминая о покойникъ, сказалъ ему: «Въ немъ умерла и часть васъ самихъ», то эти слова едва не заставили публично зарыдать профессора. Вердеръ написалъ въ память бившаго своего друга стихотвореніе der Tod, весьма замъчательное, какъ говорять слышавшіе его, но, къ сожальнію, намъ неизвъстное.

Во Флоренців Станкевичъ нашелъ Е. П. Фролову тоже въдурномъ состоянін: она уфзжала въ Пеаноль искать облегченія подъ его невозмутимо-яснымъ небомъ. Простивнись съ ней в приномнивъ всв иннуты свътлаго состоянія духа, какими надълило его ся общество и си расположение, Станкевичъ выфхалъ изъ Флоренців въ Миланъ, по дорога къ озеру Комо. Не добзжая Милана, въ сорока миляхъ отъ Генуи, въ городкъ Нови, прославленномъ посъдой Суворова, скончался этотъ воинъ другого рода, по справедливому замъчанію одного изъ знакомыхъ. Случилось это въ ночь съ 24-го на 25-е іюня. Съ вечера онъ быль еще весель, рано легь спать, чтобъ быть готовинъ къ отъезду на завтра; но вогда А. П. Ефремовъ, утромъ 25-го числа, пришелъ будить его, онъ уже спаль въчнимъ сномъ, — и неизмънная, благородная улибка еще играла на лицъ его. Тъло Станкевича перевезли въ Россію въ роднивъ, пораженнымъ такимъ быстрымъ исходомъ бользии, о которой они имъли весьма смутное понятіе, и отъ Станкевича остался на землю только памятникъ въ селъ Удеревкъ-мъсть еще недапияго рожденія его.

Одному изъ его знакомыхъ мы обязаны слъдующимъ описаніемъ наружности Станкевича. «Станкевичъ былъ болье, нежели средняго роста, очень хорошо сложенъ; по сложеню нельзя было предполагать въ немъ расположенія къ чахоткъ. У него были прекрасные черные волосы, покатый лобъ, небольшіе, каріе глаза; взоръ его быль очень ласковъ и веселъ, носъ тонкій, съ горбиной, красивый, съ подвижными ноздрями; губы тоже довольно тонкія, съ ръзко означенными углами: когда онъ улыбался, онъ слегка кривились, но очень мило. Вообще улыбка его была чрезвычайно привътлива и добродушна, хоть и насившлива; руки у него были довольно большія, узловатыя, какъ у старика. Во всемъ его существъ, въ дви-

